

ЖУРНАЛ ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ
СИБИРЬ
363/2 2•2017

Литературно-художественный и культурно-просветительский
журнал писателей Восточной Сибири
Учредитель — Иркутское региональное отделение
Общероссийской общественной организации
«Союз писателей России»
Журнал выходит при финансовой помощи
Министерства культуры и архивов Иркутской области
Основан в 1930 году. Выходит 6 раз в год

Содержание

Слово пастыря

Он всегда оставался для меня учителем, аввой... *Интервью с митрополитом Иркутским и Ангарским Вадимом в год 80-летия писателя В.Г. Распутина* 3

Поэзия. Венок Валентину Распутину

«Когда планета на распутье...» Анатолий Змиевский, Юрий Аксаментов, Виолетта Баша, Анатолий Горбунов, Анатолий Гребнев, Геннадий Иванов, Надежда Мирошниченко, Георгий Замаратский, Николай Рачков, Валерий Туровец, Георгий Кольцов, Сергей Погодаев, Ростислав Филиппов 10

Владимир Скиф. В поисках берега 72

К столетию двух русских революций

Возвращение России. *Беседа писателей Валентина Распутина и Анатолия Байбородина* 18

Поэзия

Михаил Трофимов. Сибирью рождённый, я пасынком не был... 39

Анатолий Горбунов. Листопадом истёкшая даль... 50

Валентина Сидоренко. Русь великая! Солнце и ветер... 122

Василий Козлов. Посвящения 186

Геннадий Аксаментов. Композиция из девяти сюжетов 210

Николай Зиновьев. Печаль вселенская остра... 240

Проза

Валентин Распутин. Деньги для Марии. *Повесть* 132

Живое слово

Валентин Распутин. Русь сибирская, сторона байкальская. *Предисловие к «Словарю говоров русских старожилов Байкальской Сибири»* 45

Писатель. Жизнь. Литература

Болезнь человеческой болью... *Диалог критика Н.С. Тендитник и писателя В.Г. Распутина* 57

Писатели. Жизнь. Литература

Между жизнью и смертью. Из бесед Виктора Кожемяко с Валентином Распутиным	63
Альберт Гурулёв. Струны памяти	85
Владимир Зыков. Валентин Распутин. Комсомольские годы в Красноярске	104
Владимир Ходий. Три дня мы были в перестрелке... ..	117
Василий Козлов. За черникой	191
Николай Терещенко. Крепка дружба не лостью... ..	198
Эдуард Анашкин. День рождения и День памяти. Популярно о непопулярном	202
Любовь моя — печаль моя	214
Николай Рачков. Была дарована благодать	218
Виктор Боченков. Литература может многое	223
Валентина Семёнова. Во славу земли Иркутской.....	232
Сергей Распутин. Замысел или умысел?.....	265
Александр Донских. Родина — духовная земля.....	271

Литературоведение

Вера Харченко. Христианские мотивы в творчестве В. Распутина	246
Валентина Иванова. Радость-птица. Сквозь скорлупу текста: старуха-птица. И ещё раз о повести «Последний срок»	250
Изобразить слово. Художественный мир Валентина Распутина и Сергея Элояна.....	253
Владимир Ходий. Не дать восторжествовать подлости. Неизвестные страницы публицистического наследия Валентина Распутина	258

Главный редактор **А.С. ДОНСКИХ**
Директор редакции **Ю.И. БАРАНОВ**
Заведующий отделом поэзии **В.П. СКИФ**
Заведующий отделом прозы **С.В. ЗУБАКОВА**

СОВЕТ ЖУРНАЛА

Г.В. Аксаментов, А.А. Антипин, А.Г. Байбородин, Ю.И. Баранов, В.В. Воронов,
И.И. Козлов, Р.Г. Михеева, М.П. Попова, А.И. Сальников, С.В. Шеребаева

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются, кроме особо оговоренных случаев. Произведения более пяти авторских листов к рассмотрению не принимаются. За достоверность фактов несут ответственность авторы статей. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции.

Оформление обложки Г.Г. Гордиевских. Комп. верстка А.Л. Гордиевских Корректор Л.Н. Заступова

На 1-й странице обложки: Валентин Распутин. Портрет работы художника Анатолия Алексеева. Холст, масло. 1981 г.
На портрете также изображены мать В.Г. Распутина Нина Ивановна и дочь Мария.

**Журнал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Иркутской области.
Свидетельство о регистрации СМИ от 13.12.2012 г. ПИ № ТУ38-00600**

Адрес редакции: 664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 253. каб. 304. Адрес учредителя: 664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 253. каб. 303.

Телефон редакции: 48-66-80, добавочный: 300. Телефон главного редактора: 8-964-274-04-95. E-mail: das1959@bk.ru.

Подписано в печать 25.04.2017 г. Выход в свет: 12.05.2017 г. Формат 70x108/16.

Усл-печ. л. 22. Тираж 1300. Цена свободная.

Издательство: ООО «Принт Лайн», 664006, г. Иркутск, ул. Сергеева, 3, корп. 4, оф.21. Тел. 8 (3952) 48-66-00.

E-mail: info@printline.ru Сайт: http://www.printline.ru

Отпечатано в типографии: ООО «Принт Лайн», 664006, г. Иркутск, ул. Сергеева, 3, корп. 4, оф. 21. Тел. 8 (3952) 48-66-00.

Р/сч. № 40702810608030001744

к/с 30101810200000000777 Банк получателя ФЛ ПАО Банк ВТБ в г. Красноярск

Сч. № 30101810200000000777

БИК 040407777

ИНН/ КПП 3808086540/381201001

ОКПО 13623582

ОКПО 13623582

Слово пастыря



Он всегда оставался для меня учителем, аввой...

ИНТЕРВЬЮ С МИТРОПОЛИТОМ ИРКУТСКИМ И АНГАРСКИМ ВАДИМОМ
В ГОД 80-ЛЕТИЯ ПИСАТЕЛЯ В.Г. РАСПУТИНА



Митрополит Вадим и Валентин Распутин

Корр.: Владыка, Валентин Григорьевич крестился, как известно, в 1980 году в Ельце. К этому времени им уже были написаны все крупные произведения. И всё-таки, на Ваш взгляд, их можно назвать христианскими, православными?

Митрополит: Бесспорно, это духовные произведения. Не будучи крещёным, Валентин Григорьевич был духовно вооружён. Он всеми фибрами своей души, своего сердца носил в себе образ Единобожия, образ Творца. Вот этот образ Единого Бога, Творца и совесть, как некий Закон Божий, заложенный в человеке, — всё это было присуще

Валентину Григорьевичу и до крещения, и до последнего момента его жизни. Он был человеком совести, что можно сказать не о каждом. Я бы сказал, в нём была удивительная острота восприятия совести. Поведенческая его линия зиждилась именно на этой целостности, целостности, которая была у святых отцов, целостности, которая бывает у людей духоносных, потому и пронизаны его произведения и любовью к отчизне, и любовью к земле, любовью к своей культуре и духовности, любовью к своему народу, в каком бы состоянии он, народ, ни находился в силу различных внешних воздействий. Мы видим, как даже в некоторых отрицательных распутинских героях всё-таки сквозит любовь к людям. Можно сказать, что он был певцом любви, певцом света, певцом совести, просветления, которое необходимо, на мой взгляд, снискать каждому человеку, поскольку каждому из нас, однажды родившись, с чем-то нужно будет предстать перед Творцом. Я поражаюсь объёму мысли, объёму написанного Валентином Григорьевичем Распутиным. Некоторые считают, что перечень его произведений довольно малый, но это не так. Если мы вчитаемся в то, что было написано рукой Распутина, то непременно увидим, что областью проявления его таланта, проявления его заботы, его участия в жизни народа, в жизни страны является практически любая сторона жизни. И вместе с тем самая важная — область нравственная, область духовная, которая является базисом для всего прочего: для развития науки, экономики, общественных отношений. И в этой связи Валентин Григорьевич как раз соответствовал евангельскому завету: «Ищите прежде Царствие Божие и правды его, а все остальное приложится вам». Мне трудно говорить безапелляционно о каких-то вещах, но во всяком случае, из тех многочисленных часов общения с ним в разное время я вынес именно такое восприятие. С ним было общаться всегда очень интересно. Он не

был многословен, он не был человеком, сорящим словами, каждое сказанное им слово, равно как и написанное, носило и носит глубокий содержательный смысл. И вместе с тем оно, слово его, прекрасно в звучании своём, оно очень точно и во всём объёме отображает явление, что удаётся не многим логикам.

Корр.: *Владыка, скажите, сначала было знакомство с писателем, а потом с его произведениями? Или — наоборот?*

М.: Конечно, я, прежде всего, познакомился с произведениями Валентина Григорьевича. Не познакомиться с ними было, наверное, непозволительно для каждого человека. Это была пора моей юности. И хотя юность была насыщена различного рода событиями — и семинарские годы, и академические, и служба в армии, — я много читал. Как вы знаете, в то время было большой удачей получить подписку на толстые журналы, так называемые «толстушки». Естественно, я и в «Нашем современнике», и в других журналах находил его произведения, которые не могли оставить равнодушным юношу. В ту пору достать книги таких авторов было довольно сложно. Что-то происходило с нашим книгоиздательством, что сегодня для меня кажется необъяснимым. Все наши порывы заполучить желанную книгу приобретали чудовищные формы: для этого сдавали макулатуру, записывались накануне, решением профсоюзных организаций выдавались те или иные книги. И вот автором, который изначально мне понравился, был Валентин Григорьевич Распутин. Некоторые критики относят его к «деревенщикам». В иных устах это носит уничижительный характер, а мне кажется, это почётно, потому что «деревенщик» — человек, который знает корни своей земли, корни своей нации, корни своего рода. В той или иной мере мы все «деревенщики», все родились на земле, у многих из нас корни сельские. Валентин Григорьевич, я бы сказал, от самой сути природы явился и стал её певцом, вдохновенным певцом, произойдя из этой земли и однажды полюбив её, он всю жизнь прославлял и восхищался нашей землёй. Естественно, в те уже годы талант Распутина не мог быть не увиден. Мне чувствовалось, что это отменный художник, душевед.

Корр.: *Владыка, Вы ведь много читали духовной литературы, и в молодые годы, и зрелым человеком. Не была ли всё-таки распутинская проза диссонансом духовной литературе?*

М.: Мне вообще кажется, что литература может быть только духовной, если это настоящая литература. Она не может быть иной. То, что мы видим, слышим, читаем в произведениях Валентина Григорьевича, и есть духовное. Да, мне приходилось много читать. Я вообще любил читать, честно скажу. У меня не было возможности иметь такую библиотеку, где было бы по полочкам разложено, что за чем читать. Родители мои, к сожалению, не могли мне этого предложить в силу своей занятости. Я читал всё что угодно. «Иностранная литература» печатала зарубежных писателей. Мы выписывали тогда журнал «Роман-газета». Там были авторы всех республик, входящих в Советский Союз. Многое из прочитанного вызывало восхищение. Не могли, положим, не восторгаться произведения Шолохова, нравился мне Астафьев, Солоухин, но Валентин Григорьевич, его творчество всегда занимало для меня особое место. И особое место, быть может, потому, что я в своей жизни имел счастье, наверное, Божию милость общаться с людьми, которые были духовно богаты, духовно одарены, имели тонкую конституцию духовного порядка. Например, старец и мой духовный наставник архимандрит Серафим Тяпочкин. Это был высокообразованнейший человек, человек, прекрасно знающий классику. Жизнь его была сложна, многие десятилетия он провёл за колючей проволокой, только за одни лишь убеждения. Когда его освободили окончательно, то сказали: «А вы ни в чём и не виноваты». Услышать это, отсидев не один десяток лет, помыкавшись по различным лагерям и ссылкам, сами понимаете, непросто. Но вместе с суровым жизненным опытом отец Серафим стяжал некую просветлённость и, я бы сказал, любвеобильное отношение к людям, альтруизм, но не в той форме — любить всё и вся, он каждого человека любил персонально, и мы это чувствовали. Нечто общее с отцом Серафимом я нашёл и в произведениях Валентина Григорьевича Распутина. У него очень тонкая организация души. При кажущемся отсутствии

в произведении каких-то глобальных событий, он описывал тончайшие нюансы жизни человека, его души, его настроения. Это не может не поражать. Это сродни как раз духовности праведников, сродни духовности святых отцов, именно отцов, которые отслеживали не только слово, но и мысль, поползновение к мысли. Этим Валентин Григорьевич меня и привлекал. И я не случайно сказал об отце Серафиме, о просветлённости его. Я знаю, что он уже при жизни был святой, например, он мог знать имя незнакомого человека, который пришёл к нему, мог знать его нужды. Таких примеров можно привести очень много. Я бы сказал, что духовными дарованиями, которые даются человеку свыше, обладал и Валентин Григорьевич. Он настолько тонко чувствовал свет, чувствовал правду, настолько тонко чувствовал любовь и незамутнённую человеческой души, человеческого сердца, чистоту его, что это вызывает восхищение. Кто соприкоснулся с его творчеством, прекрасно понимают, что оно не сиюминутно, оно на века, оно для людей мыслящих, ищущих правды, ищущих Бога, ищущих вечности, ищущих света, ищущих счастья, ищущих справедливости и гармоничного существования общества здесь, на земле. Мне кажется, его произведения именно для таких людей. И не в смысле того, что его произведения только для людей с высоким айкью, высоколобых. Его произведения для всех: и для человека, который являет высокий интеллект, с высоким, я бы сказал, образовательным цензом, и для простого человека. Невольно напрашивается аналогия с Евангелием: Евангелие ведь и для философов, мудрецов, и для простых людей, — оно всем понятно. Что-то подобное есть и в творчестве Валентина Григорьевича Распутина.

Корр.: *Первую встречу с Валентином Григорьевичем помните, Владыка?*

М.: Первая встреча у нас с ним произошла в Союзе писателей. Он подошёл, сдержанно и как-то подкупающе безоружно улыбаясь, сказал: «Я рад вас видеть». Я, в свою очередь, сказал ему о своих чувствах, эти чувства у меня непреходящи: как ученик общается с учителем, так и я с Валентином Григорьевичем. Мы потом довольно откровенно и много говорили, но вот это чувство ученика никогда не покидало меня. Он всегда оставался для меня учителем, аввой.

Корр.: *Владыка, Валентин Григорьевич — коренной сибиряк, Вы в Сибирь впервые приехали в 1985 году. Какие черты сибиряка в Валентине Григорьевиче вы увидели, чего прежде, возможно, в людях не знали, не замечали?*

М.: Да, я человек Центральной России, московских кругов. И когда я приехал, действительно, увидел, что сибиряки чем-то отличались от народа, населяющего, положим, ту же Москву. Сибиряки более основательные, основательные в суждениях, более сдержанные на похвалы, менее подвержены пересудам, я бы сказал, очернительской клеветущей тенденции я у них не наблюдал в ту пору. Заметьте, сильным людям не присущи мелкие страсти. И в Валентине Григорьевиче именно это я увидел. Я увидел сильного мужчину, человека волевого, деликатного, интеллигентного, в высоком смысле этого слова. Наверное, не со всеми вилками и ножами он мог бы разобраться за столом, но вместе с тем внутренне исходил от него вот этот интеллигентный посыл, тот, которого я часто не наблюдал у московской интеллигенции. Своей тягой к Сибири, любовью к Сибири, к сибирскому укладу заразил он, думаю, многих. Среди таковых был и я. Я не сибиряк, я — белгородец, но вместе с тем я уже не мыслю себя вне Сибири, и мне хотелось бы здесь в Сибири, где проходит в большей степени мое служение, уйти в путь вся земли. И таковым посылом является как раз образ Валентина Григорьевича и его творчество. Он всегда оставался голосом совести своего народа, незамутнённого народа в различных обстоятельствах жизни. Да, какие-то его поступки могли восприниматься в той или иной мере как наивность, некая, если хотите, инфантильность, но разве Христос не говорит: «Будьте как дети». Что-то в этой непосредственности есть, — да? Что-то светлое, что-то радостное, с чем хочется соприкоснуться, из чего хочется испить чистой воды, как из источника. Его не замутило ничто, этот источник. Он остался целостной личностью, непоколебимой, сильной личностью, хотя в общении был очень скромный. Меня это поражало всегда: такой удиви-

тельной скромности людей его масштаба я не знаю. Вот эта скромность, я бы сказал, доходящая до застенчивости, подкупала. Но при этом он не был человеком, который не мог бы «отбрить», сказать такие вещи, которые воспринимались бы весьма-весьма не просто. Мог сильно сказать, и особенно, как мне казалось, в оценке творчества. Я помню, как он в глаза одному из поэтов, не зная, что его слышат другие (к сожалению, невольно я услышал, некуда было деться), дал его творчеству свою оценку. Ну, если бы я оказался на месте этого поэта, мне хотелось бы сквозь землю провалиться, я бы, конечно, перестал писать. Уничтожающая была оценка. Она не была ругательной, он не унижал личность, но она была, повторю, уничтожающей.

Корр.: *Владыка, когда жив был Валентин Григорьевич, возникали какие-то проблемы в Иркутске, кого-то или что-то надо было защитить, обращались к нему и к Вам. И Вы шли на защиту. Может, припомните, кого или какое-то дело Вы вместе с Валентином Григорьевичем отстаивали?*

М.: Я бы не связывал себя с Валентином Григорьевичем в таком тандеме, потому что не достоин этого. Припомнить все случаи невозможно. Также справедливо сказать, что не было никогда у нас встреч с сильными мира сего, где Валентин Григорьевич не ходатайствовал бы о ком-то или о чём-то. Он никогда не просил о себе или своих близких. Я знаю, что порой ближние его черпали с лихвой те или иные жизненные неустройства, но он не ходатайствовал за них. Ходатайства касались глобальных проблем, общественных проблем, общности народной, а также отдельных персоналий. Ему, конечно, многие не могли отказать. Но не всегда так было, порой и отказывали, не всё он мог, но вместе с тем, повторю, он не добивался встреч для того, чтобы высказать просьбу частного порядка. И ещё надо подчеркнуть: он очень живо чувствовал реальность, он хорошо понимал, чем живёт человек.

Корр.: *Владыка, Вы ведь с Валентином Григорьевичем большое дело начали в 1994 году — Дни русской духовности и культуры в Иркутске. У истоков Дней как раз стояли и Валентин Григорьевич, и Вы. Как это происходило?*

М.: Инициатором этих Дней был Распутин. Конечно же, многие из тех, кто приезжал в Иркутск на «Сияние России», почитали это за счастье именно потому, что их приглашал Распутин. «Сияние России» началось, я бы сказал, в годы некоего шаша в культуре, когда присутствовали настроения (а они-то в большей мере и рассчитывали на успех), которые чернили национальную культуру. Предлагался некий эрзац культурный, если не сказать хуже. Обсуждая как-то с Валентином Григорьевичем эту проблему, мы сошлись на одной цитате. Я думаю, он её знал, но я ему напомнил её: в «Столпе и утверждении истины» священник Павел Флоренский говорит о том, что смыслом культуры является феургия, то есть богоделание, сотворение божественного начала в человеке, света в человеке, созидающей силы. Если же её нет в том или ином проявлении искусства, то эта вещь и не может называться культурой. Потому и родились в Иркутске Дни русской духовности и культуры «Сияние России». Идея эта получила реальное воплощение решениями мэра города Бориса Александровича Говорина, который много сделал, чтобы проходили Дни, да практически он и дал им начало, причём осмысленно, понимая всю их насущность. Это было сделать непросто, сколько ругательного слышали в ту пору, особенно в первое время! Силы, которые привлёк к этому делу Валентин Григорьевич, были просто колоссальные. Это, прежде всего, писательская организация страны и лучшие её представители, это мыслители, философы, публицисты, это музыкальные коллективы, знаменитые хоры, симфонические оркестры, певцы — люди, которые и поныне вызывают восхищение своими трудами. Естественно, сибирская земля видела и слышала их благодаря Валентину Григорьевичу. Тогда студенты и преподаватели учебных заведений встречались с гостями, приглашёнными на эти празднества. Разговоры шли на самые животрепещущие темы, касающиеся и политики, и социальных проблем, но прежде всего духовности и культуры, культура не может встать вне жизни человеческой, вне проблем нравственных. Мне думается, это были счастливые для Иркутска дни, равно как и вообще пребывание

Валентина Григорьевича на земле Иркутской. Это нечто великое, миссионерское, что уже не будет повторимо. Проблемы, им поднимаемые, — проблемы вечные. Сейчас, после его смерти, они даже обострились. Сознывая всё это, невозможно отнестись к его творчеству с меньшим пиететом, с меньшим почтением, с меньшей любовью. Я считаю, что это был великий период великого человека, который насытил землю Иркутскую удивительными творениями. Кстати, однажды я спросил: «Валентин Григорьевич, вот многие пишут о Вас. Кто из них близок к Вашему творческому кредо?» И он назвал книгу Сирина «Свет распутинской прозы». Она небольшая, но Анатолий Дмитриевич Сирин был тоже человек необычный, талантливый, он был философ. Главная мысль его статей и очерков — православию есть и будет духовной опорой сибиряков.

Корр.: *Владыка, я помню, когда прощались с Валентином Григорьевичем, длинная-длинная вереница людей стояла у ограды Знаменского монастыря. И такое было чувство сиротливости... Вы много общались, работали с Валентином Григорьевичем и, наверное, Вы, как никто другой, ощутили это сиротство при уходе его из жизни земной? И не Вы ли стали одним из тех людей, которые настояли похоронить Валентина Григорьевича именно в ограде монастыря?*

М.: Да, такая мысль возникла — похоронить Валентина Григорьевича именно в самом почётном месте, которое существует в Иркутске, причём исторически. Здесь захоронены яркие личности. Поскольку у нас не существует другого пантеона, а он должен был быть похоронен на самом почётном месте, похоронили здесь. Его дерзновение, наверное, никогда, в силу его скромности, не предполагало, что он будет захоронен в ограде Знаменского монастыря, но я уверен, что если бы мы его спросили, конечно же, он бы счёл за честь быть похороненным здесь, именно здесь. Уж очень много он в это вкладывал смысла. Жизнь, на мой взгляд, представлялась ему вечностью, хотя и то, что является человеческим обликом, для него не было безразлично. Нельзя сказать, что он отвергал человеческую плоть, это неверный подход, но она не отвергаема, эта плоть, и в богословии, в учении церкви. Есть приоритеты духа, но это не значит, что нужно относиться безобразно к своему телу, поскольку и тело есть творение Божие. Человек — венец творения Божия. Осиротели ли мы? Наверное. Во всяком случае, для себя я это так понимаю. Мы сейчас часто ищем национальную идею — в чём она? Но не надо её надумывать. Эта идея существует в человеческом роде. Наш народ её прекрасно озвучил. И идея эта есть не что иное, как богоделание. Об этом говорит и преподобный Серафим Саровский: «Стяжи дух мирен, и тогда тысячи вокруг тебя спасутся». Вот это высокое проявление духа было присуще творчеству Валентина Григорьевича. Кроме того, мне хотелось бы отметить, что его творчество, на мой взгляд, не только препарирует человеческий дух, жизнь, оно вселяет надежду, указывает путь, по которому необходимо идти. И потому, мне думается, Распутин нами ещё далеко не понят. Если даст Бог исторического бытия человечеству, то это задел многих и многих людей, ищущих правды, многих и многих философов, ищущих света, ищущих Бога, ищущих смысла жизни, ищущих счастья. И понимающих необходимость человеческой нравственности.

Корр.: *Вы, Владыка, сказали, что произведения Валентина Григорьевича чем-то сродни Евангелию. Многие герои его книг уходят из жизни, словно бы забирая чужие грехи. Можно ли тут с Евангелием параллель провести?*

М.: Трудный философский вопрос... Как раз его произведения при кажущейся трагичности исхода — они светоносны. Вот хотя бы такой пример — «Живи и помни», смерть Настёны. В её смерти нет безысходности. Не поворачивается язык её осудить. Напротив, в какой-то мере даже хочется и оправдать, ведь какое иго, какая тягота надвинулась на неё, в силу вполне понятного отношения людей к её супругу — дезертиру, с её ответственностью генетического порядка, она же уходит, имея ребёнка под сердцем. По-христиански это нельзя оправдывать, но жизненно, повторюсь, не поворачивается язык и осудить её. Наверное, такая острота, такое возвышенное чувство совести живёт в ней, что оно вмести-

ло в себя горе народа, потерявшего сыновей на войне, пережившего голод, холод. Весь позор случившегося заставляет её пойти на такую крайнюю меру. Но чувства безысходности нет, ведь и Христос Спаситель нигде не говорит в Евангелии, что человечество будет жить счастливо здесь на земле. «Да как же так — не сулит нам никакого счастья?» — скажет иной. Но Христос ведь не проповедовал утопию, Христос проповедовал истину, вещал о реалиях жизненных, а разве они не таковы?.. Я припоминаю эпизод: накануне миллениума, 2000-летия, лет за пять-шесть до этого, Валентин Григорьевич как-то говорит: «Хотелось бы мне дожить до 2000 года». Я говорю: «Валентин Григорьевич, ну почему именно до 2000, а потом — всё?» — «Да, мне интересно заглянуть, что будет в следующем тысячелетии». Я спрашиваю: «Ну почему Вам это интересно?» — «Мне интересно, каков станет человек. Мне не интересны достижения науки, техники, мне интересно, что изменится в природе человека». Прошло несколько лет, мы уже стали жить в третьем тысячелетии, я ему задаю вопрос: «И как Вам, Валентин Григорьевич?» И он мне говорит: «Увы, к сожалению, человек лучше не стал».

Корр.: *Владыка, у Валентина Григорьевича немало героев, которые вспоминают предков своих, вспоминают умерших, та же старуха Дарья из «Прощания с Матёрой». Вы каждый день видите могилку Валентина Григорьевича — мысленно разговариваете с ним, спрашиваете, рассказываете?*

М.: Всего я вам, наверное, не скажу, это очень личное, одно могу сказать, я его любил беззаветно, любил и понимал, понимал, казалось бы, противоречивые поступки, которые у некоторых вызвали непонимание. Я понимал, потому что порой слышал объяснение событий. И позвольте сказать, что он никогда не действовал вопреки своей совести. Так, будучи в Президентском совете, он действительно хотел что-то сделать для нашей отчизны, для культуры, для народа. Я это слышал от него самого. Да, это, наверное, были утопические надежды с учётом того, кем оказался Горбачёв, который рассчитывал лишь авторитет себе снискать именитым окружением. Вместе с тем Валентин Григорьевич надежды помочь людям не отринул, и, может быть, был прав, и всего скорее, был прав. Если ему эта возможность представилась, а в жизни ничего не бывает случайным, он её использовал настолько, насколько возможно. Да, не удалось достигнуть результата, но сам процесс был благим, добрым. И мне думается, его могила является местом размышления. Конечно, день свой я начинаю с его могилы. Конечно, веду с ним какие-то долгие разговоры. Одно могу повторить, что его значение для нас невыразимо. Это великий был человек и оставил наследие величайшее. Я думаю, когда мы всё сможем собрать, а собрать необходимо многое: и то, что опубликовано, и те многие записки, адресные письма, листочки, характеристики, написанные тем или иным людям, — всё это будет весьма и весьма интересно. Это откроет прежде всего для нас глубину таланта Валентина Григорьевича, необычайного таланта, неизмеримого таланта, глубину его дарования, его мудрости, которую он оставил для всех нас. Безусловно, мы верим, что здесь, в ограде Знаменского монастыря, лишь его физическая оболочка, и мы, совершая панихиды, молим прежде всего об упокоении его души в селениях праведных. Это наше самое главное желание. Мы хотим блага его душе. И я верю, что он его получит, это благо, непременно получит. Если не такие люди, как он, будут получать, то есть ли тогда из живущих на земле, кто может снискать благоволение Божие? Они подвижники, эти люди, для всех нас они являют высочайший пример своей жизнью... Конечно, вы правы, что это осиротение.

*...Плачь, русская земля! но и гордись —
С тех пор, как ты стоишь под небесами,
Такого сына не рождала ты
И в недра не брала свои обратно:
Сокровища душевной красоты
Совмещены в нем были благодатно...*



Президент России Владимир Путин прощается с Валентином Распутиным

им написано, касалось духа человека. Вечная и блаженная ему память. Конечно, мы понимаем, чего лишились, и порой такое пронзительное чувство тоски, неизбывной тоски, находит: его нет, а так бы хотелось, чтоб он был.

Беседу провела журналист Радио России «Иркутск» Татьяна Сазонова

Прозвучала по радио 10 января 2017 г.

ПОЭЗИЯ.

Венок Валентину Распутину



«Когда планета на распутье...»

АНАТОЛИЙ ЗМИЕВСКИЙ

г. ИРКУТСК

Памяти Распутина

Ушёл ты, горько родину оплавав,
теперь оплакивает родина тебя —
слезами сон-травы, жарков и маков,
росою каждого полынного стебля.

Ты много больше пережил, чем прожил,
ты не отшельник был, но был всегда один.
Как своего тебя приветил Боже,
ушедший ввысь раб Божий Валентин.

ЮРИЙ АКСАМЕНТОВ

г. УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ

Стезя

В.Г. Распутину

Итак, те годы не забылись:
Что было с ним и что со мной.
Мы порознь русскому учились
В аудитории одной.
Потом, взрослея год от года,
Не погрязая в суете,
Мы с ним учились у народа
Суровой русской простоте.
Его уже тогда хвалили,
Но он заносчивым не стал,
Писал он «Деньги для Марии»,
А я про деньги не писал.
Лауреатство и геройство
В проекте были и тогда —
Ведь Валентин Распутин — войско,
Пятиконечная звезда!

И я горжусь, что рядом с Валею
(Хоть мы с ним под руки не шли)
Меня совсем не запинали
И в ящике не унесли...
Живя в Жигалово и Свирске,
Чё я в проблемы не вникал?
Чё я не чёкал по-сибирски?
Чё я не защищал Байкал?!
Не оглашайте приговорчик —
Нас жизнь расставила сама:
Кому — пожар! Кому — костёрчик!
Кому — тома! Кому — сума!
Оборотясь, скажу потомкам:
— Мои далёкие друзья,
У каждого — своя котомка!
У каждого — своя стезя!

ВИОЛЕТТА БАША

г. МОСКВА

Валентин Распутин

Когда планета на распутье,
Несётся, тяжело дыша,
Нам нужен Валентин Распутин,
Чтоб не запачкалась душа!

Вы, кто в России не живёте, —
Вам не понятен наш народ.
Ну как же вы ещё поймёте,
Какой ценой из года в год

Оплачен дар быть просто русским?
Врагов — прощать и не судить,
И за уют англо-французский
Своею кровью заплатить.

Его вселенная — Россия,
И в ней по небу много лет

Идут полки дорогой сильных,
Поскольку слабых в небе нет.

Вы скажете, что это — боги,
Им сила от небес дана.
Да нет, друзья, хмельной дороги
Россия испила до дна.

Мы были скифами. Древляне
Нам тоже близкая родня.
И заповедной звонкой ранью
Из Киева к нам шли князья.

Босая Русь в слезах омыта,
Росой и зорями горит.
Из каждой горницы забытой
Со мной Распутин говорит.

АНАТОЛИЙ ГОРБУНОВ

г. ИРКУТСК

Иволга

Валентину Распутину

Сядь на вербу и ночь озари,
Чтобы смог я кругом оглядеться,
Голосистая спутница детства,
Расскажи, где твои косари.

Ты открой свою птичью печаль,
Тайну звуков и солнечной боли.

Отзовись, моя иволга, что ли,
Озари сенокосную даль.

Озари, чтобы стало светло
Среди тьмы и увядших растений...
На ладони горит лист осенний,
Как твоё золотое перо.

АНАТОЛИЙ ГРЕБНЕВ

г. ПЕРМЬ

Матёра

Прислушайся к душе —
Она ещё живая,
Она не умерла
В разврате и вине.
Саму себя храня,
Саму себя скрывая,
В молитвенной она
Страдает глубине.

Там тайная страна.
Там Русь — твоя Матёра.
Славянами, как встарь,
Заселена она.
Сияет солнце там
Средь вечного простора,
И недругам она
На откуп не сдана.

Сияет солнце там,
И взгляд, куда ни брось я,
Ухожена земля,
Куда ни обернусь.
Под колокольный звон
Качаются колосья,
И молятся в скитах
Святители за Русь...

Не сломлен русский дух!
Ты, в нём найдя опору,
Сама распорядись
Державною судьбой!
Прислушайся к душе,
Открой свою Матёру.
Проснись, родной народ,
И стань самим собой!

ГЕННАДИЙ ИВАНОВ

г. Москва

Прощание с Распутиным

Валентин Григорьевич, прощайте.
Вас уносит самолёт в века...
Вы нас и оттуда выручайте.
Нам без Вас унынье и тоска.
Самолёт над Волгой, над тайгой,
Над любимым краем полетит...

Слёзы набежавшие не скрою.
Вас живым душа моя хранит.
Валентин Григорьевич, прощайте.
Тёплый, светлый, мудрый и родной...
Над Байкалом вскрикивают чайки,
Кто-то тихо плачет над страной.

На родине В.Г. Распутина

Сегодня Усть-Уда приснилась мне.
Приснилась, как мечта, как образ дали...
О, слава Богу, мы туда попали,
Там были наяву, а не во сне.
Полдня мы ехали, потом по Ангаре
Мы плыли, плыли на большом пароме.

Кругом всё было в жёлтом октябре,
Все ждали встречи, удивленья, кроме
Распутина, который был глубок,
Печален был и говорил не много...
Да, здесь Матёра, родина, исток,
Но это всё уже не ближе Бога.

НАДЕЖДА МИРОШНИЧЕНКО

г. Сыктывкар

Валентину Распутину

I. Бревно

Пристану, как бревно, к чужому берегу.
От всех, от всех сумела убежать.
И в этом царстве тишины и вереска
Мне хорошо на солнышке лежать.

Лежи, бревно, лежи себе, подумывай,
Перебирай, что «нечет» или «чёт».
Здесь ничего плохого да угрюмого.
Здесь только речка чистая течёт.

А коль вьюнок бесхитростный прицепится
Иль ящерка неслышно пробежит,

То мне не жаль, пускай великолепится,
Пусть думает: бревно себе лежит.

А сколько я их в жизни перевидела,
Тех брёвен, что на нашем берегу!
И если я кого из них обидела,
То я прощенья попросить могу.

Лежи, бревно, лежи себе, постанывай.
Ты никому не в тягость и не в гнёт.
А если от безделия устану я,
Пусть в воду меня кто-нибудь столкнёт.

II

Слава Богу! Вернулся живой.
Слава Богу! Вернулся из плена.
С непокрытой идёт головой
По проталинам, как по Вселенной.

То ли шутит, а то ли поёт,
Как мальчишка, а чем не мальчишка?!
Расколдовано имя твоё,
Что уж классикой признано в книжках.

— Улыбнись, — говорю. — Улыбнись,
Впереди ещё столько работы!
— Дотянись, — говорю, — дотянись
До себя до живого. Ну что ты?

Возвращается сам из тенёт,
Где до одури славы напился.
Слава Богу! Вернулся поэт.
Полубронзовый, а возвратился.

8-9 февраля 2002 г.
Переделкино

Из поэмы «Русь»

Валентину Распутину

Пусть не говорят, что мы без памяти,
Мол, национальная черта.
Пусть не говорят, что мы из — пламени.
Это нас сжигает немота.

Но когда терпенье переполнится
И уста златые разомкнёт,
Мы расскажем всё, о чём припомнится
И о чём не позабыл народ.

2001 г.

* * *

Валентину Распутину

Чей это голос в шелесте снега
Сквозь пуховой снегопад?
Чей это голос, чья это нега,
Чей это медленный взгляд?

Как невесомы и тонкорунны
Тёплых сугробов холмы.
Разве возможны летние струны
Посередине зимы?

Сосны качают старое небо,
Белые шали надев.

Вздых или воздух, клич или треба,
Или дыханье деревьев?

Всё-то мне мнится: радостный кто-то
Выступит вдруг из снегов.
За поворотом, за поворотом
Церковь в плену облаков.

Тёмная речка, светлые склоны.
Веет таким дорогим.
Чей это голос одноимённый
С голосом сердца моим?

5 февраля 2001 г.

Уроки французского

Валентину Распутину

Уроки французского! Тёмный заснеженный вечер.
И русская девушка в дальнем сибирском краю
Голодного мальчика учит изысканной речи,
Французской фонетике вместе со словом «люблю».

Он так одинок этот мальчик и так простодушен!
И очень талантлив, но очень к тому же строптив.
И как она хочет согреть его чистую душу,
Её чистоты и доверия не замутив.

Учителке страшен далёкий раскат канонады,
Москва затемнённая и в похоронках село.
Но русский язык защищать тогда было не надо.
Все русскими были, и это к победе вело.

А юная девушка, странная, словно из книжки,
С своим «силь ву пле» и совсем простодушным «мерси»,
Спустившейся с неба тому представлялась мальчишке.
Таких он не видел ещё до сих пор на Руси.

Уроки французского — памяти сладкая дрёма,
Где мирное небо и солнце — ковригой большой.
Где три мушкетёра, где радостно и невесомо.
А эта учителька — фея с прекрасной душой.

ГЕОРГИЙ ЗАМАРАТСКИЙ

г. ИРКУТСК

Правда жизни

Я сну ничуть не удивился,
Который всплыл со дна души:
Опять всю ночь Распутин снился
И говорил мне: «Что ж, пиши,
Но только правду! Правду жизни,
А не подобие её...»

Илиму — маленькой отчизне —
Я верен. Творчество моё
О нём. И сила мудрой мысли,
Распутинская точность строк
Мне помогли. И в этом смысле
Распутин — лучший педагог.

Но подражать я не умею,
Пустой вторичности боюсь...
Нужна мне правда, значит, с нею
Я как писатель состоюсь.

Вернуть бы правду, что со мною
Шагала в ногу, как солдат,
Готовая к любому бою
Не ради славы и наград.

Найти бы правду, но легко ли
Узнать её среди многих правд?

Я лишь в душе за луг и поле,
И здесь, наверно, я не прав:

Не жну, не сею хлеб на ниве,
Доволен тем, что есть, — вполне,
Кричу всё чаще и хвастливей,
Что кровь крестьянская во мне.

По доброй воле, между прочим,
Ищу «свой хлеб» по городам,
А есть ли где на свете отчем,
Чем эта — большая беда?

Наверно, правда русской жизни —
В суровых буднях сельских дней...
Быть просто преданным отчизне —
Легко. Вот стать бы нужным ей!

НИКОЛАЙ РАЧКОВ

г. С.-ПЕТЕРБУРГ

* * *

Валентину Распутину

Время другое сегодня звенит под окошками.
Чудится многим, что вечного нет на земле.
Счастлив я тем, что ходил полевыми дорожками,
Слушал колосьев шуршание в солнечной мгле.

Мало ли туч проплывало над нами с угрозами?
Счастлив я тем, что живу, никому не отдав
Ивы над омутом, тихий родник под берёзами,
В жёлтых платочках головки весенних купав.

Это моё, это с детства святое и близкое,
Вместе с иконами, с воинским снимком отца.
Родина — то, что порой не понять и не высказать,
Только почувствовать, только любить до конца...

ВАЛЕРИЙ ТУРОВЕЦ

г. УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ

Памяти В. Распутина

Нам остаётся жить и помнить
Грядущий день — последний срок.
Твой долг, каким бы ни был скромным,
Верни и повтори урок.

Родной язык — он Богом данный,
Что унижается сейчас,
А «Дочь Ивана, мать Ивана»
Придёт на помощь в трудный час.

Остались деньги для Марии,
Отдай на храм, почтя за честь.
А их всё больше по России.
И, стало быть, надежда есть

На встречу с новою Матёрой,
Где можно век в любви прожить,

Где не заборы, а соборы,
Нет злобы, жадности и лжи...

Я верю: русская заря
Взойдёт — и мир преобразится...
А здесь, у стен монастыря —
Могила Русского Провидца.

ГЕОРГИЙ КОЛЬЦОВ

г. КАШИРА

Родной дом

Валентину Распутину

Снова в тесном доме соберёмся,
Три окошка — к реке под бугор...
А причина, возможно, лишь в том вся,
Что здесь мамка живёт до сих пор.

Мы смолистых дровишек наколем,
Засучив до локтей рукава.
На зелёном картофельном поле
Отцвела и пожухла ботва.

С чем сравнить материнскую старость?
С тяжкой участью тихих берёз,
На которых листвы не осталось, —
Всю по свету ветрище разнёс!..

Старший соль добывает в Усолье.
Младший брат обживает Москву.
Да и я в городок невысокий
Мать давно безнадежно зову.

Рвётся нитка в том месте, где тонко.
Ну, а если она не тонка?!
Наша мать, коренная чалдонка,
Дом бросать свой не хочет пока.

Сердце чувствует: пока он не продан,
Каждый связан надёжным узлом
И с землёю, откуда мы родом,
И с закатом за синим селом...

В доме, где не нажили богатства,
Где пока ещё мама жива,
Заставляет нас всех собираться
Неизбывная сила родства.

СЕРГЕЙ ПОГОДАЕВ

г. Иркутск

Копирайтер

Всё верно, жизнь даётся только раз
и хочется прожить её толково —
не создавая тексты на заказ.
Она предполагается, подчас —
ответственность за сказанное слово.

Прожить бы, как Распутин Валентин,
чтобы остались повести, рассказы,
в которых горечь кризисных годин.
Прости, народ, я блудный сукин сын,
не уберёгший душу от проказы.

Почти убило душу ремесло!
Готов пойти и тихо застрелиться,
когда б кого-то это обожгло!
Так нет же, — я пробьюсь тебе назло,
моя холоднокровная столица.

РОСТИСЛАВ ФИЛИППОВ

г. Иркутск

* * *

Сам я по тайге ходок неважный.
Вот Распутин бегаёт, как лось.
Мне не часто, но и не однажды
по бруснику с ним ходить пришлось.

Всякого бы склоны уstraшили.
Еле-еле рюкзачок несущий...
Он же — свист травы! — и на вершине.
Снова посвист — он уже внизу!

Ты идёшь, усталый, до ночлега.
Поработал, как передовик.

Он — весь день прошастал и пробегал.
Ан, проверьте, — полон горбовик!

В том, конечно, оправдания мало —
мы, мол, не в деревнях рождены.
Дилетанты и профессионалы —
все подряд перед тайгой равны.

Вот искусство — на одном и том же
месте больше ягод усмотреть.
Если ты того ещё не можешь —
не завидуй. Постарайся впредь.

К столетию двух русских революций



Возвращение России

БЕСЕДА ПИСАТЕЛЕЙ ВАЛЕНТИНА РАСПУТИНА И АНАТОЛИЯ БАЙБОРОДИНА



Анатолий Байборodin на даче у Валентина Распутина

В 1990 году я, счастливый, сподобился записать беседу с Валентином Распутиным, Царство ему Небесное; потом расшифровал диктофонную запись, довёл до ума свои суждения, а распутинских не касался, и не потому, что Распутина боялся как огня и восторженно молился на писателя днём и ночью, а потому, что его ответы виделись мне мудрыми, ясными и яркими. Но столь велико было моё изумление, когда я, передав Распутину рукопись, отпечатанную на машинке, получил её назад почти переписанную, сплошь испещрённую характерным распутинским почерком, мелким, убористым, похожим на бисер, нанизанный на тугую, потаённую нитку. Правка продолжалась и в корректуре, лишь потом беседа увидела свет. Ныне, спустя четверть века, трижды беседу с Распутиным под разными заголовками, иногда в сокращении, печатали в прибайкальских изданиях¹, и, чудом откопав рукопись в своих архивных залежах, предлагаю её читателям; и не в связи с упокоением всесветно славяного русского писателя, не ради согрева души и рук в лучах славы, а потому, что мысли, изложенные в беседе, и сегодня злободневны.

Анатолий Байборodin

* * *

А. Байборodin: Мне бы хотелось, чтобы из нашего разговора вышло не репортёрское интервью и не диалог критика и писателя, а беседа представителей двух литературных поколений. Хотя границы их, конечно, размыты в общем литературном процессе, но, тем не менее, я представляю худо-бедно то писательское поколение, которое идёт за вашим след в след. Говорить о заслугах двух литературных поколений пока не хочется — рановато, не в пользу моих сверстников писателей будет сравнение; а хотелось бы сказать вначале вот о чём: ваше поколение писателей — и особо те, кого величали «деревенщиками», — по духу

¹За Россию самобытную // Земля. 1990. № 1. С. 10–11; Нравственность рождает земля: диалог писателей В. Распутина и А. Байбородина о необходимости возрождения русского крестьянства // Правда Бурятии. 1990. 30 нояб. С. 1; Возвращение России: беседа писателей В. Распутина и А. Байбородина // Сибирь. 1991. № 1. С. 3–34; Ленга. 1991. № 4. С. 143–160.

и слову было всё-таки ближе к матушке-земле, к природе, к родовым корням и самому крестьянскому миру. Мои сверстники, тем, кому сорок и под сорок, уже откочнулись от земли душой, растеряли родовые связи, во многом утратили и само народное миропонимание, закрутившись в мутных уловах современной городской жизни. Хотя, конечно, про всех этого не скажешь, всех под одну гребёнку не причешешь, и тем не менее...

На мой взгляд, народные писатели-прозаики, скажем, астафьевского поколения и вашего, суть крестьянские писатели. И это как знамение, что в самую лихую пору для русской деревни, пережившей раскулачивание и раскрестьянивание, писателями стали сами крестьянские сыны. Если в прошлом веке литература была в основном дворянской, а на рубеже веков — разночинной, интеллигентской (она принесла много нравственной путаницы и порухи), то со второй половины нынешнего столетия круто окрестьянилась. «Деревенскую» прозу можно сравнить лишь с крестьянской поэзией начала нынешнего века (Есенин, Клюев, Клычков, Орешин, Ганин, Карпов, Ширяевец). Видимо, вещее слово деревенских прозаиков было не случайным: оно, русское слово, зазвучало там, где народу было тяжелее, скорбнее, но где всё же светило ещё духовное и национальное спасение России.

Писательское слово, бессознательно пытаюсь хоть как-то, хоть в малой мере восполнить недостающее слово православных пастырей, явилось среди самых униженных и оскорблённых, среди самых угнетённых, какими были русские крестьяне, — явилось, чтобы посылно утешить, ободрить, напомнить крестьянству о той духовной крепости и чистоте, какие жили в нём многие столетия.

Словом, ваше писательское поколение знало и любило крестьянский мир, а посему и хотелось бы начать наш разговор с земли, ибо для русского человека в недалёкие времена не было ничего серьёзнее вопроса о земле. Недавно прочитал основательную мысль Достоевского, сказанную им в «Дневнике писателя»: «Русский человек с самого начала и никогда не мог и представить себя без земли... Уж когда свободы без земли не хотел принять, значит, земля у него прежде всего, земля — все, а уж из земли у него и все остальное, то есть свобода и жизнь, и честь, и семья, и детишки, и порядок, и церковь — одним словом все, что есть драгоценного».

В начале нынешнего века революционная власть изуверски обманула русский народ с землёй, потом огнём и мечом сгубила цвет крестьянства (я имею в виду кулаков), потом ещё и раскрестьянивала несколько десятилетий, сознательно и бессознательно, но вот теперь, благодаря многолетней борьбе лучших сынов крестьянского мира, благодаря тому же Василию Белову, писателю и депутату, члену Верховного Совета СССР, вышел наконец-таки Закон о земле. И вот в связи с этим Законом я гадаю: будет ли это началом духовного и хозяйственного возрождения русского крестьянства, а значит, и национального возрождения России?

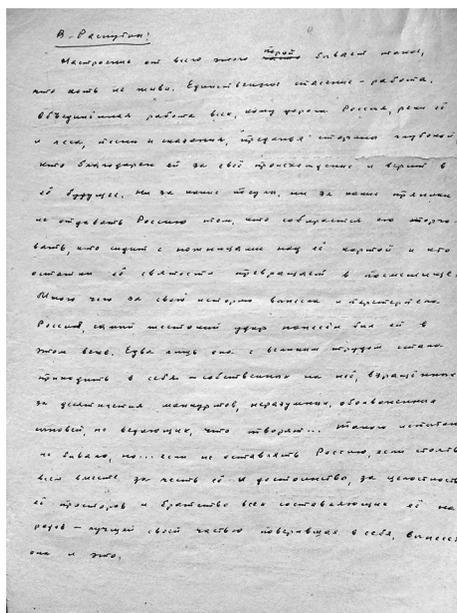
В. Распутин: Ты сказал здесь цитату из Достоевского, которую можно продолжить его же мыслью и тоже о земле. Она звучит так: «Это уже какой-то закон природы, не только в России, но и во всем свете... если в стране владение землей серьезное, то и все в этой стране будет серьезным, во всех то есть отношениях, и в самом общем и в частностях».

Воистину, это основа, альфа и омега любого общества, любого государства. На земле, на отношении к земле стоит всё — и материальное благополучие, и духовное, и нравственное, и настроение народа. И когда, как у нас, человек десятилетиями отлучался от земли и даже наказывался за хозяйское отношение к земле, эта противоестественность, эта несправедливость не могли сказаться только на крестьянине — это перешло на всё общество, на всю систему экономических и межчеловеческих отношений. Остался безземельным крестьянин — осталась без хозяина земля — осталось бездомным общество. А хуже этого ничего ни в каком государстве не бывает.

Но теперь вот Закон о земле. Какие есть надежды в связи с принятием Закона о земле? Думаю, наконец-то может явиться хозяйское отношение к земле, бережливое отношение к хлеборобной ниве. Это не есть, разумеется, только отношение к пашне, но — ко всему миру, связанному с пашней и чувством хозяина, — к природе, моральным законам, ценно-

стям труда и человеческой жизни; то есть человек займёт подобающее ему место в мироздании. Пашня — только ниточка, за которую потянется целый клубок взаимосвязанных оздоровительных понятий, но она та ниточка, которая способна распутать их и расположить в необходимом порядке.

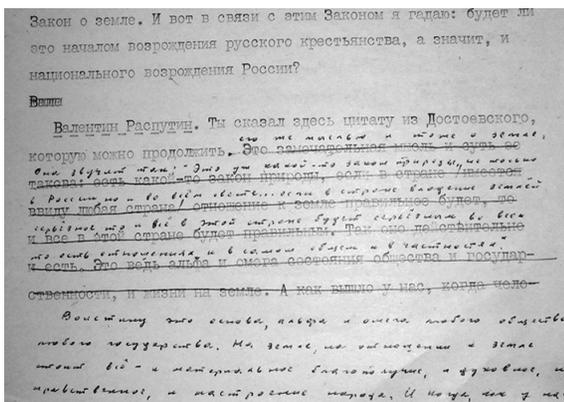
Это, конечно, очень важно сейчас — принятие Закона о земле, передача земли крестьянину. Будет ли это началом возрождения российского крестьянства, а значит, и началом возрождения России? Можно надеяться, что будет. Хотя за семь последних десятилетий чувство хозяина в мужике сильно ослабло, перешло в иждивенчество. Да и крестьянин, в сущности, перестал быть крестьянином. Ведь посмотри, само название *крестьянин* шло от «христианина». Насколько человек, работающий на земле, был в вере, насколько святым было его отношение к ниве хлеборобной. А сейчас крестьянин и не называет себя крестьянином — вроде как стыдится старопрежнего звания. Таким же манером было опорощено и уничтожено и слово, и понятие «мужик». А кто такой мужик? Это осторожный, основательный, работающий, мудрый, непостижимо выносливый, нравственно крепкий и суровый, православно милосердный россиянин, на горбу которого, как на китовой спине, столетиями держалась и процветала матушка-Россия. И вот дожили до лихолетья, когда мужик стал пониматься как червь земляной, как скот рабочий. Везде, на тех же съездах Советов, сельские работники называют себя аграрниками, а это совсем другое. Тут нечто чуждое, механически холодное, — *аграрник*. Если бы вместе с землёй вернуть крестьянину ещё и духовное начало, которое в нём жило веками, тогда бы, наверно, легче было вести речь о возрождении крестьянства.



Рукопись Валентина Распутина

Первородно крестьянское в сельском жителе сильно порастратилось, поэтому многие не хотят возвращаться к земле, брать наделы, отрубать, хозяйничать где-то на заимках, работать обособленно от деревни, от сельского мира, и работать от темна и до темна. Тут желающих мало. Сказывается, правда, ещё и недоверие к тому, насколько это серьёзно — передача земли. Не откажется ли власть от своих обещаний? Люди привыкли в последнее время не доверять власти. И, видимо, справедливо. Поэтому человек сегодня и к Закону о земле относится настороженно.

Всё вместе эти сроки оттянет — то есть отдалится само возрождение крестьянства, и рассчитывать, что завтра-послезавтра случится решительный перелом в сельском хозяйстве, разумеется, нельзя. Хотя я уверен, что в конце концов это произойдёт. И вот тогда весь круг крестьянского мира будет постепенно возвращаться: имеется в виду и быт, и традиции, которые крепили и духовно возвышали поселян, и само поклонное отношение к земле, к родителям своим, к могилам и заветам предков. Одна нить непременно потянет за собой другие. Когда человек встанет ногой на земле, он примется и душой на этой земле. Что касается национального возрождения России, здесь многое будет зависеть от той роли, которую выберет для себя интеллигенция. Если бы эти силы — крестьянская как нутро России, и интеллигентская как нервные её окончания, — сошлись в понятии России, сошлись в совместных трудах по очищению и возвращению духовных и культурных ценностей нации, тогда бы возрождение России состоялось. Я потому особо выделяю роль интеллигенции, что она, производя или импортируя новые идеи, распространяя их как передовые, не всегда умеет примерить их на характер и историческую судьбу своего народа,



Правки Валентина Распутина в тексте беседы

наш крестьянин превратится в фермера — только как производителя сельскохозяйственной продукции, без духовного крестьянского наполнения, без сопутствующего его труду особого мира обрядности и поэзии, — в таком случае придётся говорить о цели нашего возрождения как о хлебе едином.

А. Байбородин: В связи с Законом о земле, с фермерством, важно, в чьи руки попадёт земля — в руки земледельца или крупного землевладельца, который, чтобы воротить капитал и проценты, иссушит дотла силы земли и мужика, работающего на земле, а потом бросит их. Вот на съезде Советов Союза, в печати до хрипоты спорили по поводу колхозов. Есть мнение, что их нужно разогнать и повсеместно вводить фермерство. Но есть и, на мой взгляд, более трезвое суждение, что лучшие из них нужно укреплять и, может быть, переводить на истинный кооперативный путь, когда колхозник имел бы не только оплату за свой труд, но и пай от чистого дохода колхоза, и пай этот распределялся бы выборным советом и делился справедливо, по количеству и качеству труда. И тут бы можно поучиться у артелей, добывающих золото, где, при какой-то нравственной ущербности жизни и внутреннего мира приискателей, внешний принцип труда и распределения отработан чётко.

В. Распутин: Самое главное, не нужно разгонять колхозы и совхозы. Как говорил в своё время Александр Солженицын, такой большой стране необходимо многообразие. И в этой большой стране, на землях, лежащих в разных климатических условиях и в разных зонах, конечно, многообразие нужно и экономическое, то есть сельское многообразие. Пусть живут и колхозы, и совхозы, и фермерство, и подряды пусть будут — всё, что угодно, лишь бы это работало. Может колхозник или совхозник становиться и пайщиком. Только не надо в это бросаться как в панацею от всех бед. Есть хозяйства, подготовленные к этому, а есть совершенно не готовые. А просто так стать пайщиком, только для того чтобы им быть, из этого мало что получается. Здесь нужно соразмерить и возможности, и потребности. И тогда уж рассчитывать.

Я недавно побывал в совхозе недалеко от города Усолья-Сибирского. Это большое откормочное хозяйство, директор там народный депутат СССР И.А. Сумароков. Замечательное хозяйство, которое прекрасно работает. Хороший посёлок, почти город. Едва ли народ сейчас оттуда побежит за любыми пряниками. Быт устроен, зарплата хорошая; рабочие знают, чем будут заниматься завтра и послезавтра, знают, что в сложных условиях, которые предвидятся, не останутся ни голодными, ни брошенными. Крепкое хозяйство, крепкое руководство — так неужели же в погоне за новыми формами от всего этого отказаться?

А. Байбородин: Я думаю, крепкие колхозы ещё и потому не распадутся, что они по некоторым признакам близки российской деревенской общине. А в русском характере общинность испокон веку была заложена, обработана многими столетиями. Хотя, в отличие от колхоза, в общине гибко и праведно сочеталось единоличное владение землёй с мирским управлением этой землёй. Вот к чему должны бы прийти колхозы. В общине земля

на его национальную самобытность и своеобразие, и вносит в народное сознание немало сумбура. Как это ни горько, но у России нет или почти нет (ту, что есть, научились всячески чернить) преданной ей интеллигенции. Научная и техническая её часть соблазняется чужими образцами; творческая, как правило, служит мировой идее, не заботясь о той очевидной истине, что национальная идея и в мировую внесла бы больше свежести и пользы.

И, наконец, в сельском мире является и проблема фермерства. Если

вроде и принадлежит хозяину, но обращение с ней, мера её контролировалась советом старейшин или, попросту говоря, советом умудрённых стариков, у которых могучий земледельческий опыт, житейская мудрость сочетались с высочайшей нравственностью — как в христианской заповеди: будь кроток, как голубь, и мудр, как змея. Ранешний деревенский старик, глубоко православный, чаще всего иным и быть не мог, ибо готовил, очищал свою душу перед ликом грядущей вечности, а посему и мирской корысти у него было намного меньше, чем у молодого крестьянина, у которого ко всему ещё и мало было нажито мудрости, хозяйского опыта.

В одном из очерков о русском забайкальском крестьянстве я писал о внутриобщинных наказаниях за нерадивое отношение к земле у староверов — семейских. Одним из самых тяжких преступлений считалось в семейской общине преступление перед землёй (не засеял ли, поздно ли посеял, запустил ли ниву, не убрал ли хлеб вовремя — и зерно осыпалось), за которое у нас в Забайкалье потчевали «земляником» — попросту говоря, пороли плетью или замоченными тальниковыми вицами. В Словаре русских говоров Забайкалья, так и написано: «Земляника. Наказание крестьян плетью за плохое отношение к земле. <...> «Выходит староста из сборни, подходит к мужикам и говорит: кто седне должон землянику получать? — Вот им надо дать землянику. Хлеб у них на пашне наполовину осыпался» (Орлов Г.). «Поугощали нас, бывало, раньше земляником. Мой-то отец землянику не получал, а его братаник четырежды штаны спускал» (Катков И.)».

Бытовал миф о том, что ударом по общине явились реформы российского государственного деятеля Петра Аркадьевича Столыпина, хотя, как мы теперь знаем, премьер-министр России выразился ясно: «Закон не призван учить крестьян и навязывать им какие-либо теории, хотя бы эти теории и признавались законодателями совершенно основательными и правильными. Пусть каждый устраивается по-своему, и только тогда мы, действительно, поможем населению. <...> Нужно снять те оковы, которые наложены на крестьянство, и дать ему возможность самому избрать тот способ пользования землей, который наиболее его устраивает. <...> Пусть собственность эта будет общая там, где община еще не отжила, пусть она будет подворная там, где община уже не жизненна, но пусть она будет крепкая, пусть будет наследственная».

У русской общины в столыпинскую пору явно просматривался и недостаток — она затрудняла обогащение и развитие отдельного, наиболее расторопного крестьянина, и достоинство — она, тяготея к уравниловке, напоминала монастырскую общину, где не забывались участие, сострадание к слабому хозяину, к неудачливому, к пережившему житейское лихо. То есть община, проигрывая иногда в материальном смысле, выигрывала в человеческом, в православно-христианском.

В. Распутин: Община — это целый мир общения с землёй, пользования землёй, мир отношений между людьми. А что до колхозов, то они, действительно, близки к общине. Но возврат к ней, если он возможен, произойдёт лишь на новых основаниях. Время ушло, первородная русская община, которой интересовался Маркс, канула в Лету.

В самом деле, это был особый мир: духовность, справедливое распределение земли, общие склады — мангазеи — на случай неурожая или несчастий, свои законы, свой суд, свои авторитеты. Я вспоминаю послевоенную деревню в трудное и лихое время. Осиротевшая без мужиков, надорванная нуждой, забитая несправедливостью — подыхай с голоду, но гниющие в поле колоски не трогай, — она противопоставила этому лихолетью общинный дух, всем колхозом (понятие общины как «мира» тогда уже перешло в «колхоз»), спасая каждую попавшую в беду душу от властей и ретивых до исполнения законов людей. Потребовалось — вспомнилось и отыскалось само собой, будто тут и было, потому что общинность, союзность, товарищество в характере нашего народа и при благоприятных условиях (а благоприятные условия для нас это — «не мешай») они приносили и, надо надеяться, принесут ещё добрые плоды.

А. Байборodin: По сей день, кстати, выжили от исконной русской общины *помочи*, когда миром в деревне косят сено или рубят избу. Но, продолжая разговор о русском крестьянстве, мне было бы интересно услышать Ваше мнение о том, является ли сейчас наша

деревня незамутнённым родником духовности, нравственности? Об этом ведь в своё время немало и с любовью было написано прозаиками вашего поколения — я имею в виду деревенских писателей, деревенщиков. Я, ещё недавно сельский житель из глухомани, знаю, что мои земляки набрались тех же пороков, что и горожане, и в деревне, к тому же, все нравственные язвы как-то болезненно выпячены, ибо там не скроешься в бетонных муравейниках, в многолюдстве, там всё на виду. Говорят, если человеку сто раз сказать, что он свинья подкорытная, то он начинает хрюкать, а русскому народу, ещё недавно сплошь крестьянскому, это говорили несколько десятилетий после революции. Вот Михаил Пришвин в двадцатом году записал в своем дневнике: «Был у Каменева (Лев Розенфельд, председатель ВЦИК. — А.Б.), говорил ему о «свинстве» (отвращение к Октябрю): убийства, ложь, грабежи, демагогия, мелкота и проч., а он в каких-то забытых мною выражениях вывел так, что они-то (властители) не хотят свинства, и вовсе они не свиньи, а материал сви́нский (русский народ), что с этим народом ничего иного не поделаешь». И это сказано о народе, на духовность которого с надеждой на спасение смотрел весь мир.

В. Распутин: Можно говорить с большой натяжкой, что деревня остаётся источником духовности и нравственности. Хотя была крепостью нравов. И тем не менее, если в городе смывается, сливается чёрное, белое, порядочное, непорядочное, добро и зло, то в деревне всё это имеет грани. Но нравы сильно пострадали — и в первую очередь из-за пьянства.

Однако сам характер земледельческого труда предполагает нравственность — когда человек работает на земле, когда он хозяин. Сама природа нравственна, сама земля нравственна, и человек, который с ними связан, должен быть добрее и честнее, чем тот, который от земли оторван. Былинный источник силы от матери-родной земли — это ведь не просто красивый образ, а истина. Содержание этой истины и расшифровывается как раз теми словами Достоевского, с которых мы начали нашу беседу.

Вообще, говоря о возрождении, нетрудно, я думаю, понять, что оно начинается с «малости» — с осознания себя россиянами. Но посмотрите, сколько из-за этой «малости» идёт споров и с каким трудом она нам даётся!

А. Байбурдин: И вот тут трудно удержаться, чтобы опять же не привести вещи слова Достоевского по этому самому поводу: «Если общечеловечность есть идея национально русская, то прежде всего надо каждому стать русским, то есть самим собой, и тогда с первого шагу все изменится. Стать русским — значит перестать презирать народ свой. И как только европеец увидит, что мы начали уважать народ наш и национальность нашу, так тотчас же начнет и он нас самих уважать».

В деревне долго и крепко оберегался чисто русский характер со всеми его благами и огрехами. Чаще всего про деревенского мужика или бабу говорили: вот и на обличку, и на повадки чисто русские люди. Но теперь, похоже, и в деревне стал вырождаться этот своеобразный русский характер с присущей ему совестливостью, сердечной отзывчивостью, осторожностью, неторопливостью и основательностью, с редчайшей выносливостью и неприхотливостью.

В. Распутин: Тут надо говорить не только о русских. Сейчас деревня стала многонациональной, и чисто русские сёла редкость. Даже там, где были у нас в Сибири семейские общины, и они разбавлены. Но человек национально лучше помнит себя, конечно, в деревне — там даже в смешанных браках муж и жена могут грубовато подшучивать друг над другом, но чтить друг в друге и уважать национальные черты. Там долго хранились национальные традиции, обычаи, да и по сей день они живы.

Национальности не могут исчезнуть, как бы ни пытались некоторые «интернационалисты» создать человека мирового лица: сам этнос, если бы даже каждая клетка его задалась целью предать себя забвению, находит внутреннюю силу, которая умеет постоять за себя.

А. Байбурдин: Имеется и такая скорбная точка зрения, что национальное своеобразие, выраженное в трудовых и праздничных обрядах, в поговоре, костюме, исчезает под нажимом технического прогресса. Вот почти замер на Руси чисто крестьянский образ жизни, отходят в прошлое, порастают бльём наши поэтические обряды, связанные с пашней,

с природой в целом. И я с этой точкой зрения — что техническая цивилизация угнетает и умертвляет народную культуру, а вместе с ней и народную нравственность, — я с ней был согласен. Но вот, к примеру, Япония, сверхцивилизованная в техническом отношении страна, а ведь сохранила свое национальное своеобразие, свою обрядовую культуру. Хотя бы в какой-то мере, видимо, в чисто внешних проявлениях.

В. Распутин: Ты говоришь о Японии, где, казалось бы, научный и технический прогресс, которому все молятся, должен был подорвать национальное естество. Нет, этого не происходит, потому что превыше всего там стоит национальный дух.

Национальное самообережение у одних народов имеет спокойный эволюционный характер, как в той же Японии; в других случаях, как у нас, как в Европе, национальное самоохранение носит взрывчатый революционный характер. Но так или иначе, та сила, та цель, благодаря которым национальность была вызвана к жизни, требуют от человека исполнения своей воли. Интернациональное должно быть подчинено национальному; уважение народов друг к другу имеет своей предтечей самоуважение, то есть накопление и развитие в себе качеств, достойных уважения со стороны других.

А. Байбородин: Япония, насколько я представляю, ставит ощутимые заслоны — вот, к примеру, даже от китайцев, чтобы не раствориться в их сродственной, древней культуре.

В. Распутин: Едва ли у нас это возможно — я имею в виду национальные заслоны, — потому что наша страна многоязычна. Япония всё-таки однонациональна, хотя китайцев и корейцев там немало. Да, они заботятся о своих рядах: не так-то просто очутиться и осесть в Японии человеку другого мира. В японский мир трудно вжиться — из-за того же языка, из-за традиций, идущих из глубокой древности, которые невозможно усвоить, из-за чего-то на каждом шагу чисто своего японского, невыразимого, присущего только этому народу, что никогда не пристанет к постороннему.

Когда мы говорим *русские*, то зачастую имеем в виду духовную, а не родовую сущность. Впору говорить российские, поскольку с живущими в России народами мы настолько сжились, что неотделимы друг от друга. В пределах России принимать какие-то национально-оградительные меры бессмысленно и неправомерно, ибо вся Россия — община народов. Национальность у нас, повторяю, становится духовным, а не расовым понятием. Однако ни один народ, разумеется, не хотел бы, чтобы Россия обратилась в Вавилон; никто не согласится потерять свой язык, свою культуру, своё национальное лицо. И речь должна идти о их правовой защите со стороны государства, равно как о механизме духовной самозащиты. Второе мне представляется более важным и действенным.

* * *

А. Байбородин: Русские патриоты, кроме, видимо, отечественных национал-большевиков, считают, что возрождение русского народа невозможно без приобщения его к православию, поскольку лишь в Церкви, при всех её внутренних сложностях, хранились в посылной чистоте и крепости национальная духовность, как, собственно, и сама народная культура. Русская интеллигенция, ещё недавно за версту обегавшая православные храмы, теперь проявляет живой интерес к христианству и в какой-то мере и посылно даже приобщается к Церкви. А в будущем, можно предположить, к православию придут и рабочие с крестьянами, ибо не будет счастливой жизни без любви к Богу и ближнему.

В. Распутин: Возвращение к православию, вообще к религии, — это, пожалуй, самая большая неожиданность последнего времени...

А. Байбородин: Да, если учесть дозволенный и поощряемый светской пропагандой сатанизм «массовой культуры», которая насилует и угнетает наш дух на каждом шагу; тогда как народную и классическую культуру власть капитала нагло выпихнула на задворки...

В. Распутин: И началось обращение к православию ещё до перестройки, а когда появились для того возможности, — приобрело массовый характер. Пожалуй, и Церковь сама поначалу растерялась от нарастающего притока желающих вернуться в её лоно.

В Церкви меньше сельских жителей, это верно, но ведь и храмов в сёлах почти не оста-

лось. Хотя в крестьянстве черты православного человека больше сохранились. Для интеллигенции — это как бы возвращение блудного сына, крестьянский же мир в силу своего мироощущения не мог окончательно расстаться с христианским сознанием в полной мере и не был отлучен от религии. До храма далеко, школа, скажем, в Сибири в деревенском углу редкость, но настроение и религиозный календарь всегда оставались при нём, при крестьянине. Его чувство глубже, он под каждым пропагандным ветром не гнётся.

При внешнем взгляде: деревенский человек более консервативен, в нём труднее было вытравить Христа, но теперь труднее будет Его и вернуть обратно в крестьянскую душу. Хотя, опять же, самое старшее поколение наших сельчан в действительности с Ним и не разлучалось, изменился лишь язык и способ общения.

Это, разумеется, мнение «и не за всю деревню» — деревня сейчас разная, да ещё и при наших российских просторах, да ещё и при социальных переломах, которые не могли пройти бесследно для крестьянина, и все жё в общем, я думаю, это справедливое мнение.

А. Байбородин: Как и Вам, мне повезло: я прожил детство и юность в деревне, в глухоманном, за сотни вёрст от города, в озёрном, лесостепном забайкальском краю, ещё не загубленном технократами. Потом я несколько лет самоуком изучал народоведческую литературу, где, кстати, можно назвать имена великих русских учёных, которых мы после вынужденного семидесятилетнего забвения теперь открываем: Александр Афанасьев (не только собравший русские народные сказки, в волшебный мир которых мы погружаемся раньше, чем в жизнь, но и создавший гениальный труд «Поэтические воззрения славян на природу»), Сергей Максимов («О нечистой, неведомой, крестной силе», «Сибирь и каторга», «Куль хлеба» и многие другие произведения), Иван Снегирёв («Русские в своих пословицах»), Иван Сахаров («Сказания русского народа»), М. Забылин («Русский народ. Его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия»), А. Ермолов («Народная сельскохозяйственная мудрость в пословицах, поговорках и приметах»), Алексей Макаренко («Сибирский народный календарь»), Георгий Виноградов и другие. Все эти исследования — девятнадцатый век, и все они только теперь начинают издаваться. Если припомнить, что для русского человека («материал свиный», по Льву Каменеву-Розенфельду) была закрыта и сама история государства Российского, написанная Карамзиным, Соловьёвым, Ключевским, Костомаровым, как закрыта была духовная, православно-богословская литература, то вроде и поверишь невольно московской «Памяти», толкующей об антирусской, сатанинской силе, взявшей в кровавое лихолетье всю власть и потом надолго закрывшей русскому человеку доступ к своей великой культуре и истории.

Но об этом уже основательно сказано (особенно в литературе белой эмиграции), а мне, наблюдавшему, посилено изучавшему крестьянский быт, хотелось сказать, что в деревне православие имело много природно-языческих начал, и, возможно, таковым оно и будет в крестьянстве. Смирится ли с этим Русская православная церковь?

В. Распутин: Она с этим смирилась давно, столетия назад, даже не смирилась, а сознательно соединила в себе элементы языческого народного мировоззрения и собственного, христианского, не поступившись, разумеется, своими постулатами. Соединила — чтобы не уродовать народную душу, замешанную на поклонении природе, и в то же время своим Учением эту душу облагородить и возвысить. Православие даже некоторые свои праздники подстроило под старые языческие. Ну какой же русский человек без поверий в силы природы! Мы с тобой деревенского происхождения люди и знаем, что без тёмных, казалось бы, поверий в леших, домовых, банников, русалок наше детство было бы неизмеримо беднее. Ведь это же особый — богатый и поэтический мир, без которого мы, быть может, и не стали бы писателями. Так что язычество и православие противопоставлять нельзя, они срослись в едином древе, где старинные корни питают выгнутый к небу ствол с зелёной листвой. Русское крестьянство язычески крепко стояло на земле, но сердцем и главой обретало в христианском небе. Вообще, новая идеология только тогда приживается, когда она не уничтожает старую.

А. Байбородин: Дело в том, что если в городе православные храмы (отдельные хотя бы) ещё так-сяк выжили после страшной войны с ними безбожников-космополитов, то в деревне

с ними власть имущие расправились ещё круче — целые поколения сельчан прожили без храмов. Сейчас идёт восстановление церквей в городах, но деревня пока не может толком раскататься — вернее, трудно ей, ограбленной за семьдесят лет, обработанной духовно и материально, подняться на такое дело. Да и государство, культурная общественность пока ещё мало внимания обращают на проблему сельских храмов, да и сама Церковь, мне кажется, не знает, с какого бока к ним подступаться. Хотя и тут есть исключения. Вот недавно я посетил деревянную церковь в селе Большое Голоустное — она при царе была миссионерской, и там крестили иноверцев, чаще всего бурят. Издали её видать — красуется на высоком берегу Байкала, и вот теперь там идёт реставрация. Перед тем храм был повторно освящён иркутскими священниками во главе с архиепископом. И примечательно то, что церковное здание оживает не для кошуинства игрищ и забав, а для исполнения своего истинного, законного назначения — для православной службы. Теперь, словно бывшие иноверцы, могут окреститься в храме наши уже соплеменники.

В. Распутин: Да, сейчас и новые храмы строятся в городах, и старые оживают, вот и деревня принимается постепенно восстанавливать то, что сохранилось. Деревня от села чем отличалась? Деревня, где есть храм, это уже село. Так и сейчас, церковь будет приметой современного, знающего себе цену села.

* * *

А. Байборodin: Происхождение, пристрастия, писательская тема невольно увели наш разговор в деревню. Но теперь мне бы хотелось коснуться некоторых политических вопросов, имеющих прямое отношение к России. В своё время (это уж давненько, однако) Вы сказали в одном из выступлений, что, дескать, чего это Прибалтика пугает нас отделением. Что, может, лучше уж России отделиться? А Горбачёв в беседе с москвичами чуть позже сослался на ваши слова, прибавив (с неясным оттенком), что, мол, если бы Россия отделилась, то лет через пять-десять стала бы одной из самых могучих и богатых держав мира. Дескать, и такая есть точка зрения.

Но возможно ли в каком-то обозримом будущем отделение России от тех, кто выкормился подле неё, и от неё тех, кто теперь не желает жить с ней под одной крышей? И главное, может ли Россия вернуться к своему старинному, испытанному тысячелетием национальному способу управления державой? В конце концов, Англия, имея выборное демократическое правительство, не отказалась и от королевы, и гордится тем.

В. Распутин: Об отделении... Я не знаю, стала бы Россия в самостоятельности могучей державой; при мудром и строгом хозяйствовании, вероятно, и стала бы. Но тут другой вопрос. Всё-таки наше нынешнее государство строилось на основе России. В коренниках-то всегда была Русь, и держава крепилась ею. Отделение России, я думаю, было бы неверным и эгоистическим актом. Не для того собирали земли наши деды и прадеды, собирали в течение нескольких веков, чтобы мы сейчас шли на полный раскол ради собственного материального благополучия. Русский человек так устроен, что ему обязательно нужно кого-то опекать, о ком-то заботиться. Это одна из сторон той самой всемирной отзывчивости русского человека, о которой говорил Достоевский. Она ничего не имеет общего с имперским мышлением, которым ненавистники России постоянно тычут нам в нос, сознательно путая божий дар с яичницей. Традиционно русский не может быть узким, твердолобым националистом — просто по своему характеру не может. А в характере его — отдать с себя последнюю рубашку, даже и во вред себе. И потому малые народности в старой России чувствовали себя совсем неплохо. Лучше, чем в годы Советской власти. Хотя и после Октября им грех жаловаться на старшего брата. Ущемление их национальных прав, вытеснение языков и обычаев происходило в государстве, от начала и до конца идеологизированном вселенской космополитической идеей, которая фактически не признавала никакого национального своеобразия и от которой русский народ пострадал не меньше, а больше, чем другие. И сваливать на него свои беды и обиды, как это нередко сейчас делается на окраинах, слишком близоруко. Эти обиды справедливы, но по справедливости надо искать адрес, куда их направлять.

Недавно принят Союзный договор о федерации. На основании его, я думаю, кто хочет остаться, тот в Союзе останется, но это будет федерация республик на других основаниях — свободных, равноправных и дружественных. А тех, кто не хочет жить в Союзе, их и не надо силком держать. Зачем?! Но пусть они пройдут узаконенную систему выхода, какая определена. Нельзя же просто — фыркнули и дверью хлопнули. Даже в семье так не делается. Когда надумает отделиться кто-то из братьев, всей семьёй строят ему дом, обговаривают, как умнее и праведней провести раздел, а затем уж делятся. А тут тем более, речь идёт о государстве. Хлопать дверью — это некрасиво и безнравственно. И незаконно.

Но сейчас ещё важнее положение самой России. Вот здесь уж точно — Россия должна быть единой и неделимой. Не останется Союза, пострадает мир — если она превратится в княжеские владения. Крепить Россию сейчас — значит, крепить Союз.

И тут мы, кстати, в своей национальной политике рублили сук, на котором сидели. Тянули всё из России на окраины, а когда корень иссушили, естественно, стали хиреть и окраины — потому что нет живительного тока, всё подорвано. Словом, выход — вернуть благосостояние, могущество и авторитет России, и вокруг неё собраться всем народам, что сделают свой выбор в пользу Союза. Выбор в любую сторону должен быть народным мнением, а не митинговой декларацией горячих голов, спекулирующих именем народа.

Второй вопрос, видимо, надо так понимать: возможна ли в России конституционная монархия? В старой России это был способ правления, отвечающий характеру нашего народа. Почему и говорил Алексей Хомяков, неколебимый русский славянофил, что русский человек — это антигосударственный человек. Наше сегодняшнее сетование по поводу гражданской пассивности россиянина обосновано, но она, эта пассивность, имеет свои истоки в системе подчинения и соподчинения человека в старой России. Он привык исполнять ту роль, которая ему была отведена, не посягая на её расширение, чувствуя себя за монархической твердыней как за каменной стеной. Для него совесть выше писаных законов, к которым он всегда относился с опаской, а внутреннее устройство человека и жизни важнее внешнего. Вот почему и чувствует он себя неуютно в демократическом половодье, где, чтобы выдвинуться, надо расталкивать локтями других. Мало, что ли, среди россиян деловых людей, способных подняться на государственную вершину?! Есть они, пусть и не в изобилии, но вековая сдержанность, стыдливость и укоренившаяся самодостаточность не позволяют им, как правило, пользоваться нечистыми методами в борьбе за власть и обещать золотые горы. Там же, где это случается, — посмотрите, как глупо и карикатурно выглядит русский человек.

Можно ли в России возродить монархию? На это я отвечу словами И.А. Ильина, философа и публициста, много и верно в зарубежье размышлявшего о прошлой и будущей судьбе нашего Отечества. Будучи убеждённым монархистом, он писал: «Будущая форма государственного устройства России будет зависеть прежде всего и больше всего от того правосознания, которое обнаружится в русском народе после падения большевиков. Мы не можем ни предвидеть, ни предсказать его. Необходимого для введения монархии монархического правосознания в русском народе может не оказаться. Как же мы можем предсказать будущую форму именно в сторону монархии? Что же создаст в России монарх, если народ не пойдет за ним на жизнь и смерть?..»

От себя добавлю: нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Это была бы реставрация прошлого, что-то вроде музейного воссоздания минувшей эпохи.

А. Байбородин: Я же представляю это не как реставрацию и музейное воссоздание минувшего, а как возвращение к естественному и наиболее плодотворному управлению народом. Государство — прообраз большой семьи, где все домочадцы строго подчиняются отцу, доверяя всю внутрисемейную и внешнюю политику только ему, при этом занимаясь тем, что требуется семье, к чему есть дар. Своевольное чадо отец может сурово наказать в назидание тому, но отец же и полностью отвечает за своих домашних перед внешним миром, как отвечает и за то, чтобы они были сыты, одеты, обуты и защищены. При ином раскладе бывает трудно в большой семье сохранить мир и благоденствие. Отцу можно посоветовать, и он может послушать совета, но решать окончательно должен только отец,

а иначе, как говорят, у семи нянек дитя без глаза. Вот так и в государстве... А потом, надо помнить, что монархическому правлению тысячелетия. И тут нельзя забывать, что монарх российский был или старался быть человеком по-христиански духовным, праведным в самодержавном правлении. В связи с этим, думается, сопоставление верховного советского руководителя и русского монарха вряд ли будет в пользу первого.

В. Распутин: Всякая выборность слишком зависит от многих случайностей и нечистой политической игры. Монархия же передавалась по наследству. Наследника с пелёнок готовили к той роли, какую ему предстояло исполнять: и нравственно, и культурно, и политически. Не говоря уж о том, что монарх не мог быть неверующим человеком. Он чувствовал свою ответственность перед народом не на определенный срок, а на всю жизнь. Его власть, в сущности, была неограниченной и могла привести к деспотии, но ведь и вождь планку тирании поднял на космическую высоту. Условием справедливой монархии было — царь для страны, а не страна для царя, и этому условию династичность отвечала больше. И не было такого, как у нас теперь, когда всякая новая власть начинает оплёвывать прежнюю.

Не следует идеализировать наследственную монархию, но и забрасывать её по сую пору камнями тоже неразумно. Мы слишком грубо называем Николая Первого Палкиным, тогда как при нём подготавливались демократические реформы, которые потом его сыном были осуществлены. Мы знаем, что Манифестом 1905 года Россия стала едва ли не самой демократической страной в мире, — мы знаем это и по-прежнему талдычим о Николае Вешателе. А реформы Александра Второго и Александра Третьего — Россия ими готовилась к демократии русского образца. Она, эта отечественная демократия, естественно вращалась в русскую систему и естественно осуществлялась бы. Революция, делавшаяся ради демократии, сразу же её и попрали.

А. Байбородин: Видимо, была возможность истинного народовластия при Николае Втором — Дума, Правительство, царь — как в той же крестьянской общине: совет умудрённых житейски и хозяйственно стариков и староста как самодержавец. Но господа революционеры, которым чем хуже в России, тем лучше, они (революционная обстановка нарастает), конечно же, всем своим мировым скопом расшатали государство. Впрочем, об этом глубоко и основательно сказано историками, философами Русского зарубежья.

А что до политической свободы, то её при Николае Втором, кошунственно и подло обозванном кровавым, было во сто крат больше, чем при большевистском правлении. Революция принесла такой кровавый террор, такую деспотию, какую ещё не знала русская история, о которой и человечество мало подозревало. Когда вроде бы восторжествовала народная демократия, были загублены многие миллионы русских людей, являющих собой цвет российского духовенства, крестьянства, купечества, дворянства, интеллигенции. Или вот ещё пример: при том же Николае Втором существовали партии, готовые государственственный переворот; и эти бесчисленные партийцы (на загадочные средства) ездили за границу, возвращались, возили взад-вперёд газеты, листовки, оружие, типографское оборудование. Иные, правда, попадались, иные ускользали. А сколько революционных агитаторов, расшатывая мир, крутились в рабочей, крестьянской и солдатской среде! Представим на минуту даже не сталинские, а хрущёвские или брежневские времена и вообразим, что создалось нечто издали напоминающее партию, супротивную коммунистам и самому строю — да они бы не успели и пару раз собраться, не успели бы даже заикнуться о государственном перевороте, как их бы тут же прибрали к рукам и загнали туда, где Макар телят не пас.

Нет, при клятвом «царском режиме» свобод политических было много, трагически для России много; будь правление чуть строже — и, возможно, Россия бы не знала ни гражданской войны, ни кровавого террора, унесшего десятки миллионов жизней, и, возможно, была бы экономически, культурно одной из самых передовых держав. Да так бы оно и было, коль экономический уровень России 1913 года для нас уже нечто почти недостижимое.

Или вот ещё про царскую демократию... При императоре Николае Втором государственные преступники, готовившие переворот, сосланные к нам в Сибирь, жили ведь

намного лучше, чем политические советского времени. В нынешнем году я побывал в Верхоленске — большое старинное уездное село, там в своё время отбывал ссылку Лев Троцкий, и ведь жил, как говорится, кум королю, даже изловчился открыть в ссылке сапоговаляльную мастерскую, занялся вольным предпринимательством. Но неблагодарным оказался Троцкий, личность изуверская, напоминающая комендантов фашистских лагерей, о чём и написал Владимир Солоухин в своих «Камешках на ладони»: «Троцкий, развязавший на всей территории бывшей Российской империи чудовищный террор, какого не знало человечество за всю свою историю, Троцкий, на совести которого десятки миллионов человеческих жизней, причем самых добрых, самых красивых, лучших людей, совершенно невинных людей, этот Троцкий в последние годы перед смертью, оказывается, разводил кроликов и, говорят, трогательно любил этих животных». Так и видится фашистский палац, играющий на фортепьяно бетховенскую сонату и ласкающий породистого пса.

А Ленин... Жил, будучи ссылкой, в доме богатого шушенского мужика, охотился (кстати, наколотил прикладом ружья полную лодку зайцев, которые спасались от осенней ледяной шуги на острове), получал из казны деньги на содержание, получал и книги, много читал, писал. Вроде как наш сердобольный царь послал его на творческую дачу, чтобы оздоровиться на ядрёном сибирском воздухе, отдохнул от революционной нервотрёпки, сошёлся ближе с простонародьем, а главное, на славу поработал, написал свои труды — как залить кровью Россию. Советским политссылным такие курорты не устраивали, достаточно вспомнить, как умирал в Томске от голода, холода и болезней великий русский поэт Николай Клюев, который и переворотов-то никаких государственных не замышлял, который лишь в поэме «Погорельщина» высказался неодобрительно о новых порядках.

Я думаю, припела пора объективно глянуть на русскую историю прошлого и нынешнего века, и тогда, может быть, мы с любовью и почтением отнесёмся к нашим государям, которые всё же немало сделали для процветания народов России. Надо всё же восстановить памятники российским государям. В Иркутске, к примеру, вместо серого, убогого штыря, что стоит на набережной Ангары, поставить памятник, какой там был на законном постаменте, — памятник Александру Третьему.

В. Распутин: Памятник Александру Третьему ставился в связи со строительством Транссибирской магистрали, покровителем которой при жизни он и был и которой много послужил как государственный муж. В одинаковом исполнении памятники стояли в начале, конце и середине Великой дороги на восток. Иркутск — середина этого пути, неподалёку от него, как известно, есть станция Половина.

Но прежде чем возрождать памятники российским государям, надо, полагаю, очистить для этого духовную территорию и отказаться от названий улиц, посёлков, городов именами людей, которые явно себя скомпрометировали и которые не только не дали никакого блага народу, но принесли ему немало горя. В Иркутске пора отказать в чести Свердлову, Урицкому, Ярославскому, террористам вроде Софьи Перовской, Халтурина, деятелям французской революции, у которых руки по локоть в крови, тем же «прославившим» себя «интернационалистам» более поздних времён. В каждом городе, в каждом селе всего этого в избытке, и хотели мы того или не хотели, но продолжаем поклоняться тем, кого на нормальном языке давно следует называть собственными именами. Посмотрите: вернули Твери подлинное старинное имя — и сразу как-то уютнее и надёжнее стало на душе.

А. Байборodin: И всё же мне хотелось бы снова вернуться к разговору о наших российских государях, потому что не сказано главное или сказано мимоходом. Мы вот говорили, вернее, сопоставляли наших верховных советских руководителей и государей, и самое существенное их различие, на мой взгляд, в том, что православный царь был помазанником Божьим, что означает, если перевести на мирской язык, — был или старался быть и страстным патриотом России, и совестью народной. Помазанник Божий — тут великий принцип, требующий от царя, чтобы *правил по-божески*, это и предполагало неусыпный надзор над правителем со стороны Русской православной церкви.

В. Распутин: Разумеется, император чувствовал свою особую роль. Эта была и человеческая, и надчеловеческая роль одновременно. Его готовили, и он готовил себя к этой

роли — Отца народа. То, что делал, считалось справедливым. Это не значит, что он считал себя не от мира сего — напротив, он обязан был поддержать в себе этот авторитет уровнем нравственности. Достоинство всякого народа крепится достоинством его руководителя. Но это относится не только к монархии.

А. Байбородин: Русской православной церковью в зарубежье канонизирована коварно убиенная семья императора Николая Второго...

В. Распутин: В том, что она будет канонизирована и у нас в России, я не сомневаюсь. Я уверен, что со временем — и об этом уже начинают поговаривать — дойдёт дело и до канонизации Достоевского.

А. Байбородин: Когда мы заговорили о наших самодержцах, мне вспомнился писатель Дмитрий Балашов, так талантливо, с проникновением в дух и слово эпохи написавший о них, создавший романский цикл «Государи Московские». Недавно я с трудом приобрёл книгу Владимира Личутина «Душа неизъяснимая. Размышления о русском народе», где есть очерк о Дмитрие Балашове. Какая дивная, талантливая личность: писатель, историк-этнограф, фольклорист, крестьянин...

В. Распутин: Балашов — удивительный человек, удивительный литератор. После Всеволода Никаноровича Иванова он лучший наш исторический писатель. Те пять книг, которые Балашов написал о русской истории, не оценённый по достоинству да и не оцененный вклад в национальное сознание и возвращение прошлого в духовный обиход настоящего. Но у нас так: чем крупнее, значительнее писатель, тем он незаметней. Хотя сейчас, когда у россиянина пробудился интерес к русской истории, думаю, что Дмитрия Балашова узнают, полюбят и избранные читатели. Русское зарубежье давно уже зачитывается Балашовым, книги его там нарахват.

Но Балашов не только писатель, а и учёный, у которого есть крупные работы по фольклору, они выходили отдельными книгами. А самое примечательное — размышляя в книгах о преданиях, повериях и характере русского крестьянства, писатель и сам крестьянствовал: жил в деревне, держал коров, лошадей. Необычный человек, с сильным северным характером, а это такой особенный характер. Когда смотришь на Дмитрия Балашова, на Личутина, Белова, когда вспоминаешь покойных Клюева, Шергина, Писахова, Абрамова, Яшина, Рубцова, — видишь поражающе выразительный портрет. Что ни писатель — воистину народный; что ни личность — самобытная, уважающая себя, упорная до упрямства, талантливая, национально выраженная и в языке, и в жизни, вся какая-то прочная. Про таких говорят: колуном не свалишь. Северный русский характер (а он и в Сибирь пришёл) невольно подаёт надежду на то, что в любых шатаниях и метаниях, как бы ни ломали и ни гнули нас, выстоим и укрепимся.

А. Байбородин: Удивительно в Балашове даже и то, что он всю жизнь ходит в русской рубахе с расписанным вышивкой косым воротом, подпоясанной ремешком, в шароварах, заправленных в яловые или хромовые сапоги. Ведь для того чтобы носить крестьянский исконный наряд, немалая по нынешним временам смелость нужна, убеждения нужно иметь неколебимые, чтобы это не походило на балаган, на причуду.

В. Распутин: Это не причуда, а если бы и была причуда, я к ней отношусь с уважением. Мы вместе были в Италии, в Венеции. Там ничем никого не удивишь, всяких повидали, но когда Дмитрий Балашов проходил в своей красной расписной рубахе — на него заглядывались. Да и само лицо — красивое, аскетичное, с горящими глазами, как из древности, невольно притягивало к себе внимание. Это походило бы на балаган, если бы он простолюдинствовал от случая к случаю, а он же постоянно такой. Он в сапогах ходит в деревне, и в Кремль приходит в сапогах. Такой же был Виталий Закруткин в своей неизменной фронтальной гимнастёрке.

А. Байбородин: Балашов напомнил мне знаменитого собирателя народных песен Павла Якушкина — выходец из старинного дворянского рода, он, в отличие от Ивана Бунина, совершенно равнодушно относился к своему столбовому дворянству и всю жизнь бродил по Руси в русском, полукрестьянском, полумещанском наряде. В нём он собирал старины по деревням и сёлам, в нём же являлся в благородные собрания и столичные теа-

тры. Вот тоже своеобразный был человек... Впрочем, я считаю, что русский наряд должен возродиться, и мы, русские люди, для начала хотя бы на старинные праздники должны надевать его.

Ну, а теперь, коль мы заговорили о писателе Балашове, то хотелось бы порасспросить Вас о российских литературных делах. Многие наши писатели уже давно с головой окунулись в изматывающую практическую борьбу за Россию, и литература вроде как отошла в тень.

В. Распутин: После литературной эпохи, которая продолжалась, если вести отсчёт от первого съезда писателей, более полувека, теперь, похоже, наступил литературный момент. Сколько он продлится, трудно сказать, но, поскольку это момент, должен вскоре прийти к какому-то завершению. Политическая ситуация в стране и в России очень сложная, от неё сегодня, сейчас зависит, что ждёт нас завтра, и не отозваться на эту ситуацию писатель не мог. Бывшие друзья рассорились, прежние единомышленники разошлись во взглядах, какая нам нужна Россия. Каждый считает, что прав он и его союзники. А Россия, как никогда ободранная и оболганная, между тем ждёт, что ей уготовано. Помните, у Твардовского:

*Так-то, Теркин,
Так примерно, —
Не поймешь, где фронт, где тыл...
В окружение в сорок первом
Хоть какой, но выход был.*

Может ведь и так случиться, что, решив не изменять своему таланту и не отвлекаться от художественности, ни за понюх табаку мы отдадим Россию из огня да в полымя, — тогда некому станет и книги читать. Поэтому, чтобы кто-то мог относительно спокойно работать, замечательный писатель Василий Белов вынужден оставить на время письменный стол и принимать Закон о земле. И я не берусь утверждать, что без Белова этот закон был бы наверняка утверждён. У крестьянства, способного благодаря ему возродиться, достаточно противников и справа, и слева, и в середине. А без крестьянства, как мы уже говорили, России не остаться Россией. Вывеску под новым заведением могут на какое-то время оставить, а затем и вывеску снимут. И возглавит тогда она, матушка, список топонимических названий, изъятых из народного обращения.

Писатель не своей волей, я думаю, решает, что ему делать, — тут какая-то другая сила властно повелевает. Как бы сама литература распределяет, куда кому пойти и чем заниматься. Ну, а те художественные книги, какие мог написать за эти годы Белов, их читатель, конечно, не досчитается и немало потеряет, но обретёт, быть может, нечто гораздо большее.

В истории отечественной литературы немало примеров, когда писатель и словом и делом целиком отдавался политической борьбе на благо России. А «Братья Карамазовы», «Бесы»! Это ведь во многом публицистические произведения. Особенно «Бесы». Публицистика для русского писателя, начиная со «Слова о полку Игореве» и «Слова о Законе и Благодати» митрополита Илариона, — это свойство души, воинский вклад в походе за святую Русь, когда ей угрожали внешние или внутренние враги. Так было, так будет, доколе останется на земле хоть одно русское перо.

А. Байбородин: Наконец-то к русскому читателю пробилась литература белой эмиграции, вернее, литература насильственно изгнанных. Николай Гумилёв, Марина Цветаева — её книга стихов «Лебединый стан» о Белой гвардии — высокая, страстная, наполненная плачем по Руси, истинно лебединая песня. Но мы открываем и новые имена прекрасных русских писателей — Иван Шмелёв, Борис Зайцев, Иван Ильин...

В. Распутин: Марину Цветаеву, Бунина мы знаем неплохо, хотя они ведь тоже из белой эмиграции. Но вот есть у Ивана Ильина, можно сказать, классического русского мыслителя, на которого я уже ссылался, казалось бы, не свойственная ему работа по литературной критике. Речь идёт о статье «О тьме и просветлении». И даёт он в ней срав-

нительные характеристики Шмелёва, Ремизова и Бунина. Кстати, эта работа заслуживает издания и стала бы замечательным пособием для нынешних критиков. Так вот, Ильин считает Ивана Бунина великолепным натуралистом языческого, додуховного опыта, а Ивана Шмелёва — художником, постигшим молитвенный свет. Шмелёв, может быть, самый глубокий писатель русской послереволюционной эмиграции, да и не только эмиграции. Не хочется сравнивать, строить в какую-то череду писателей, но Шмелёв, без всякого сомнения, — писатель огромной духовной мощи, христианской чистоты и светлости души. Его «Лето Господне», «Богомолье», «Неупиваемая чаша» и другие творения — это даже не просто русская литературная классика, это, кажется, помеченное и высветленное самим Божьим духом.

Вот ещё Борис Зайцев — его мы тоже мало знаем. Художник иссушающей тоски по России. Это даже и не ностальгия, это крик по России, как и у поэта Георгия Иванова.

Мы вели речь о белой эмиграции, или, как её обозначают, — эмиграции первой волны. Ни вторая, ни третья такой литературы не создали. Первая волна ведь не убежала от России, была изгнана, стала разделённой частью России. Мы остались на земле Русской, а они унесли русский дух, и на расстоянии, и в разлуке видели нашу Родину лучше, чем мы, находящиеся внутри её.

А. Байбородин: В третьей волне эмиграции особняком держится только Александр Солженицын², который, как мне думается, своими православными воззрениями, своим русским патриотизмом ближе стоит к белой эмиграции. Только неколебимый патриот мог сказать из изгнания, не помня обид: «Я люблю свою Родину. Я хочу, чтобы моя страна, которая больна, которую 70 лет уничтожали и которая находится на грани смерти, возродилась к жизни».

Вокруг Солженицына наши доморожденные «демократы», интернационалисты с мировой идеей наптели много лишнего, насильно притягивая писателя, завершённо православного человека, русского патриота, к диссидентству на западнический манер, ставя его имя рядом с именем покойного академика Андрея Сахарова. Совпадая взглядами на этапе критики советской действительности, они всё же разошлись в основах мировоззрений, во взглядах на послереволюционную историю, на будущее устройство России. И теперь те же «демократы», которые так шумно суетились вокруг имени Солженицына, видя в нём лишь антисоветчика, начинают откровенно набрасываться. Рой Медведев, в своё время немало и похвально писавший о Солженицыне, вдруг выступает в журнале «Новое время» с резкой критикой писателя, и критикует не какие-то огрехи в писаниях, не просчёты в исторических оценках, а сами коренные убеждения Солженицына, его основную концепцию о том, что кровавый террор начался сразу после Октября и что между сталинскими и досталинскими репрессиями никакой разницы нет — просто лилась российская кровь, уничтожалось государство. Рой Медведев всё же считает, что сразу после революции текла неизбежная «законная» кровь россиян, а вот в тридцать седьмом и дальше полилась «праведная». «Я знаком с его точкой зрения (прямая параллель между досталинским и сталинским террором. — А.Б.), — говорит Рой Медведев в беседе с журналистом, — но не разделяю ее. <...> «Архипелаг ГУЛАГ», — может быть, это самое значительное из того, что написано на эту тему лагерной и окологлажной жизни. Но сама концепция книги, на мой взгляд, ложная». Вот так, ни много ни мало — сразу ложная.

Солженицына однажды в печати назвали явлением, предтечей которого был Достоевский. Думается, что это не совсем так. Достоевский — всё же писатель, писавший уже в прошлом веке — начале нынешнего века, когда к власти в России пришли самозванно люди, презирающие всё коренное русское, когда пришли разрушители тысячелетней российской государственности и национальной памяти. И Достоевский же, указывая на особую, спасительную для человечества духовность русского человека, видел в нём и

²Беседа писалась, напомню, четверть века назад, и лет через десять, а может, и раньше, я всё же осмыслил роль Солженицына в русской истории и русской литературе XX века, и от бывшего восторга осталось лишь разочарование. Но это особая тема... Изменил ли В. Распутин отношение к Солженицыну или не изменил, не знаю; последние лет пять он уже не упоминал его в публичных речах и беседах.

(особенно в интеллигенции) нигилистические, бунтарские наклонности, которые могут быть использованы заговорщиками. А Солженицын — писатель, верно написавший уже пережитое народом, виденное и прочувствованное самим, подбираясь к истокам зла, к его корням, на которые раньше указал Достоевский.

В. Распутин: С предтечей, думаю, это обмолвка или как-то не так изъято из контекста... Предтеча — подготовка, подготовление главной фигуры, и, стало быть, на порядок ниже её. Сравнивать того и другого нельзя. Это совершенно самостоятельные фигуры, великие личности — тот и другой. Достоевский — житель духовного мира, заглядывающий в материальный; Солженицын — материального, знающий духовный. Достоевский был последний писатель дореволюционной России, кто знал пути её спасения, во весь голос говорил о них, но и предвидел, что спасением своим она не воспользуется. Солженицын стал первым писателем такого масштаба, кто оболваненную Россию привёл на место её трагического выбора и показал, как и почему, благодаря каким бесовским силам она изменила самой себе.

Заметьте, тот и другой — и Достоевский, и Солженицын — прошли через каторгу, хотя опыт Солженицына был и горше и масштабней; тот и другой выстрадали своё провидение, но в двадцатом веке оно, провидение, потребовало другого языка, другого взгляда, — обращённого в прошлое, чтобы собирать пожитки для будущего.

У них много общего, хотя они совсем, совсем разные. Но оба — как верстовые столбы на мученическом пути России. Ещё молчали почти все, отводя душу в анекдотах, но нашёлся человек и сказал всю горькую правду. Мы говорим, что правда прорастает из-под любого камня — точно так же поднялся Солженицын. Он поднялся первым, потом легче было разгибать спину другим. Для этого нужно было иметь и мужество, и талант. А ещё важно было сберечь и преумножить талант за проклятые годы лагерей. Ведь Солженицын начинал писать в молодости, затем фронт — там не до рукописей; затем тюрьма и лагеря, где тоже не отводили кабинета для самообразования и полезного чтения. И всё-таки человек настолько огромной силы воли, настолько могучего духа, что продолжал работать и в этих условиях. И когда вышла повесть «Один день Ивана Денисовича» — это было как потрясение. Воистину, охота пуще неволи. Затем «Матрёнин двор», «Раковый корпус»... А два последних года для читателей России и вовсе проходят под знаком Солженицына, и если бы наше любезное Отечество, как во времена Достоевского, захотело внять урокам нашего великого современника, на многое бы у неё открылись глаза и по-другому смотрела бы она на происходящее.

* * *

А. Байборodin: Солженицын, а ранее Достоевский, говорили о том, что в России есть определённо люди, которые радуются русским неудачам, потому что неудачи — это шатание, постепенное разрушение российской государственности и, главное, нарастание взрывной обстановки, приближение того вождельного, смутного времени, когда можно будет взять в руки власть.

В. Распутин: Солженицын в «Красном колесе» как раз и пишет о подготовке русской революции, о её составляющих, об общественном мнении, которое не одно десятилетие вело подрывную работу, пока не произошёл взрыв. Это был, за малыми исключениями, всеобщий общественный соблазн, круговое опьянение — долой! — и никаких. Хотя по темпам экономического развития Россия к Первой мировой войне вышла на одно из ведущих мест в мире. О политических свободах мы уже говорили, у правительства не имелось даже собственной газеты, где бы оно могло защищаться от дружных нападков.

А теперь сравним: да, нынешнее правительство экономикой похвалиться не в состоянии — развал, что называется, по всем швам. Но урок Февраля семнадцатого, а затем и Октября учит нас, что благополучие не остановило бы вакханалию («волконалию» у А. Ремизова) так называемой «демократии», если у неё развязаны руки, в поддержку ей всегда что-нибудь подворачивается — то война, то разруха.

А насчёт того, что часть интеллигенции радовалась государственным неудачам в конце прошлого и начале нынешнего века. Да, так оно и было. Радовалась неудачам в Русско-японской войне, всему радовалась, что подрывало авторитет царя и правительства. Как и ныне, когда чем хуже, тем лучше.

А. Байбородин: В досельные-то времена российские интеллигенты-гуманисты с «мировой идеей» боялись русских успехов ещё и потому, что от них якобы может в русском человеке разыграться национальная гордость, а это для «граждан мира» — сразу и национализм, и шовинизм, антисемитизм. Тут сказывалось разное отношение интеллигенции к русскому народу вообще, который ещё в начале нынешнего века сплошь был крестьянским.

Об отношении Достоевского, Горького (да и своёю тоже) к русскому народу прямо и откровенно сказал писатель Куприн: «Когда говорят «русский народ», я всегда думаю — «русский крестьянин». Да и как же иначе думать, если мужик составлял 80 процентов русского народонаселения. Я, право, не знаю, кто он, богоносец ли, по Достоевскому, или свинья, по Горькому. Я знаю только, что я ему бесконечно много должен, ел его хлеб, писал и думал на его чудесном языке, и за все это не дал ему ни соринки. Сказал бы, что люблю его, но какая же это любовь без всякой надежды на взаимность». Вот на этой почве — отношение к русскому народу — в Горьком выросло воинственное неприятие Достоевского. Георгий Вяткин, сибирский писатель начала нынешнего века, в книге «Возвращение», изданной в Иркутске в 1987 году, приводит свою беседу с Горьким.

«И ещё сильнее поразило меня высказывание о Достоевском:

— С другой стороны, — продолжал Алексей Максимович, — на нас заметно влияет мрачная философия Достоевского... Против этого я горячо протестовал бы, ибо, по-моему — страдание вредно, оно не углубляет человека, а унижает его, и это особенно надо помнить нам, русским, чья многовековая история была сплошным (?) страданием — сплошным (?) унижением. Каторга убила в Достоевском его живую душу... Нет, мы слишком много покорялись и прощали, и не слушать, а преодолевать должны мы Достоевского. Он — наш национальный враг... **Достоевский — национальный враг...**» (выделено мною. — А. Б.)

И это отношение Горького к русской истории, к русскому народу в целом позволили ему согласиться с идеей «безумных и храбрых», что этот крестьянский народ, «этот пестрый, неуклюжий, ленивый человеческий муравейник, именуемый Россия», вполне может послужить объектом революционного опыта, вязанкой хвороста, которая, может быть, сгорев, запалит пожар мировой социальной революции. Обо всем этом Алексей Максимович и написал в 1920 году в очерке «Владимир Ильич Ленин», где он называет Ленина — «первый и самый безумный» и поёт ему славу за то, что тот отважился зажечь этот «хворост». «Каждый получает то, что заслужил, — это справедливо, — пишет «великий гуманист» Горький. — Народ, загнивший в духоте монархии, бездеятельный и безвольный, лишенный веры в себя, недостаточно «буржуазный», чтобы быть сильным в сопротивлении, и недостаточно сильный, чтобы убить в себе нищенски, но цепко усвоенное стремление к буржуазному благополучию, — этот народ, по логике бездарной истории своей, очевидно должен пережить все драмы и трагедии, обязательные для существования пассивного и живущего в эпоху зверски развитой борьбы классов...» Тут уж растолкования излишни, тут всё ясно.

Наш разговор, видимо, не случайно всё же, постоянно сворачивает к русским и российским вопросам, и, тем не менее, хотелось бы опять вернуться к нынешней литературной жизни в России... Поколению, которое в литературе идёт следом за вашим, кажется, стало ещё труднее, чем в «застойные» времена, пробиться к читателю — резкое размежевание на «левых западников» и российских самобытников-патриотов повлекло за собой размежевание критики, газет, журналов, размежевание это вышло отнюдь не в пользу молодых писателей, скажем, настроенных патриотически. Если раньше всё же старались литературное произведение измерять по художественным достоинствам, что, правда, не исключало «красную» конъюнктуру, то теперь все критерии размыты. Наступил какой-то сплошной хаос в литературном процессе.

В. Распутин: В прежние, как говорят, застойные времена, можно было хоть спокойно работать. Мы говорим: цензура, цензура! Цензура, конечно, писателю не мама родная, от неё пострадали и Белов, и Абрамов, и Виктор Астафьев, у которого было много выброшено из замечательной повести «Пастух и пастушка». Сейчас он восстановил текст, это уже совсем другая книга. Нет, я не говорю, что цензура благо, но и не могу согласиться с теми, кто собственную лень, бездарность и вздорность оправдывает невозможностью и слова сказать в подцензурных условиях. Неправда это. Говорили, и говорили неплохо. Только в послевоенное время — Овечкин, Тендряков, Троепольский, Быков, Абрамов, Твардовский, Залыгин, Можаяев, Гончар и другие — да без них бы и правду, и совесть, и веру извратили так, что не на чем было бы порядочному человеку и стоять.

Самое же страшное в те времена, о чём мы поминали, — напроць оказалась отсеченной отечественная история и общественная мысль. Будто и не было никогда «Истории государства Российского», книг Хомякова, Киреевских, Данилевского, Соловьёва, Леонтьева, Фёдорова, Розанова и многих других. Все чёрной краской: реакционеры! Цензуровали книги Гоголя, Достоевского... С такой цензурой теперешние «демократы», пожалуй, готовы и согласиться втихомолку. Белинский, Чернышевский, Добролюбов, Писарев, Радищев были доступны — то есть всё, что лепило из России в прошлом одно лишь «тёмное царство», образовывало нашего гражданина с пелёнок и загоняло его в узкий коридор представлений о своём Отечестве. Так вот, о «застойных» временах... Официальные духовные и нравственные ценности навязывались одни, но литература держалась незыблемых, вечных, и тут никакая цензура ничего с ней поделать не могла. Да это было и не в интересах государства. Человеку приходилось жить действительно двойной моралью, и государственный надзор как бы молчаливо с этим соглашался, не в силах отказаться от догматического, бывшего его основанием панциря, но и сознавая, что в одной лишь догме человек задохнётся и омертвеет окончательно. Мы вправе жаловаться на цензуру, но надо признать: то, что всё же позволялось литературе, не позволялось другим искусствам. И она, художественная литература, своим шансом, своей особой ролью в обществе воспользовалась прекрасно, и если за два-три поколения человек нравственно всё-таки выстоял, заслуга литературы тут не из последних. В том числе и «деревенской» литературы. В самые лживые годы были писатели из современников, к которым миллионы людей обращались точно к исповедникам и находили спасительную опору.

И сравним, что теперь. В сумерках истории литература и светила, и направляла, а как выбрались на открытое место, — все ценности, все добродетели в черепки, и самая добрая книга потускнела перед разгулом общественных страстей.

А. Байбородин: Официальная пропаганда, к которой всегда примыкала часть художественного творчества, от лицемерия, двойной морали резко повернула к цинизму. И человек, кажется, стал перед выбором: социалистическое лицемерие или буржуазный, коммерческий цинизм? Что лучше? Этот коммерческий цинизм в культуре особенно ярко выразился в комсомольских изданиях. И начались нападки на художников, которые и в застойные времена подсознательно и сознательно опирались в своих творениях на вековые, национальные, скажем, христианские духовные ценности. Почитаешь критические статьи в «Огоньке» — Господи, сколько злобы, сколько ядовитой ненависти к писателям российского патриотического склада. Таким остервенелым лаем разве что Александра Исаевича Солженицына сопровождали в изгнание.

В. Распутин: Об этом трудно, да и не хочется говорить. Водиться и разбираться с этой публикой не делает чести, но и не отвечать нельзя — примут за слабость, за то, что нечем отвечать. Особенно яростным нападкам подвергается ныне всякое упоминание, всякое обращение к патриотическому чувству. Договорились до последнего: «Патриотизм — это свойство негодяев». Россию хотят обесславить и обеззащитить окончательно, чтобы потом без помех на торг и панель её — кто дороже даст. Это бесчестная игра, когда святые чувства, соединяющие человека со своей землёй и народом, пытаются столкнуть в яму с нечистотами. Не в первый раз возникает братство ненавистников самостоятельной, самобытной России, и ничего тут нового или «демократического» нет, но Россия от этой

«традиции» всякий раз несёт непоправимый урон. Что руководит ими? Да всё то же: родина там, где лучше кормят, где богаче витрины и свободней нравы, вот отчего и «деревенщики», через малую родину проповедывавшие любовь и сбережение к Родине большой, сделались для них сразу мракобесами.

А. Байбородин: Думаю, пока «деревенские» писатели поругивали русский народ и поругивали, очевидно, справедливо (конечно, и с болью, и любовью к нему), пока во всех послеоктябрьских бедах (террор, унесший цвет русского народа, раскрестьянивание, расказачивание, а главное, разрушение православных храмов и гонения на саму веру), — пока во всём этом винули лишь сам народ, демократы и патриоты боролись с царством большевистской лжи в одной упряжке. Но как только в русских художниках наконец-то пробудилась гордость за свой народ, за Отечество, когда стали осознавать кто, как и зачем, оболванив народ, вывел его на плаху, когда заговорили о продолжении вытекающего из веков самобытного пути России, вот тут-то «левая» критика и обрушилась на писателей-патриотов, завопила: мол, не надо искать врагов извне самого русского народа — вся трагедия россиян уже и в самой рабской русской душе.

В. Распутин: И столько грязи вылили на эту душу, столько предъявили ей обвинений, так брызжут над ней слюной, а нет оглянуться на себя: вы ведь считаете себя лучшими, передовыми, цивилизованными — и такая брань! Не выдаёте ли вы себя не за то, чем в действительности являетесь? Полно, господа! Ведь она, душа эта, только-только стала приподниматься и оглядываться, куда её, бедную, затуркали, а тут на неё со всех сторон: цыц! Не имеешь права! Не имеешь права в цивилизованном обществе находиться, не вышла породой. Ну, не расизм ли с другого конца?!

Кому, спрашивается, нужна безликая, бесславная и бессловесная Россия? Если смотреть на неё как на вожделенную и выгодную подстилку для богатых партнёров — тогда да, тогда понятно. Но в таком случае наши «душеведы» больше, чем на сутенёров, не потянут. Если же мы искренно печёмся о могучей и светлой России, достойном члене мирового сообщества, то как же ей без своих традиций, обычаев, песен, без русского языка, без святынь! И что это, простите, за народ, если он не будет уважать себя! Всех уважай, а себя не смей — где ж он возьмёт уважение к другим, если не выработает его к себе! Нет, в интересах всего мира, каждой нации, большой и малой, чтобы Россия имела свои краски, особенности, свою мысль.

Я не хочу этим сказать, что русская душа без недостатков, что её на божницу надо. Нет, конечно. Но и под плывательницу её приспособить не позволим. Вспомните ещё раз, что не последние умы как в России, так и на Западе говорили о всемирной отзывчивости русской души.

* * *

А. Байбородин: Мы начали было говорить о том, как сложно теперь молодому традиционному русскому писателю обрести своего читателя, то есть опубликовать произведение в журнале, издать в книге, и чтоб заметила критика, свела с читателем. И причин тут много. На писателей вашего поколения, которые в силу дарования, настойчивости или предприимчивости всё же начинали печататься, — на них работала, по сути, вся критика, все журналы и издательства, ещё не поделённые на «правых» и «левых», на «демократов» и «патриотов». Теперь же молодому автору, пишущему, скажем, в русских народных нравственных и художественных традициях, издательский выбор самый минимальный, критики работают жёстко по направлениям, да и мало уже занимаются духовным, художественным анализом произведений, в политику ударились. А тут ещё и коммерция подросла.

В. Распутин: Коммерция литературе, конечно, противопоказана. Как и религии. Духовное нельзя рассматривать как товар. Когда книга превращается в товар, навязывающий себя, и перестает быть исповедью, молитвой и проповедью, когда литература теряет литургическое звучание, — обречена и художественность, и светоносность. Серьёзная книга

станет уделом элиты, общество неизбежно очерствеет, в лучшем случае переведёт свою душу на правовой механизм. Хотя в России и это невозможно — русская душа для такого положения не годится. Стало быть, может произойти худшее. И, конечно, молодому писателю заявить о себе будет неизмеримо труднее. Прежде издательства обязаны были заботиться о молодых, имели чуть ли не планы для них. Теперь же молодых в условиях рынка может выручить кроме собственных объединений государственная дотация. Литературу, и вообще культуру, переводить на полный хозрасчёт, бросать в рынок — преступление. Мы это преступление уже видим, глядя на театр, когда он взялся зарабатывать деньги всеми удобными способами — деньги не пахнут! — вот и цели у него стали бесовские.

Времена предстоят трудные, но я думаю, не безнадёжные для литературы. Будем надеяться, что хоть традиция читать книги не плотью, а душой в России не сгинет. Возможно, когда валом повалят книги низкого пошиба, в читателе они вызовут отрывку. В уме у него пока есть: мыслителями, как и деятелями, без серьёзной книги не становятся.

А. Байборodin: Любовь к Отечеству впитывается вместе с молоком матери, потом эта любовь выверяется, высветляется Божьим духом, обогащается и крепнет. Родину, как и мать, никогда не выбирают и не меняют, как не выбирают время, когда удобнее быть патриотом России, а когда пересидеть ратное время в тенёчке. Хотя молодым литераторам иногда говорят (и мне говорили): что ты лезешь в политику, что ты суёшься в это патриотическое движение — ты же ещё ничем ничего?! Заимей сперва авторитет художника, а уж потом и борись за Россию, если уж без этого никак нельзя. И для примера приводили Вас, как это ни странно: дескать, не будь у Распутина за спиной его талантливых повестей и рассказов, не будь большого имени, никто бы и слушать его не стал, если бы он даже говорил и писал в статьях то же самое. Словом, дескать, позаботься вначале о воплощении своего художественного дара, а потом уж кидайся в публицистику.

В. Распутин: Время, состояние Отечества, как мы уже поминали, диктуют писателю, в том числе и молодому, начинающему, сам характер поведения; тут не следует забывать и возможности таланта: один начинает с публицистики, другой с повести. Здесь давать рецепты — занятие пустое. Один только совет молодому писателю: не бросать Россию. Это не сулит спокойной жизни, камнями, боюсь, будут продолжать забрасывать и через десять лет. А иные же как рассуждают: сначала я заработаю деньги (даже и не имя), обеспечу себя, потом напишу великую книгу. Не напишет, не получится — лукаво начал.

А. Байборodin: Любовь к России исторической, ощущение опасности, опять нависшей над ней в маскарадной личине безродности, космополитизма, — всё это — нет худа без добра — стало помаленьку сплывать наше литературное поколение. И всё же трудно сказать, что ваше поколение писателей подготовило себе для опоры достойную смену, крепкие тылы или, наоборот, стойкий передовой отряд.

В. Распутин: Нет, опора, конечно, есть. Но или это закон литературы, или свойство времени, однако 30–35-летний писатель малозаметен. Не знаю, чем это объяснить. Может, оттого, что хлебнули меньше лиха в детстве, в юности? Жизнь была более благополучна... Талант пошёл не в глубину, а в ширину. Главное для писателя, что должно даваться Родиной, народом, — язык, а он в последние десятилетия, и особенно в последние годы, сильно пострадал. Но говорить о том, что поддержка есть, можно без всякой натяжки.

А. Байборodin: Много толковали про Закон о печати, связывая с ним большие литературные, публицистические надежды.

В. Распутин: Закон о печати принят, и говорить теперь о том, нужен или не нужен, бессмысленно. Хотя многие страны, какие мы называем цивилизованными, прекрасно обходятся без него. Теперь всё будет зависеть от степени культуры и здравого смысла четвертой власти — как называют печать. Из неё можно сделать общественный террор, новое пропагандное насилие, ярмарку человеческих пороков, средства массовой информации превратить в средства массовой дезинформации, тотальной обработки душ, а можно и наоборот. Пока в борьбе за власть в России преобладает, как мы видим, первое. Кроме того, ещё и до Закона, — а сейчас и под ващитой Закона, — такое половодье грязных листов, такое бесстыдство, каких, поверьте, нигде в мире нет. Особенно усердствуют, помимо

всяких кооператоров, молодёжные издания. Вообще надо признать: молодёжь свою мы бросили на произвол судьбы.

А. Байбородин: Вот вы помянули кооператоров... Дело в том, что в большинстве своём нынешние кооператоры, как, видимо, и заправили «теневой экономики», — это ведь не российские купцы, которые несли в себе православную нравственность, были патриотами России и непосредственно своих уездных и губернских городов и которые на собственные средства возвели наши чудо-города, открывали милосердные, сиропитательные Дома, приюты, гимназии, училища, библиотеки, театры, художественные музеи, которые, наконец, замаливая неизбежные торговые, житейские грехи, на свои капиталы строили православные храмы — нынешние памятники архитектуры, да и так немало жертвовали в епархии. А сегодняшние предприниматели не больно-то разбегутся жертвовать на благо и красу России. Но, может, я ошибаюсь, дай-то бог.

В. Распутин: Грязные деньги на добрые и чистые дела не даются. Их может пожертвовать только кооператор-производитель, кому они достаются тяжким трудом. Да и то не всякий.

А. Байбородин: Вот мы заговорили о печати. Не знаю, что будет дальше, но простонародье уже пугает разрушение в прессе духовных идеалов (и коммунистических, и российских исторических), как и воспевание того, что ещё недавно считалось низким даже для обсуждения. Я об этом сужу из мнений своей многочисленной родни, своих деревенских земляков, которые не могут постигнуть, что творится на белом свете и куда мы катимся, а, не постигая, живут в постоянном страхе, в напряжении.

В. Распутин: Настроение от всего порой бывает такое, что хоть не живи. Единственное спасение — работа, объединённая работа всех, кому дорога Россия, реки её и леса, песни и сказания, предания «старины глубокой», кто благодарен ей за своё происхождение и верит в её будущее. Ни за какие посулы, ни за какие пряники не отдавать Россию тем, кто наладился ею торговать, кто сидит с ножницами над её картой и кто остатки её святости превращает в посмешище.

Много чего за свою историю вынесла и перетерпела Россия, но самый жестокий удар нанесён был ей в этом веке. Едва лишь она с великим трудом стала приходить в себя, поднялись на неё собственные, взращённые за десятилетия манкурты — неразумные, оболваненные сыновья, не ведающие, что творят. Такого испытания ещё не бывало, но... если не оставлять Россию, если стоять всем миром за честь её и достоинство, за целостность её просторов и братство всех составляющих её народов, — лучшей своей частью поверившая в себя, вынесет Россия и это.

Диалог записан и обработан в июне — августе 1990 г.

ПОЭЗИЯ



МИХАИЛ ТРОФИМОВ



Сибирью рождённый, я пасынком не был...

Где зелёная деревня

Там, где радуга над полем,
Где зелёная деревня,
Где гуляют грозы в ливнях
По берёзовым лесам,

На руках от грязи цыпки,
Брюхо щавелем набито.
Без седла и без уздечки
Он на лошади верхом.

Жил мальчишка синеглазый,
Белобрысый и вихрастый,
Никого он не боялся,
Птичьи гнёзда разорял.

Хлюпает босой ногою,
Крепко держится за гриву —
Через речку скачет бродом
Во зелёные луга.

ТРОФИМОВ Михаил Ефимович родился в 1936 г. в Рыбинском районе Красноярского края. После окончания школы работал плотником, каменщиком, слесарем. Учился в сельскохозяйственном институте, в 1969 г. окончил Литературный институт им. А.М. Горького. Начал публиковаться с 1962 г. в районной и областной печати. В Союз писателей СССР вступил в 1963 г. Автор книг *«Первотроп»* (1964), *«Иван-чай»* (1972), *«Белый соболь»* (1976), *«Звонышко»* (1978), *«Изморозь»* (1980), *«Жили в озере чупыри»* (1983), *«Парасковья»* (1986), *«Есть край»* (1989), *«Лесная азбука»* (Иркутск, 1994), *«Посреди России встану»* (2000), *«Свиристели»* (2006), *«Снегирёвка»* (2009), *«Лесная азбука»* (Тобольск, 2011), *«Медвежья родина»* (Тобольск, 2014). Среди написанного М. Трофимовым выделяется поэма *«Мачеха»* — о трудном военном детстве, «в котором сошлось все сильное и чистое, что порознь было в прежних вещах. И формально она безупречна... и суть чудесно глубока», — пишет о нём критик В. Курбатов. М. Трофимов — автор детских книг и стихов, написанных в форме считалок, прибауток, потешек. Одна из последних — *«Лесная азбука»* — представляет собой занимательный и познавательный букварь на таёжную тему. Помимо стихов известно увлечение поэта лепкой глиняных игрушек-свистулек. С ними он участвует в городских выставках. М. Трофимов трижды лауреат премии Губернатора Иркутской области. Член Союза писателей России. Живёт в Иркутске.

В заливных лугах пасутся
Нестреноженные кони,
Морды в росах, гривы смолю —
Золотые табуны.

Он идёт по мокрым травам,
В волосах его репейник,
А за пазухой зайчонок,
Тоже мокрый от дождя...

За крестьянскую работой
Он подсолнухом тянулся,
И девчонка подарила
Первый робкий поцелуй.

Но гонимые войною
К нам в Сибирь грачи летели,
И, притихшие, глядели
На чужой суровый край.

Мать колосья собирала —
По полям пустым ходила,
Пироги с калиной горькой
На дороженьку пекла.

На войну ушёл парнишка,
Никогда он не вернётся
В ту забытую деревню
Над уснувшюю водой.

У плетня растёт крапива,
Зеленеют крыши мохом.
Также, кланяясь колодцу,
Воду достаёт журавль.

Дремлет старая дорога,
И слепой под солнцем дождик...
Да кукушка на раките
Не устанет куковать.

Грачи

Сестре Марии

Помнишь ли, Маруся, к нам грачи прилетали,
На ободранных берёзах отдыхали,
Из калужин снеговую воду пили
И за плугом бороздой ходили.

На коровах бабы зябь пахали,
Тонкой хворостинкой погоняли,
Плакали, бурёнок обнимали —
Плуг тянуть тяжёлый пособляли.

Потерпи, кормилица, немного —
Бьют фашиста да в его берлоге.
Мужики ушли как на медведя —
В орденах охотнички приедут.

Станут соболя стрелять да белку,
Нас ласкать да и пахать не мелко.
А грачи летали и кричали,
Возвращенья всем не обещали.

Мы с тобою, дошколята-крохи,
Собирали прошлогодние картохи
В зябкие холщовые торбинки,
Пили под кустом из рыжей крынки.

Бывает, и теперь ночами снится —
Летят на север траурные птицы,
Усталые, кричат над полем нашим,
А мама на Бурёнке землю пашет.

* * *

За деревней, в камышах,
Пруд, заросший тиною,
Там всю ночь звенит в ушах
Кряканье утиное.

Там дощатый шаткий мост,
Шум воды на мельнице,
И вода в крупинки звезд
Жерновами мелется.

Лапти

Шёл старик, да так устал — Лапти в землю закопал:
Ни вздохнуть, ни охнуть. Картузом водицы
Лапти мокрые он снял — Черпал в лыве, поливал —
Пусть они просохнут. Может, что родится.

Греть весною норовит И босой ушёл, крестясь,
Солнышко росточки, Сгорбленный и тощий...
Он проснулся и глядит: Из лаптей поразрослась
На лаптях — листочки. Липовая роща.

* * *

У меня сидела на коленях, Милая так крепко прижималась —
А была ещё совсем ребёнком. Сказок страшных наказывал не мало.
Вечерами жгли в печи поленья,
И огонь плясал в её глазёнках. А теперь, наверно, всё забыла,
Выросла красавицей соседка,
А метель за окнами металась И скажи ей, что такое было, —
И Ягою-бабой завывала... Смехом брызнет, как росой с ветки.

Иван-чай

Становлюсь я, не чаявши, Был Михайлушка зелен,
И сильней, и добрей... Свет Ефимович мал,
Иван-чай, иван-чаюшка, Пил таёжное зелье,
Разлиловый кипрей. Стал сильней — оклемал.
Ты входил в меня силою И за плугом я следовал —
Заварною из кружки, Резал землю тугую,
Где зимой выюга сивая По собольему следу
Меж зимовьями кружит. Шёл с берданкой в тайгу я.
Кедры ветками машутся, Может, горе и видывал,
Ели в колких крестах. Да окрепнуть сумел...
Меня Мишею матушка Только птицам завидовал,
Нарекла неспроста... Только зверя жалел.

* * *

Нет, не вышел я к реке: Сон опустится такой,
Вместе со снежочком Что нежнее пуха.
Понатаю в котелке Кедров встанут вокруг огня,
Беличьих следочков. Будет грусть уменьшена...
Чай горячий — хорошо, Но приснилось — у меня
Нет счастливой доли: В доме плачет женщина.
На снегу костёр большой Может, и была беда,
Будет греть до боли... Вспоминать-то поздно...
Росомаха — зверь ночной — Это плакала вода —
След мой станет нюхать... Да в ночи замёрзла.

* * *

Я давно с деревнею расстался
На брусничной зорьке ясна дня.
По родной округе стосковался,
Сердце испалилось у меня.

Городскую прокляну удачу,
На родном крыльце картуз сниму,
А увижу маму — и заплачу,
Старую, седую обниму.

Только, мама, не умри от счастья...
Стыдно мне, я землю не пашу.

И бываю у тебя не часто —
Горечью асфальтовой дышу.

Я вернусь, притихший и влюблённый:
Жаль дождя, что мочит лопухи,
Жаль щенят слепых и несмышлёных, —
Оттого в слезах мои стихи.

Журавлёнком сердце встрепенётся,
Так берёзы светятся вдали...
Детство, моё детство не вернётся, —
Мама, не вернутся журавли!..

Надпись на камне

Я ль тебя, земляца, не любил?
Я ли тебя плугом не пахал?
Плугом пахал — всё хлеба растил,
На меже от усталости засыпал.

Ты кормила меня, веселила меня,
Ты давала тепло — ты дарила жизнь,

И теперь будь мне пухом, моя земля,
Камнем на грудь мою не ложись.

Люди, земная моя родня,
Меня забудут, тоскуй не тоскуй,
Жизнь мою на закате дня,
Кукушка милая, перекукуй.

Есть край

Есть край, где в июне не стаять снегам, —
Сибирью рождённый, я пасынком не был...
Там летом в горах снеговая пурга,
Там вечно летящее низкое небо.

Деревьям и людям нелёгкая жизнь:
Из солнца и снега рождаются реки —
Стой кедром или гибкой лозою ложись,
Иначе не выжить вовеки.

За голые камни цепляются кедры, стоят:
В них ветра и щебета птичьего много...
Пугливых и гордых оленей пасутся стада
На мшистых полянах у Синего лога.

Уходят охотники там за зверями по следу,
И золото моют, и сеют хлеба по подзолу —
Там делят душевный огонь и сухарь последний,
А жадность с корыстью считают большим позором.

Там реки веками камень буравят,
Спят облака на гольцах ночами,
Зимой дома засыпают снегом бураны.
Там моя родина — моё начало.

Вожак

Ждал человек с карабином в руках.
Под выстрелы вышла стая —
Волчьей кровью пролился закат,
Тощих зверей спасая...

Но слышен кедровки громкий плач.
Вожак брёл шагом неверным
И рану лизал, свернувшись в калач,
Языком шершавым и нервным.

Случайно, против обычаев всех,
За стаей своей он вышел:
Под лапами стал скрипучим снег,
Луна покатила выше.

А он с дороги зло свернул,
Верный законам волчьим,
И долго стоял, и выл на луну
Седой вожак-одиночка.

Русалка

Белый выгоревший песок,
Бесконечный пустынный берег,
Только молятся камни безмолвно,
Только в ярости бьются волны.

Я один пред огромным морем,
Безуютный, сижу на камне, —
Словно море, тревога бьётся,
Тени туч по лицу бегут.

Сам себя по имени кличу,
И чужим мне кажется имя.
Только плачет осенний ветер —
Я уже сам себя позабыл.

Был такой же рассвет солёный,
Штормовое ревело море.
Море с небом слилось воедино,
Я на этом же камне сидел.

Вдруг крутая волна набежала —
Море выкинуло на берег
Удивительное создание,
И я понял, что это она.

Руки были нежны для ласки,
Были страстными алые губы,

Волос нежный, зелёный, длинный
И чешуйчатый рыбий хвост.

По любви истомились груди,
Ритм единый у сердца и моря.
Было горьким юное тело —
Косу плёл я и грудь целовал.

Но она, дитя неземное,
Умирала, в тоске глядела —
Породила её стихия
Для течений морских и глубин.

Холодели глаза голубые,
Ртом красивым хватала воздух,
Взяв её, чтоб нести в избушку,
Я не думал, что загублю.

И над нею сжалилось море —
Нас огромной волной накрыло,
Нас от берега уносило,
И она ускользнула из рук.

Я искать уже не пытался,
Плыл на берег — за жизнь боролся.
Полз от моря — волна смывала.
Снова плыл я и снова полз.

Вот опять я один пред морем:
Каждый день я на дно ныряю,
В царство синее осьминогов,
Страшных скатов, морских чертей.

Каждый день я ныряю в море
С той надеждой — её увидеть,
Ухожу я в чужую стихию
С безопасной и твёрдой земли.

А она во сне меня манит...
Тишина не приходит в сердце...
Я живу так многие годы.
Одиночество злое всегда.

Лебедой зарастает избушка...
Чем я жив и на что надеюсь?
Только небо, песок да море...
Да печали жемчужина в нём.

*Поздравляем с 80-летием замечательного
сибирского поэта Михаила Ефимовича ТРОФИМОВА!
Желаем ему крепкого здоровья,
новых книг и читательской любви!*

Редакция журнала «Сибирь»
Иркутское региональное отделение Союза писателей России
ОГАУ «Иркутский Дом литераторов»

Живое слово



ВАЛЕНТИН РАСПУТИН

Русь сибирская, сторона байкальская

Предисловие к «Словарию говоров русских старожилов Байкальской Сибири»



Г.В. Афанасьева-Медведева

Однажды в Доме литераторов на улице Степана Разина, 40 мы оказались с В.Г. Распутинным вдвоём в зале, немного поговорили о проблемах нашего писательского бытия, о литературе, о скудеющем языке, а потом я сказал:

— Валентин Григорьевич, есть преподаватель в пединституте, которая ездит в деревни, общается со старыми людьми, записывает их истории о прошлом, о работе, об охоте и рыбалке — обо всём, что было, и как это было отразилось у них в восприятии мира. Главное, она старается записать и сохранить народную речь, слова, которые забываются, стираются из

памяти. Она издала книгу «Рождественская ночь», в которой сказки, былички и бывальщины, заговоры. Замечательная книга!

Валентин Григорьевич внимательно слушал, смотрел на меня, ждал, к чему я это говорю.

— Зовут её Галина Витальевна Афанасьева, по мужу Медведева. Надо принять её в Союз. Он помолчал немного, размышляя, видно было, что не согласен, сказал:

— Вряд ли в Москве утвердят — это же не писательский труд. Собрать, записать — это не литература. Труд, конечно, но, скорее, научный.

— Но записанные рассказы — это же порода, из которой ещё нужно извлечь и отшлифовать алмаз, разве это может сделать нехудожник? Кроме того, у неё там есть и очерки о сказителях — великолепное художественное слово! Были же у нас писатели-очеркисты...

— Да, — кивнул Валентин Григорьевич, — есть.

Он будто согласился, но видно было, что сомнение осталось.

Сколько лет прошло с тех пор, сейчас уже не вспомнить. Галина Витальевна продолжала поездки в отдалённые деревни и посёлки, записывала, фотографировала и, наконец, решила оформить своё богатство в виде «Словаря говоров русских старожилов Байкальской Сибири». К подготовленному первому тому Словаря небольшое предисловие написал научный редактор Ф.П. Сороколетов, но требовалось сказать и о высоких художественных достоинствах книги. Галина Витальевна попросила меня написать предисловие. Я выполнил просьбу, но сказал, что о народном слове Распутин напишет лучше, если обратиться к нему, он не откажет.

Галина Витальевна принесла часть рукописи первого тома в Дом литераторов и оставила её для Распутина. Он прочитал, позвонил Галине Витальевне и предложил встретиться. А для первого тома Словаря дал предисловие «Русь сибирская, сторона байкальская».

Это Предисловие Валентина Григорьевича (с большой буквы!), несомненно, вошло бриллиантом в Словарь как образец народного Слова и как пример для всех пишущих на русском языке.

Иван КОМЛЕВ

У М. Горького в романе «Жизнь Клима Самгина» есть такая сцена: «На эстраду мелкими шагами, покачиваясь, вышла кривобокая старушка, одетая в темный ситец, повязанная пестреньким, заношенным платком, смешная, добренькая ведьма, слепленная из морщин и складок, с тряпичным круглым лицом и улыбочивыми детскими глазами...

С эстрады полился необыкновенно певучий голос, зазвучали веские старинные слова. Голос был бабий, но нельзя было подумать, что стихи читает старуха. Помимо добротной красоты слов было в этом голосе что-то нечеловечески ласковое и мудрое. Магическая сила, заставившая Самгина оцепенеть... Ему очень хотелось оглянуться, посмотреть, с какими лицами слушают люди кривобокою старушку? Но он не мог оторвать взгляда своего от игры морщин на измятом добром лице, от изумительного блеска детских глаз, которые, красноречиво договаривая каждую строчку стихов, придавали древним словам живой блеск и обаятельный, мягкий звон.

Однообразно помахивая ватной ручкой, похожая на уродливо сшитую из тряпок куклу, старая женщина из Олонецкого края сказывала о том, как мать богатыря Добрыни прощалась с ним, отправляя его в поле на богатырские подвиги. Самгин видел эту дородную мать, слышал ее твердые слова, за которыми все-таки слышны были и страх и печаль, видел широкоплечего Добрыню: стоит на коленях и держит меч на вытянутых руках, глядя покорными глазами в лицо матери...»

Сцена эта описана М. Горьким с натуры: в 1896 году на Всероссийскую выставку в Нижний Новгород приезжала знаменитая сказительница былин Ирина Андреевна Федосова и имела огромный успех. Спустя еще полтора и два десятилетия на былины не менее знаменитой исполнительницы с Пинегы М.Д. Кривополеновой собиралось в столицах столько же слушателей, сколько на концерты Шаляпина. Широкий интерес и даже восторг русского общества народным творчеством продолжались к тому времени почти полный век и были сбиты только революцией, да и то ненадолго, и изучение и собирание фольклора не прекратилось и во весь XX век. По справедливости считалось, что уж это-то нам не изменит.

Одновременно шло и пополнение русского языка: все жанры фольклора, сколько их ни есть в малых и больших формах, сказывались и выпевались народным словом. Это даже и не сравнение, не уподобление одного другому, а органическая жизнь языка, закон его существования и функционирования: основное его русло полнится, оживляется и украшается многочисленными притоками местных говоров, «истечением» его огромных словообразующих площадей и устных поэтических оазисов. И как для экологии природы вредны грязные производства, так и экологию языка загрязняют «фабрики» чужесловия, дурно- и тупословия, против которых вместе с охранительными законами нужна и постоянная расчистка родных истоков.

Чудного, поистине волшебного звучания в XIX веке русский язык достиг благодаря народным речевым кладовым, открывшимся вместе с фольклором. Столь совершенного поэтического «инструмента», как Пушкин, не было ни дотоле, ни после, но явление его счастливо совпало с интересом к крестьянской Руси, которая в своих преданиях и сказаниях из уст в уста накопила такую мудрость и такую поэзию, что только ахай да ахай. Пушкин и сам записывал песни и сказы и подвигал к этому занятию своих друзей литераторов.

Без него не было бы бесценного собрания народных песен П.В. Киреевского, положившего начало богатейшей песенной библиотеке (в записях П.В. Шейна, П.Н. Рыбникова, А.И. Соболевского и др.), без него Гоголь не освоил бы столь виртуозно самую музыку русского языка, не дружи с Пушкиным В.И. Даль — как знать, решился бы он на свой гераклов подвиг и смог ли бы собрать столь щедрый урожай, сам-сто или даже сам-двести, с живого великорусского языка в своем бессмертном «Толковом словаре»! В XIX столетии началось дружное движение из местных таежек, лесов и гор, с побережий морей и рек всех жанров устного народного творчества, и лучшей частью влившись в литературный язык, оно своей живостью, яркостью, мудростью и точностью окончательно раскрепостило, усладило и щедро обогатило нашу письменность.

В обильном пиршестве великорусского языка, как за скатертью-самобранкой, с которой чем больше потчешься, тем больше прибывает, участвовали и Тургенев, и Лесков, и Бунин, и Шмелев; будто на гармошке, растягивая полнозвучные меха, играли на нем Никитин, Кольцов, Есенин. Драматург Островский называл свои пьесы народными поговорками, для своих нравоучительных рассказов их же отыскивал Л. Толстой. Он восхищался: «Что за прелесть народная речь! И картинно, и трогательно, и серьезно... Язык, которым говорит народ и в котором есть звуки для выражения всего, что только может сказать поэт, мне мил... Захоти сказать лишнее, напыщенное, болезненное — язык не позволит».

...Это преддверие разговора о настоящем словаре, это торжественная похвала в честь простонародного языка, надо полагать, не будут лишними: да, были времена, и не столь далекие, когда этот могучий источник нашей словесности представлялся неиссякаемым. И что же — прошли былинные?

Двадцатитомный словарь, и сам подобный эпосу по богатству вобравшего в себя материала, должен бы, казалось, располагать к оптимизму: какая глыбища! какое безбрежье нетронутого и самородного! И это по следам прежних экспедиций, по торным фольклорным тропам, по которым прошли М.К. Азадовский и Е.И. Шастина, и В.П. Зиновьев, и Л.Е. Элиасов, и Р.П. Матвеева, и другие до них и после них... Стало быть, источник этот и в самом деле неисчерпаем и воспроизводство областных говоров в поколениях столь же естественно, как воспроизводство почвы от растительного покрова?

И это так бы и было, когда бы русская деревня оставалась в здравии и если бы оставалась она хотя бы в относительной изоляции от большого, распахнутого всем ветрам и поветриям, теряющего последнюю родовую и культурную индивидуальность, мира. Корневище народного языка может быть питательным только в глубинах почвы и в глубинах неповрежденной жизни, а нет их — не будет и корешков у старины, не даст побегов и зачахнет самоцветное слово.



*Русское Устье на р. Индигирке. Перед поездкой в тундру.
Слева направо: местный житель, Галина Афанасьева-Медведева,
местный житель, Валентин Распутин, Альберт Гурулёв*

Этот величественный труд под названием «Словарь говоров русских старожилов Байкальской Сибири» соби­рался больше четверти века, и те сотни и сотни деревень, по которым прошла Галина Витальевна Афанасьева-Медведева, тем и привлекали фольклористов, что лежали эти деревни в стороне от набитых дорог, жили теми же занятиями, что и при заселении (охота, рыбалка, пашня), и находились в естественной резервации. Предыдущие 250 лет быт в сибирской таежной деревне изменили меньше, чем послед-

ние 25 лет. Последние 25 лет его, можно сказать, обрушили. По Ангаре, окончательно превращенной в электрическую силу, старые поселения по берегам и островам постигла участь Матеры, ушедшей под воду, по Лене они опустели оттого, что окончательно были оставлены государством — точно отступило оно в спешке от превосходящей силы какого-то невидимого противника. Не лучше картина по забайкальским тайгам и рекам. С корнем выдраны деревни из земли, торчат одни печища. «Где стол был яств — там гроб стоит»: заросли крапивы по местам семейных гнезд да в сторонке скорбный погост — вот и все, что осталось от крепких и полнолюдных обителей.

И впечатление такое от этого словаря, будто говоры его были чудом подхвачены уже на излете в небытие. Чуть бы замешкаться — и не догнать, не услышать, не записать этот бесценный памятник не одного лишь языка, но и народной жизни в трудах, праздниках, общении, обычаях и верованиях, в претерпении судеб и необычайной духовной силе.

Структурная особенность словаря в том, что заглавное слово, будь то географическое обозначение или диалектная изюминка, не изымается из текста с короткой ссылкой на его применение, а дается в «работе», в пространным рассказе, и от этого вместе «со товарищи» украшает и текст, и ярче и богаче становится само, получает полное семантическое, фонетическое и морфологическое значение. Это двойная, даже тройная отдача текста: рассказ оживает, у него появляется интонация, голос, избранное в «предводители» слово таинственным образом организует его в одно целое информационное и художественное свидетельство жизни.

Словарь этот и есть энциклопедия народной жизни из уст самого народа, сказываемая столь буднично, будто в установлениях своих и законах она естественно, само собой, соткалась из дружеского расположения друг к другу человека и природы. Вот рассказ-обычай, иллюстрирующий слово «распрета». Уже само слово вызывает вкусовое ощущение, удовольствие: если есть «запрет», в просторечии «запрета» — должна быть и «распрета», только не каждому она дается. «Вот раньше запрету делали. Августовская запрета. Никто за ягодам не пойдёт, пока не будет августовской распреты, никто. Каждной ягоде был свой бой... Раньше-то — ой! Срок на охоту, раньше строго это было, охотиться да ягоды. Всё в своё время».

Это с моей родины на Ангаре голос донесся, из моего детства, когда такие «запреты» и «распреты» почитались законом и на ягоду, и на кедровую шишку, и на зверя, и на рыбу. И законы эти не Думой принимались, не Президентом утверждались, а являлись самим дыханием местного народа, сыновним правилом взаимоотношений с тайгой и рекой, вышним велением брать у них то и тогда, когда это не нанесет их «пастбищам» урона. «Ухожье было» — пояснит в другом месте словарь, имея в виду нравственную опрятность деревенского человеческого мира с миром божьим.

А вот еще свидетельский голос с моей родины, судьба которой оказалась трагической от государственной «неопрятности», разом, всего в несколько десятилетий сокрушившей



*Валентин Распутин набирает воду в Ангаре.
Фото Владимира Скифа*

Ангару вместе с ее притоками и тайгу вместе с ее живностью и сезонными дарами-припасами. «Мы в своём доме жили в Абáкшиной-то. Потом-ка там всё затопило. Счас там всё сплошь водопóлье. Илím-то весь. ГЭС строили <...>. А кака брáва-то была, Абáкшина-то наша. Она на двых речках стояла. Там Чóра, она в Илím пáдат. Вот она там стояла. На угоре на высоком... Народ был хоть и не в достатке, голодный и холодный был, всякий, а было веселé и дружнé было. Народ был дружный <...>. Горе-то одно тогда было. Богатых

не было, все рóмно жили. А теперь видите?! Ты живёшь хорошо, я живу худо, уже кака-то различия есть. Уже нáрозь. Вот так от. А раньше?! Вот у ей если есть, у меня нету — я пришла к ей, она мне последне поделит. Как-то вот дружли́вый народ-то быў, союзно жили. Делилиша. Последний кусочек поделишь. А теперь чё?! Как жить-то будете? А?»

А ведь это психология народа, душа его — тоска по былой общинной жизни, пусть бедной (да и бедность-то надо относить к коллективизации, когда весь уклад хозяйственный был перевернут с ног на голову, и к военно-послевоенной тяжкой поре, а до того и после того жили справно) — пусть все-таки временами бедной, но справедливой, дружной, в обрядах и обычаях красивой, «бравой» среди полноносного природного окружения. Это государственный ум: «Как жить-то будете? А?»

Записи еще теплые, сказители еще не все сошли в могилы, а чудится — огромные сроки миновали, и перед нами новая редакция «Повести временных лет», чуть прояснившей доисторические события. Всего-то двадцать, тридцать годочков тонким слоем припошли сибирские просторы, а окунувшись в это недавнее былое, о котором повествует словарь, трудно отделаться от впечатления, будто вековые заносы погребли то время и то бытие и нет между ними и сегодняшней действительностью никакой родственности. Кто теперь поймет: «Счас-то рыбы нету, её потопили...» — да ведь это нонсенс, как непременно определит образованный новожитель, а между тем точнее о гибели рыбы в запруженных плотинами сибирских реках не скажешь.

Или того чудней старина: «...Раньше друга жись была... К чичасной жизни рази приверста́шь? Нароботася, устанешь в плаху, язык выслупишь. Но к вечеру ничё, одыбашь. На вечёрку бежишь (раньше-то народ в мирьбё жил). Или старикам за́ймовася, за заплот зацепишь, на лавочку ли присядешь, потокуешь с иням заодня. Я с детства старикох любила. Язык у их чудненькай... Любила за иням ухаживать, услужить кода. Они люди-то сызвёшные, изжыты, жалостливы, пожалеют:

— Чё же?! Ты без матери.

Щас-то без их неродно́. И жись кака-то скучна пошла. Народ какой-то всё ненастной... Друг ко дружке редко кто ходит щас. Ко мне кода Любава зайдёт. А то всё одна курюся. И смерть-то меня не берёт. Никто-то меня не украдёт. Кто ба хоть на игрушки украй...»

Вот так бы слушал и слушал, так бы пил и пил из этого глубинного самотканого источника! До чего же звучно и красиво здесь слово, как радужно оно переливается, приобнимается с другими, чтобы сказать тепло и живо, трепещет крылышками, взлетая в замысловатых формах с каких-то таинственных гнездовий, почти песенно выговаривая душу... Не станем идеализировать: срывались и у моего земляка выражения за пределами словаря, не без того, но позволял он себе это только как бы на заднем дворе бытия, зная место и время, даже и в этом грехе отличаясь сдержанностью. Утверждаю это со знанием дела: побывал и на великих стройках коммунизма, и в гостиных столичной интеллигентной элиты. Никакого сравнения.

Что касается суеверий и языческих текстов (а их в словаре немало) — так это не мировоззрение и не вера сибиряков XX века, а дань былому мировоззрению, устная фольклорная традиция, из которой слова не выкинешь. У каждой реки есть старицы, отставленные в сторонку места прежних ходов и русел; обыкновенно они отдаются царству мифических существ. Подобные же духовные «старицы» сохраняются и в народе: жизнь и вера пошли своим путем, но в неизменном окружении природной обители, вместе с уцелевшими неизменными приемами труда и быта, остаются в памяти и старинные, мхом поросшие, предания.

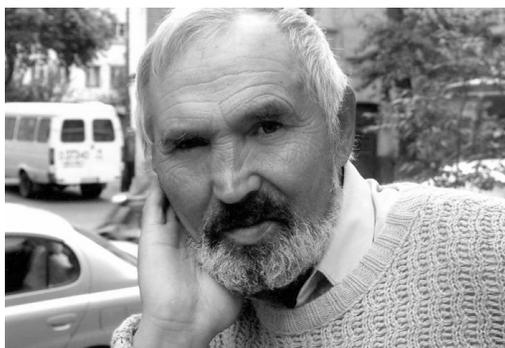
А без них свод полносущной жизни был бы и не полон. Повторюсь: словарь этот именно свод, энциклопедия, житие и сказание сибирских окраин, которые Г.В. Афанасьева-Медведева объединила в Байкальскую Сибирь. Славное, достойное нашего поколения, житие и вдохновенное, из уст этого жития, многоголосое сказание.

И богатырский подвиг Галины Афанасьевой-Медведевой, подобного которому после XIX века, кажется, не бывало. А по мере трудничества, по объемам и размаху старательства на «золотоносных» сибирских землях, вероятно, и сравнить не с чем.

ПОЭЗИЯ



АНАТОЛИЙ ГОРБУНОВ



Листопадом истёкшая даль...

Сеностав

Ясное утро. Обильные росы.
Ласковый шелест осин.
Хохотом будят леса и покосы
Братья — Сергей, Константин.

Твёрдая поступь. Крылатые взмахи,
Очи азартом горят.
В огненных росах намокли рубахи.
Каждый силёнкой богат.

Сколько в них удали, сколько сноровки!
Тятя бодрит сыновей.
Яростней молний сверкают литовки,
Падает навзничь кипрей.

Солнечный ветер обвеет ромашку,
Быстро убавится прыть:
Братья впрягут в волокуши Пегашку —
Копны поедут возить.

ГОРБУНОВ Анатолий Константинович (1942–2016) — известный русский поэт. Родился 16 марта 1942 г. в дер. Мутино Киренского района Иркутской области. Рос в большой семье, рано пошёл работать: пастушил, пилил лес, плавал на пароходе кочегаром, после окончания авиационного училища летал бортрадистом на самолётах Ан-12, Ил-14. Первые стихи были опубликованы в журнале «Сибирь». В конце 60-х А. Горбунов принял участие в областной конференции «Молодость. Творчество. Современность». Первая книга «Чудница» вышла в свет в 1975 г. в московском издательстве «Молодая гвардия». Автор предисловия к ней, Дмитрий Ковалёв, писал о том, что «по стихам А. Горбунова легко узнать не только биографию автора, но и увидеть Сибирь, её людей с их характерами и сметкой, привычками, игривостью и скрытой скорбью, неуступчивостью трудностям и бедам... Наконец, в стихах Анатолия Горбунова пронзительная, бережная любовь к этой обжитой лучшими людьми России, щедрой и в то же время неподатливой земле». Поэт выпустил несколько книг, его стихи публиковались в коллективных сборниках, на страницах газет и журналов. В 80-е годы, увидели свет поэтические сборники «Осенцы» (1980), «Звонница» (1985), «Перекаты» (1988), в которых получила развитие тема деревни, с её бытом, фольклором, духовной красотой. Всё творчество Анатолия Константиновича освещено глубоким и любовным знанием природы, русской мудростью, воплощённой в живописном и певучем слове. Известен он и как автор стихов, рассказов и сказок для детей. В последние годы выпустил книги «Сторона речная» (2004), «Рыбаки-охотники: рассказы, побывальщины, сказки» (2008), «Любовь земная» (2013). Анатолий Горбунов — лауреат Всесоюзного литературного конкурса им. Николая Островского, Всероссийского конкурса, посвящённого 200-летию со дня рождения Г.-Х. Андерсена, лауреат Международного конкурса детской и юношеской книги им. А.Н. Толстого, лауреат Международной литературной премии им. П.П. Ершова, Международной премии «Имперская культура», дважды лауреат премии Губернатора Иркутской области.

Стойкое ведро — крестьянское счастье!
Знойные травы шуршат,
Дружные сёстры — Анфиса и Настя
Ловко сенцо ворошат.

А по тропинке, ручьиистой и древней,
Тайно любуясь на птах,
Девочка Нюра несёт из деревни
Скромный обед в туесках.

Жмурит от солнца свои незабудки,
Явно довольна собой!

В образе тяти на помощь малютке
Полдень спешит голубой.

С детства, мой друг, на раздольных покосах
Родину мы познаём,
Где до озноба настоян на грозах
Каждый лесной водоём.

С детства, мой друг, на родимой природе
К высшей стремимся любви,
К той, что бурлит родниками в народе,
В песенной нашей крови!

Сторона речная

Детство, детство! Мальчик босый
Смотрит вдаль из-под руки:
Старый бакенщик на плёсах
Зажигает огоньки.

Едет вечер в таратайке.
Мошкара крапивой жжёт.
Пляшут девки на лужайке —
Хромка спуску не даёт.

Гармонист, остынь немножко!
Но катается гармонь,
Как горячая картошка,
Да с ладони на ладонь.

Эхо канет в небе алом.
Вслед за эхом от реки
Барабанит ночь по скалам
Тонкой ножкой кабарги.

Где-то чибис причитает
Над утопшено звездой...
Сторона моя речная —
Ветра звон берестяной!

Ты во мне, как вдох и выдох.
Не скружу в лесах родных —
На твоём раздолье вырос,
На ярушниках твоих.

Осенцы

Звонкий лёд и синева.
Ой речные ночи!
Побелела голова,
Стали строже очи.

Под ногами верещат
Осенцы упруго.
Зашугует пережат —
Не горюй, подруга.

Всё-то будет хорошо,
Всё-то будет гладко!
Ты молоденька ещё
И целуешь сладко.

Тройка

Кони — вьюга! Уносят, уносят...
Гривы, вспыхнув, звенят на ветру.
Эй, залётные! Волюшки просят.
Воли дай — разобьют на юру.

За любовь, за народные песни,
За себя мы ещё постоим,
На руках твоих древние перстни
Отогрею дыханьем своим.

Всё, как было, пороша и хромка,
Полушалок цветной до бровей.
Лунным вихрем клубится позёмка
Из-под кованных свистом саней.

Нам по нраву ожоги позёмки
И к лицу деревенский наряд.
Нашу борзую тройку в потёмки
Зря мечтает угнать конокрад.

Коренник рвёт поводья, рыдая.
Пристяжные хрипят по бокам.
Искроглазка моя дорогая,
Я тебя никому не отдам.

Погляди — над полями, лесами
Расступается дрёмная мгла!
Соловьём заливаются сани.
Кони — вьюга! В крови удила.

Воробей

Мёрз ты под крышей — от копоти чёрен,
Ныло пустое нутро.
В лютый мороз я давал тебе зёрен.
Чем отплатил за добро?

Выщипал напрочь рассаду на грядке,
Лень насекомых ловить...
Я-то стерпел, а сосед из рогатки
Запросто мог бы убить.

Тихая деревня

Смотрю на дикие поля,
Ловлю глазами птичью стаю.
Деревня тихая моя,
Тебя весёлой вспоминаю.

Приговорённые на слом,
Они достойны лучшей доли.
В торговых комплексах вином
Не заглушить крестьянской боли...

Здесь столько лет Кузьма, Филат
Пахали, сеяли, косили!
Ни привилегий, ни наград
У государства не просили.

Смотрю на дикие поля,
Ловлю глазами птичью стаю.
Деревня тихая моя,
Тебя весёлой вспоминаю.

Кормили хлебушком народ.
Хозяйство крепкое стояло.
Пожаров не было, а вот
Сельчан по свету разметало.

Не вспыхнут радостно огни,
Не всхлипнут в сутеми колёса.
В траве обломками лыжни
Белеет палая берёза.

Как будто им с гнилой ольхи
Накликал ворон хворь и голод —
И потянулись от сохи
Кто в леспромхоз, кто в душный город.

А рядом кустик молодой
Пророс сквозь древние салазки,
Дремучий пень, как домовой,
Его баюкает под сказки.

Кого винить? Кого жалеть?
Прости, деревня, я бессилен
Пустые избы обогреть —
Их много нынче по России.

Молчишь. Надеешься и ждёшь.
И сыновья к тебе вернуться,
Посеют солнечную рожь
И первым всходам улыбнутся!

Синильга

Северная песня

Звякнет цепь — отзовется поречье, Шитик встанет заре поперёк, С того берега брызнет навстречу Колокольчатый твой голосок.	Не залечит цветами Тунгуска, Не залижет лесное зверьё. Эти молнии глаз твоих узких... Обожгли ретивое моё.
Улыбалась загадочно-мило Недотрога по имени Снег. — Ты сперва отслужи, говорила, Неразлучными будем навек.	Стало всё так на свете жестоко: Правят судьбами деньги и ложь. Может, где-нибудь очень далёко, Может, где-нибудь рядышком ждётся.
Торопился к тебе, торопился, Торопился, и вот — опоздал. Стон к багряному облаку взвился, Сизым селезнем в омут упал.	Я отсель никуда не уеду, Все хребты и ключи обойду, По оленьему лёгкому следу Недотрогу однажды найду.
Беспризорный домишка на горке. Окна тёсом забиты повдоль. От полыни до сладости горько, И такая протяжная боль.	Звякнет цепь — отзовется поречье, Шитик встанет заре поперёк, С того берега брызнет навстречу Колокольчатый твой голосок!

Шуба

Веники-метельники. Знойный сеновал. Филин в тёмном ельнике Шубу потерял. — Шуба, шуба, — ухает, Вьётся между ёл; Затаится — слушает: Кто её нашел? Ни звезды, ни месяца. Времечко — подстать! Нам на шубе весело Ночу коротать. Зенки твои синие, Видно, ещё те: Хлеще, чем у филина, Светят в темноте.	Пахнет чиной скошенной... Любый, меру знай, Шубу по-хорошему Филину отдай. Нет у ласки берега, Если сердцу мил, Если туфли белые К свадьбе подарил. На свою фамилию Ты меня обул, Только шубу филину Так и не вернул. — Шуба, шуба, — ухает, Вьётся между ёл; Затаится — слушает: Кто её нашел?
--	--

Сельский вечер

Курносые дети полей Катают зарю на салазках, Играют в солдат и царей И верят в красивые сказки.	А нелюдь за их уже счёт Шампанское пьёт на Канарах... Но будущий мститель растёт И скоро напомним о нарах!
--	---

Божья рать

Птиц высоких набат!	Там урановый чад —
Тихо молятся вербы.	Безнаказанно хамы
Где-то насмерть стоят	Днём и ночью бомбят
Непокорные сербы.	Православные храмы.
Кроме вольных курлык,	И кресты от огня
Не дождутся подмоги:	Завиваются в кольца...
Сбился русский мужик	Запишите меня,
Со славянской дороги.	Журавли, добровольцем!
Из угрюмой земли,	Вот взлечу я, взлечу,
Из холодного края	Тень роняя на сёла,
Вдаль скользят журавли,	Журавлём прокричу,
Опереньем сверкая.	Догоню невесёлых.
Строй за строем идут,	И расступится строй,
Окликая друг друга,	Дружно примет собрата
На Балканский редут,	Под раскатистый бой
Словно гридни в кольчугах.	Мирового набата.

Российский алмаз

Отчий берег маячит далёчко.	Налегай на весло, россиянин,
Чайки стонут на все голоса.	За обманчивым небом следи.
Течь дала омулёвая бочка.	Баргузин ли, сарму проворонишь —
Прохудились насквозь паруса.	Тут же хищник сверкнёт над тобой,
От Байкала исходит сиянье,	Из тяжёлой державной короны
И гольцы Акатуя седы.	Жадно вырвет алмаз голубой.

Отцы и дети

Счастье за хвост не поймали,	Брёвна да ветки-объедки.
Мир уберечь не смогли,	Волчья беспутая сыть.
Дров наломали и стали	Что пригорюнились, детки?
Горсткой родимой земли.	— Надо дрова вывозить...

Проводы лета

Угольками стрелял костерок.	Всё смотреть бы на них, всё смотреть,
Сивый пепел осел на осоку.	До конца своих дней любоваться
В поднебесье метался дымок,	И, обнявшись с тобой, умереть,
Как за лапку привязанный сокол.	А весной молодыми подняться!
Безнадёжно рассыпался плот,	Листопадом истёкшая даль
Ни к чему его, милая, ладить —	Обнажила проточные воды,
Вон пошли крохали на улёт,	И легла мировая печаль
Разбежавшись по зыбчатой глади.	На лицо обречённой природы.

Плач памяти

По ночам с разбитой колокольни Раздаётся странный перезвон... Подсекли родительские корни, Понесли невиданный урон.	Грозные потомки Коловрата, Гордые российские орлы Присягнули кривде супостата, Родину обули в кандалы.
Мытари. Пропойцы. Самоеды. Проливая собственную кровь, Мы чужие празднуем победы, Мы чужую пестуем любовь.	От грехов отмоемся не скоро... Помнит о распятом звонаре Колокол державного позора — Брошенная церковь на бугре.

Иуда

Как сребреники, глазки Начищено горят. О нём слагают сказки Уже на новый лад.	И славит выше тучи Иуду босота, Как будто изверг мучил Его, а не Христа.
--	---

Водоохранная зона

Тут с детства рыбачил, Костры ворошил, На гальке горячей Портянки сушил. В тенистых затишках Блеснил облака, Дурачил на «мышку» Сплавного ленка. Вдоль плёса тайменя Водил в поводу, Дробил о камня Речную звезду. На отмелях тощих, Где рос краснотал,	Кулик-перевозчик Весёлком стучал: Возил по курейкам В лесные сады, И даже копейки Не брал за труды... Укромы рыбачьи Застроены сплошь: Шлагбаумы, дачи — Воды не попьёшь. Овчарки — медведи, Под током заплот. Никто не приедет, Никто не пройдёт.
--	---

Конец света

Когда уйдёт последний русский,
Восторжествует эра зла, —
Треща по швам от перегрузки,
Извергнет молнии Земля.
Сойдёт с накатанной орбиты
И полетит в тартарары...
Остывший прах Земли убитой
Поглотят мёртвые миры.

Старая заимка

Здесь чья-то старость, молодость и детство
С лица земли исчезли навсегда.
С неприбранным погостом по соседству
Остались бор и поле для труда.
Берестяная простенькая утварь
Ещё хранит хозяйское тепло.
Как девочка, смеющееся утро
Уставилось в оконное стекло,
А ржавые сосновые иголки
Втыкаются в ладони лопухам.
Вакают за пряслом перепёлки,
И вторит им пустой небесный храм.
Развёл костёр... И тут же зоркий ворон
Откуда-то примчался на дымок:
Кто, дескать, здесь указу непокорен,
Зажёг без спросу русский огонёк?
Пропахшее смородишником лето
Любуется собой в речную гладь...
На этой обезлюдевшей планете
Всё сызнава придётся начинать.



Болезнь человеческой болью...

Диалог критика Н.С. Тендитник
и писателя В.Г. Распутина



Надежда Тендитник

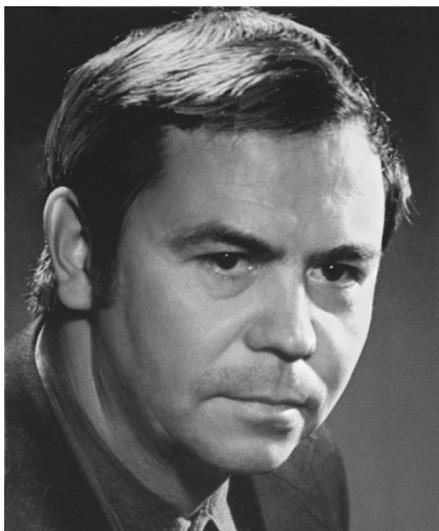
Н.С. Тендитник: Валентин Григорьевич, Ваше детство падает на военные и послевоенные годы. В творчестве Вашем эта пора выступает и как широкий эпический фон, и в деталях, важных для раскрытия характеров. Что особенно тревожит Ваше творческое воображение в этом времени? Чем оно Вам памятно?

В.Г. Распутин: Обычно, когда вспоминают о том времени или пишут о нём, прежде всего говорят о трудностях, которые выпали на долю детей и взрослых в военные и послевоенные годы. Оно и понятно — забыть такое невозможно.

Но вместе с тем вспоминается и другое. Вспоминается, что это было время крайнего проявления людской общности, когда люди против всех больших и малых бед держались вместе, когда они помогали друг другу в хозяйственных делах, делились друг с другом последней картошкой, и во всех человеческих делах. Худо-бедно, но вместе. Одна деревня как одна

большая семья. Чувствовалась тогда какая-то душевная раскрытость, обнажённость. И добро было на виду, на службе, в работе по отношению к другим; и зло, если оно встречалось, замаскировать тоже было нельзя. Теперь, бывая в своей деревне (теперь это уже не деревня, а большой рабочий посёлок), я вижу, что положение, пожалуй, несколько изменилось. Жить стало лучше, да, гораздо лучше, неизмеримо лучше, но и прежнее бескорыстие теперь, мне кажется, заметно поубавилось. Невольно возникает вопрос: неужели необходимо тяжёлое, снова страшное испытание, чтобы все эти добрые человеческие качества вернуть? Мне бы не хотелось оказаться в роли известного на протяжении веков ворчуна, сравнивающего в одну постоянную пользу. Вот раньше было, а теперь что, теперь, конечно, не то. Мы все добры по своей натуре, но словно бы бережём это добро для какого-то чёрного дня, когда оно может в полной мере понадобиться. Мы забываем, что нравственность наша подвергается испытаниям каждый день и что без постоянной, полезной людям службы, без постоянного доброобмена она не может оставаться здоровой и чистой. По всем законам существования и сохранения — не может.

Н.С. Тендитник: В то время, когда Вы начинали писать, помнится, стойкими были разговоры о том, что ранняя профессионализация вредна. Вам она совершенно, очевидно, не помешала. Что Вы думаете о месте жизненных университетов в судьбе писателя?



Валентин Распутин. 1977 г.

В.Г. Распутин: Всё, наверное, зависит от того, когда человек почувствует и проявит себя как писатель. Упрёки в ранней профессионализации, когда писатель уже состоялся (может быть, ещё недостаточно окреп, недостаточно состоялся и развился), — эти упрёки будут пустыми и несправедливыми. Если писательской мощи, писательской тяги в человеке мало, никакие жизненные университеты ему не помогут.

Пушкин стал прекрасным поэтом ещё в лицее, Бунин тоже не работал на строительстве Транссибирской магистрали, в то же время Льву Толстому отнюдь не помешало участие в севастопольской кампании, когда он писал «Войну и мир». Неизвестно, как бы сложилась судьба Достоевского-художника, если бы не каторга и не сибирская ссылка, неизвестно — написал бы он «Братьев Карамазовых» и «Преступление и наказание». «Записок из мёртвого дома», по

крайней мере, не было бы точно. Всякий человек, независимо от того, где и как, в каком качестве он живёт, проходит свои жизненные университеты, которых ему вполне достаточно для литературной работы. Он живёт среди людей, он, ежедневно, ежечасно сталкиваясь с ними, наблюдая их и себя среди них, испытывает чувства и делает сравнения, которые служат материалом для писательского отображения жизни и писательского воображения. И материала этого обычно бывает больше, чем достаточно, если человек, взявшийся за перо, подлинный писатель.

Можно создать прекрасную книгу, отталкиваясь от пустякового случая, придать ему законченные художественные формы — это уже дело таланта. Мы, к сожалению, не совсем верный смысл вкладываем в понятие «жизненные университеты». Мы порой понимаем его как обязательное участие в великих стройках и овладение рабочими специальностями. Писателю, чтобы познать человеческую душу, вовсе не обязательно вести рельсы БАМа, укладывать бетон в плотину Братской ГЭС или доить в совхозе коров. Ему важно писать своих героев так, чтобы читателю и в голову не приходило, что в происходящем участвовала какая-то посторонняя сила, именуемая этим автором, который что-то знает и чего-то не знает, чтобы не возникло никаких сомнений, что это исходящее — есть одна суть и правда жизни. Писателю, как мне кажется, достаточно обладать своей профессией. И когда в предисловиях к книгам встречается перечисление, что автор был и тем, и другим, и третьим — и лесорубом, и стюардом, и бетонщиком, и поваром, — что должно, видимо, показать, что автор знает матушку-жизнь не по книгам, а своими собственными руками, ногами, — это вызывает, мне кажется, обратный ход читательского доверия. Ум читателя рассуждает, видимо, резонно, «что он, метался, метался, нигде не задерживался, а теперь вот решил пойти в писатели». Читатель — он тоже за постоянство профессий.

Н.С. Тендитник: Интересно было бы услышать от Вас, Валентин Григорьевич, как формировался круг Вашего чтения, кто из писателей привлёк Ваше внимание вначале, может быть, в детстве, что отбираете сейчас для чтения профессионального и просто для души.

В.Г. Распутин: На этот вопрос ответить сразу не просто. В 50-х — начале 60-х годов, когда к нам пришла богатая переводная литература, мы зачитывались ею, восхищались, забывая, что у нас прекрасная литература и своя классика. Читали её как-то меньше. Но затем с возрастом, с опытом пришло и осознание этого факта. Пришлось возвращаться опять к классике и учиться больше у неё, поскольку она есть выражение нашего национального духа.

Сейчас писателю нельзя обойтись без классики, без постоянного перечитывания Достоевского, Толстого, Бунина, Тургенева, Гоголя, Лескова и других. Если говорить о моём круге чтения теперь, то он состоит из трёх пунктов.

1-й пункт — классика, которую постоянно приходится перечитывать: заново читать то, что было пропущено, перечитывать для своей профессиональной учёбы.

2-й пункт — наши современные писатели. Когда появляются новые книги Василя Быкова, Сергея Залыгина, Василия Белова, Виктора Астафьева, то не читать, конечно, их нельзя. Это необходимо не только писателям, это интересно каждому человеку.

3-й пункт, видимо, касается только меня. Наша литература всегда была высоконравственной. Это относится даже не только к художественной литературе, это относится и к нашей философии, к нашим писателям-философам. А их действительно нужно называть писателями, потому что это были философы необходимого нравственного направления. Мы их, к сожалению, знаем очень мало, знаем не полностью, знаем по нескольким статьям или книгам. А знать их необходимо. Я этот пробел сейчас постоянно стараюсь восполнять.

Н.С. Тендитник: И для Вас, Валентин Григорьевич, и для нас, читателей, персонажи — живые люди. Они могут, появившись на свет, оставить в покое создателя, а могут и тревожить его воображение дальше. Судя по тому, что в каждую вещь Вы вносите правку, Ваши герои, наверное, не оставляют Вас. Что Вы сами об этом думаете? Слушаются ли Вас Ваши герои в процессе работы? Какими они остаются для Вас позднее?

В.Г. Распутин: Отношения между автором и его героями бывают обычно сложными. Они бывают гораздо сложнее, чем это может представляться неискущённому читателю. Казалось бы, чего проще: придумал героя, запустил его в книгу, в круг тех действий, которые тебе необходимы, и верти им, как хочешь, делай с ним, что пожелаешь, что ты над ним царь и Бог, без тебя он не может сказать ни одного слова, не ступить ни единого шага. Но это только кажется. Как только герой рождён, определён как некая живая величина, определён чувствами и определённым отношением к жизни, он начинает жить самостоятельной жизнью. Да, без автора он не сделает ни шагу, не скажет слова, но автор должен постоянно соизмерять эти слова и шаги с положением и естественным поведением своего героя. Он обязан относиться к нему как к человеку живому, с доверием, уважением, пониманием. Ни в чём не кривить по отношению к нему душой. Авторский произвол в таких случаях заметен сразу. Герой, которого заставляют произносить фальшивые слова и делать фальшивые шаги, чувствует, что с ним поступают как с игрушкой, и тогда он как игрушка начинает вести себя. Читатель в такого героя не поверит, а автор, потеряв власть над ним, с большим трудом доведёт его, изо всех сил сопротивляющегося, до конца книги, а то где-нибудь и потеряет по дороге. Я, когда писал «Живи и помни», полагал, что у Настёны будет несколько иная судьба, чем она получилась затем. Я рассчитывал Настёну оставить в живых, не рассчитывал того конца, к которому она пришла. Я надеялся, что как раз у меня покончит с собой Андрей Гуськов, муж Настёны. Но чем дальше продолжалось действие, чем больше жила у меня Настёна, чем больше страдала от того положения, в какое попала, тем больше я чувствовал, что она выходит из того плана, который я для неё составил заранее, что она не подчиняется уже автору, что она начинает жить самостоятельной жизнью. И конец, который получился в книге, выбирает сама героиня, тут автор ничего сделать, пожалуй, не смог бы. Она сама выбрала тот финал, к которому повесть пришла.

Герой впоследствии, когда книга закончена, когда она уже ушла от писателя к читателю, не оставляет его. Особенно те герои, которые были как бы доверенными лицами автора, которым он дал право высказать самые свои сокровенные мысли по наиболее важным проблемам жизни. Вот и Настёна ушла, погибла, но нет-нет, да я чувствую её молчаливые упреки. Дело не в том, что я позволил ей умереть, а в том, что не всё она успела сказать, прочувствовать, что ей хотелось бы оставить людям. То же самое старуха Дарья в «Прощании с Матёрой». Мне кажется, она говорит: «Да ведь я любила эту землю большой любовью, я страдала с ней большими страданиями, чем это есть в повести». И не прислу-

шиваться к таким упрёкам, пожалуй, нельзя, потому что ты несёшь ответственность за своих героев, коли ты дал им жизнь и не позволил прожить её полной мерой.

Н.С. Тендитник: Вспоминаю сейчас Вашу статью «Не мог не проститься с Матёрой» в том отношении, что там Вы рассматриваете повесть «Прощание с Матёрой» как завершение определённого периода Ваших творческих исканий. Не может ли случиться так, что это ощущение окажется обманчивым, и Вы найдёте в судьбе деревни источник новых творческих открытий? Ведь этот жизненный пласт не исследован до конца, он, наверное, неисчерпаем?

В.Г. Распутин: Может, конечно, так случиться. Писатель, мне кажется, должен осторожно давать обещание относительно своей дальнейшей работы. Что вот, мол, о деревне я написал, теперь, пожалуй, напишу о городе. Иной раз это зависит не только от него, от его желания и планов, но от каких-то иных сил, которые определяют (и очень точно определяют), за какую тематику ему сейчас взяться и какие проблемы решать. Силы эти — та вызревшая, нестерпимая, не дающая ни днём ни ночью покоя боль, которой болит сердце и которую важно донести до читателя во всём необходимом художественно-проблемном её облачении, в соразмерном, точно выверенном помещении от порога до переднего угла, которое называют сюжетной канвой. Этим, откладывая на неопределённое время свои планы, писателю и приходится заниматься. Может быть, придётся вернуться к старой деревне, и впечатление завершенности этого цикла окажется обманчивым. Там, в старой деревне, накоплен и сохранён тот нравственный опыт, который присущ нашему периоду. В городе он так или иначе меняется. Нельзя говорить, что город безнравствен, но прежние моральные законы о нём, осмысливаясь и продолжаясь в новых условиях, принимают иные качества. Чтобы сравнивать их с прежними и делать выводы в ту или иную пользу, возвращение к деревне будет продолжаться ещё у многих писателей. Говорить о том, что так называемая «деревенская литература» исчерпала себя, по-моему, преждевременно. Она до сих пор живёт и находит важные пути своего развития, которые дают ей право существовать и продолжаться дальше.

Н.С. Тендитник: Валентин Григорьевич, одна из замечательных особенностей Вашей прозы заключается в том, что в ней Вы сумели выразить и постичь мнение народное. В этой связи овладение «чужим» словом было для Вас чрезвычайно значительным. Вот уже многие годы Вы горожанин. Как развивается и сохраняется Вами контакт с устной разговорной речью?

В.Г. Распутин: Языковая стихия, которой владеет писатель, приходит к нему, наверное, в детстве и ничем её, никаким литературным языком выправить невозможно. Этот опыт многих поколений, выраженный в языке, приходит затем к писателю. У нас существуют законы о защите природы. А русскому языку под напором массовых средств информации, в условиях нашей так называемой общей образованности, грозит тоже очень большая опасность. И опасность эту мы постоянно чувствуем. Помочь русскому народному языку — сильному, богатому, великому — сейчас, пожалуй, в состоянии только литература. И когда писатель нарочито берётся писать неким литературным языком, неким усреднённым языком, которым люди общаются, чтобы понимать друг друга, это уже плохо. Сейчас главный долг современного писателя — больше обращать внимание на народный русский язык. Сохранять его, пользоваться им, всячески его продолжать. Я постоянно бываю в деревне, разговариваю не только со старухами. Язык сохранился не только у них, он сохранился у людей среднего поколения и продолжается у людей младшего поколения.

Есть такие люди: знает он хорошо народный язык, а стремится прибегать к языку, который он услышал по радио, вычитал в газете, и в мешанине одного и другого языка разговариваешь как будто с иностранцем каким-то. Очень трудно понимать этого человека. И второе, что для меня очень важно: я как художественную литературу, а может быть, и больше, постоянно смотрю, читаю словарь Даля. Я кроме того давно уже собираю фольклорную литературу, где народный язык выражен наиболее полно, собираю песни, сказки, пословицы, поговорки — всё, что относится к фольклору. Это помогает мне.

Н.С. Тендитник: Со студенческих лет Вас связывала тесная дружба и творческое общение с Александром Вампиловым. В творчестве Вы были тоже верны одному принци-

пу — жить среди Ваших героев. Было бы интересно услышать от Вас, в каком отношении развивались ваши творческие разговоры, может быть, споры, размышления о творчестве.

В.Г. Распутин: Вампилов строго относился к своим вещам, к чужим — тоже. Известно, что до конца жизни он работал над каждой своей пьесой. Он работал постоянно, что-то убавляя, прибавляя, выверяя, дополняя. Вампилов всегда был против принципа «ни дня без строчки», когда человек должен обязательно писать, есть о чём писать или нет, важно не важно, болит не болит сердце, но писать. Вампилов считал (а я согласен с этим), когда нечего сказать людям, нужно подождать, когда появится то, что нужно сказать. Если ты подлинный, истинный писатель, то это, как беременность у женщины, — так или иначе она придёт к концу. Мысль, решение проблемы проявится и позовет тебя к письменному столу, то есть произойдёт рождение вещи, которая важна и для как писателя, и для читателя. Важна и необходима.

Н.С. Тендитник: Соотношение духовного и нравственного опыта поколений — проблема, которой Вы отдали не один год Ваших раздумий и об этом. Вы сегодня очень интересно говорили. Прекрасные образы русских женщин — старухи Анны, Дарьи воспринимаются как выражение лучших сторон национального характера. Как объяснить это чудо? Как нащупать социальные и духовные корни такого характера?

В.Г. Распутин: В традициях русской литературы доверять именно женским образам выражение основных авторских мыслей. Так было в прошлом веке, так и в нынешнем веке продолжается. Связано это вообще с ролью женщины в нашей жизни. Женщина — содержательница и хранительница семейного очага, мать и воспитательница детей. И то, каким будет человек, с каким сердцем он станет жить, в большей степени зависит от матери, чем от отца. Женщина — мягкость, нежность, доброта и душевность, красота и тайна человеческая. Женщина — глубина и чуткость чувств, их предельная развитость и отзывчивость. Но вместе с тем — житейская мудрость, наследованная от поколения предков, потому что женщина, оставаясь с семьёй, не могла растерять её по ближним и дальним дорогам. И верность национальным традициям в одежде, кухне, хозяйстве, песнях, новых и старых обрядах, и терпение, огромная душевная сила и крепость, верность неписаным моральным законам — это тоже в женщине. Поэтому она для литературы была и остаётся благодатным, надёжным материалом, без которого никак не обойтись не только в любовных сценах (которые тоже важны для литературы), но и в постановке и решении самых глубоких гражданских и человеческих проблем.

Критика отмечала, что у меня лучше всех получаются женские образы — это старуха Анна в «Последнем сроке», Настёна в «Живи и помни», старуха Дарья в «Прощании с Матёрой». Мне это и приятно, потому что то, что можно было доверять, что хотелось выразить в той или иной повести, у меня получается лучше всего с помощью женских характеров. Понятно, почему я беру старух. Они прожили долгую жизнь, они имеют большой нравственный опыт, им есть что сказать и что оставить людям.

Этот опыт не всегда пропадает бесследно. Настёна — одна из его продолжательниц и хранительниц, она помогает ему сохраняться дальше.

Н.С. Тендитник: В силу редкостной убедительности характеров в повести «Живи и помни», а отчасти ещё, может быть, и потому, что заголовок заключает в себе особую энергию и страсть выраженной в повести философской мысли, некоторые читатели склонны принимать за героя Андрея Гуськова. Между тем достаточно внимательно вдуматься в ход событий, чтобы понять, что Вас волновал образ Настёны, и Вы написали повесть о Настёне. Как соотносить с высокой трагической судьбой Вашей героини смысл нравственной проповеди «Живи и помни»?

В.Г. Распутин: Не только ведь читатели принимали за главного героя повести Андрея Гуськова. Критики тоже принимали его за главного героя. Видимо, их смутила столь сакраментальная фигура, как дезертир. Что касается Настёны, то я и задумал повесть, и писал её только ради Настёны. А судьба её, очевидно, есть смысл нравственной проповеди повести: жить не лукавя, не хитря, не для себя только, но и для других, чувствовать себя в постоянной взаимосвязи и взаимодействии с другими людьми, поступать согласно не

навязанным человеку противоестественным для него законам, а поступать согласно веками выработанным нравственным указаниям души и сердца, верить в ближнего своего и помогать ему, чувствовать свою ответственность за всё, что происходит кругом, болеть человеческими бедами и болями и проверять себя: а так ли живёшь, как нужно? Не жил ли другой человек, как задаёт вопрос Настёна, на твоём месте с большей добротой и пользой? А кроме того столкнуться с непримиримостью, как это получилось в истории Настёны и Андрея Гуськова, личного и общественного, а самое главное, не решить в пользу личного. Не выдержать вины своей перед другими. Это и есть нравственная чистота и нравственный подвиг Настёны. А сколько их таких, как Настёна, совершают этот нравственный подвиг ежедневно, ежечасно на просторах нашей матушки-России своей негромкой и терпеливой жизнью...

Н.С. Тендитник: Спасибо, Валентин Григорьевич, за Ваши размышления, очень искренние и интересные.

Советская молодёжь, 1977, 29 ноября

Между жизнью и смертью

Из бесед Виктора Кожемяко с Валентином Распутиным

«Почти двадцать лет, с небольшими перерывами, вели мы эти беседы, итога годы и происходившие в них события. За это двадцатилетие Россия пережила много что...» Так Валентин Григорьевич Распутин написал о своих беседах с журналистом «Правды» Виктором Кожемяко, предваряя составившуюся из них книгу. Она вышла в 2012 году под названием «Эти двадцать убийственных лет» и стала фактически последней книгой великого писателя, его завещательной исповедью между жизнью и смертью.

Редакция «Сибири»



Валентин Распутин и Виктор Кожемяко

— Валентин Григорьевич, вот и еще один год минул — 2009-й. Перед новогодним праздником полагалось бы настраиваться на радостный лад, но честно скажу: не получилось у меня. Ведь словно по заказу в стране нашей подряд столько тяжелых трагедий! Не успели еще опомниться от катастрофы на Саяно-Шушенской ГЭС — взрывы на военных складах в Ульяновске, а затем подрыв «Невского экспресса». Прошла лишь неделя после этой беды — жуткое кострище в Перми, унесшее более 150 человеческих жизней...

— Да, да! И это далеко еще не все беды минувшего года. Это только самые громкие, небывалые, как катастрофа на Саяно-Шушенской ГЭС и пермская трагедия... Но ведь продолжалось еще и изнасилование детей, заказные убийства едва ли не достигали уровня ельцинских лет; дорожные аварии с гибелью людей побили все предыдущие рекорды; через день да каждый день поступают сообщения о бандитских нападениях на инкассаторов, священников, на случайных прохожих, не так посмотревших или не то сказавших. Если это не война, то и не мир.

— Можно рассматривать порознь каждую из трагедий, потрясших нас в прошлом году, и у каждой будут свои конкретные причины и конкретные следствия. Но, размышляя о причинах и следствиях всех этих бед, невольно опять обращаешься к нравственному, а точнее — все более безнравственному состоянию нашего общества. Само слово-то это, нравственность, давно уж почти совсем не звучит у нас в общественном обиходе, и многим, особенно молодым, наверно, кажется абсолютным анахронизмом. Не потому ли, например, устроители веселья в пермском ночном клубе «Хромая лошадь» без душевных угрызений покинули вспыхнувшее заведение через известный только им служебный ход, предоставив остальным задыхаться в тесноте единственного для всех выхода?

— А вот это что — распушенность, безнравственность или что-то пострашнее? Всегда ведь было: сам погибай, а товарища выручай. Конечно, и в «Хромой лошади» некоторые жертвы огня пытались помочь друг другу, но огонь был сильнее. Впечатление такое, что его, огонь, распяляли не только легковоспламеняющиеся материалы по стенам и потолку,

но и самое это издевательское название заведения. Странные все-таки вкусы: над гражданами нашими издеваются, а они приходят в восторг. За пошлость и бесстыдство поднимают цены, а они считают это справедливым. Ведь эта «Хромая лошадь» была чрезвычайно популярна, иначе не случилось бы многократного перенаселения ее в ту трагическую ночь. И набились туда не подростки-несмышлениши, а взрослые люди, как сообщалось, от 20 до 40 лет. С вполне сложившимся вкусом, с немалым житейским опытом.

Это еще раз подтверждает, что со вкусами и житейским опытом в России не все в порядке. Двадцать лет миновало с начала той «судьбоносной» поры, когда наизнанку было вывернуто все: и многовековые нравы и традиции, и способы жизни и хозяйничанья, трудовые и воинские победы, тысячелетняя история... Все охаивалось и отвергалось. Нажитое и выстроенное народом в тяжких трудах за многие десятилетия растащили за полгода. Это походило на то, как если бы свергался последний очаг обезьяньего периода, предшествовавшего человечеству, и наконец-то открывались сияющие перспективы.



Валентин Распутин

Не забыли еще: малолетние школьницы, освобожденные от понятий *хорошо-плохо, прилично-неприлично*, дружно возжелали под влиянием телевидения стать проститутками. Такие объявились вкусы. Девушки постарше бросились за границу. Одни в поисках богатых женихов, другие на заработки тем самым ремеслом, которое не требует ни воспитания, ни образования. И миллионы людей более старшего поколения, бывшие инженеры, учителя, кандидаты наук, матери и отцы, потеряв работу, вынуждены были обзавестись профессией «челнока»: за границей купить — дома продать и накормить детей. И это в целомудренном народе, не признававшем барышничества и разврата. Вырвались из коммунизма и ветхозаветных понятий — и уже через десять лет (да раньше, раньше!) тысячи и тысячи мамаш школьного возраста, начиная от 12–14 лет и далее, принялись рожать и подбрасывать своих чад под чужие двери или выбрасывать на помойку.

Да разве можно от таких нравов освободиться сразу, если бы даже и захотели освободиться?! Но не очень и хотят. «Передовая» и независимая от всяких ограничений пресса, телевизионные программы, Интернет, уличная реклама продолжают свое дело даже и не исподтишка, а открыто и воинственно.

Нравы, нравственность — однокоренные слова, но уже с разошедшимися понятиями. Нравы — ну и нравы! — превратились в нечто дурное, неприятное, а нравственность, мораль покуда еще сохраняют свою чистоту и непогрешимость. Сохраняют в последнее время, по-моему, прежде всего благодаря церкви. Спасшиеся — это все-таки по большей части верующие.

— Очевидна, думается, и еще одна общая для многих трагедий года причина: безудержная капиталистическая погоня за деньгами, за прибылью! В той же Перми «экономили» на противопожарной безопасности, сократив, как выясняется, необходимые расходы на нее по городу аж в три раза. В помещении ночного клуба, рассчитанное на 50 человек, назвали около 300. Денежки — в карман, а люди пусть горят. Закупая по дешевке старые, уже почти негодные «Боинги», обрекают сотни людей на гибель, зато хозяева авиакомпании обогащаются. А Саяно-Шушенская ГЭС? Разве не жадность новоявленных хозяев, не желающих тратиться на своевременный и неотложный ремонт, привела к катастрофе? Естественный износ техники, еще советской, плюс «реформа» энергетики по Чубайсу — вот и результат. Однако имя непотопляемого Чубайса, названное комиссией поначалу самым первым среди виновников, очень скоро из того списка исчезло. Случайно?

— «Безудержная капиталистическая погоня за деньгами, за прибылью», — говорите вы. Да, настолько безудержная и алчная, что невольно является страшное предположение: а что, если бы в Великой Отечественной войне взял верх фашизм и последовала бы оккупация России со всем тем, что бывает при оккупации: унижение и эксплуатация народа, надругательство над его вековыми традициями и образом жизни, подневольное и унижительное существование, миллионы и миллионы беспризорников, вывернутая наизнанку школа, разрушенное хозяйство, запущенные пашни и т. д., и т. д., — было бы при таком фантастическом порядке труднее и страшнее? Все, что испытали мы при Ельцине, Чубайсе и К°, сравнить не с чем, и свобода, ради которой якобы потребовались жертвы, ничего не принесла, кроме чужебесия, распушенности, безнравственности, нищеты одних и бешеного богатства других. Требуется полностью перевоспитывать наш народ, чтобы он с этим смирился. Да оно и идет полным ходом, это перевоспитание, в школах и вузах.

А Чубайс... что ж Чубайс... Он давно уж для власти святой... Ну, балуется, ну, вредит, хамит, ну, одиозная фигура, ну, принял участие в трагедии Саяно-Шушенской ГЭС, да ведь весь ельцинский синод прошлого и настоящего у него в покровителях, и ни один волос с его головы не должен упасть.

— *Весь год говорили о мировом финансово-экономическом кризисе, постигшем и Россию. Казалось бы, раз кризис, значит, общество подтягивается, мобилизуется, сокращает расходы, без которых в кризисных условиях можно обойтись. Казалось бы... А на деле? Разве хоть в чем-то заметно, что богачи наши умерили свои безумства в роскоши и начали думать о других людях, едва сводящих концы с концами? Нет, Абрамович опять приобретает новую сверхшикарную яхту, другой «российский» миллиардер — Исмаилов, устраивает пир на весь мир в Турции по случаю открытия нового небывало роскошного отеля, а его детки, шокируя Европу и сбивая встречных, гоняют на сверхдорогих лимузинах и недозволенных скоростях в Швейцарии... У служателей банков и частных фирм — многомиллионные «бонусы», у чиновников — «откаты», тоже многомиллионные. Призывы свыше к богатым вести себя более скромно раздавались, но вы уверены, что кто-нибудь это услышал или услышит?*

— Виктор Стефанович, мы с вами продолжаем оставаться неисправимыми нравственниками, что давно уже считается занудством и неприличием: сколько уже раз, с той поры как мы начали эти беседы, приходилось обращаться к личности Абрамовича и его теперь уже многочисленных братьев-олигархов. Ну и что, кого-нибудь устыдили? Пьянеют не только от водки, еще больше пьянеют и теряют человеческий облик от бешеного богатства. Кампанию против пьянства было бы полезно совместить с настоящей, а не формальной, для вида, кампанией против лихоимства. Пьяница покуражится-покуражится да и заснет в обнимку с бутылкой в подворотне, а одуревшему от несправедливых миллиардов этого мало, он полетит на крыльях удачи в Европу или Америку, закажет самую дорогую яхту и одновременно самый дорогой аэроплан в свою собственность, выстроит сверхдорогой отель да прикупит в двух-трех местах виллы — и пошла гулять губерния на весь свет.



Валентин Распутин с земляками в Усть-Уде

Пьянство — это зло, и зло тяжелое, ну а разве подобные нравы, да еще и показные, буйные, пугающие осторожных европейцев, недоступные пониманию большинства наших соотечественников — разве это меньшее зло?

Ну ладно, Абрамович и его друзья-олигархи первого призыва разбогатели в самое воровское время при Ельцине, с которого взятки гладки, но ведь этот клан небожителей разрастался как на дрожжах и во все последующие годы, и Россия, как

курица-несушка, производила их постоянно. Трудно поверить, но ведь факт: тот самый Исмаилов, о котором вы упомянули, пожалуй, самый матерый миллиардер, нажил свои капиталы в печально знаменитом и одиозном Черкизовском рынке, превратившемся под его руководством в небывалый торг опасными продуктами и фальшивыми товарами. И известном к тому же рабством гастарбайтеров, русских и даже китайцев. И что, не ведало об этом московское правительство, не доносилась правда до российского?

После подобных, прямо-таки великомасштабных нравов местнические бравые попытки утереть нос другим, как правило, заканчиваются печально. Не тот калибр риска и вызова. Во Владивостоке к Новому году решили поставить на площади елку небывалой высоты и стоимостью в десять миллионов рублей. Конечно, такая елка не в лесу выросла, а под руками молодцов-мастеров. Поставили, нарядили. Но подул ветер — и елка грохнулась оземь и разлетелась на мелкие кусочки.

Вот и выше всех, вот и десять миллионов.

— У нас давно уже очевидно сращивание так называемого бизнеса и власти. Получается замкнутый круг: президент Д. Медведев призывает «не кошмарить бизнес», до минимума сократить всяческие проверки частных предприятий и заведений, а результатом становятся трагедии — наподобие той, что произошла в «Хромой лошади», где грубейшим образом оказались нарушенными элементарные противопожарные требования. Но «усиление контроля», как показывает жизнь, тоже мало что дает, поскольку зачастую это не реальный контроль, а лишь видимость: пресловутые «откаты» все сводят на нет. Вы не замечаете в такой ситуации некоей безысходности?

— Оказалось, довольно легко сойти со сложившегося за многие десятилетия порядка отношений между государством и гражданами. И оказалось чрезвычайно трудно к нему вернуться.

90-е годы до основания разрушили этот порядок. Государство осталось с объявившимися корыстолюбивыми богачами-«предпринимателями» и, может быть, еще более корыстолюбивым чиновничеством. А нередко, как мы знаем, те и другие соединяются в одном лице. Народ не мог не видеть этого и отошел от греха подальше, в сторонку, заботясь лишь о своем выживании. Народовластие как державное понятие оказалось совершенно исключено как из политического языка, так и из практической жизни. Отсюда и теперешние несообразности и пустоты.

— Для меня знаком единения власти и олигархов в абсолютной безнравственности стало происшествие, которое я считаю самым позорным в ушедшем году. Скандально знаменитый по «истории с девочками» во французском Куршевеле олигарх Михаил Прохоров на сей раз решил «достойно» отметить годовщину своего буржуазного журнала «Русский пионер». И отметить не где-нибудь, а на крейсере «Аврора» — боевом корабле № 1 Военно-Морского флота России. Разумеется, в этом прежде всего был вызов миллиардера «Авроре» как кораблю революции: бурная пьянка на борту крейсера с прыганьем в Неву под матерные песни некоего Шнура носила характер демонстративного святотатства. Но самое главное — кто принял участие в этом мероприятии! Среди гостей были полномочный представитель президента Клебанов, министр федерального правительства Набиуллина, губернатор Санкт-Петербурга Матвиенко. И никого из них, судя по всему, не смутило, что разухабистая пьяная гулянка на корабле, который является музеем, — это, мягко говоря, неприлично. Об олигархе я уж и не говорю — нравы прохоровых, исмаиловых, фридманов и абрамовичей давно известны. А как вы думаете, почему люди, представляющие российскую власть, позволяют себе такое?

— Комментировать это событие свыше моих понятий и сил. Но приходится признать неумную изобретательность олигарха. Что там голые девочки во французском Куршевеле? Тьфу! — плюнуть и размазать! Но вот на «Авроре» шумный и неприличный бардак с самыми знатными членами правительства и президентскими приближенными — вот это фокус! Теперь вся Россия — да что там Россия! — весь мир должен замереть в ожидании: что же дальше выкинет богатейший похабник? Ведь он, конечно же, на этом не остановится!

А если представить — случись такое в любой из европейских стран, не говоря уж об Америке, я думаю, скандал прогремел бы с последствиями серьезными, и если не головы у высокопоставленных чиновников, то судьбы полетели бы непременно. Но какой же нравственности ждем мы от своих граждан, какого доверия к сильным мира сего, если «Аврору» осквернили, совесть и стыд публично оплевали — и ничего! Как будто так и надо, чтобы страна не скучала.

— Летом газеты писали о путешествии, предпринятом Валентином Распутиным по Ангаре — от Байкала до Кодинска. Путешествии не развлекательном, а познавательном и направленном в конечном счете на спасение уникальной реки и заповедных мест на ней.

— Да, такое путешествие состоялось, грустное и в какой-то степени загадочно-трагическое. Я ведь и сам с Ангары, и Аталанка моя, переехавшая полвека назад перед затоплением Братского водохранилища в гору и принявшая в себя полдюжины соседних деревень, до сих пор жива, хотя и доживает, по всему судя, последние годочки. Поля затопили, леса вырубili, постоянных дорог в большой мир нет, работы нет, надежд не осталось — пустеет Аталанка. Мы на этот раз провели в ней без малого два дня, оставшиеся жители приняли наконец Христово крещение от прибывших с нами батюшек, затем меня попросили указать, где стояла-жила Аталанка до затопления, почти наугад в разливе нынешнего моря я это место указал, и товарищи мои опустили в воду поминальные цветы, а «Метеор» наш дал скорбный гудок.

Следующий поселок — Карда — опустел и погиб окончательно, к нему и причалить не удалось. Подвочная (тут когда-то начинался волок на Илим), тоже вобравшая в себя все ближние деревни, еще держится благодаря близости к Братску, но и здесь — заброшенные избы и неуверенность в завтрашнем дне.

Красавицу Ангару только по старой памяти можно называть Ангарой. Три гидростанции — Иркутская, Братская и Усть-Илимская — превратили ее в разбухшую, ограбленную и даже опасную старуху. Десятки лет после затопления пришлось ей вымывать из своих глубин и качать на волнах неубранные леса, а затем баррикадами забивать ими свои берега. Острова ушли на дно, воду пить нельзя, рыбу есть нельзя — это результаты работы химических предприятий в Ангарске, Усолье-Сибирском и Саянске. Нельзя, но и рыбу берут, и воду пьют. А что делать? Кому жаловаться?

А впереди еще, уже на воде и земле Красноярского края, — многострадальная и огромная Богучанская ГЭС, строящаяся уже без малого тридцать лет.

— Накануне Нового года появились сообщения о заседании в Красноярске правительственной комиссии под председательством вице-преьера Игоря Сечина. Речь шла о скорейшем вводе в строй Богучанской ГЭС. После аварии на Саяно-Шушенской премьер Владимир Путин дал поручение пустить Богучанскую в конце 2010 года или в начале 2011-го. На заседании Сечин констатировал: «запаздываем примерно на семь месяцев», «выполнено только 70 процентов всех запланированных на 2009 год работ», «мешает конфликт акционеров». Но ни слова при этом не было сказано о серьезных угрозах, которые несет несовершенный проект Богучанской гидроэлектростанции.

Дело в том, что в погоне за той же прибылью верхний бьеф, то есть уровень рукотворного моря, решено было поднять с запланированных в советское время 185 метров до 208 или даже 211. Между тем авторитетные специалисты предупреждают, что каменно-набросная плотина при этом может не выдержать напора Ангары, что обернется катастрофой, аналогичной саяно-шушенской. Оказывается, еще в 2003 году, при минимальном напоре, плотина Богучанской ГЭС дала течь и был затоплен котлован, под воду ушло здание гидроэлектростанции. К счастью, тогда обошлось без человеческих жертв. Но чтобы избежать их в будущем, специалисты, опубликовавшие свою статью в газете «Красноярский рабочий», требуют провести немедленную квалифицированную проработку дальнейшего строительства плотины. Только вот как добиться этого?

— Многострадальная Богучанская... Многострадальная еще до завершения строительства. Гремела, как все ангарские ГЭС, в 80-х прошлого столетия, затем надолго за-

тихла, когда менялась власть, потом была разбужена и возвышена... «Возвышена» — это значит, как вы уже сказали, что верхний бьеф ее для увеличения мощности решили поднять на много метров. Это потребовало переселенных прежде из нагретых за столетия родовых мест снова переселять неведомо куда. В общем-то ведомо: подальше от Ангары. Тут, на песенной Ангаре, веками жил песенный народ. На встречи с нами собирались женщины, как правило, преклонного возраста и без особых уговоров принимались петь. Затем плакать. И снова петь. Раньше так провожали на войну мужиков, теперь так прощаются с родной землей.

В молодости, работая в газетах, я много раз бывал на Братской ГЭС, затем на Усть-Илимской, позже на Красноярской и даже однажды на Саяно-Шушенской. Конечно, и тогда при вынужденном переселении не обходилось без слез, и тогда ломались судьбы многих и многих, и тогда потери земные и нравственные, если поставить их рядом с нуждами цивилизации, были несравнимыми... Но тогда держалось еще доверие к государству: надо — значит надо.

С тех пор в сознании народа много что изменилось. В акционерах видят только олигархов, граждан мира, которым на Россию и на ее народ наплевать, была бы выгода. При этом не какая-нибудь, а бешеная. И участие их в сооружении гидроэлектростанций заставляет подозревать, что сооружения эти могут быть недолговечными.

Богучанскую ГЭС решено запустить через год-полтора. Ну что же, строители могут и поднажать. Но Ангара... это будущее ложе водохранилища — прости, Господи, за этот язык! — могучая Ангара здесь сплошь в чудо-островах, на которых не просто лес, а, считай, тайга на километры и километры... Да леса, еще более могучие, по берегам реки. И если в моих родных местах при сооружении Братской и Усть-Илимской ГЭС леса не были убраны даже и вполтину, и десятки лет (именно десятки лет до последнего времени) они сначала торчали по берегам из воды, затем их вымывало и таскало по нашим рукотворным морям тоже годами и годами, а затем забило ими, как баррикадами, все берега, не подойти и не подъехать, что же будет теперь здесь?

Ясно, что будет: то же самое, только в гораздо больших масштабах. Судя по всему, уже готовится — да еще и не обернулось бы катастрофой прорыва плотины, если из-за спешки и погони за прибылью не прислушаются к предупреждающему голосу специалистов. Надо требовать, чтобы прислушались!

— *Телевидение летом показало вашу встречу с В. Путиным на Байкале.*

— Я попросил о встрече с председателем правительства из Козьмодемьянска, из города, рядом с которым сооружается Богучанская ГЭС. Путин все-таки несколько лет назад, можно сказать, спас Байкал от грозившей ему беды, когда принял решение отодвинуть нефтяную трубу по берегу Байкала на безопасное расстояние. Мы, болеющие за судьбу уникального чуда природы, этого поступка, который стоил, должно быть, немалых дополнительных затрат, не забыли. Не забыл и Байкал. В прошлом году Владимир Владимирович опустился на глубоководном аппарате «Мир-1» на дно Байкала в самой глубинной его части и тогда мог не беспокоиться о каких-либо осложнениях.

Наша встреча с председателем правительства состоялась тоже на Байкале, на дрейфующем посреди озера корабле. Я начал с того, что припомнил слова А.И. Солженицына о главной задаче власти — сбережении народа. А сбережение народа — это не только обеспечение его работой и прожиточным минимумом, но и сохранение России в ее нравственном, духовном и культурном обликах, в сохранении природы — матери народа.

В.В. Путин не перебивал меня, но только до той поры, пока я не заговорил о Богучанской ГЭС, о том, нет ли возможности, если не прекратить ее строительство вовсе, то хотя бы отказаться от увеличения отметки верхнего бьефа. Ответ Путина был: уже поздно. А что касается следующей гидроэлектростанции на Ангаре (в планах на будущее она существует), по ней, сказал он, еще нет окончательного решения.

А буквально через неделю после этой встречи грохнулась Саяно-Шушенская. Конечно, это случайность, что трагедия произошла вскоре после нашей встречи. Но какая-то уж очень назидательная случайность.

А ещё позднее стало известно, что на Байкале возобновляет свою работу целлюлозный комбинат.

Эта новость повергла защитников Байкала в недоумение и растерянность. Это что же, опять начинать все сначала? Я состоял в Государственной комиссии по Байкалу в середине 80-х прошлого столетия, руководил которой Николай Иванович Рыжков. Комиссия в 1985-м приняла решение: к 1993 году работу целлюлозного комбината на Байкале прекратить. Но новая власть в начале 90-х скорее готова была прекратить существование России, о Байкале в то время и речи не могло быть. Но сегодня-то?!

— *Прошедшим летом, когда вы были в Иркутске, на псковской земле скончался выдающийся поборник русской культуры Савва Ямщиков. И в те же дни на земле иркутской вам пришлось провозжать в последний путь замечательного русского книгоиздателя Геннадия Сапронова. Что значат такие утраты для вас лично и для России?*

— Почти одновременно две такие потери — это для нас жестокий удар. Невосполнимый. Более полугода прошло, а боль не утихает. Да и утихнет ли когда-нибудь?

Иркутянин Геннадий Сапронов за последнее десятилетие приобрел славу одного из интереснейших книгоиздателей страны. Книги печатал по соседству, в Китае, — там и качество высокое, и дешевле. Много издавал Виктора Астафьева, знаменитого литературоведа и публициста из Пскова Валентина Курбатова, меня, некоторых москвичей — искал среди них патриотов. Организовывал ежегодные литературные праздники под названием «Этим летом в Иркутске», перефразировав название пьесы А.Вампилова «Прошлым летом в Чулимске», и приглашал на них, а предварительно издавал самых интересных и талантливых авторов.

Это он, Геннадий Сапронов, организовал нашу поездку по Ангаре. На нем была Ангара иркутская, а красноярскую взял на себя его друг, ректор Красноярского педуниверситета Николай Иванович Дроздов, ученый, историк и знаток ангарских древностей. Сбоя под их руководством не было нигде, и если мы не добрались до Енисея, то потому лишь, что общим мнением решено было: впечатлений достаточно, все остальное доберем в следующем году. С нами была московская киносъёмочная группа «Остров» во главе с Сергеем Мирошниченко, в таком путешествии нельзя было обойтись без Валентина Курбатова, для которого Иркутск и Красноярск давно уже почти такая же родина, как Псков, где он живет. Всех наших спутников перечислять пришлось бы долго.

При отправлении из Иркутска наша группа насчитывала более двадцати человек. Мы начинали свое путешествие на комфортабельном теплоходе, продолжили на катерах и машинах, из Красноярска разъезжались по домам на самолетах. И все это надо было организовать, устроить, добиться... Не однажды Геннадий Сапронов хватался за сердце, но успокаивал и нас, и себя: пройдет. Успел доехать до дома, но и в Иркутске уйма дел — и сердце не выдержало.

А спустя, кажется, неделю не стало и Саввы Ямщикова. Его знали хорошо по всей России. Реставратор, ценитель и защитник русского искусства, устраивавший постоянно выставки и старых, и современных мастеров, очень больной, но не дававший себе отдыха ни на день, горячий и талантливый публицист, постоянно выступавший на радио и в газетах-журналах, не спускавший, кажется, ни одной подлости нашим ненавистникам, написавший за последние годы несколько замечательных книг, которые издавал в том числе и Геннадий Сапронов.

Что и говорить — это невозполнимые потери.

— *На встрече В. Путина с писателями, которая состоялась в начале октября прошлого года, вы поставили вопрос о необходимости поддержать в условиях кризиса так называемые толстые литературно-художественные журналы. Письмо главе правительства с такой просьбой подписали руководители нескольких ведущих, самых известных журналов страны. Конкретно просьба состояла в том, чтобы на федеральном уровне финансировать библиотечную подписку на эти издания, особенно для сельских библиотек.*

Некоторое время спустя было объявлено, что соответствующее решение принято и деньги на такую подписку выделены. Однако на днях главный редактор журнала «Наш современник» Станислав Юрьевич Куняев сообщил мне: принятое решение (вместе с деньгами!) запуталось и застряло где-то в бюрократических инстанциях — никакой дополнительной подписки в конце года так и не состоялось. Кстати, как вы знаете, далеко не первый и не единственный случай: хорошие решения иногда принимаются, но часто не выполняются. Что же делать? Как быть?

— А что мы можем сделать? Если было такое решение и деньги на подписку были выделены, — надо полагать, у правительства есть службы, которые и обязаны отыскать, где эти деньги застряли и сопроводить их по назначению. Понятно, что дорого яичко к Христову дню, то есть для журналов было важно, чтобы обещанная поддержка пришла вовремя. Но, думаю, лучше позже, чем никогда.

— *Для меня одним из показателей нынешнего отношения к настоящей культуре в нашей стране стал захват зданий, ранее много лет успешно работавших на культуру, а теперь силовым способом переходящих во владение новоявленных богачей. Перед Новым годом потрясло известие, что добрались, кажется, до знаменитого ЦДРИ — Центрального Дома работников искусств. Он был открыт в феврале 1930 года, на открытии Маяковский читал вступление в поэму «Во весь голос». И кто только из подлинно великих деятелей нашей культуры не встречался за прошедшие годы в этих стенах со зрителями и слушателями! А вот теперь в ЦДРИ не уверены, что им удастся отметить свое 80-летие. Продолжается, насколько я знаю, и осада здания Союза писателей России на Комсомольском проспекте. Появилось ли там хоть что-то обнадеживающее?*

— «Захватили, захватили...» Вот уже двадцать лет мы живем под громогласное эхо этого разбоя. И до сих пор нет твердого закона (или на него плюют), который раз и навсегда отбил бы охоту зариться на чужое. Если решаются на захват, значит, уверены в своей силе. И особенно — как с молотка пошла — посягают на собственность или аренду работников искусств, театров, писательских домов. Если вспомнить наши с вами беседы: пытались ведь и МХАТ имени Горького отнять у Дорониной, и театр Корша, бывший филиал МХАТа, а затем Театр наций, и вот здание Союза писателей России не в первый раз выдерживает осаду... Да и многое что еще... И если эти попытки не прекращаются, значит, посягатели, хорошо разбирающиеся в обстановке, чувствуют и наблюдают, что Россия сейчас все более теряет свою славу страны великого искусства и высокой нравственности и что ей достаточно телевизионного балагана.

Вот пример: мы только что справили 150-летие А.П. Чехова. МХАТ имени Горького подготовил к юбилею две премьеры, да и ранее поставленный знаменитый спектакль «Вишневый сад», где Раневскую изумительно играет Татьяна Васильевна Доронина, продолжает с успехом идти. Идет также веселый, искрометный спектакль по чеховским рассказам — «Весь ваш Антоша Чехонте». А еще МХАТ провел и прекрасный, очень душевный вечер, посвященный чеховской дате. Но разве откликнулось телевидение на все это? Разве показало стране во всю ширь, как следовало бы?

— *Увы! И это ведь далеко не первый факт демонстративно несправедливого отношения к театру Татьяны Дорониной, о чем мы с вами раньше уже говорили. Зато всякому непотребству — поддержка и внимание.*

— Абсолютно согласен с вами... А что касается здания писателей России на Комсомольском проспекте, В.В. Путин на наши просьбы о помощи наложил резолюцию: не трогать писателей. Но не трогать — это еще не спасение. Аренда этого дома стоит денег и денег, прежде нас выручала субаренда, а теперь ее запретили. Накануне Нового года произошло, надо считать, чрезвычайное, огромной важности событие — объединение Союзов писателей Беларуси и России. Но в тех условиях, в каких оказался наш Союз писателей, это объединение недалеко уйдет. А подобные инициативы надо бы властям поддерживать всерьез. Не за себя печемся.

— Невеселый у нас с вами разговор получился. Но есть все-таки и отрадные новости. К ним относится, безусловно, присуждение Валентину Григорьевичу Распутину премии Правительства РФ за книгу «Сибирь, Сибирь...», с чем я вас искренне поздравляю. Среди лауреатов правительственной премии с радостью отметил также Альберта Лиханова, диалогия которого «Русские мальчики. Мужская школа» печаталась в «Нашем современном», и особенно, конечно, хор имени Пятницкого, который совсем было исчез из нашей культурной жизни, да и сейчас, к сожалению, на телеэкране появляется крайне редко. Хочу вспомнить еще спектакль по вашей повести «Последний срок», привезенный прошлой осенью из Иркутска в Москву на театральный фестиваль «Золотой Витязь» и редкостно тепло, сердечно встреченный зрителями...

— Я думаю (и вижу), что единой России сейчас нет, она осталась лишь в названии политической партии. В действительности же Россия разошлась на две противостоящие одна другой силы. Есть и третья — бездействующая, равнодушная, смертельно опаленная ее судьбой. А из двух первых одна — не любящая, не понимающая и даже ненавидящая Россию как историческую, так и современную, но обирающая ее безжалостно, не признающая ни песен ее, ни языка, ни народных нравов. А ведь тоже дети России, и тоже вроде законные. Но поставившие себя выше ее.

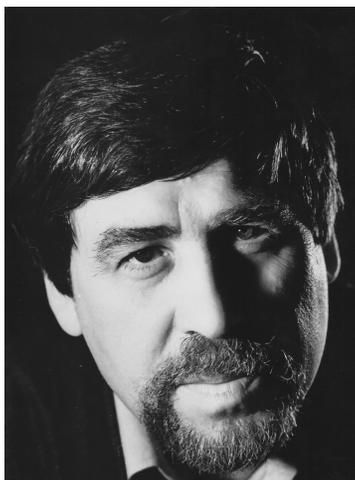
Вторая сила — та, из которой слагается народ. Преданная своей земле и в несчастиях, и в редком благополучии. Молящаяся за нее, своих детей воспитывающая в любви к ней, горько страдающая при виде ее запущенных пашен и погибающих деревень, сердцем понимающая, что без деревни Отчизна наша даже в больших городах — это только выселки, а не родство с землей. С болью в сердцах наблюдающая, как власть позволяет отлучать от родного в школах, университетах и приучать к безобразию в кино и на телевидении. Чего там — почти всюду. Стоики, воистину стоики, стараются держаться, но опоры от мира все меньше. Опора только в храмах. Но вот, как вы правильно говорите, отрадная новость последнего времени — список лауреатов правительственной премии. Поверьте, моя радость не за себя (хотя за «Сибирь, Сибирь...» и мне приятно получить признание), но гораздо более того радость за многих в списке награжденных. И особенно за хор имени Пятницкого. Вот уж кто словно из небытия поднялся и как запел! И если даже в правительстве услышали — хочется надеяться, что этот крен в сторону отечественного искусства не случаен. А уж о наших доморожденных недругах позаботится, как она это давно делает, заграница. В том числе и российская заграница.

ПОЭЗИЯ.

Венок Валентину Распутину



ВЛАДИМИР СКИФ



В поисках берега

Байкальский день

Валентину Распутину

Байкальский день!
Ах, как он разгорался!
Ах, как он плавил слиток Ангары!
Его лучи невиданною краской
Раскрашивали дачные дворы.

СКИФ Владимир Петрович, поэт, советник Губернатора Иркутской области, родился в 1945 г. в пос. Куйтун. Автор 25 книг: «Зимняя мозаика» (Иркутск, 1970), «Журавлиная азбука» (Иркутск, 1979), «Живу печалью и надеждой» (Иркутск, 1989), «Копьё Пересвета» (Иркутск, 1995), «Над русским перепутьем» (Иркутск, 1996), «Золотая пора листопада» (Иркутск, 2005), «Письма современникам» (Иркутск, 2005), «Русский крест» (М., 2008), «Молчаливая воля небес» (Иркутск, 2012), «Все боли века я в себе ношу» (Иркутск, 2013), перевод «Слова о полку Игореве» (М., 2014), «Скифотворения» (Иркутск, 2014), «Где мой скитаться грусти» (Иркутск, 2015), «Байкальское Переделкино» (М., 2015), «Где русские смыслы сошлись» (СПб., 2016) и др. Член Союза писателей России. Секретарь Правления Союза писателей России. Член Приёмной коллегии Союза писателей России. Лауреат Международных премий им. П.П. Ершова (2009), «Имперская культура» им. Э.Ф. Володина (2014), «Югра» (2015), лауреат Всероссийских литературных премий «Белуха» им. Г.Д. Гребенщикова (2013), им. Николая Клюева (2014), лауреат премии журнала «Наш современник» (2015), лауреат Губернаторской премии (2010, 2011, 2015). Живёт в Иркутске.

Его лучи — нектаром превосходным
Одаривали почки и цветы.
Из улья, как из старого комода,
Летели пчёлы в дачные сады.

Байкальский день. Натянута верёвка.
Хозяйки сушат дачное бельё.
Дотошный день. Посажена морковка,
Чтоб дети летом хрумкали её.

В искрящемся, ликующем затоне
Байкальский лёд на иглы разделён,
И у Байкала — тянутся ладони:
Осыпать мир холодным хрусталём.

Мне кажется, Вселенную разбудит
Гремучая байкальская волна...
В тугую грядку Валентин Распутин
Бросает золотые семена.

Он Слово Вдохновенное посадит,
Которое не зарастет быльём.
Хорошей жатвы,
мудрый наш писатель,
Тебе в байкальском домике твоём!

1974

Раздумья на Ангаре

В.Г. Распутину

Марчук играет на гитаре,
И море Братское поёт...

С. Гребенников, Н. Добронравов

Предлагаю спасти Ангару:
Демонтировать Братскую ГЭС,
Чтобы лес шелестел на ветру
И посёлок из мёртвых воскрес.

Слышу: чайка на небе кричит,
В тундру двинулся загнанный лось.
«Царский лиственень» из моря торчит,
Проколов мою душу насквозь.

Вижу: мёртвые комья икры,
Вижу: голые ветви дрожат,
То деревья без нежной коры,
Словно белые кости, лежат.

Низкий берег уже без травы,
И без дерева — берег крутой.
Наполняются чёрные рвы
Не живую, а мёртвой водой.

Над тайгой — удушающий дым,
Под водою кровавая тень:
Это гибнет последний налим,
Умирает последний таймень.

Как надгробье, плотина встаёт,
И, зажата, стонет вода.
То не Братское море поёт,
А гудит Мировая Беда!

1980

* * *

В. Распутину

Он помнит Родину, с которой
Соединён душевный жар.
Когда прощался он с «Матёрой»,
Он там увидел свой «Пожар».

1987

Валентин Распутин

Как совесть — неподсуден, Как свет — необходим Отечеству и людям Распутин Валентин.	Писатель, говорящий О Родине своей. В Отечестве бесправном Он правило завёл Являть собою правду — И недругов обрёл.
Для многих — неуютен... Но он такой один — Всегда и есть, и будет Распутин Валентин.	Их раньше — меньше было. Теперь им несть числа. Вот только б леность тыла Его не подвела.
В общенье, вправду, труден В столице и в селе... Зато не словоблудьем Он занят на земле.	А тыл — все мы, все «наши». В тылу народ един, С твоей душою сложен, Распутин Валентин!
Глумленья не таящий И в пазухе — камней,	

1992

* * *

Валентину Распутину

Высокий лёд — прозрачный, колкий —
Волною к берегу прижат.
Байкал! Судьбы твоей осколки
Пред нами, грешными, лежат.

1994

* * *

В. Распутину

Предельно скромн, не банален, Его заманивал Режим, Но он был выкован из стали И в русском деле — одержим.	Его враги об этом знали, Испепеляли, шли в нажим... А он был прост и гениален, В бою со злом — несокрушим!
--	---

1995

Из цикла «Письма современникам»

Валентину Распутину, великому русскому писателю

Продавит русская весна
Плотину вражеского круга.
Россия будет спасена —
И в этом есть твоя заслуга.

Борьбы невиданной накал
Очистит Родину от смога.
Задышат Волга и Байкал —
И в этом есть твоя подмога.

Излечит русская душа
Народ от горечи и гнёта
Из православного ковша —
И в этом есть твоя забота.

Господь Великий как-нибудь
Нас отведёт от замогилья.
Осветит солнце Русский Путь —
И в этом есть твои усилья.

1997

* * *

Светлане и Валентину Распутиным

Как спится у Распутиных на даче!
День закатился, словно медный грош.
Мой сон, как пух небесный, не иначе,
Мой сон на детство давнее похож.

Настой черёмух и настой сирени,
И хвойный воздух с млеком тишины
Мне кажутся божественным твореньем,
Вдыхаются до самой глубины.

Не слышатся ни ангельские плачи,
Ни гомоны вечерних городов.

Как спится у Распутиных на даче,
Как будто в поле посреди цветов!

В шитье живых черёмуховых кружев,
Ночь зыбкою летит берестяной.
А Мирозданье каруселью кружит
И выпрямляет сосны надо мной.

Как будто в кокон — в одеяло прячусь
И улетаю по ночной тропе.
Как спится у Распутиных на даче,
Как в раннем детстве в маминой избе.

1999

* * *

Светлане Распутиной

Смотри, как время шлюзы растворило:
Потоки жизни катятся стремглав.
И ты идёшь, хватаясь за перила,
Среди обвалов и церковных глав.

Святых церквей сияет позолота,
Трубят Архангел в знойной вышине.
Тебе вернуться в прошлое охота,
Увидеть тополь мартовский в окне

И яркие неоновые буквы,
Что кажутся волшебными со сна.

Московскою засахаренной клоквой
Полакомиться, стоя у окна.

Мерцает сумрак звёздною слюдою,
Взирает с неба Всемогущий Бог,
А на земле, засеянной бедою,
Уносит время почву из-под ног.

Но всё ещё не умирают нивы,
Цветут сады и зеленеет лес,
И, может быть, поэтому мы живы
И ждём прощенья Божьего с небес.

1999

Письмо Распутинской Матёре

Матёра! Мать! Земля родная! Ты вся пронизана тоской. Славянских витязей скликай, Поёт дружина за рекой.	К Матёре с облака слетая, Пресветлый Ангел закружил. Молюсь на русскую Матёру, Как на икону, и прошу: — Не отдавай себя разору, Насилию и грабежу!
Взмывают голоса неровно, То восходя под облака, То с неба падают на кроны Дерев, проросших сквозь века.	Твои, Матёра, кладовые, Как на пожаре, грабит тать. Пора дружины боевые На озеро Чудское звать!
На копны сена и окопы, На русский дол, на тёмный сад, Где погромыхивают копы И листья славы шелестят.	Пора туман и подоплёки Со смысла скрытого срывать. Пора, пора орлиный клёкот В штыки и пули отливать.
Дружина русская, святая, Не предавай родной души.	

2003

Праздник русской духовности и культуры «Сияние России» в Иркутске

Валентину Распутину

Над Россией лёд ломается,
Перестала стужа вить.
Валентин Распутин мается:
Быть России иль не быть?

Русь — и слава, и трагедия —
Горькой участи верна.
Почему стоит последнею
В жизнь хорошую она?

Знать и чувствовать немислимо,
Что мы — страждущая голь.
Валентин Распутин выносил
За свою Россию боль.

В нём святым
Господним пламенем
Засветился русский край,
В сердце вспыхнуло, как знаменье:
«Русь Великая — сияй!»

...Всё несбыточное сбудется,
И низринутся враги.
Боже праведный, Распутину
И России помоги!

Нам нужны его старания,
Нам нужна его любовь,
Чтобы «Русское Сияние»
Омоложивало кровь.

2006

* * *

Так чего же хотим мы, на что рассчитываем?
Мы, кому не быть победителями... Всё чаще накрывает нашу льдину, с которой мы жаждем надёжного берега, волной, всё больше крошится наше утлое судёнышко и сосульчатými обломками истаивает в бездонной глубине.

*В. Распутин. «В поисках берега»
(Из речи при вручении премии им. А. Солженицына)*

Просвета в жизни не видеть,
Хоть в тёмных снах повисни.
Осталось думать и страдать
Об уходящей жизни.

А жизнь качалась, как паром,
Идущий в ночь без цели.
И берег зацепить багром
Мы в скалах не сумели.

И вот несёт по морю нас,
На палубах некрепких,

И посреди чужих украс
Борт разбивает в щепки.

Нас много — русских мужиков,
Едва-едва живущих
И до заветных берегов
Уже не доплывущих.

Лишь тот бессмертным прославёт,
Кто, раненый, избитый,
И доплывёт, и оживёт
С Отчизною убитой.

2007

В.Г. Распутину

Мы все, наверно, понимали,
Придут разор и чёрный дым.
Но ты грядущие печали
Постиг пророчеством своим.

Горели судьбы и скрижали,
Был воздух Родины тяжёл.
Мы оказались на пожаре,
Куда ты раньше нас пришёл.

Какая творческая сила
Тебя над миром вознесла!
Сама земля, сама Россия
Тебе свой голос отдала.

Ты посреди родных околиц
К живому Слову прирастал.
Теперь там светит колокольня
И Храм, который ты создал.

Под ним — нетленная Матёра
И — Китежа большая тень,
И — вся Россия, о которой
Душою страдаешь каждый день.

О, как спасти родных и близких,
Деревья, травы — от беды?
Непокорённый царский листвень
К тебе рванётся из воды.

Вдруг оживут луга и доли,
Сойдут святители с небес.
Взметнётся радуга у школы,
Заговорит убитый лес.

Быть может, это вправду будет,
И обновлённый мир вздохнёт —
Нам, грешным, Валентин Распутин
Матёру — каждому вернёт...

2007

Байкал

В. Р.

Байкал, ты помнишь друга, брата?
Он шёл к тебе в мороз, в пургу...
В осенних листьях, будто в латах,
Сидел на диком берегу.

А ты глядел в него, качался,
Шальные ветры торопя.
Вздыхал волну и удивлялся,
Неужто он — сильнее тебя?

2007

* * *

Сбита планка небес. Сбита планка	Публицистика? Да! Публициста
Не сравнимой ни с чем высоты,	Освистали толпою большой,
Оттого мир похож на подранка:	И внутри антирусского свиста
Он — такой же несчастный, как ты.	Ты один со своею душой.

В бездну сброшены ориентиры	Но не стой среди взорванных буден,
Верных мыслей и важных забот.	Среди мрака и жизни пустой.
Правят бал нынче антикумиры	Ведь ещё остаются Распутин
Под знамёнами мнимых свобод.	И Белов со своей высотой.

2008

* * *

Как странен этот мир железа,
Кастета, камня и ножа.
Ребёнок плачет от пореза,
Святая Русь — от мятежа.

Кто нас полюбит, кто разбудит,
Заставит выбраться со дна?
Быть может, Валентин Распутин?
А, может, новая война?

Опять на четверть нас убудет,
Другую четверть понесёт
По свету, словно вихрь закрутит...
Мы, видно, проклятый народ.

Наш мир и вправду неуютен,
Бессилен заново расцвести.
Но если рядом есть Распутин,
То, значит, и надежда есть.

Ведь что-то впереди светлеет,
Ведь совесть русская болит.
И, может быть, нас пожалеет
Господь — и выстоять велит.

2011

После прочтения книги В.Г. Распутина
«Эти двадцать убийственных лет»

Передача власти от первого российского президента из рук в руки второму российскому президенту состоялась при условии неприкосновенности первого. Парламент эту неприкосновенность вместе с царскими льготами утвердил специальным законом. Стало быть, никто — ни сам первый, ни сам второй, ни парламент, ни общество — не сомневался в праве на «прикосновенность» и возмездие по заслугам.

В. Распутин. «Эти двадцать убийственных лет»

Гаснет истории свет,
Годы во мраке проходят.
Двадцать убийственных лет
Нас супостаты изводят,

Чтобы померкло в глазах,
Чтобы не смог возродиться
Русский мужик и казак,
Город, село и станица.

Чтобы погиб атаман
В битве последней за русских,
Чтоб умирал наркоман
В Сызрани или в Иркутске.

Сколько ушло на тот свет!
Кровью сплошной оросили

Двадцать убийственных лет
Нашу больную Россию.

Едет правитель в авто,
Чтоб охмурять стадионы...
Может, он скажет за что
Кремль погубил миллионы

Верных России людей,
Воина и ветерана,
Лучших крестьян и детей
Бомбами зла и обмана.

Нынче наказанных нет,
Все они в славе и силе.
Двадцать убийственных лет
Власть добивает Россию!

2012

Голос

1

Памяти В.Г. Распутина

Неужто этот русский голос
Уже навеки отзвучал...
Молчун Распутин, беспокоясь
О русской доле, не молчал.

В родной простор глядел с любовью
Неизъяснимую, живой.
Писал всей болью, всею кровью,
Не возвышая голос свой

Над русским домом, русским ладом,
Над светоносною рекой,
Но голос тот звучал набатом,
Как в битве на передовой.

Он сердцем собственным латает
Пробитую в России брешь,

Куда держава улетает
И с нею тысячи надежд.

Его над бездною проносит
Несчастий самых горьких вал,
Но он не мог Отчизну бросить,
Оставить без любви Байкал,

И снова шёл с сердечной речью
К своим надёжным землякам,
К озёрам русским, ясным речкам,
Таёжным даям и лугам.

Ему внимали грады, сёла,
Родная церковь, тёмный лес.
...Звучит его бессмертный голос,
Как голос совести, с небес.

18 марта 2015 г.

2

Неумолчный звон в ушах...	Не уйдёт никак душа
Всё житейское отпало.	Из ворот святого храма...
Чья уставшая душа	
Над ночным Иркутском встала?	Ей бы выплакаться всласть
	Возле дочери с женою
Чья горячая печаль	И к могилам двум припасть
В Ангару слетает с неба	С той — последнею — виною...
И спешит в немую даль	
Среди мартовского снега?	Ей бы прошлое вернуть
	С верой, верностью змёною,
Горько мучаясь, дыша,	И — прощёною — уснуть
Не иссякнет жизни драма.	Подле дочери с женою.

20 марта 2015 г.

В. Г. Р.

1

С ним рядом быть — себя добыть
Из чувств душевных — мир любить!
С ним рядом быть — не раздробить
Всего того, что может быть
Цветком, добром, сияньем глаз.
Он к свету призывает нас!

2

С ним рядом быть, как в церкви быть,
С ним рядом быть, как в море плыть,
Как подниматься до небес,
Молить, чтоб жил, чтоб не исчез,
Чтоб оставался на века,
А он умчался в облака...

3

С ним рядом быть — не торопить
Себя, других... Молчаньем быть!
С ним рядом быть — печаль избыть,
Святой водою окропить
Свой век, свой дух, Сибирь свою...
Вот так и выстоим в бою!

2017

Памяти Марии Распутиной

1. Поминальные стихи

Какие дни промозглые, сырые.
Стоит июль, но небо слёзы льёт.
Мы вместе с небом плачем о Марии
И мысленно спасаем самолёт.

Вот с нею мы в Москве, а вот в полёте,
Мы жизнь её пытаемся продлить,
Пытаемся в ревушем самолёте
Смягчить удар и сердце подстелить.

Подать бы ей, как чудо, руку жизни
И выхватить из пламени, обнять...

Но мы сошлись на этой горькой тризне,
Нам слёз души не скрыть и не унять.

И лишь одно нам светит утешенье,
Что посреди Петровского поста
Мария в Наивысшем услуженье
Была нужна и призвана туда.

Уходят дни промозглые, сырые...
Мы все стоим у скорбного Креста.
Нас всех приветит в небесах Мария —
Она пред Богом и людьми чиста.

2. Органный зал

Сырой Иркутск. Костёл старинный.
Сороковины. Дождь идёт.
Органный зал. Он ждёт Марию.
Он каждый год Марию ждёт.

И как-то странно. Очень странно,
Что нет её. Тень из угла
Метнулась, как душа органа,
И задышала, ожила.

А в небе рано, слишком рано
Звезда Марусина взошла.
Болит, скорбит душа органа
О той, что рядом с ним была.

О, как она к нему стремилась!
Живой орган её встречал,
Хмелел, сдавался ей на милость
И обновлялся, и звучал.

Он помнил каждое мгновенье
Тех встреч и репетиций ход,
Конcertов бурное течение
И рук Марусиных полёт...

И вот полёт — к органу, или
К иным — Господним берегам...
Чтоб мы Марию не забыли,
Звучит, как реквием, орган.

3. Ave Maria

Сирень байкальская цвела,
Сияло радугою лето.
Всем до девятого числа
Господнего хватало света.

И строил дачу Валентин,
И был доволен огородом,
А чёрный день беду катил
К его незапертым воротам.

Мария — светлая душа —
На литургии в храме пела
И к дому отчему спеша
Пречистым Ангелом летела.

Всё до девятого числа
Легко и радостно вершилось.

Но дунул дьявол из угла —
И мгла несчастья закужилась.

Непоправимость, как игла,
Прожгла, в душе остановилась.
Вся жизнь с девятого числа
На «до» и «после» разделилась.

Мир без Маруси гол и пуст,
От горечи душа ослепла.
И не осталось слов и чувств,
А в сердце — стук людского пепла.

Нам в этом «после» надо жить,
Пока жива ещё Россия,
И верой Господу служить
Достойно, свято, как Мария.

4

Под сенью строгого креста
Из вечности смотрит Мария.
На склон могилы уроню своё сердце.

5

Буду долго искать место,
Чтобы спрятать печаль.
Расступится скала.

6

Ночью на кладбище пусто.
Только звезда заглядывает
В глаза Марии.

7

Не могу быть радостным,
Не могу улыбаться.
В душе поселился плач.

8

Неужто — небо
Наказывает землю?
Падают самолёты...

9

Уходит в небо
Незамутнённая душа.
Её провожает бессмертник.

10

Над землёю упали
Каменные сумерки.
Это пришла невозвратность.

11

Плачет неприкаянная кукушка.
Плачет сердце о погибших.
Траурная ночь не кончается.

2006

Реквием 778 рейсу самолёта А-310

В печальный день печальная земля
Моих сограждан в лоно приняла
И стала плакать, бедственная, сыра...
Покрылась чёрным пеплом Ангара.

В начале дня и на исходе дня
Боль не вмещалась в сердце у меня.
Она, как кровь горячая, текла...
Рыдали по церквам колокола.

У гроба плакать не хватало сил...
И сам Господь прощенья попросил
У всех погибших — взрослых и детей:
Им нет теперь игрушек и затей,

Нет мам и пап, нет Родины, любви.
И только — сердце в пепле и крови,
Которому у Бога суждено
Быть светом и светить, когда темно.

2006

Петровский пост

Памяти Марии Распутиной

Петровский пост. Наладилась погода.
Но в полночь душу студит высота.
Уже три года смотрит с небосвода
Высокая Марусина звезда.

Ей там не тесно. Космос беспределен,
Хотя к земным припаян берегам.
Прислушайся — услышишь, в самом деле:
Поют светила и звучит орган.

Там нет безумства, подлости, наживы,
Там Ангелов струится череда.
Не плачь, земля! У Господа все живы.
Она жива — Марусина звезда.

Вглядись в неё, она с земли заметна,
В ней свет неувядаемой души.
Там рядом Моцарт, Бах глядит приветно,
Несут водицу звёздные ковши.

Звезда всегда на небе остаётся,
Она вершит свой праведный полёт.
И монастырь, что Сретенским зовётся,
Ей песнопенья и молитвы шлёт.

3 июля 2009 г.

Мария

В Царствие Божие дверь открыли...
Слушайте, слушайте — в тихом раю
Ангел поёт, или Ave Maria
Слышится в горестном нашем краю.

Мечутся листья и ветки сырые,
В небе плывёт облаков караван.
Может, и вправду — услышит Мария,
Как безутешно рыдает орган.

Богу угодно, чтоб мы сотворили
Нашу молитву во имя её.
Шлёт нам с библейского неба Мария
Вместе с прощаньем — прощенье своё.

Все, кто ушёл, — остаются живые,
Все, кто живой, — помнят долю свою.
С сердцем сливается Ave Maria
И на земле, и у Бога в раю.

7 июля 2009 г.

* * *

Светлане Распутиной

Есть Бог. Он стоит надо всеми.
Но в мире я понял одно,
Что сам человек — это время,
Которому быть суждено

В цепи вековой, бесконечной
Большим или малым звеном...
Он длит беспредельную вечность
В отрезке своём временном.

Да-да! Человек — это время!
Он жизнью земною богат,

Дыханьем и чувством, и зреньем,
В нём есть и восход и закат,

Стремление помнить и верить...
Ты — время. И тщанье твоё
Себя, словно время, измерить,
Наверно, и есть бытие.

Храни свою жизнь, как сиянье,
Как запах равнинных цветов.
Ты — время. Ты — Божье старанье,
Восторг его светлых трудов.

21 июля 2009 г.

Постскрипtum

Божья милость

Сиянье дня вошло в меня,
И вся душа зазолотилась.
И, вдохновением звеня,
Ко мне слетела Божья милость.

Я смог по воздуху летать
И червяка, и птицу слушать.
Вселилась Божья благодать
В мою немеющую душу.

Душа в себе — открыла стать
И обрела движенье жизни.
Стихами стала мир латать
И нужной сделалась — Отчизне.

Вернула Божья благодать
Мне зренье острое, как саблю,
Чтоб мог я близко увидеть
Былинку и тумана каплю,

И сострадать земле большой,
Кровинке малой, старцу, лесу,
Чтоб смог радеющей душой
Приникнуть к каждому порезу.

2007



АЛЬБЕРТ ГУРУЛЁВ

Прозаик, г. Иркутск

Струны памяти

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

...Я никогда не думал, что буду писать о Валентине. Не чувствовал такой потребности: чего писать, если вот он, живой и свойский, рядом, на худой конец — в телефонной доступности. Писать о Валентине Григорьевиче Распутине, о его творчестве — удел высоколобых литературоведов и критиков, к коим себя не причисляю, а житейские дела интересны вроде бы лишь обывателю. У нас была возрастная разница чуть ли не в два с половиной года в мою пользу, и по житейской логике не я должен бы о нём писать. Но произошло то, что произошло, и теперь чувствую, что надо бы рассказать и о бытовых мелочах, среди которых выпестовывалась суть большого писателя. Вспомнить, если удастся, и мысленно пройти путь шестидесятилетней дружбы от встречи в пятьдесят четвёртом году прошлого века в студенческом общежитии Иркутского университета до расставания — и, как оказалось, навсегда — перед его отъездом в Москву на зимовку и лечение в первых числах октября четырнадцатого года века нынешнего...

Из публикации «А жизнь всё-таки смеялась»
(журнал «Сибирь», № 2, 2015)

Иркутск — середина Земли

Вот взял эти слова из песни в название главки и «споткнулся»: а как писать слово «Земля» — с большой буквы или малой? Если иметь в виду Землю, которая вокруг Солнца шариком крутится, то, конечно, с большой. А если видеть ту, что от Владивостока до бывшего Кенигсберга, то... Однако, всё равно с большой. Для тех, кому Иркутск стал судьбой, он и стал самой серединой Земли, где бы потом человек ни жил-бывал: хоть на Гавайях, хоть на Командорах, хоть в самой Тмутаракани вместе с Нью-Йорками и Парижами. Тем более для нас, прибывших в Иркутск за судьбой в послевоенные годы из усталых от всяких тягот деревень и посёлков.

В те годы, конец сороковых — начало пятидесятых прошлого века, всякие поездки ради «посмотреть» и «увидеть» были просто немислимы. Я даже Ангару, великую реку, спешащую к океану всего в восемнадцати километрах от нашего посёлка, впервые увидел только в Иркутске, куда приехал по необходимости — поступать в университет на филологический факультет.

Несколько слов об Иркутске того времени. О тех временах, о тех наших настроениях. Иркутск был большим и красивым. По его улицам бегал даже трамвай — транспорт столичных городов. Но из сегодняшнего дня город видится маленьким и уютным. Трамвайная линия была всего одна — от железнодорожного вокзала, через центр, мимо рынка,

до трамвайного парка. Весёлые, дребезжащие трамвайчики — дверей я у них не помню, были ли они? Ходили не шибко регулярно, и вагоны катили по городу, увешанные гирляндами молодёжи, не сумевших втиснуться в чрево электрической самобеглой коляски. А иным, безбилетникам, и вовсе хорошо — на ветерке, на свежем воздухе, вдали от контролёра с его требованием отдать монетку в три копейки за проезд.

На улице Ленина — если идти от Карла Маркса в сторону Крестовоздвиженской церкви — было ещё много деревянных усадеб, старинных, с резными наличниками, рассказывающих о богатстве его прежних хозяев. По правой стороне улицы оседала в землю по окнам, от годов и собственной толстостенной кирпичной тяжести, лавка — никак не хочется назвать её магазином — с вывеской «Табак». Я не курил, но мне нравилось заходить туда, нравился её уют и удивительно вкусный запах табака. Эта лавка была из какого-то неведомого мне мира, где не было нищеты быта, привычного недоедания и даже привычных войн. Потом я научился курить, но лавки той уже не было, а мои табачки пахли совсем по-другому.

А улица Карла Маркса от Ленина до набережной Ангары была сплошь вымощена деревянными торцовыми чурбачками, скорее всего из долговечной лиственницы. Мало-проезжая улица с её деревянным теплом и уютом летними вечерами наполнилась принаряженными людьми — места прогулок, встреч и расставаний.

А на набережной — парк, огороженный решёткой художественной ковки. Освоившись с Иркутском, мы полюбили этот парк с его тенистыми аллеями, беседкой для шахматистов, танцплощадкой, духовым оркестром.

А рядом с парком — лодочная станция, романтика вёсел, воды, движения.

А за рекой, где теперь теснятся институты с тысячами студентов, жилые кварталы, где проложили себе дорогу автобусы, трамваи и троллейбусы, были поля-пустыри, куда нас, студентов университета, водили через замёрзшую Ангару на лыжные прогулки и соревнования.

Ну и ещё маленькая картинка — из песни слов не выбросишь — того давнего теперь Иркутска... Приехали мы поступать в университет второём. Из одного класса. Как теперь вспоминается, народ хотя и не совсем дикий, но нигде прежде не бывавший и кроме своего посёлка ничего не выдавший. По совету бывалых, ночь провели — приехали в Иркутск поздно — в вагончиках «передачи», курсировавших между вокзалами Иркутска и Иркутска II. Наутро пошли сдавать документы в приёмную комиссию. Толю К. строгая вахтёрша на входе в здание университета притормозила.

— Ты куда, парнишечка? Рано тебе ещё сюда.

Надо сказать, что Толя был росточка малого, тоненький, по виду на недавнего десятиклассника никак недотягивал. И только школьный аттестат да паспорт смогли убедить женщину, что парнишка пытается войти в дверь университета на законных основаниях.

Но этот маленький курьёз я вспомнил ради другого момента... По привычкам нашего посёлка такое серьёзное событие, как сдача документов в университет, следовало «отметить». В то время и с малой деньгой сделать это было нетрудно — в известных всем местах, даже в центре Иркутска, стояли киосочки, в которых можно было получить «распивочно» необходимое количество водки и пирожок. Мы и получили. Заказывать по сто грамм было как-то неприлично — слишком мало, а по двести — многовато на один присест, и потому мы заказали по сто пятьдесят... Толе, которого по младости вида пытались не пустить в здание университета, налили водки без всяких проблем.

Всё это я пишу лишь для того, чтобы хоть немного показать Иркутск того времени, увиденный нами, *понаехавшими*, широко распахнутыми глазами.

В те годы студенты университета жили в четырёх, кое-как приспособленных для этого общежитиях. В Харлампиевском храме, сиятельно восстановленном в нынешнем веке, затем — в церкви на Иерусалимской горе, а также в деревянном бараке в Глазково на улице Пушкина и в четырёхэтажном, кирпичном здании на улице 25-го Октября. С собственной котельной, водопроводом, но с главным удобством всё-таки во дворе, на горке. Но это нас никоим образом не тяготило: другой жизни мы не знали. Главное — крыша над головой.

Получить любое общежитие, особенно для первокурсников, — удача и радость. Это тебе не за съёмный угол платить, здесь — копейки.

На третьем курсе нас, филологов и историков, живших во втором общежитии, — повторюсь, ныне Харлампиевская церковь — университетские власти решили перевести в первое общежитие. Такое решение я встретил с большой опаской. Ходили слухи, что в первом верх держат математики и прочие физики, что там процветают бурсацкие привычки, и тех, кто игнорировал любовь к интегралам и прочей подобной святости, могли запросто поколотить лишь для пояснения, кто в доме хозяин. Я хотя и вырос в не совсем благополучном в криминальном отношении шахтёрском посёлке, но драками тяготился, избегал их по возможности и потому даже впал в некоторое уныние. Но всё оказалось не так страшно. Петушиные бои — да, были, но они были каким-то, если можно сказать, полуспортом-полудракой. И не между филологами и математиками — это оказалось полной неправдой, а большей частью между аборигенами и пришельцами из горного института или училища гражданской авиации. Те и другие щеголяли в строгой форменной одежде с вензелями на плечах, выглядели настоящими принцами рядом с нами, одетыми в серое, а скорее — сирое. Тут надо вспомнить, что шли пятидесятые годы, война вроде бы давно закончилась, но она, её ненасытное дыхание, запальчивое и усталое, слышалось ещё всюду. Так что эта неприязнь, скорее, походила на заносчивость уличной шпаны перед ухоженными «маменькиными сынками». Известно, что каждое сравнение хромает, хромает и это, и даже на обе ноги, но всё же как-то помогает почувствовать атмосферу нашего студенческого быта тех лет.

Я не помню момента, как познакомился с Валентином. Не было такого: шёл и встретил... Или ещё чего-то подобного. Видимо, после того как незнакомая одноликая студенческая масса нового общежития стала распадаться на узнаваемые индивидуумы, он стал узнаваем раньше других и выделился наособицу.

Ведь как бывает... Человек, оказавшийся в новой общности, по каким-то эфирным флюидам, невидимым и необъяснимым, постепенно начинает разделять вчерашних незнакомцев по созвучию своей души: один, как бы он ни был улыбочив и разговорчив, вызывает лишь непонятную отчуждённость, другой, ни рыба ни мясо — он есть, но и нет его, фантом какой-то, а третий вызывает душевную теплоту и ощущение надёжности бытия.

Валя не походил на лидера. Молчаливый, замкнутый, неулыбочивый, даже отстранённый. Как все, знакомые с самого раннего детства с крестьянским трудом, был сутуловат, не отличался лёгкостью походки. Но люди к нему тянулись. Я и сейчас не особо могу объяснить, даже себе, почему. Просто нужный душе человек.

И ещё несколько слов о походке. Много лет спустя, когда в жизнь вошли наши совместные поездки в тайгу, я вдруг увидел, что на лесной тропе, перевитой корнями, перелёстнутой валежником, на каменистых тянигусах походка Валентина становилась скользяще устойчивой, а некоторая сутулость даже смотрелась подарком природы: так удобнее нести заплечный мешок или горбовик. А сколь ловок и основателен он был при разжигании костра! Лафтак бересты для растопки, нужные дрова, надёжное костровище, чтобы не упустить огонь на волю, — и вот уже пламя лижет чёрные бока котелка. Так что по задумке, по природному крою, Валя был таёжным сибирским человеком.

Человеческая душа чувствует другую душу, и если понимает её силу и красоту, то и проникнется к ней доверием. И даже слово, правда, не очень изящное, есть — харизма. Иной, как уже отметил я выше, улыбочив, говорун, красавец, а нет к нему тяги, не идёт от него тепло. Нет доверия. Так что харизма, она внутри человека, и её не разглядишь даже в очках. Ничем другим я не могу объяснить притягательность, которая всегда исходила от Валентина. Это я сейчас так себе объясняю. А в те молодые времена про харизмы мы не ведали и потому объяснение было незатейливое, простое — хороший человек. Хотя на вид вроде бы по-деревенски неотёсан и хмуроват излишне.

Мне бы не хотелось, чтобы читающий эти строки подумал, что некоторая особенность Валентина увиделась лишь задним числом, после того как его признали писателем мирового уровня. Совсем нет. Никто не думал о его в будущем знаменитой судьбе. Просто это

был наособицу надёжный парень. Ну и, конечно, нам хотелось как-то выразить к нему доброе отношение.

Был такой случай. По субботам в общежитском коридоре иногда гремели танцы. На танцах гости: почти три этажа здания занимали университетские девчонки — интеллектуалки, завидные невесты, и гостей бывало не мало. Как-то в такой вечер, ещё до начала танцев, мы с приятелем заглянули в дружескую нам четырнадцатую комнату. В комнате царил повышенный беспорядок. На койке сидел Валентин, а кто-то торопливо и неумело бинтовал ему руку выше кисти. Из сбивчивых рассказов возбуждённых обитателей удалось узнать, что Валя на втором или третьем этаже столкнулся с каким-то гэвээшником — и вот результат.

Такого в нашей общаге ещё не было и требовало немедленного отмщения. Мы с приятелем прикинули, в какой комнате мог гостить обидчик, и ринулись за дверь. И не ошиблись. Парень в синей форме был там. Под грозные боевые выкрики мы его пригласили в коридор... Вздвинченные, запыхавшиеся, вернулись в четырнадцатую комнату и, с чувством выполненного долга, прямо с порога объявили, что зло наказано. Не успели мы увидеть ответную реакцию младшекурсников, как дверь снова распахнулась и в проёме объявился Коля, будущий доктор физико-каких-то наук, а в то время — третьекурсник и подающий надежды боксёр.

— Валя! — закричал он. — Нашёл я этого гада, здесь его больше не будет. Я тебе гарантирую. — Коля потряс кулаком.

— Какого гада? — спросил Валентин.

— Ну, этого, который руку тебе поранил.

Мы с приятелем переглянулись: что-то супостатов, да и защитников, становится больше, чем нужно. И тут последовало совсем неожиданное.

— Так вот он! — и тут мы обратили внимание на парня в синей ладной форме, дружелюбно сидящего на кровати рядом с Валентином. — Мы с ним уже помирились. Разобрались. Всё нормально.

Не помню, как физик Коля поступил, но мы с приятелем поспешили к себе в комнату. Наш геройский поступок как-то быстро потускнел и остался лишь в воспоминаниях о студенческих благоглупостях. Тем более, что, как оказалось, «синий» парень совсем малое отношение имел к резаной неглубокой ране на руке Валентина. «Конфронтация» была, но погасла в самом зародыше, когда Валентин нечаянно задел, по его словам, осколок стекла. Где это случилось, вернее, в каком углу общежития, откуда взялся этот осколок, я так и не узнал. Да это уже было и ни к чему знать. А слабозаметный шрам на руке остался у Вали на всю жизнь.

Почему-то ранняя молодость чаще всего вспоминается какими-то несуразностями и благоглупостями. Тут хотелось бы вспомнить ещё об одном случае. Мы уже работали в редакции газеты «Советская молодёжь», а в просторечии «Молодёжке». Валентин ухаживал за Светой, своей будущей женой. В тот вечер, скорее всего после получения гонорара, мы с Валентином засиделись в кафе. Когда «праздник» закончился и мы вышли на улицу, она уже была полупустынной. Вообще-то в те годы улицы вечернего Иркутска, по крайней мере его центральные улицы, были весьма многолюдны, но тут скорее всего осенняя непогода разогнала народ по домам. Душа просила продолжения банкета, на худой конец, чего-нибудь необычного. Неподальёку от драмтеатра, около недавно ремонтируемого дома душа увидела деревянные строительные козлы. Огонь в жилах и лукавый быстро нашли развлечение: а слабо вам, ребята, прогуляться вот с этой несуразиной по центральной улице града Иркутского, именуемой Карла Маркса? А зачем? Да ни за чем!

Я выказал опасение: милиция задержит, неприятностей не оберёшься.

— А не задержит.

— Задержит.

— Давай на спор!

— На спор? Тогда давай!

И ведь никто не задержал. Усталые и довольные, как пишут торопливые репортёры,

измазанные извѣсткой, мы разошлись по домам, вернее по «углам», которые в то время снимали для житья.

Вспоминая сейчас тот случай, я вдруг сделал вывод: Валентин был чистым оптимистом. По крайней мере, в бытовом плане. Я никогда не слышал от него унылого безверия. Не слышал жалоб на жизнь. Подчеркиваю: это касается личной бытовухи. За жизнь рода человеческого, за судьбу России читающий народ знает его беспокойство, и беспокойство оправданное.

«Молодёжка»

В одной популярной песне есть такая строчка: «Представить страшно мне теперь, что я не ту открыл бы дверь». Хорошая песня, о любви, испытанной годами, и о Его Величестве случае, позволившем вынуть из лотерейной колоды под названием «Жизнь» желанный билет. Большая это удача — найти нужную дверь, понять, что за ней находится, и открыть её, хотя халявы и дарового случая за нею не бывает, а чаще — душевная непогода, сомнения, работа и лишь, не так часто, как хотелось бы, вспышки радости и светлой удачи. Была такая волшебная дверь в писательство и в судьбу иных иркутских литераторов — дверь в областную газету «Советская молодёжь», именуемую в бытовом общении «Молодёжкой».

Невзрачная с виду дверь, шершавая от облупившейся краски, но всё ещё могучая, помнящая о лучших временах. Эта дверь выходила на тихую и довольно уютную улочку, хотя само здание своим благолепным фасадом украшало главную городскую магистраль. Теперь, оглядываясь на те годы, думаешь, что не случилось нам открыть её, жизнь, скорее всего, потекла бы по другому руслу и никакого писательства не приключилось бы. Работала эта дверь, и хорошо работала, в шестидесятые годы прошлого века. Потом она стала открываться всё реже и реже, и, наконец, в годы перестройки её и вовсе не стали открывать, а потом за ненадобностью крепко заколотили.

К слову сказать, газета эта была обычной для того времени: официоз первой полосы, которую вряд ли кто читал, вести с полей, успехи трудовых коллективов заводов и фабрик, но печатались и проблемные статьи, художественные очерки, фоторепортажи и так далее. То время было наособицу душевно-подъёмное, пронизанное надеждами на лучшую жизнь. И этому способствовали небывалые стройки городов в тайге — Братска, Усть-Илимска, Железногорска — промышленных гигантов, гидростанций, комбинатов, линий электропередач. Я сейчас не о том, хорошо это или плохо: и то и другое в этих стройках есть, — а о бурлении жизни, о молодости, о романтике, о возможности получения бесплатной квартиры, образования. Материалы из этих «горячих точек» требовались постоянно, и газетная братия не вылезала из командировок, оправдывая выражение, что волка и журналиста ноги кормят. Мы были молоды, легки на подъём, всё наше походное имущество помещалось в наплечной сумке, и мы всегда были готовы в дорогу. Своего жилья у многих ещё не было, и если возвращались из поездки ночью, то, чтобы не будить хозяев наёмных «углов» и комнат, отправлялись в родную редакцию, где можно было отдохнуть на диване или на составленных стульях. Иной раз удавалось там застать слетевшихся по тем же или другим обстоятельствам друзей-товарищей, принять участие в скромном застолье и разговоре на главные темы — за жизнь и литературу. Но всё-таки больше — за литературу. Газета довольно охотно печатала стихи и рассказы, и почти все хотели увидеть свои фамилии не только под чисто газетным материалом. И нередко будущие «шедевры» проходили обкатку на этих вечерне-ночных «круглых столах». Такова была атмосфера того времени, таковы были интересы. В те короткие годы ярких протуберанцев в литературной жизни Иркутска в «Молодёжке» трудились снискавшие немалую творческую славу Валентин Распутин, Александр — или Саня, как его все звали, — Вампилов. И ещё там, и в то же время, трудились и делали первые шаги в литературе будущие члены Союза

писателей СССР — Станислав Китайский, Евгений Суворов, Владимир Жемчужников, Сергей Иоффе, Анатолий Шастин, Леонид Красовский. В таком «климате» трудно было удержать душу от попытки взбрыкнуть на что-нибудь этакое, на литературное.

Литературные ристалища проводились и днём, так сказать, в нарушение трудовой дисциплины. Но порядки в редакции были довольно мягкие, можно было даже тайно закусить-выпить, естественно, умеренно; и разговоры на «непроизводственные» темы не возбранялись, главное — сдай в секретариат материал, качественный и вовремя. Помнится случай, когда Саня Вампилов, только что завершивший одноактную пьесу, выкатил почтенной редакционной публике казалось бы простой вопрос:

— А как лучше назвать пьесу — «Дом с окнами в поле»? или «Дом окнами в поле»?

Казалось бы, невелика разница. Смысл-то почти один. Ан нет! Есть, мы это пытались осознать, трудно уловимая разница. Возможно, ученые-языковеды могут объяснить разницу. Но мы-то были просто газетчиками, ну, может быть, с более обострённым чувством языка, и могли лишь оперировать, большей частью, лишь фразами типа «мне кажется», «я так думаю», «так мне видится». И пошла рать на рать. Саня слушал эти «дебаты» и лишь улыбался. Чуть заметно. Какая уж тут работа? Долго ли, скоротечно ли, но баталия закончилась победой второго варианта. И до сих пор считаю это справедливым... Я воспоминаю пишу сейчас не о Сане Вампилове, а о Вале Распутине и привел этот эпизод лишь для того, чтобы нагляднее показать «жизнь» редакции того времени.

Я уже работал в «Молодёжке», когда пришёл в редакцию Валентин. И помню его один из первых, а быть может, самый первый, материал, опубликованный им в газете уже в качестве литсотрудника. Запомнился он своей, можно сказать, необычностью. Мы-то больше писали о стройках, о колхозах-совхозах, об успехах и свершениях, а он взял да и написал о пожилой женщине, старухе даже, о том, как трудно ей живётся позабытой своими детьми. Материал этот никого не мог оставить равнодушным, и не оставил он спокойными, думаю, прежде всего нас, пишущую братию. Мы понимали, что наш официоз о комсомольских собраниях, о хлебоуборке, сенокосах, о надоях на так называемую фуражную корову, хоть как-то и рассказывает о жизни области, но по эмоциональному воздействию всухую проигрывает очерковому материалу Валентина.



*На военных сборах. У ночного костра на реке Онон.
Слева направо: Валентин Распутин, Альберт Гурулёв,
Ростислав Филиппов*

(Перечитал по привычке только что написанные строки и понял, что в них есть маленькая непонятная для современного человека фраза, а именно — «фуражная корова». Вынужден пояснить: это *не корова в фуражке*, а дойная корова, получающая фураж. Так сказать, единица учёта, зарегистрированный едок.)

Я не помню, как назывался тот материал, а вот название второго помню: «Внимание, они выпались днём». И снова мы удивились этому материалу. Ведь как начинали свою работу в редакции газеты вчерашние студенты? Осторожно, робко

даже стараясь, как можно лучше выполнить первые редакционные задания, «показать» себя. А тут... А тут новый сотрудник, начинающий журналист, скромный и молчаливый, сам определил тему и показал её нужность и своё видение серьёзной проблемы. А проблема в те не совсем сытые времена, когда война с её разрухой всё ещё стояла близко за спиной, была не малая: ночами на улицах городов и посёлков шалили лихие люди,

выспавшиеся днём. Вот о них, этих людях, вернее нелюдях, и писал Валентин. А дело это, что сейчас, что прежде, небезопасное. К сожалению, Валентину пришлось убедиться в этом и самому в свою недолгую бытность в соседнем Красноярске: обиженные разоблачительной публикацией бандиты поджидали его около дома... Разборка была жестокая. Валентин попал в больницу, прошёл через операционный стол. Но вот что удивительно: ни это смертельное испытание, ни столь же опасное для жизни нападение на Валентина в Иркутске, вроде бы с целью ограбления, были им словно вычеркнуты из жизни. Он никогда не вспоминал о них. Будто ничего и не было. Но это, конечно, не так. Только теперь, перечитывая его рассказы-повести, начинаю понимать, какие чувства бурлили в его душе, чаще всего закрытой для стороннего глаза. Но ведь и в атомном реакторе, в отличие от самовара, процессы невидимы и неслышимы.

О рыбалке

Со временем, с годами, страсти человеческие, увлечения, помыслы приходят, как говорится, в соответствие с паспортными данными. Мало их остаётся. Вернее, лет много, а страстей мало. Да к тому же тускнеют они, страсти, выцветают. Но есть страсти, которые не оставляют сибирского мужика до последнего. Это — рыбалка, охота и побег в тайгу на знакомые тропы ягодников, возвращение к вечерним и ночным кострам. Охота, даже самая доступная, на уток, затухает сама по себе, тихо и почти безболезненно: надсаженное сердце не даёт возможности шагать по болотам, контролирует каждый шаг, да и появляется неведомая прежде вина перед живой жизнью, на которую ты поднимаешь ружьё.

Походы в тайгу истаивают по той же сердечной причине, они остаются в воспоминаниях, сновидениях и одиночных раздумьях о скоротечности жизни и всуе потраченном времени.

А вот рыбалка... Тем более у нас в Иркутске, рыбалка — это чаще всего предвесенний Байкал с его мистической привлекательностью, прозрачным, иной раз метровой толщины льдом, ярким солнцем и резкими ветрами. Байкал щедро раскрашивает почитателей подлédной рыбалки: лицо человека, прошедшего на льду несколько суток, становится красно-коричневым. Более сорока лет, не пропуская ни одной весны, ездил я на подлédную бормашовую рыбалку. И где бы я ни был, в далёких ли даях, хворый ли, но когда подходило время, срабатывали биологические часы — и я спешил в родные сибирские края и переносил болезнь «на потом».

Я и Валентина старался увлечь подлédной рыбалкой, рассказывал о беспокойных байкальских ветрах, о их весенней переменчивости, о том, что в течение десяти минут ветры могут поменять три направления, о том, что в иные апрельские дни, если повезёт, можно раздеться до пояса, сняв даже исподнее и позагорать на огромной льдине, именуемой Байкалом. Валентин, в принципе, не отказывался, но поездки на подлédку как-то всё из года в год им откладывались. Байкал он знал, любил его, и даже в молодые годы, когда берега чудо-моря были ещё малолюдны, купил незатейливый домик на самом берегу. Но вот рыбалка его как-то не привлекала. Я даже думал, что это потому, что Валя не испытал ещё того азарта, что испытывает человек на байкальском льду, да и вообще на рыбалке. Но при раздумье и это не подходило: ведь вырос-то он на берегу полноводной реки. Там без рыбного промысла никак.

Не зря говорят, вода камень точит. Доточил и я Валентина. Однажды он спросил меня, объявившего, что уезжаю на байкальский лёд на несколько дней:

— Где вы там стоять будете? Я, скорее всего, подъеду к вам. Володя Ивашковский на Ольхон собрался — я с ним попутём. И к вам на день заскочим. Вот и порыбачу.

Володя — наш старый приятель по работе ещё в «Молодёжке», в то время собкор центральной газеты и, стало быть, со служебным транспортом.

Агитпункт для *совращения* Валентина в партию ледовых рыбаков я выстроил доволь-

но далеко от привычных мест рыбалки. Можно было бы попытать счастья километров на тридцать поближе, но каждому ищущему удачу всегда мнится, что настоящий фарт близко не живёт, чем дальше — тем надёжнее.

— Пройдёте по льду Хужир, пройдёте Харанцы, потом будет белый такой островок, он, по-моему, так и называется Беленький, и в том районе смотри мою машину, — наставлял я Валентина. — Буду ждать.

В то время у меня была машина «Жигули»-«копейка», редкого жёлто-зелёного цвета, хоть в солнечный день, хоть в хмарь хорошо видная на льду, и я не боялся, что Валентин проедет мимо.

У острова Беленького рыбалка в этот день не заладилась. Но я надеялся, что Хозяин озера явит свою милость верным своим, воздаст им в нужный момент. Так бывает. Часами полощешь удочку в пустой лунке, отчаявшись в удаче, и вдруг обвалится на тебя фарт — и зазвонят в душе песни удачи.

Я где-то уже писал, что если разобрать подлёдную рыбалку на составные части, то эти части будут не только не привлекательны, но даже преодолимы лишь через маету. Взять, к примеру, трёх-пяти суточное житьё-бытьё на льду. Особенно ночёвки. Корчишься в промёрзшей машине; в особо холодные «весенние» ночи, когда под минус двадцать пять, бьёт тебя бездомная собачья дрожь, когда через муку мученическую заставляешь себя выбраться из спальника в серую предрассветную нежить. Но вытолкал себя на лёд, поскрипел суставами, ухватил пешню, раздолбил лунки — и пошло тепло по жилам. А тут — солнце всходит. Из-за дальних далей, прямо из ледяных торосов или изломов хребта брызнет алое просяное зёрнышко — и ты станешь свидетелем чуда. Зёрнышко растёт, растёт на глазах, наливается силой, и ты буквально ощущаешь, как Земля медленно поворачивается к солнцу промёрзшим боком. И вот оно, проснувшееся солнце, ещё не яркое, позволяющее смотреть на себя распахнутыми глазами, приподнимается над горизонтом, сбрасывает с себя сонную одурь, худеет в боках, одновременно наливается светом и принимается за дневные дела, прочерчивает длинные тени, истончает намёрзший за ночь лёд на внутренней стороне стёкол машины.

А ещё рыбака на Байкале ждут ветра. Небольшие, переменчивые, когда за десять-пятнадцать минут тебя проверят с четырёх сторон. Только что был спокойный и тихий кулдук, и ты не успел разнежиться под его токами, как крепко потянет с северов ледяной баргузин, он заставляет застёгиваться на все пуговицы-молнии, надевать рукавицы.

Но самые тяжкие воздушные эшелоны — горной, сваливающиеся с западных хребтов на ледяную равнину. И особенно её буйная, безжалостная дочь сарма, порой щедрая на снежные, до безглазой плотности, заряды. И сливается тогда небо с землёй, всё исчезает в белом хаосе — и ты сам потерян в этой круговерти. И остаётся только одно: укрепить свой дух, принять всё как есть.

А всё одно хорошо! А ещё лучше, если ты заранее поставил автомобиль носом к каменным воротам, из которых вылетает ярая сарма, и теперь можешь проникнуть в салон машины без опасения вывернуть потоком воздуха дверцы. Поутихнут ветровые страсти, заголубеют небо и лёд, проявятся из мутной нежити близкие, а затем и далёкие, упирающие в небо скальники, и радостнее уже жить, теплее на душе становится: не убоился ведь, устоял.

Перечитал только что написанные строки и поопасился: а не нагоняю ли я страхов на человека, отправляющегося знакомиться с Байкалом? Да нет вроде. Но Байкал панибратства не прощает. Не лезь на автомобиле к скалам — там могут оказаться ловушки-пропадины, бойся трещин — они могут появиться там, где ещё вчера их не было, ну и не играй с сармой, уважай её.

Но когда ты всё это преодолел — дневной морозец с ветром, холодную и тесную ночёвку в железной коробке машины и ещё много чего другого, — с тебя, как ненужная шелуха, слетает городская разнеженность, пустословие и инфантильная безответственность, ты снова чувствуешь в себе не просто мужчину, а мужика. И надо сказать, что как бы я ни промерзал на Байкале — а за многие годы всякое бывало, — я ни разу, подчёркиваю, ни разу не возвращался домой даже с самой лёгкой простудой. Почему так — не знаю, но это так.

И ещё несколько слов про непогоду. Если настало время спрятаться от ветров, забёрешься в машину, нальёшь из термоса горячего, щедро заваренного чаю, а допрежь того ещё и толику малую чего покрепче, — и совсем хорошо становится жить на белом свете! Отдохнёшь чуть — и душа снова просится на лёд: клёв в иную непогоду бывает отменным. Рыбе там, подо льдом, никакой ветер не страшен. А берёт предвесенний хариус резко, рвёт слабую снасть.

Машину Валентина, вернее, Володи Ивашковского, мы заметили ещё издали: чёрные «Волги» в те времена не часто гуляли по замёрзшему Байкалу. А эта стелется над чёрно-белым простором и явно подворачивает к нам. Наша маленькая рыбацкая компания пришла в движение: кто принялся чистить прихваченные морозцем заранее приготовленные лунки для гостей, кто принялся в открытом багажнике машины разворачивать скатерть-самобранку. День радовал ярким праздничным светом, голубыми небесами, чистыми далями. Даже ветры поутихли, и лишь изредка проявляли себя лёгкими волнами. День что ни на есть самый рыбацкий. Одно смущало: рыба не ловилась почти с самого утра. Приобщение Валентина к рыбалке становилось призрачной.

Так бывает: вроде и особых причин нет, а она не ловится. И атмосферное давление почти в норме, и... даже и не знаю, чего ей, рыбе, надобно? Ляжешь на лёд, взглядишься в лунку — в прозрачной глубине каждый камушек видно — и видишь иной раз, как рыба ходит, словно в аквариуме, но твою наживку обходит с полным равнодушием.

После короткого застолья все разошлись по своим лункам. Встал на «трудовую вахту» и Валентин. Спокойно, по-деловому осмотрел врученную ему удочку — нехитрое сооружение из короткой палочки с развилками, похожими на ласточкин хвост лески, намотанной на эту палочку, грузила и пары искусственных «мух», сделанных лучше всего руками признанного умельца. Груз утягивает леску на дно, и рыбак начинает медленно «дирижировать» этим сооружением, заставляя «муху» из шерсти и волоса «косить», как говорит теперь молодёжь, под живого бормаша.

Нет более унылого занятия, чем рыбалка при полном отсутствии клёва. Полощешь удочку в воде словно в колодце, и все твои действия кажутся самому тебе пустыми и ничемными. Порыбачив таким образом с полчаса — а нужно ещё вспомнить предыдущую, в несколько часов, мы смотали удочки и потянулись к машине. Мой план «совращения» Валентина в рыбаки трещал по швам. Агитпункт не работал, а если и работал, то, можно не сомневаться, с обратным эффектом. Чтобы стать рыбаком, нужно самому поймать рыбу, ощутить при поклёвке нервный ток, передаваемый из глубины вод словно зазвеневшей от напряжения леской в твою руку, и дальше — в твоё сердце. И если ворохнулось в тебе лохматое и тёмное чувство древнего добытчика, если проснулось оно, то уже никуда не денется. И будешь ты тогда ждать январских морозов, наладивших ледяные дороги Малого моря, а потом ждать поворота солнца на весну, будешь ладить удочки, закупать лески и искать сделанных мастерами «мух»...

Я позвал Валентина к багажной скатерти-самобранке, но он отказался — к тому времени он уже «не употреблял»; а мёрзлое мясо без водки, как говорили наши острословы, только собаки едят.

Удивительное дело: на морозе, на чистейшем байкальском воздухе, под завязку наполненном кислородом, любая еда, на которую в разнеженном городе и смотреть бы не стал, здесь вкусна и радостна. Главное, чтобы был при этом горячий чай. Но и это, если нет сильного ветра, не проблема. Мой постоянный напарник Володя, человек мастеровой, рукастый, ухитрялся вскипятить чай и на льду, а если надо, то и варево. Он ледобуром выбирал неглубокую лунку, крепил в лёд пешню под острым углом, навешивал на пешню котелок и разжигал паяльную лампу. Теперь лишь бы не дать ветру сбить пламя.

Тут, к слову надо сказать, Валентин любил чай наособицу горячий и без всяких добавок. Без сахара, без молока. И заваривал он его, если была возможность, строго по правилам: обдаст запарник кипятком и лишь тогда бросит в чайничек добрую щепоть чёрного чая, зальёт ёмкость крутым кипятком на две трети, укутает её. Даст настояться. Помешает ложечкой, долёт чайничек кипятком. И ещё выждет время. Вот тогда и можно готовить большие кружки.

— Добавь молока, — советовал я ему. Мои предки из степного Забайкалья и я «не понимали» чая без молока. Но Валя только отмахивался.

— Все народы, которые не могут жить без чая, пьют его только с молоком. Буряты, монголы. Англичане и те уразумели пользу молока. Не зря в твою Аталанку до сих пор нет дороги по земле. Не дошли до вас выстрадавшие миром знания. Пьёте чай без молока. Только портите напиток, — увещевал я его.

— А вы, которые пьёте с молоком, сразу портите и чай, и молоко, — объявил Валя, сохраняя на лице полную серьёзность.

— Потерянный ты для чайной благодати человек, — пенял я ему. — Не достучаться.

В дружеской компании у раскрытого багажника машины, у щедрот походного стола время летело незаметно. Вот уже два часа прошло, как мы беседуем и «греемся». А Валя одиноко стоит и стоит над лункой, всё так же ритмично работая удочкой. Мы даже стали потихоньку поругивать себя за то, что втянули мужика в такое бесполезное занятие.

Но вот что-то заплесало у ног Валентина. Стой, да это же хариус! Мы поспешили к своим лункам, торопливо разбивали охвативший их ледок, разматывали заскучавшие удочки. А Валя тем временем вытащил второго, а потом без всякого перерыва и третьего. Ругая себя за лень, за упущенные возможности, мы излишне торопливо замахали удочками, надеясь показать, кто здесь настоящий рыбак. Но... поклёвок не было. Это у нас. А у Валентина были. Нет-нет, да и раздавался всплеск в его лунке, и на свет божий появлялся, изгибаясь серебряным полумесяцем, красавец хариус. Позор нам, старым и опытным рыбакам!

Этот эпизод я вспоминаю здесь столь подробно лишь затем, чтобы нагляднее, на малом примере, который порой стоит более большого, показать суть и характер Валентина. Другой бы, даже азартный и опытный, давно бросил бы это скучное дело — полоскать удочку в пустой лунке. А Валентин, не имеющий тяги к рыбалке, упорно и целеустремлённо выстоявший пустые часы, говоря по-казённому, добился положительного результата в деле, за которое взялся. Быть может, это была случайная удача, но удача чаще всего приходит к тому, кто её ищет и работает на неё.

— Это тебя местный Хозяин решил в рыбаки пригласить, — объявили мы Валентину. — Так сказать, замануху устроил. Мы-то от рыбалки никуда уже не денемся. На крючке сидим. А теперь вот и ты...

Но Валентин так и не проникся рыбацкой страстью. Больше мне его ни разу не удалось выманить на лёд. Да я и не вязался к нему с «прельстительными» речами. Рыбалка — дело добровольное, из нутра идёт, и никаких прививок вообще-то не требует.

Валя, человек по месту рождения лесной, таёжный, но и ещё одну сибирскую «язву», положенную сибиряку, странное дело, не имел: тягу к ружью, к охоте. Охота на живность и Валентин были из разных жизней, с разных планет. Даже сделав над собой усилие, я не мог представить себе Валентина, сжимающего ружьё, крадущегося по тайге.

...Я писал эти строки в дни, когда редакция иркутского журнала «Сибирь» готовила номер, посвящённый Валентину Распутину (№ 2 за 2015 г.). Прозу журнала решено было составить из его рассказов разных лет. Я их в основном и отбирал, и внимательно, по-редакторски, перечитывал. Прежде я думал, что хорошо знаю-понимаю эти рассказы, но, как мне кажется теперь, лишь снова вчитавшись в них, ощутил и понял их суть, и понял автора. Сам для себя я уже давно сделал вывод, пришёл к мысли: если хочешь показать своему читателю раздумья, боль и муку своего литературного героя, то должен сам всё это мысленно испытать, перевоплотиться в своего героя, и лишь тогда печатное слово сможет всколыхнуть душу читающего, да и то только слабым отсветом происходящих событий. Хочешь, чтобы читающий услышал то, что ты хотел сказать, — прочувствуй всё сам, доведи себя до состояния, похожего на галлюцинацию, и только тогда, быть может, тебя услышат.

Я перечитывал рассказы, порою возвращался к только что прочитанным строчкам, и думал, какой мощью внутреннего мира обладал Валя, в каком пожаре пылала его душа, чтобы и читатель смог высветить свою душу состраданием. Прав я или не прав, но я так думал и думаю: в душе Валентина пылала костры, требующие громадной человеческой

энергии, и у него не оставалось ни душевных, ни физических сил ни на рыбалку, ни на охоту. Всё уходило на внутреннюю жизнь. А рыбалка и охота — страсть. И лишь на грибной охоте, в походах за ягодой, в покое и тишине отдыхала его душа. А грибник и ягодник он был отменный.

На Ольхоне

Почувствовав потребность оставить записи о Валентине Распутине, о том, каким он был в быту, в каждодневной жизни, я никак не предполагал, что это будет нелегко выполнить. А казалось бы, чего трудного-то? Вспоминай да пиши. Вроде бы и верно. Но порою сомнения — а надо ли о том или ином моменте писать? — выбивали из работы на целые дни и недели, заставляя усомниться в своей подъёмности на такое дело — рассказать ординарное о неординарном человеке: ведь я собрался рассказать о том, что можно было бы поведать миру буквально о каждом живущем или жившем на Белом Свете.

Сегодня я попытаюсь рассказать о поездке на Ольхон за грибами, за рыжиками. Я уже в какой-то «главке» писал, что на малой родине Валентина, в таёжном богатом краю, произрастали всего три вида грибов — так их местный люд квалифицировал: грузди, рыжики и собачьи. Собачьи — это все остальные: и подберёзовики, и подосиновики, и маслята, и опять, не говоря уже о шампиньонах, сыроежках и волнушках. По первости, услышав от Валентина о классификации грибов его земляками, грешным делом подумал о их тмутараканском невежестве, но, поостыв, понял: да всё правильно это, логично — зачем есть кислое яблоко, когда рядом лежит груда великолепных, румяных и сладких плодов? Груздь, да не какой-нибудь, а только тот, что называется сырым, хорош в засолку, на зимнее хранение. А рыжик — он всем грибам гриб. Лучше него в тайге гриба нет и быть не может. Он для жарки сподобен и в соления идёт без всякого вымачивания. И для срочного перекуса хорош: разводи костёр, нанизывай на сырой ошкуренный прут некрупный рыжик, поддержи его над розовыми углями — и еда готова, годится хоть для изысканной закуски, хоть для необходимой сытости.

В общем, любил Валя собирать грибы. Грузди, а лучше — рыжики. Тут у нас с ним никогда разногласий не возникало. Не то что по отношению к чаю... Памятна наособицу поездка за рыжиками на Ольхон. Да не поездка даже, а — полёт. На самолёте. Было это давно, в самом начале перестройки, в те времена, когда не выветрились ещё некоторые иллюзии, а безалаберность жизни-быта казалась временной.

Был у Валентина то ли дальний родственник, то ли близкий знакомый, имеющий отношение к могучей организации, именуемой ДОСААФ, что означало Добровольное общество содействия авиации и флоту. Так вот эта организация имела своё лётное поле неподалёку от Иркутска и свои самолёты, именуемые в народе «кукурузниками». Родственник Валентина собрался вот на таком «кукурузнике» то ли по делам, то ли на рыбалку на Ольхон и пригласил Валентина с собой. А Валентин пригласил меня. На местном базаре появились рыжики, и мы с Валентином уже подумывали сбежать в лес. А тут такая удача!

Я, в то время ещё полностью не справившийся с держащим меня страхом перед полётами из-за полуаварийного, годами раньше, полёта на рейсовом самолёте, обрадовался поездке, но попытался склонить Валентина к путешествию на машине, однако он воспротивился:

— На Ольхон машиной ехать — день терять. Одна переправа паромная чего стоит, в очереди настоишься. И обратный путь — день. Нет, только самолётом. Когда ещё такой случай представится!

Что было делать, пришлось согласиться. Оно и верно: два дня потратить на дорогу — многовато. Да к тому же мой страх перед полётом — я понимал, что это у меня что-то вроде психоза — рядом с Валентином истаявал, от него всегда исходила какая-то спокойная надёжность. И когда мы взлетели с травянистого поля на самолётике, изнутри больше

похожем на старенький повывавший виды автобус, предполётное беспокойство почти полностью выветрилось и на его место пришло любопытство и ощущение, неизвестное прежде, ощущение именно полёта. Перемещение по воздуху на современных самолётах не даёт такой возможности. А тут — именно полёт. Над лесами, полями, реками. Так и хочется, подобно лягушке-путешественнице, полетевшей на утках в тёплые страны, закричать: «Я лечу, я лечу!» Валентин приник к иллюминатору, порою что-то говорил, скорее всего о тех знакомых местах, над которыми мы пролетали, но из-за шума-грохота мотора «железной птицы» я не мог разобрать, но согласно кивал головой.

Всё-таки самолёт есть самолёт. Вроде бы совсем недавно взлетели, а вот уже пошла под крылом безлесая, с каменными останцами-башнями Тажеранская степь; и вот он — Байкал, сегодня сказочно синий, окаймлённый зелёным хребтом с запада и острыми снежниками со стороны солнечного восхода. Проплыл внизу «столичный» посёлок Хужир, вот и воздушные ворота острова — аэродром в посёлке Харанцы. Правда, об аэродроме напоминает лишь полосатый «конус» на высоком шесте, указующий направление ветра, да ровная, как стол, зелёная луговина.

Вот мы и на острове. Чудеса! Времени после выезда из Иркутска прошло всего ничего, а мы уже рядом с грибным лесом, да не с каким-нибудь истоптанным, изъезженным, а вдали от суеты и толкотни: в те времена, о которых я сейчас делаю записи, остров был довольно малолюден и мог ещё сопротивляться нашествию «цивилизации».

А мир действительно тесен. Но это я в хорошем смысле. Наш хозяин — а он был кому-то из «летунов» близким родственником, ещё до перестройки был начальником аэропорта, а весь штат порта состоял, кажется, из двух человек — был мне немного знаком, знаком своей сибирской добротой и отзывчивостью. А познакомились с ним случайно. Стояли мы с моим постоянным напарником по рыбалке Володей на мартовском льду Байкала неподалёку от Харанцов, ловили омуля. Мы и ночевали прямо около лунок в стареньком «жигулёнке». А прижимал морозец. Днём ещё было терпимо: умелец Володя, считавший, что песенный «костёр на снегу» любой, у кого руки есть, при нужде разведёт, варил пельмени и кипятил чай прямо на льду с помощью паяльной лампы и пещни, вбитой в лёд. Ночью стужа очень серьёзно показывала, кто в доме хозяин. Одну ночь мы одолели и с дрожью, в буквальном смысле, готовились к следующей, надеясь, что морозец чуть ослабнет и утихнет верховик, из всех байкальских ветров наособицу обжигающе студёный, пронизывающий. И в тот напряжённый час неожиданно подкатил к нам на мотоцикле с люлькой — любимый транспорт местных рыбаков — немолодой мужик.

— Вы что, ночевать здесь собрались? А нонче ночью мороз хорошо прижмёт, — и тут же предложил поехать в Харанцы и переночевать у него в аэропорту. — В зале для пассажиров никаких удобств, но зато в тепле будете.

Господи, да какие нам удобства нужны! Самое для нас дорогое сейчас — тепло, и вот такое, душевное, которым одарил доселе незнакомый сибирский человек, без всякой нашей просьбы пришедший на помощь. В нужную минуту... Я жалею — да что теперь жалеть! — что не вёл никаких дневниковых записей, которые бы так сейчас могли пригодиться. Я запомнил имя-отчество начальника харанцинского аэропорта, но зато хорошо помню его приветливое лицо, его добрейшую супругу, и как Валентин легко нашёл с ними общий язык. Вообще, надо сказать, что вопреки сложившемуся мнению, что Распутин излишне был углублён в себя, излишне молчалив, он довольно легко сходил с людьми. И те, чувствуя его душевную доступность, тянулись к нему. Молчалив он был, это да, но не отчуждён в своём молчании. И люди, чуть поближе столкнувшись с ним, хорошо это понимали.

Наши воздушные попутчики — хотя нет, попутчики — это мы, — тотчас по приезду загоношились на рыбалку, пытались соблазнить и Валентина, но он отмахнулся: какая рыбалка, если в лесу рыжики ждут!..

Ольхон вроде бы засушливый остров. Во всей округе, бывало, по хребтам громоздятся тяжёлые тучи, идёт дождь, а над сакральным островом голубое небо, сияет солнце. Почва песчаная. Казалось бы, не грибное место. А вот поди ж ты — рыжик на Ольхоне водился,

не знаю, как теперь, но прежде довольно богато. А про маслята я не говорю. В иных урочищах их, маслят этих, можно было, не сходя с места, сразу увидеть несколько десятков. Сам считал. Хоть косой коси. В общем, мы с Валентином сразу же по прилёту настроились в лес. Тем более что наш гостеприимный хозяин сказал, что завтра с утра отвезёт на мотоцикле километров за десять, где вызрела брусника. Подумалось, везёт же людям. Это мы сами себе позавидовали, своей удаче.

Ожидания не обманули нас: едва мы добрались до лесной опушки, как рыжики стали попадаться буквально с первых шагов. В других местах рыжик показывает себя, приподнимая художественно расписанной шляпой лесной подбой, а тут нередко — лишь мало пригодная для жизни серая супесь. Но вот удивительное дело, живёт, пробивается к свету рыжик! Думаешь, высох грибок, мумией стал, а срежешь его под корень, отряхнешь шляпку от песка — и явится миру крепенький сочный грибок, без всяких червоточин и изъянов. Видно, конкуренту нашему по грибной охоте — червячку — трудно выжить на такой почве, а боевому рыжику всё нипочём.

Солнце уже о недалекой осени напоминало, но в тот день чуть ли не по-летнему расщедрилось, и Валя то снимал вязаную шапку и прятал её в карман, то снова надевал, когда набежавшее облако закрывало солнце, и в какой-то момент не обнаружил шапку ни в кармане, ни на голове. Мы к тому времени уже углубились в таёжку, с подъёмом в хребет лесной подстил стал богаче, местами появились мох, трава, мелкий кустарник, валежник, и сколько мы ни искали шапку, так и не нашли. Как растворилась. Видно, Хозяину здешних мест шибко она приглянулась, вот и умыкнул её. А шапка стояла того: плотной вязки, из тонкорунной шерсти, с северным орнаментом. Красота, качество и скромность в одном клубке.

На какой-то момент Валя расстроился. Его крестьянская сущность протестовала против потери нужной вещи из-за неуважительного — иначе бы не потерял — к ней отношения. Мне тоже было жаль шапку, она из всех виденных раньше была самой приглядной, самой тёплой для души...

Вспоминая этот случай, быть может, стоит остановиться ещё на одном моменте из времени, когда Валентина уже не стало. Хочу предварить его коротким предисловием о том, что вокруг публичных людей, особенно радетелей за своё национальное, за судьбу русского племени, иной раз наматывается порочный клубочек из домыслов, сплетен. Мазнув грязью человека — мажут дело, которому он служит. В этом и цель сплетен. Не избежал этой участи и Валентин Григорьевич. В чём только его не обвиняли! И не разговорчивый он, и угрюмый, и склонный к выпивке, и антисемит закоренелый. Я ещё, быть может, позднее и остановлюсь на этих обвинениях, сейчас только в помощь обвинителям в антисемитизме скажу, что у него в добрых товарищах-приятелях были иркутские литераторы с такими исключительно «славянскими» фамилиями, как Борис Ротенфельд, Сергей Иоффе, Владимир Ивашковский. Вот уж воистину, на чужой роток не накинешь платок. Но я отвлечусь...

В один из февральских дней — близилась годовщина со дня смерти Валентина — Иркутская областная библиотека пригласила меня рассказать о Валентине Григорьевиче, и не столько о его творчестве, а больше о бытовой, обыденной стороне его жизни. Аудитория собралась славная, заинтересованная, грамотная. Разговор получился доверительный, без казённости. Поговорив о студенческих годах Валентина, о работе в молодёжной газете, перешли к вопросам-ответам. И один вопрос привел меня в недоумение. Немолодой человек, вида интеллигентного, вдруг сказал, что бытует мнение: Валентин Григорьевич был в жизни прижимист, а то и просто жадноват, а это при его-то деньжищах. Вопрос меня несколько покоробил. Я просто не мог представить, что он может возникнуть, что где-то в тёмных уголках чьей-то памяти о нём мог лелеять себя вот такой чирей, но отвечать на вопрос было надо. Ну, во-первых, деньжищ не было. Были трудовые гонорары и премии. И из этих денег Валя молча, без афиши, можно сказать, застенчиво, помогал возрождающимся храмам и никогда не отказывал близким и дальним знакомцам-приятелям в «кредитах», которые, порой, возвращались спустя годы, а то и вовсе не возвращались. Валя и

тут не роптал, оставлял в безвестности такие поступки. Лишь изредка его «прорывало». Памятен один, особо «яркий» случай. Один из знакомцев попросил у Вали в долг денег. Дело-то в общем ординарное. Валя отозвался на просьбу. Вроде бы всё хорошо. Но прошли все сроки возвращения долга, годы прошли, и инвестируемый как-то запомнил старую русскую правду, что долг платежом красен. И Валя — случай крайне редкий, а может быть, и единственный, осторожно напомнил заёмщику о долге, чем привёл того в возмущение. И чтобы показать своё «беден, но благороден» и одновременно «неподобающее» поведение Распутина, отправил общим знакомым письма с просьбой помочь отдать долг и выслать «жадине» хотя бы по малой деньге. Вот так. Не больше не меньше. Ну и как вы думаете, какова должна быть реакция «трудящихся»? Хорошо, что далеко не все повелись на этот «призыв о помощи», оценили его суть. Но Валя был крайне расстроен... Я сознательно не называю имён-фамилий. Не в них суть. Я просто о том, откуда, из каких неожиданностей могут вырасти ноги у иной «правды».

А потом, надо учесть, что далеко не всем, даже местным, бытовым «идеологам» новой капиталистической России привился писатель русской жизни, печальник о судьбе русского племени, тем более талантливый, признанный. Для них слухи о Распутине чем хуже, тем лучше.

Я тут хочу ещё рассказать об одном случае, показывающем суть Валентина, совсем маленьком, но, как известно, в мелочах-то суть и прячется. В самом начале перестройки — а скорее во времена, когда ещё только послышался угрожающий треск во всех державных скрепах, — Союз писателей СССР организовал группу литераторов для круизной поездки в Японию. Поездки были, как правило, интересными, довольно необременительными для «кармана», но с одним изъяном: валюты на наши рубли разрешалось поменять столь скудно, что и в сувенирной лавке не шибко побарствуешь. За день до отъезда в Хабаровск — место сбора группы — ко мне зашёл Валя и после короткого приветствия протянул мне зелёную долларовую бумажку, коротко сказав:

— Возьми, пригодится.

Я было заартачился, заметив, что никаких зарубежных денег у меня нет и в будущем не предвидится, чтобы вернуть долг, но Григорич пресёк все мои возражения, добавив, что ничего возвращать не надо и больше об этом говорить не будем. А стоили в то время американские доллары дорого, на них в магазинах «Берёзка» можно было купить вещь, которая в обычном магазине появиться просто не могла. За пять последних в наличии долларов, которые я однажды истратил при известной необходимости в аэропорту промежуточной посадки капиталистического забугорья на необходимое в тот момент пиво, мои земляки попеняли, что у нас дома — это в девяностые годы — можно было бы купить две бутылки коньяка. Так это было или нет, я не знаю. Изменились времена, изменились и цены.

...А назавтра мы отправились за брусникой, выросшей в экологически чистых местах, в хребтах острова буяна — Ольхона, лежащего среди вод всё ещё самого сказочного озера-моря. Часть пути одолели на мотоцикле, а уж потом, как водится, пешком: пошли хребты и глубокие, густо заросшие распадки. Но зато брусничники встретили нас отменной ягодой, вызревшей, в тёмно-красном глянце. Хозяину здешних мест, видимо, шибко понравился невольный подарок Валентина — вязаная шапочка, и он щедро одарил нас самой ценной в Сибири ягодой.

Последняя поездка

Порой говорят, что в жизни ничего нет случайного и все события предопределены высшим разумом; или же эти события исходят из предыдущих помыслов или поступков человека. И ещё, если стремишься к чему-нибудь, думаешь об этом упорно, то это сбывается. Да так оно и есть. Так мне видится и наша с Валентином последняя совместная

поездка в лес-тайгу, прощальная с матушкой-природой. Он ещё не знал о своей очередной, уже неодолимой болезни, уже угнездившейся в нём, он узнает о ней месяц спустя, но провидение, будем считать, знало и явило милость, предопределив поездку.

Последние несколько лет мы прикидывали махнуть на старые лесные тропы, к ночному костеру, но всё как-то не получалось: относительно ближние места, на поездку к которым хватало бы двух-трёх дней, опустошили пожары, путь к дальним наглухо перекрыли прожитые годы. Но всё равно мечталось. Из Москвы, где Валя обычно переживал зиму, он позванивал:

— Ну погоди, летом мы обязательно с тобой куда-нибудь поедем.

Я хорохорился, поддакивал ему и говорил, что и сам смогу сесть за руль своей «Нивы», и если ехать без спешки и с отдыхом, то сможем добраться до самых распрекрасных мест.

— Ну да, ну да, — соглашался Валя.

И так несколько зим-лет. Но наконец нужные ворота открылись, и поездка состоялась. И не куда-нибудь, в абы какое место, лишь бы был лес и первозданность, а на настоящий охотничий кордон, утайливо разместившийся неподалёку от верховий реки Лены. И предложил эту поездку давний наш друг Валерий Алексеевич Попов, предложил в самый нужный момент, словно услышал глас свыше. Тут надо добавить, что Валя умел дружить с неординарными людьми, поддерживая отношения долгие годы, несмотря на то, что линии их жизней почти не пересекались.



*Последняя поездка в тайгу. На охотничьем кордоне. Осень 2014 г.
Слева направо: Альберт Гурулёв, Светлана Черных,
Константин Житов, Валентин Распутин*

С Валерием Алексеевичем мы познакомились больше тридцати лет назад. Не помню уже по какому случаю мы — Валентин, я и Костя Житов, без которого не обходилась ни одна поездка в Качугский район, — оказались в Харбатово, где Валерий Алексеевич успешно возглавлял крепкий совхоз. И оказались в его гостеприимном доме. Из того вечера до сих пор помнятся открытое дружелюбие хозяина, его интересные рассказы об осенней рыбалке на местной речке, которые меня волнуют-греют до сих пор. Валентина же заинтересовало большое лимонное дерево, украшавшее комнату, с необычно крупными жёлтыми плодами. Я никогда прежде не видел живого лимонного дерева и не знал, что его можно вырастить в домашней кадучке и даже получить отменные, просто сказочно крупные плоды у нас в Сибири. Наши жизненные линии пересекались с Валерием Алексеевичем не часто, но каждая встреча была душеподъёмна, памятна. Как-то — Валерий Алексеевич работал уже в районном центре, — оказавшись в его доме, посетовали, что опоздали нынче сбегать за синей ягодой — голубицей, и хозяин дома тут же предложил «ликвидировать этот пробел».

— Ничего не опоздали. Завтра с утра и поедем. Мне самому давно хочется в лесу побывать.

Качугский район хотя и рядом с Иркутском — всего-то две с половиной сотни километров, — но сильно уж тяготее к Северу. Морозы там наособицу сибирские, лето запаздывает чуть ли не на две недели, вот и ягода вызревает позднее... Чем запомнилась эта поездка? Да тем, что душа отдохнула от суеты, тем, что снова и снова восхитилась душа красотой вольных просторов, удивилась могучности и щедрости голубичных зарослей. Запомнилась поездка уютным теплом весёлого костра, нескончаемым переплясом огненных сполохов, пробуждением языческого единения со всем сущим на земле... Был костёр,

было прокопчённое на кострах чёрное ведро, в котором варился час тому назад добытый глухарь. Валя как обычно был молчалив, но по всему — по отдельным репликам, по выражению лица — было件нятно, что ему уютно среди зелени леса, у костра, под высоким синим небом...

Ну, а теперь о поездке в тайгу в августе 2014 года. По своей радости, по своей эмоциональности она мало отличалась от многих предыдущих, но была особенной — последней. Прощальной. Но кто об этом знал?

Хорошо уезжать из города в лес-тайгу, в места, где нет уже привычных дорог, где истаивает в дали дальней, будто её и не было вовсе, городская суэта, городские заботы. Так и кажется, что и болезни остались позади, не сумев угнаться за быстрым бегом внедорожника по асфальту, и тем более теряют людей, когда машина ввинчивается в лесные заросли, как оброненная иголка в стог сена... Валерий Алексеевич знал, что предложить на этот раз уставшему от недугов Валентину. После долгого пути по самодельной лесной дороге через урёмы и чаши, где деревья в иных местах, словно древнегреческие Сцилла и Харибда, поджидают самобеглую коляску, и лишь шофёрское мастерство спасает бока машины от царапин, а то и вмятин, открылась вырубка и несколько небольших рубленых домиков. Чуть отдышавшись от несколько утомительной дороги, чуть оглядевшись, мы поняли, в какое чудесное место прибыли. Стойбище угнездилося на взлобке небольшой продуваемой — даже комаров я там не помню — гриве. В центре поселения — навес и стол для совместной трапезы. Почти рядом кострище, укреплённое камнями, охваченное с трёх сторон скамейками, а с четвертой — крутой склон с видом на соседнюю гриву. Место отдыха и раздумий. И надо всем этим тишина, подчёркнутая лёгким пошумливанием ветра в вершинах деревьев, да далёкая успокаивающая дробь труженицы желны — большого дятла.

Через час уже собрались у костра. Ещё светло — день только клонится к вечеру, — ещё тепло от предзакатного солнышка, от пляшущих свой рыжий танец языков огня, и душа нежится в тишине, тепле и покое. Валя затаён, но по всему — в готовности мимо-лётно улыбнуться, в желании «подвеселить» костёр, «сбегать» обочь за дровишками — видно, что жизнь его радует.

А место для таёжного скита действительно хорошее, вдалеке от проезжих дорог, от всего того, что мы называем цивилизацией. Отсюда, если по прямой, не так уж и далеко до истока Лены, а там и до самого Байкала рукой подать; а если идти на север, то вынырнешь из тайги, если не повезёт, где-нибудь около бамовских разъездов, оставив в неведомой стороне редкие деревни... Сумерки сгущаются, за деревьями накапливается темнота, но от костра уходить не хочется. А как точны песенные слова из сибирской песни: «Укрой, тайга, меня глухая, бродяга хочет отдохнуть...» Сибирь, Сибирь! Есть в ней особая, пронизывающая тебя, всю твою суть, притягательность. Что и говорить: немало на земле красивых мест, сказочных, райских, но они не слились с твоей сутью, существуют отдельно от тебя. А тут всё твоё, всё, что с Сибирью связано, — и хорошее и плохое. Валя любил сибирские побасёнки, анекдоты, бывальщины, даже те, в которых коренной чалдон выглядел не очень привлекательно, но зато со своим характером. Валя не раз предлагал мне рассказать своим заезжим гостям эти бывальщины. Здесь, в верховьях Лены, где неподалёку проходила тропа, связывающая золотые прииски «с жилухой», на которой нередко терялись «горбачи»-старатели, да у костра, где по лицам мечутся огненные сполохи, а за спиной утрамбовалась ночная чернота, бывальщины вспоминались особенно ярко. Вот одна из них. Сидят в тёплой бревенчатой избе два заросших волосьем по самые глаза чалдона, беседуют мирно, с достоинством. На просторном дощатом столе стоит под рукой хозяина дома четвертная бутылка самогона, прозванная «гусыней», скворчит на сковороде — только что из печи — таёжное мясо, мигает, колышется язычок пламени в плошке с жиром, по углам темнота тaitся. Ведут неспешный, уважительный разговор, о главном — об охоте.

— Бельчишек-то стреляшь?

Хозяин оглаживает бороду.

— Попадат — стрелям.

Выпили, закусили. Беседа продолжается.

— Соболишек стреляшь?

— Попадат — стрелям.

И главный вопрос:

— «Горбачишек»-то стреляшь?

Хозяин снова огладил бороду, чтоб не спешить с ответом, поднял в упор глаза, немигающие, словно дульный срез двустволки, ответил твёрдо:

— Не знашь, а болташь!

...Вспоминая тот вечер, тот костёр в ленской таёжке, к месту будет вспомнить и ещё одну «историю» о «горбачах», из позапрошлого века, которая всегда вызывала у Валентина улыбку. В те давние времена «путик» золотоискателей таил немало опасностей. А в некоторых прибрежных ленских деревнях иные «охотнички», не особо таясь, занимались и промыслом «горбачей». Вот такая быличка. Сидят за воротами на лавочке две немолодые тётки, семечки лузгают, ведут житейские пересуды. Одна другой «жалится», по местной привычке пришепетывая, заменяя «с» на «ш»:

— Мы, ленские, такие простодырые, нас каждый омманить может. Омманит, да ещё и в душе поизгаляется. Вот наемни постучал в ворота мужик в одежонке драной, костром пропахший, накормить попросил. Сразу видно — старатель. Накормила, а сама спрашиваю: много ли золотишка добыл. А он говорит — фарту ноне не было, только пообносился весь, пустой домой иду. Ну, раз пустой, то и иди с Богом. Ушёл мужик. А опосля Петюшка, зятьёк, прибегат и спрашивает: иде горбач? Я видел, он в наши ворота стучался. Я говорю: ушёл он. Нет у него ничего.

— Откуда знашь?

— Сам и сказал. Я спрашивала.

Плюнул Петюшка, схватил ружжо, пал на Гнедка и вдогонку за горбачом... Почти два фунта золотого песка да самородок большенький принёс зять. Я теперь нипочём никому не поверю. Нас ленских омманить каждый может. Такой народ пошёл...

... Горит костёр, летят искры в тёмное небо, на душе тепло и светло. Много ли человеку надо!

Утром — радость. День пробился сквозь вершины деревьев сухой, ясный. Откуда-то на свет Божий выбралось ушастое племя кроликов. Обыкновенных, домашних. Даже удивительно: тайга, а тут кролики! Вчера мы их не видели, а сегодня они — повсюду. Валя тихо улыбался всей этой пасторали. А кролики, вроде бы и домашние, но с таёжным навыком к жизни: не схарчил бы кто, ухо надо держать востро. Даже к человеку недоверие имеют, на всякий случай. Едва заметив опасность — тут же скрываются в узких лазах под домами. Там они в безопасности.

После завтрака — за ягодами, за синей ягодой, как называют её некоторые, за голубицей. Радость большая. Сколько уже лет прошло, как не промышляли таёжный урожай! Много, и считать — только расстраиваться. Собрались быстро. Чего медлить — только подпоясаться. Валерий Алексеевич нас без егеря не отпустил. У егеря на плече карабин. Мало ли кто может встретиться на ягодниках. А здесь, в ближних околотках, бродит медведь, разоряет муравейники, приглядывает за лесным населением — козами, изюбрями: не пора ли кого из них на харчи пустить. Беспорядков, особенно от пришлых, не потерпит. А порядки устанавливает сам. Так что без егеря — никак.

До ягодника недалеко — спуститься в распадок и подняться на соседнюю гриву. Путь тропой обозначен.

Какое это, оказывается, счастье — идти не шибко торной тропой, ощущать под ступнёй жёсткие переплетения корней деревьев, ощущать уступчивую мягкость мха. Душа истосковалась по таёжной воле и теперь даже естественные неудобства радуют. Правда, недолго, до первой усталости. Но ведь радуют!

Год на ягоду выдался не шибко урожайный, но это не расстраивает. Да и не за добычей мы пришли сюда, а за, как поётся в песне, «за туманом и за запахом тайги». А тут всё есть, что сейчас нам надо: дивный воздух, ощущение душевного покоя, ну и ягода для нелени-

вых тоже есть. Вот она, наклоняйся — бери. Трудно наклоняться — становись на колени. Устал — ложись под ягодный куст, собирай лёжа. Но это я больше про себя. Валя держится молодцом, лишь изредка привстанет на одно колено. Старая таёжная закалка. Вот что он пишет в своей статье «Откуда есть-пошли мои книги»: «Моё детство прошло в глухой ангарской деревне... На двух сокровищах стояла Аталанка — на Ангаре и на тайге!..» И ещё: «Я не люблю фантазировать, право писателя на вымысел я использую только для поправок...» Вот это уж точно. Тому свидетель! Есть у Валентина рассказ «Под небом ночным», с посвящением друзьям: мне и Коле Есипёнку. Позволю себе процитировать его начало.

Приехали в самое скрытое, мало кому известное в Тункинской долине место неподалеку от монгольской границы, самое уютное и удобное, спокойное и для небольшой компании богатое. Съезд влево с тракта за линию электропередачи едва приметен, в заросли среди валунов чуждой человек не осмелится направить машину, а тому, кто знает, куда едет, покачаться на колесах по камням придётся всего-то с километр, а там открывается на взлобке ровная поляна с огромной ядрёной елью в конце её, где тропка ныряет в тальниковые кусты, — сухая, чистая, не обросшая травой, с неумолчной музыкой от речки справа. Один бок у поляны возле горушки в золотистой сосне, другой, противоположный, со стороны речки — в черемухе поперед невысокого строя кедрушек и елей. Лучшего места для табора не найти: давно наезжено тут костровище, наготовлен таганок, дров вокруг сколько угодно, а для вечернего сидения у костра лежит чуть приподнятая над землёй, обкорнанная гладкая сосна, которая одновременно может служить и столешницей. Если же выпадет непогода — по извилистой тропе за елью через пять минут будет зимовейка, некорыстная на вид, но высоконокая, аккуратная, обставленная внутри тем немногим, что требуется поночёмщику: слева за дверями маленькая железная печурка, а справа в переднем углу неширокие, на двоих-троих, нары.

А уж от зимовейки вверх по речке тропу и вовсе не разглядеть, она перепрыгивает с берега на берег, скользит по камням, ныряет в заросли, карабкается по завалам, чуть держится на скользком прижиме. И ведет эта тропа в кедрачи. До них, смешно сказать, километра три, не больше, но запоминаются они надолго. Другой тут идет счет, когда то прыгаешь, то ползешь, то подтягиваешься на руках, чтобы взобраться на каменный откос, то с суковатым шестом в руке перебираешься по скользкой лесине на противоположный берег. Нечего и говорить, что ни на какой машине сюда и не сунешься. Шишка в этих местах крупная, тугая, в смолянистом наплыве; когда орудуешь колотом, хоть зимнюю толстую шапку надевай, чтобы уберечь голову. День в кедраче — и позаглаза, если не для рынка. А на другой день и ходить никуда не надо: здесь же, рядом с зимовьем, по скату к речке, по камням и редколесью брусника, какая-то особая, удлиненной формы, крупная, чистая, глянцеваая, так и катится, так и катится в посудину. По речке везде черная смородина: лист по студеной воде облетает быстро, уже в августе, и она голо висит на кустах гроздьями, как виноград, и манит к себе ещё издали...

Длинный отрывок, что и говорить. Но вот что удивительно, здесь нет ни одного придуманного штриха. Точное, будто для какого-то справочника, описание местности. Это я в подтверждение сказанного Валей о себе: «Я ничего не придумываю». Я нашёл это место в Тункинской долине, окаймлённой с одной стороны Саянами, а с другой — хребтами Хамар-Дабана, совершенно случайно. Возвращался на машине с приятелем из верховий Иркутка и, когда уже стал подумывать об отдыхе, увидел в стороне от тракта показавшийся мне рясным куст жимолости. И съехал на обочину. А куст в действительности оказался замечательным: мощным, в самой силе, ягода продолговатая, наособицу крупная. Пока с азартом крутились около куста, пригляделись к еле заметному на каменишнике следу колёс, увозящему в чашу рослых деревьев. Взыграло любопытство: а что там дальше? Дорожка оказалась вполне преодолимой и вскоре вывела на ту царскую полянку, которая потом так понравилась Валентину. Здесь и решили заночевать и побрать ягоды... Утро выдалось волглое, туманное, мы с приятелем сидели у костра, наслаждались его теплом и гоняли чай со смородиновым листом, сорванным обочь. И вдруг на тропе, ведущей в распадок, прорисовался из тумана зверёк, похожий на маленькую собачку. Он деловито и

без всякого страха бежал по тропе; остановился близ костра, выжидательно разглядывая нас, и мы разглядели — собачка. Следом из тумана, как на фотоплёнке, проявилась фигура человека в дождевике и с ошкуренным посохом. По слабой и утычливой походке стало понятно — старик. Только откуда здесь старик? В глубь глухого таёжного распадка уводит только малохоженная тропа, жилья близко никакого не предвидится. Как он здесь оказался? Один! В полном безлюдии.

Старик охотно принял приглашение попить чаю, словно за тем только и шёл. А через пять минут всё стало на свои места: и почему он в тайге и почему один. Он геолог, давно на пенсии, живёт в городе, но без тайги, без её воли не может — привычка давняя. А потому с весны и до осени живёт вот здесь, в этом распадке. Вверх по ручью у него зимовейка. Раз в полмесяца, а то и реже, его навещают родственники, привозят необходимое.

— А не страшно одному в тайге?

Старый геолог не оценил вопроса, как от комара отмахнулся сухой ладошкой.

...Я рассказал Валентину о славном таёжном урочище, о встрече с сезонным отшельником, и в конце августа, когда на рынках Иркутска в изобилии появилась брусника, облепиха и кедровые орехи, мы оставили все городские дела, пригласили ещё двух неравнодушных к костровой жизни приятелей из пишущей братии и «полетели» в Тункинскую долину.

Всё это я пишу лишь в подтверждение слов Валентина: «Я не люблю фантазировать».



На отдыхе в Тункинской долине. Валентин Распутин, Альберт Гурулёв

Да, я забыл сказать, что лесной отшельник хотя и ослаб для переходов по увёртливым тропам, но всё же проводил нас через несколько мелководных бродов, довёл до крутого подъёма и там сказал с явным сожалением:

— Ну, а дальше уже без меня. Тут рядом — всего ничего идти — кедрачи начнутся.

...В тот последний поход за голубицей мы собирали ягоду почти до обеда. И дольше бы поработали на таёжной плантации, но было принято коллективное решение: работа работой, а обед по расписанию. Тем более, что к обеду нас ждали. Успокоили себя надеждой, что отдохнём часок и вернёмся на ягодную гриву.

Обед — он и есть обед. После обеда хочется отдохнуть — полежать. Тем более заявила о себе притаившаяся в мышцах усталость, и мы потянулись на лавочке к костру, довольно легко дав самих себя уговорить на безделье. Валя снова принялся подкармливать костёр, а потом даже нашёл в себе силы поискать окрест грибов. Но грибов не было.

— Вот и свиделись мы с тайгой.

Прощай, радость!..

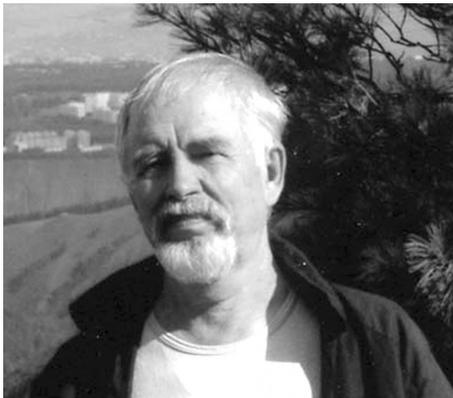
ВЛАДИМИР ЗЫКОВ

ЖУРНАЛИСТ, ПИСАТЕЛЬ, Г. КРАСНОЯРСК

Валентин Распутин. Комсомольские годы в Красноярске

Минуло уже два года, как нет с нами Валентина Распутина.

Тогда, в 15-м, сорок дней его душа бесприютно, а может быть, ещё с надеждой бродила среди русского народа, вглядывалась в настоящее и будущее: что-то будет? Оптимистических прогнозов при жизни у него не было, но, как у всякого любящего человека, оставалась надежда: а — вдруг!.. И вот теперь ему уже больше не взглянуть на родную землю, не сказать в который раз своё веское слово в её защиту против ненавистников России и её супостатов. Но, я думаю, он и так сказал много и весомее всех остальных. Больше, чем любой другой из наших современников. И мы ещё не осознали всей важности и нужности им сказанного. Его книги и жгучие публицистические статьи будут перечитывать и осмысливать снова и снова. Ведь он последний и единственный наш заступник и молитвенник перед Господом Богом за русский народ.



Владимир Зыков

В наше молодое безбожное время мы не очень-то оглядывались и вспоминали Господа. И сейчас мне по-иному припомнилось, как в самом начале семидесятых я разговаривал в Красноярске с Валентином, не так давно отъехавшим от нас обратно в родной Иркутск, о Божьем Слове, божественных делах. Он поведал мне о своих долгих беседах с православным иркутским епископом, умнейшим, по его словам, человеком, достойным всяческого уважения. Для меня, проработавшего перед этим пять лет на строительстве Красноярской ГЭС, «в нашей буче, боевой и кипучей», в знаменательные годы перекрытия Енисея и пуска первых агрегатов, все епископы казались, по

меньшей мере, инопланетянами (в нашем крае епископами и не пахло). И такой разговор «о духовном» был у меня первым в жизни. И тогда, наверное, больше из любопытства или из-за впервые пробудившегося интереса к «неведомому», я попросил у Валентина «доставить» мне Библию, не вполне запрещённую, но абсолютно недоступную для простого народа (позднее я не смог купить её даже в тогдашнем Загорске, Троице-Сергиевом посаде, центре русского православия, куда специально ездил из Москвы познакомиться с лаврой). Распутин пообещал посодействовать.

Как изменилась жизнь и наше мироощущение с той поры! Особенно после 1988 года, когда вся Россия так торжественно и пышно отмечала тысячелетие Крещения Руси, тысячелетие русского православия.

Но сейчас речь не об этом, а о самом Валентине Григорьевиче Распутине, воплотившем в себе все лучшие качества русского человека, — истинном исповеднике русского народа.

Мы встретились с Валентином, когда ему только исполнилось 25 лет (первый «взрослый» юбилей!). То, что он человек необыкновенный, почувствовалось почти сразу после знакомства и двух-трёх мимолётных разговоров. Но вряд ли бы тогда нашёлся хоть один человек, представивший, что когда-нибудь этот молодой журналист взойдёт на ступени

мировой славы. Мне запомнилось, как гораздо позже какой-то иностранный корреспондент на заре писательской карьеры Валентина, когда его пытались заинтересовать творчеством молодого писателя, только и спросил: «Он имеет отношение к Григорию Распутину? Нет? Тогда он нам неинтересен». «Восходящую звезду» обязательно надо было к кому-нибудь прислонить, с кем-то сопоставить. Нашему Валентину ещё предстояло создать собственную биографию и заставить зазвучать свою фамилию по-своему — несопоставимо ни с кем другим.

А ведь он и в самом деле имел непосредственное отношение к Григорию Распутину. Только совсем к другому. Григорий Никитич Распутин, тоже коренной сибиряк, был его отцом. Родился он в 1913 году, умер в 1974-м. Прожил сравнительно недолго — подкосили «колымские годы», где Григорий Никитич вскоре после возвращения с войны отбывал срок за утрату казённых денег (у начальника поселковой почты на пароходе срезали «денежную сумку») и вышел по амнистии только после смерти Сталина.

Помню также, что когда Валентин отработал несколько лет в «Красноярском комсомольце» и вернулся в родной Иркутск, я сообщил ему о моей находке в сибирских «Учечных записках», упомянувших некоего «Распуту», поселившегося в «первые русские» годы на Ангаре. И Валентина заинтересовал такой факт: «Может быть, это кто-нибудь из моих древних предков?»

Да, «Распуту» из средневековой Сибири могли связывать родственные узы с нашим Валентином Распутиным. Но никто и никогда не пытался найти общие родословные корни Валентина Григорьевича со знаменитым «старцем» Григорием. Очень уж несопоставимые исторические фигуры! Разве только иностранцу могло прийти в голову притянуть одного к другому.

...Впервые я увидел Валентина Распутина в редакции «Красноярского комсомольца» в 1962 году. Видимо, в конце августа или ранней осенью, потому что он приехал к нам вместе с женой Светланой, «распределённой» из Иркутска в Красноярск после окончания университета. Помнится, она была математиком и запомнилась мне женщиной красивой и строгой.

В ту первую встречу рядом с Распутиным, «сопровождающим и направляющим» его в редакторский кабинет, был собкор газеты «Известий» по Красноярскому краю Бессонов. Все «комсомольцы» невольно и в какой-то мере заинтересованно оказались рядом, пока собкор беседовал с редактором В.И. Полустарченко. Пока они разбирались с ситуацией, моя соратница по отделу комсомольской жизни Лиля Моисеева шёпотом объяснила мне, что Валентин работал в иркутской «Молодёжке», в чём-то проштрафился («написал какую-то «крамолу»), а «Известия» взяли его под свою защиту и добились справедливости в борьбе с ретивыми администраторами.

После «реабилитации» Валентин не захотел возвращаться на прежнее место и предпочёл отправиться вместе с женой в Красноярск — для «расширения кругозора». Красноярский край в шестидесятые годы, безусловно, был «передним краем страны», краем Всесоюзных ударных комсомольскихстроек, таких, как Красноярская и Саяно-Шушенская ГЭС, «трасса мужества» Абакан — Тайшет, Ачинск — Абалаково, Красноярский алюминиевый завод и многих других пониже рангом. Это не могло не привлекать молодого журналиста.

Помню, как Бессонов живо объяснял, что к чему, а Валентин молча, неулыбчиво и как-то понуро стоял рядом и не вставил ни слова в эмоциональный монолог своего «ведущего». Когда через полвека после нашего знакомства классик русской литературы В.Г. Распутин выступал перед красноярцами в гостеприимном Педагогическом университете имени В.П. Астафьева в компании с земляками-иркутянами и киногруппой, проехавшей с ним от истоков до устья Ангары (две серии документального фильма-репортажа «Река жизни» позже показывали по Центральному телевидению), он вёл себя точно так же отстранённо и незэмоционально — прямая противоположность выступающему перед публикой азартному артисту-лицедею Виктору Астафьеву. Тогда же Распутину были вручены мантия и прочие атрибуты почётного профессора Красноярского педагогического университета имени В.П. Астафьева.

Осенью 1962 года вакантного места для Валентина Распутина в «Красноярском комсомольце» не нашлось, и его «первой ступенькой» в журналистской карьере в нашем крае стал «Красноярский рабочий». Он трудился там, наверное, с полгода и, говоря по правде, совсем измаялся. Наша молодёжная редакция располагалась тогда на верхнем, пятом, этаже только что построенного в центре Красноярска Дома печати по проспекту Мира, 89, а «Красноярский рабочий» с полным комфортом устроился пониже. Мы были соседями, и Валентин по-соседски частенько заглядывал к нам «излить душу», насколько это было возможно при его природной сдержанности.



Валентин Распутин

Как я понял, в иркутской «Молодёжке», где он раньше работал, были несколько иные взгляды на жизнь, чем в красноярской партийной газете. Точно так же «по-комсомольски» вольготно было и у нас в редакции. Валентин с первых «газетных» лет привык писать легко и без оглядки. Именно поэтому в «Красноярском рабочем» с первых же дней всерьёз взялись за его перевоспитание с чисто партийных позиций: учили уму-разуму, как писать «правильно». Валентин признавался: «Иногда я специально перебарщивал с затёртыми штампами или же выдавал полнейшую сухомятину, пародируя навязываемый мне стиль. И тогда в секретариате оживлялись: вот так, именно так и надо!»

К счастью, страдания будущего классика продолжались недолго, и он вскоре перешёл к нам в редакцию на правах «специального корреспондента». Его феерический стиль буквально ослепил всех. Ну, может быть, и не всех, но наша заведующая отделом комсомольской жизни Римма Иванова, добрейшей души человек, никак не могла уразуметь его ярких эпитетов и «заковыристых» метафор. Сама она писала свои корреспонденции только строго по-деловому и при оформлении меня в отдел литсотрудником по сельской молодёжи предупредила о себе: «Для души ничего не пишу».

А Валентин Распутин вскоре выдал одну из первых зарисовок о семнадцатилетней телятнице именно «для души». Называлась она, как сейчас помню, «Весна в распахнутых руках». Была в те годы у всех на устах такая жизнерадостная песенка: «Хорошо свою весну нести на распахнутых руках! Солнце нашей вечной юности не померкнет в облаках!» Вся зарисовка была — обаяние молодости, наив и радость жизни. Валентин весело, искренне и задушевно расхваливал семнадцатилетнюю простодушную телятницу, которая нигде не бывала, кроме родной деревни, но так много красоты видела вокруг! И заканчивалась зарисовка словами: «Завтра ей исполняется восемнадцать лет. О ней ещё никогда не писали в газетах».

Хороший подарок получила хакасская девчонка ко дню рождения! И даже наша строгая Римма Леонтьевна была покорена, хотя и несколько озадачена: «Разве можно писать в газете так несерьёзно!»

1963 год, когда Валентин пришёл к нам в «Красноярский комсомолец», ознаменовался для меня выходом первой авторской книжки «Работа наша такая». Перед этим мы с секретарём Бирилюсского райкома ВЛКСМ Олегом Андреевым по командировке крайкома комсомола объехали весь край от Таймыра с Норильском и Дудинкой и экзотическими факториями в тундре до Хакасии с её древними каменными памятниками-исполинами и Шушенским знаменитым музеем сибирской ссылки В.И. Ленина. И написали об этом книжку «Работа наша такая», куда вошли одноимённая документальная повесть об ударных трудовых буднях Бирилюсской районной комсомолки, опубликованная в третьем «съездовском» номере журнала «Юность» за 1962 год, и наши путевые записки о многовёрстном путешествии по Красноярью на самолётах, оленях, поездах и автобусах. Первая страница книжки была посвящена нашим читателям-комсомольцам:

*Это о вас, это о наших друзьях, это о нас самих.
О сибиряках коренных и потомственных,
О тех, кто приехал в Сибирь по путёвкам,
О тех, кто просто приехал.
О тех, кто приедет ещё.*

Как только Распутину попала в руки наша «Работа...», он сразу ухватился за неё: «Обязательно надо написать рецензию». И написал. Старейший фотокор Игорь Венюков сфотографировал авторов, и через несколько дней рецензия Валентина «Привет от друзей с красноярских широт» появилась в «Комсомольце»:

«У нас в редакции радость, и мы хотим поделиться ею с тобой... Вышла книжка...»

В первую очередь Распутин отметил нашу храбрость. Ведь мы вдвоём взяли рассказывать о таком огромном крае, в котором «юг и север — это юг и север страны, а красноярские стройки — самые огромные и важнейшие в стране. Рассказать о самом необычном, чего нету нигде...»

И он тоже рассказал о том, что было в книжке. О фактории Усть-Авам в таймырской тундре, где в «красном чуме» молодёжь ставила пьесу Ивана Франко, а роли в ней исполняли долганин, нганасанка, дунганин, украинец, русская... Рассказал о страшном июльском пожаре 1962 года в Игарке, когда пылал весь город. Трижды загорался горком комсомола, но девчонки и мальчишки отстояли его. Игарка выжила. Рассказал об организованных для молодёжи вечерних курсах трактористов в Бирилюссах. А также о Дивногорске, Норильске, Красноярской ГЭС и других местах, где мы побывали.

«В Москве идёт XIV съезд комсомола, а по краю идёт весна. Вот о чём эта книжка, — заканчивал рецензию Распутин. — В ней много имён, но герой в ней только один — красноярская комсомолка. Эта книжка о тебе: «Работа наша такая: всё делать и за всё отвечать». Это строка из книги. Так она и называется «Работа наша такая». Хорошая работа! И это уже относится к книге».

Валентин с женой Светланой и сыном Серёжей жили тогда в общежитии Сибирского технологического института. Светлане, как преподавателю и молодому специалисту, дали там комнату. В редакции с квартирами было тужо. Наверное, именно в общежитии я и узнал кое-какие подробности из распутинской жизни. О родной деревне, об отце с матерью, о первых годах учёбы. Из всего рассказанного ярче другого запомнилось, как Валентин поступал в университет. Приехал за 400 километров из глухой деревни в Иркутск — первый увиденный им большой город.

«Шёл, озирался по сторонам. Всё казалось ново и дико. И надо же, когда все зашли в аудиторию, где писали сочинение, я умудрился зацепиться за гвоздь и порвал штаны. Повезло, в общей суматохе никто ничего не заметил. Я успокоился, сел за стол и всё написал, как полагается. Но как идти обратно с рваными штанами? Решил подождать где-нибудь в закутке до темноты. Мол, поздно вечером никто ничего не разглядит. А того не дотумкал, что в большом городе и ночью светло, как днём! Тем более, дорог по закоулкам я не знал — только главную улицу! Так и добрался до общежития, шарахаясь от прохожих. Тогда я ещё не знал простой истины: в деревне всякий человек на виду, а в городе один для другого просто не существует! А мне тогда казалось: все только и глазели на меня!»

В общежитии «Технолаги» я познакомился и с первыми художественными творениями Распутина. Помню рукописные страницы рассказа «Я забыл спросить у Лёшки» — ещё недоделанный черновик. Считается, что он стал его первым опубликованным рассказом. Запомнились и другие: «Продаётся медвежья шкура», «Мама куда-то ушла», что-то ещё.

В то время Валентин ещё не был уверен в себе как в писателе.

«После университета, — говорил он, — мне всё казалось нипочём. Казалось, всё смогу. Теперь же мои собственные оценки стали более осторожными».

Что же касалось газетной журналистики, мне чудилось: он уже считал её занятием не для очень взрослых людей. Помню, на время уборки урожая 1963 года его «прикрепили» ко мне. Я в отделе комсомольской жизни был единственным «ответственным» за сельскую

молодёжь, и Валентин, видя мою озабоченность, подбадривал: «Не бойсь, всё будет хорошо. Увидишь, нас ещё хвалить будут». Не помню уже, хвалили ли нас, но точно не ругали.

Вообще-то в журналистике Распутин был мастером на все руки. Правда, сельской темой не увлекался. Зато по многу раз перебивал на наших Всесоюзных ударных комсомольских стройках: на «трассе мужества» Абакан — Тайшет, Красноярской ГЭС, на Талнахе и в Норильске, Красноярском алюминиевом заводе и других. Из написанных им «ударных» очерков и составила первая книжка Валентина «Костровые новых городов», выпущенная Красноярским книжным издательством в 1966 году. Одновременно в том же году в Иркутске вышла его другая очерковая книжка «Край возле самого неба» — о тофаларах, небольшом горном народе в Саянах.

К этому времени наши дороги уже разошлись, и только изредка сводила нас жизнь. Меня переманили в Дивногорск, на строительство Красноярской ГЭС, в редакцию только что реорганизованной из многотиражки городской газеты «Огни Енисея». Да я и сам больше тяготел к стабильности. Репортажный стиль газеты и вечные командировки — сегодня здесь, а завтра там — мне осточертели. А с краем, по моему мнению, я и так уже познакомился изрядно.

1965 год запомнился нам обоим юбилеем — тридцатилетием «Красноярского комсомольца». В один из январских дней я был приглашён на праздник как «ветеран» и нештатный корреспондент «молодёжки» из своих «Огней Енисея» — в новый красноярский ресторан «Огни Енисея» возле коммунального моста; Валентин — как штатный сотрудник. Он недавно получил от редакции квартиру и уже «смотрел на сторону», в сторону родного Иркутска, раздумывая о вариантах обмена. Моей же главной новостью была женитьба, и я тоже задумывался о перспективах. О наших ближайших планах на будущее и был у нас разговор. Какую дорогу выбрать? Где работать и как жить?

Свершить свой выбор Валентину Распутину очень скоро помог организованный летом того же года в Чите зональный семинар молодых литераторов Сибири и Дальнего Востока. Валентина, понятно, пригласили туда. Приглашали и меня (ведь я уже мог похвастаться собственной книжкой!), но, увы! — редактор «Огней Енисея» А.В. Суходрев, чуждый всякой лирики, использовал право «вето»: «Ты будешь разъезжать, а работать кому? Для творчества и в газете хватает места — 200 строк в день! Твори, выдумывай, пробуй!» На сем и закончился мой неначавшийся вояж.

А Валентин Распутин стал «главным открытием» Читинского семинара наряду с другими красноярскими молодыми талантами: поэтами Романом Солнцевым и Вячеславом Назаровым. В русскую литературу вступало новое поколение писателей, и, как я потом осознал, именно Распутин стал знаменем этого поколения, хотя при его характере он никогда не был и не стремился быть лидером. Он просто стал совестью России. Не сразу, конечно, но зато на многие годы. И до сих пор (и не знаю, насколько лет в будущем) некого поставить рядом с ним.

В середине шестидесятых годов, сразу после Читы, о Валентине Распутине много говорили в центральной печати. Неоднократно звучали слова о «немедленном издании» первой книги молодого автора. Но Москва далеко. И пока там, как положено в столицах, рецензировали рукопись, вставляли её в план редподготовки, а затем в тематический и уточнённый темпланы, Красноярское книжное издательство уже в 1967 году помогло ему дебютировать с первой книгой рассказов.

Первая «художественная» книга Валентина Распутина называлась «Человек с этого света». Много раз потом я встречал в печати при перечислении различных его изданий это название с характерной ошибкой — «Человек с того света». Извечный стереотип держал в плену некоторых критиков и рецензентов. Но наш автор был человеком именно «с этого света», и проблемы современной злободневной жизни были для него первостепенными.

Говорят, первое впечатление — самое яркое. Вот каким было моё впечатление о «Человеке с этого света», опубликованное в те годы в «Красноярском комсомольце»:

«Книга поразила меня необычной манерой письма. Вернее, разнообразием этой творческой манеры. Казалось, сборник написал не один, а несколько начинающих писателей,

настолько рассказы были не похожи по стилю, по выбору темы. Автор словно демонстрировал свои творческие возможности со щедростью и озорством юности».

Наиболее значительным в небольшой книжке на 120 страниц мне показался рассказ «Василий и Василиса». Именно в его героях были заметны ростки распутинских характеров сибиряков и сибирячек из будущих повестей «Деньги для Марии», «Последний срок», «Живи и помни», «Прощание с Матёрой» — людей несгибаемых, обаятельных и ярких.

Редактировать книгу дебютанта выпало на долю старейшего и наиболее опытного редактора Красноярского книжного издательства Ольги Александровны Хониной, «поставившей на крыло» не одного начинающего красноярского писателя.

На этот раз опытнейшая и поднаторевшая в литературных делах Ольга Александровна была в совершенной растерянности.

«Впервые встречаю такого автора, — откровенно признавалась она. — Да мне с этой рукописью совершенно нечего делать: ни советовать, ни улучшать её. В ней и так всё совершенно!»

Таким было профессиональное мнение опытного литератора о «пробе пера» будущего классика русской литературы. Редакторы могли отдыхать!

Может быть, именно поэтому при следующем посещении Красноярска из Иркутска в начале семидесятых Валентин был изумлён, увидев меня за столом редактора книжного издательства:

— В любом месте был готов тебя увидеть, но только не здесь!

Он, видимо, судил всех приходящих издаваться авторов по себе: написал человек — и издавай! Зачем посредники? Или просто думал: гораздо достойнее быть творческой личностью, чем тенью за её спиной? Разговор об этом у нас как-то не случился. Но, может быть, именно поэтому много позже Распутин так ответил на присланные мною циклы стихов «Сретенье», «Россичи» и «Беловодье»: «Удивлён и обрадован».

Первая повесть Валентина Распутина «Деньги для Марии», изданная в Москве, сразу обратила на себя внимание. Её прочли все и единодушно одобрили: здесь русский дух, здесь Русью пахнет! Запомнилось мне замечание, высказанное о повести кем-то из родни или земляков-односельчан Валентина: «Молодец! По-нашему написано! Русским языком, всем нам понятным». Валентин писал для народа на народном языке. А большинство писателей писали и пишут на языке писательском — друг для друга или же сами для себя. Сердце не ворохнётся.

После первой же изданной в Москве книги стало ясно: появился новый народный русский писатель. Народным был язык его прозы. Народными были и созданные им характеры. В 1967 году после издания повести «Деньги для Марии» Валентин Распутин был принят в Союз писателей СССР, стал профессиональным писателем.

Правда, уже в следующих повестях распутинские герои и задуманные автором коллизии не вполне соответствовали жёстким канонам социалистического реализма, были не совсем такими, какими им «положено быть» в советской литературе. Серьёзная «накладка» у писателя вышла с дезертиром из следующей после знаменитого «Последнего срока» повести «Живи и помни». Вначале она была опубликована в журнале «Наш современник» (1974, № 10, 11), накануне 30-летия Великой Победы, — и встретила глухое молчание.

Пресса не знала, как реагировать, как совместить юбилей Победы и злосчастного дезертира. Похоже, что и «власть предрержащие» были в замешательстве, какую отмашку дать своей команде? Но поскольку никаких «руководящих указаний» на сей счёт не поступило, я ничтоже сумняшеся написал рецензию на понравившуюся мне повесть в «Красноярский комсомолец» и отослал газету в Иркутск (Валентин, получив квартиру, почти сразу обменял её и переехал из Красноярска на родину). Помню, рецензию я назвал, как и книгу — «Живи и помни», — и в письме запоздало каялся, что лучше бы назвать её «Настёна»: ведь именно Настёна — центр и смысл всей повести.

«О Валентине Распутине, — писал я, — в последнее время много говорят и пишут, хотя им самим создано ещё немного. Но, видимо, не по количеству изданных книг определяется подлинное значение писателя. Глубоко современный и в то же время глубоко

чуждый поверхностным поделкам на «злобу дня», Распутин берётся за самые коренные, изначальные человеческие проблемы, выбирая сложные, часто трагические, но всегда бесконечно жизненные ситуации. То, о чём он рассказывает тебе, не надо запоминать — оно само западает в душу. Автор словно даёт тебе в руку ниточку, по которой ты вместе с ним входишь в доселе неведомую, но такую близкую для тебя жизнь, как будто всё случившееся с его героями касается лично тебя. И вот уже судьба этих незнакомых людей тревожит тебя, не отпускает душу. Они входят в твою жизнь и остаются в ней. Ты учишься у них жизни, переживаешь за них, чувствуешь себя с ними богаче и крепче на этой земле. А расставаясь с ними, уносишь с собой неназойливый авторский завет: живи и помни. И помнишь их».

Валентин ответил очень быстро. В первые годы после переезда мы переписывались весьма активно, и у меня до сих пор хранятся «авиа» и обыкновенные конверты с письмами, открытки, написанные мелким филигранным неповторимым распутинским почерком. Вот что он тогда написал мне в письме от 26 января 1975 года (даты на корреспонденциях Валентин ставил обязательно — и одним этим любое сообщение превращалось в документ времени):

«Володя, здравствуй! Рад был получить от тебя письмо, а с газетой — рецензию, первую рецензию на «Живи и помни». Прочитал я её и ещё раз убедился, что самые лучшие и искренние рецензии пишутся не критиками, которые любое человеческое чувство зафразировали до того, что невозможно понять, о чём речь, — а умными и понимающими людьми. Спасибо тебе, Володя, особенное спасибо за Настёну, которую ты совершенно верно понимаешь. Я ведь ради неё и затевал и писал эту вещь. Обидно будет, если станут говорить о дезертире. Он здесь лицо пусть не самое второстепенное, но и не самое важное.

Прочитал я твоё письмо и захотелось в Красноярск, захотелось собраться старыми «комсомольцами», посидеть за рюмкой или даже без рюмки и говорить, говорить... Вспоминать чудачества, жалеть, что были мы осторожными и скупыми в отношениях друг с другом, — а время-то ведь было самое золотое. Оно, очевидно, не так сложно и в Красноярск попасть, да всё как-то недосуг. Сейчас вот пишу тебе из своей родной деревни, а это от Иркутска 400 км.



Валентин Распутин

В начале января подходил какой-то парень из редакции (он, видимо, учится заочно на журналистике у нас) и сказал, что редакция пришлёт просьбу что-нибудь сказать в юбилейном номере. Но от редакции я ничего не дождался — там и народ-то, наверно, сплошь новый, — а присылать самостоятельно свои воспоминания и поздравления я не посмел. Да дело не в этом, конечно, а вот очутиться там было бы здорово. Приди приглашение, я бы, пожалуй, не сдержался: чтобы посидеть с вами, посмеяться с Аидой и Таней, в тёмном уголке шлёпнуть с Капусто лишнюю рюмку. Ну да, не уйдёт. Пусть только подольше живёт Капусто.

Выйдет книжка, Володя, — пришли, пожалуйста (речь шла о моей книге «Слушайте Дивногорию!») — о молодых строителях Красноярской ГЭС, вышедшей в 1975 году и по-

Недавно похоронил отца. Мать осталась одна. Я и приехал к ней хоть на месяц. Отдохну от суеты. Может быть, немного поработаю, да и опять туда-сюда, когда не понимаешь, что ты делаешь и зачем делаешь. Что тебе жаловаться? — ты всё это сам прекрасно знаешь. Всё-таки в этом году (разбередил ты меня) я собираюсь показаться дня на два, на три в Красноярске.

У «Комсомольца» был недавно, слышал я, юбилей. Ко мне в

лучившей потом первое место на Всероссийском молодежном конкурсе. — В.З.). А я тебе потом «Живи и помни». Она, если всё будет благополучно, должна появиться летом. Ещё раз спасибо за то, что помнишь. Сердечные приветы от меня всем нашим «комсомольцам». Ваш В. Распутин. 26 января 1975 г. Аталанка, то бишь Атамановка).

Свою рецензию на «Живи и помни» я заканчивал такими словами: «Военные годы — суровые годы. Но разве кто выбирает время, чтобы родиться? Нет! Мы родились и живём, как того требует время».

Именно так и жил Валентин Распутин. Он жил так, как того требовало время, и, мне кажется, в конце концов время стало равняться на него. Он был нашим Правофланговым. И был достойным представителем нашего поколения — поколения детей войны.

У меня в руках книга «Живи и помни» («Современник», 1975) с тёплым автографом и наклеенными на вторую страницу обложки поздними вырезками из газет о присуждении писателю Валентину Григорьевичу Распутину Государственной премии СССР в области литературы за повесть «Живи и помни» за 1977 год и с высказыванием председателя Комитета по Государственным премиям Николая Тихонова: «Это глубоко патриотическое произведение, посвященное проблемам нравственности <...> страстный призыв быть верными Родине, честно служить родному народу».

Молодцы «комитетчики»! Выдержали паузу — и наградили! Вполне заслуженно. Хотелось бы добавить, что о проблемах нравственности никто не говорил и не писал так страстно и с такой болью за русский народ, как Валентин Григорьевич. Он, наверное, единственный человек в России за все последние «клятые» десятилетия, который мог бы по праву принимать наши исповеди. За весь русский народ. Наш исповедник.

В той книге, изданной «Современником», кроме повести, напечатаны рассказы «Рудольфи», «Василий и Василиса», «Уроки французского». Все они наряду со многими другими произведениями В.Г. Распутина экранизированы, любимы народом. Распутину есть о чём рассказать, есть что показать. А в маленьком герое «Уроков французского» узнало себя всё наше поколение «детей войны». Так же, как в «Прощании с Матёрой» отождествил себя с жителями Матёры весь русский народ, уходящий в небытие, на дно под победные звоны «великих строек коммунизма».

Переписка с Валентином Григорьевичем у нас начиналась из Красноярск в Дивногорск, потом перешла на линию Красноярск — Иркутск, Красноярск — Москва и снова в Иркутск и Москву. О чём писалось?

Первая из тощей пачки писем — открытка в Дивногорск, в редакцию «Огней Енисея» от 30 декабря 1963 года. Наверное, открытку послали с редакционной новогодней «вечеринки» «Красноярского комсомольца». Три подписи моих друзей-«комсомольцев»: В. Распутин, Л. Моисеева, Р. Иванова, но текст и адрес написаны неповторимым «ювелирным» почерком Валентина. Видно, просто больше его маленьких, словно игрушечных, буквочек входило на малюсенькую площадь для письма. И почему-то поздравление было в стихах: «Зыкову Владимиру свет Павловичу. Люди нынче в бога верят мало. Люди больше верят в Новый год. Мы ждём его, как поезд у вокзала. А он придёт, потом опять уйдёт. Мы остаёмся. Мы полны желаний. Мечтаем мы о том и о другом. Всё тише стук, и тишина, как рана, сосёт и давит нас. Мы снова ждём».

13 февраля 1976 года: «Извини меня за молчание. Я больше месяца жил в деревне и запустил всякую переписку. Спасибо за книжки. Посылаю и свою. Давно следовало это сделать, но я в свое время не запасся тиражом и стреляю, где только могу. Живу сейчас сложно: то водку пью (пока не подорожала опять), то сижу за столом по 18 часов. Этакий образ жизни ни к чему хорошему, разумеется, не приведёт, но уж не до хорошего, было бы как-нибудь. Что-то не хочется становиться на правильную и разумную дорогу, и без меня лже-праведников достаёт. Как у тебя? Пиши иногда и не обижайся, пожалуйста, коли отвечать буду не сразу. Приветы всем, кто помнит меня. Твой В. Распутин».

Валентин прислал тогда книгу «Живи и помни», которую обещал. С надписью: «Володе Зыкову с неизменным товарищеским верно. В. Распутин, февраль 1976».

25 января 1977 года: «Спасибо за новогодние поздравления. Я только-только вернулся

из Москвы. Даже новогодние открытки не успел разослать... Что-то ничего не стал успевать — ни работать, ни жить. Сейчас пишу тебе из деревни, где живёт мать. Тоже прособирался сюда целый год и наконец выбрался. Хотел поработать, но такие стоят морозы, что успеваю только дрова рубить да печку топить. Наверное, и у вас зима та же — есть, значит, ещё у матушки Сибири характер. Сейчас вот пишу тебе, и руки стынут, а всё утро топили... Избёнка, правда, холодная, мать в ней одна, а в город никак не решается. На следующую зиму придётся, наверное, её всё-таки увезти. Как вы? Нынче были ваши из издательства во главе с Ритой Николаевой. Договорились по телефону о встрече — и не получилось. Надо как-нибудь всё же приехать, посмотреть в доброй памяти, что стало с Красноярском. Пиши иной раз, Володя. Близким твоим — приветы. Ваш В. Распутин».

24 декабря 1977 года: «С Новым годом тебя и твоих близких! Всего вам доброго — большим и маленьким! Спасибо за письма и поддержку. Извини, что отзываюсь мало и редко, но знай, что помню, люблю и чувствую, а кроме того, верю, что удастся посидеть и поговорить ещё и в этой жизни. Передавай привет нашим из «Комсомольца». Жив ли он, «Комсомолец»-то? И что за поколение там теперь, о чём оно хлопочет? Твой В. Распутин».

В письме от 19 января 1979 года Валентин рассказывает о борьбе за чистоту Байкала, природы России, её экологии, своём противостоянии «великим стройкам», калечащим нашу Землю. Этот добровольно принятый на себя крест он безропотно нёс до конца. Он пишет: «Я уже довольно далеко зашел в своем консерватизме по поводу старого и нового. И не только в книгах, но и в устных всяких высказываниях и заявлениях и считаю, что так и нужно, если даже не совсем прав. Вреда, по крайней мере, от этого никому не будет. В таких случаях лучше перегнуть в пылу палку, чем в осторожности не догнуть: чересчур могуча и неостановима та, другая сторона... Книжку отправляю тебе. Твою получил... Спасибо за выписку о Распуте. Она наверняка мне пригодится. Так далеко своего однофамильца, а возможно, и предка я еще не видывал. Пиши... Хотел вложить эти листки в книжку, но решил отправить отдельно».

Книжка эта (может быть, самая лучшая из всех распутинских книг) передо мною: Валентин РАСПУТИН. Повести. Прощание с Матёрой. Живи и помни. Последний срок. Деньги для Марии (М.: Молодая гвардия, 1978). С дарственной надписью: «Володе Зыкову с дружеской и светлой памятью о «комсомольских» годах наших. В. Распутин, январь 1979».

Поздравительная новогодняя открытка от 30 декабря 1981 года, Иркутск: «Дорогой Володя! Тебя и близких твоих — с Новым годом! Да сбудутся ваши главные желания, будьте все здоровыми и в меру веселыми и благополучными! Собирался нынче по осени в Красноярск — не получилось. Теперь, видимо, до весны... Вспоминаю часто и тебя, и редакцию, и Красноярск. Жму руку. В. Распутин».

После этого новогоднего поздравления в нашей переписке наступил перерыв. Но зато была одна неожиданная встреча в 1984 году — в мой первый рабочий день, когда я до 1988 года «заступил на вахту» главного редактора Красноярского книжного издательства, сменив на этом посту тоже «воспитанницу» «Красноярского комсомольца» шестидесятих лет Маргариту Ивановну Николаеву. Я только приготовился устроиться поудобнее в кресле «главного», как вдруг открылась дверь и в кабинет вошли Валентин Распутин и Владимир Крупин, бывший главный редактор журнала «Москва», больше мне известный по «вятским корням» — я тоже родился и провёл детство на Вятке.

Поражены были мы оба: я и Валентин. Хотя, кажется, Валентин был поражён меньше, чем когда увидел меня впервые за редакторским издательским столом. Я с тех пор уже менял места работы, но судьба (или просто дружно высказанные пожелания красноярских писателей) снова привела меня в эти стены. А приезд Распутина и Крупина был связан с юбилеем — 60-летием Виктора Петровича Астафьева, который после переезда из Вологды в Красноярск стал не просто у нас ведущим писателем, но и постоянным арбитром и «палочкой-выручалочкой» во всех издательских-писательских делах-спорах и оратором-подарком для зональных семинаров сибирских и дальневосточных книжных издательств Госкомиздата РСФСР.

Следующая весточка от Валентина — новогодняя открытка от 31 декабря 1990 года: «Дорогой Володя! С новым годом тебя и твоих близких! Дай-то Бог и тебе и всем нам в это тяжкое время. Хотя Бог-то Бог, но и сам не будь плох, как замечено давно. Во всех смыслах будем, будем и будем!.. Рад, что твоя книжка стихов выходит, и буду рад получить её от тебя. Удач тебе и за домашним письменным столом (теперь и про кухонный нельзя забывать), и за служебным. Искренне, В. Распутин. P.S. Пишу из Москвы, но скоро опять в Иркутск».

17 марта 1995 года, Иркутск: «Володя, добрый день! Спасибо за новогодние поздравления...»

Вернувшись из Москвы почти месяц назад, прежде всего поехал к матери в Братск, где она живет у моей сестры и в 84 года чувствует себя всё хуже и хуже. А я уже и сам чувствую себя глубоким стариком. В последние года год выходил за пять. Приехал сейчас на Байкал в санаторий, куда раньше не раз уезжал поработать и где еще узнают меня — так узнают, всплескивая руками: Вы ли это? ...И сам не знаю. Сказались пять операций под наркозом, моя былая беспутная жизнь, мой консерватизм по отношению к переменам и прочая... Не буду больше жаловаться, дело это невесёлое.

В Москве пока остаётся казённая квартира — пока до мая (видимо, как для депутата прежнего Верховного Совета. — В.З.). Держался за неё из-за дочери, которая нынче заканчивает консерваторию, по специальности музыковед, вторая специальность — органист, но на работу консерватория приглашает в издательский отдел, там же в Москве. Сын у меня окончил Иркутский Иняз, отслужил в армии и теперь зарабатывает вместе с женой курсами английского языка.



Валентин Распутин

Почти не пишу. То есть пишу, занимаюсь подённой. В прошлом году вышел трехтомник (издавали совместно «Молодая гвардия» и «Вече», но деньги были последнего), заплатили по старым понятиям копейки. И так всюду. Коммерческие издательства не хотят платить, некоммерческим платить нечем. В демократии не вышел — сам виноват. Спасают изредка зарубежные журналы, заказывающие статьи. Я со своими взглядами для них — нечто экзотическое. Напечатать рядом с цивилизованным человеком меня, чтобы показать, какие экземпляры на Земле ещё остались, — читателю забавно. Скоро, пожалуй, будут показывать живьём из вольера, не говоря ни слова.

Красноярск стал слишком далеко, гораздо дальше Москвы. В прошлом году, едуци поездом, сошёл на перрон, наобещал встречавшим, что потом обязательно приеду, — и исчез. Ехало не повезло. Вместо Енисея отправился опять на Лену, да и то недалеко. Намеревался, собираясь продолжать книгу о Сибири, проплыть всю Лену, но на первом же (горном) этапе жестоко простудился, четырежды отлежал в больницах с двумя операциями и теперь уже никаких обещаний не даю. Надеюсь всё же, что встретимся ещё и на этом свете. Прости, письмо невесёлое, но уж так «наехало»... Да, встретил в конце января в Колонном зале на праздновании 60-летия Союза писателей Лилию Моисееву и Тамару Назарову. Легко узнаваемы, по-прежнему великодушны, особенно Лилия... В. Распутин».

Хотелось сказать хотя бы несколько слов об уникальнейшей и драгоценной для сибиряков, да и для всего нашего народа книге очерков Валентина Григорьевича «Сибирь, Сибирь...». Именно о ней и упомянуто в письме. Только читая такие книги, начинаешь по-настоящему понимать и принимать сердцем свою Родину-Отчизну — страну отцов и

дедов. В книге, альбомно, празднично изданной иркутским книгоиздателем Сапроновым, представлены все «святые» заповедные места Сибири, составляющие от древности до современности нашу гордость и величие. Так здорово и проникновенно никто никогда ещё не писал о Сибири. В недавней беседе за «круглым столом» ТВ по каналу «Культура» советник президента Владимир Толстой с придыханием говорит о распутинском очерке о Русском Устье:

«Валентин Распутин заново открывает для нас Сибирь, её историю, её истоки. Да кто из нас знал раньше о затеряншемся в глубине веков русском посёлке на берегу Ледовитого океана в устье Индигирки, где поселились русские первопроходцы (безусловно, из давних новгородцев) задолго до «открытия Сибири» Ермаком и сохранившие свой древний язык и культуру в вековой изоляции буквально до наших дней? Валентин Григорьевич открыл для меня Русское Устье, и я после знакомства с очерком специально съездил туда. Правда, прежней старины, которую успел «прихватить» писатель, не увидел, но всё оставшееся поразило меня. Нет, это не просто «этнографические очерки». Это наша «самая суть».

Следующее письмо — от 2 ноября 1995 года в мой юбилейный 60-й год, вклинившийся в самую середину проклятых девяностых. У Валентина этот год также выдался тяжёлым.

«В августе хватил меня удар, вызванный, как потом выяснилось, всего-то спазмом мозгового сосуда, но меня он напугал. Только пришёл в себя — инсульт у матери, которая живет у сестры в Братске. Пришлось ехать туда. С трудом «откачали» мать, но она с той поры уже больше не поднимается.

Думаю, в 60 лет ты морально чувствуешь себя даже лучше, чем в 55. Во-первых, потому, что за эти пять лет удалось и отстоять себя, и показать, что и впредь мы сдаваться на милость всякой шусшере не собираемся, и, во-вторых, от физического достижения высоты, свидетельствующего о твоих силах. Теперь, после «подведения итогов», дальше. Как пелось в комсомольских песнях: «Покой нам только снится». Хотя он уже и не снится. Обнимаю. В. Распутин».

Мать В.Г. Распутина умерла 12 марта 1996 года, о чём он сообщил мне в следующем письме от 26 марта из больницы, куда уложили его самого «с болячками, которые чересчур начали тревожить... Тут потихоньку успокаиваюсь от всех прелестей жизни».

Мы в эти дни — 21 марта — отмечали 60-летие издательства, и Валентин Григорьевич нашел силы поздравить нас: «Ваше издательство уже тем достойно уважения (и удивления), что оно живо и не скурвилось. Наше (видимо, речь об иркутском Восточно-Сибирском издательстве. — В.З.) скурвилось, решив в свое время расцвести на нечистотах, и теперь вынуждено было распустить всех редакторов и ничего, кроме двух-трех заказных книг, произвести не в состоянии... Я живу подёнщиной, но большей частью статьями. Книги нынче не кормят. Книги едва хватает на месяц, и издавать их можно только от сытости. Я потихоньку пишу и буду писать прозу, но, как мне кажется, пишу для близкого круга друзей... Но это моя судьба. Бог с ней! А издательству подниматься в рост и печатать лучшее и необходимое надо. Это мы можем уходить. Издательство не может. Сейчас опять начинают писать. Опять идут рукописи, и я вижу, что русская литература жива. Хотя многие, в том числе и известные, поддались на наживки, с помощью которых сделалось принято подцеплять писателей. Будь здоров. Спасибо за память. Твой В. Распутин.

Р. С. С Пасхой и весной!»

Из письма от 18 февраля 1996 года: «Опоздал с новогодним поздравлением. Но это уже по правилам моей жизни. Я слишком опаздываю от тех событий и явлений, которые происходят у нас — с той же литературой. Литература во всю мочь старается стать американской или, на худой конец, европейской, а я всё еще застрял на русской. А с такими пристрастиями и вкусами не проживёшь.

Не собираюсь я отмечать свою очередную круглую дату (60-летие в 1997 году. — В.З.). Не потому, что не признаю её, а больше потому, что не признаю себя в этой дате. Хвастаться нечем, работаю в год по капельке, передовые методы не усвоил... Но день рождения свой не скрываю — 15 марта. Поздравлению твоему буду рад, если даже придёт оно в

июне. Хорошо, что ты по-прежнему в издательстве, — так прочнее мир стоит. Искренне твой, В. Распутин».

Последние наши встречи с Валентином Григорьевичем были в какой-то мере случайными. Хотя вряд ли можно назвать случайною его постоянную тягу к Красноярску и хотя редкие, но регулярные приезды на Енисей.

На одной из этих встреч я в последний раз разговаривал с В.Г. Распутиным. И получил в подарок его новинку — книгу «Дочь Ивана, мать Ивана», изданную в Иркутске издателем Сапроновым с послесловием Валентина Курбатова. Кстати, именно Сапронов оказался тем самым ангелом-хранителем, который представил в последние годы немало книг Распутина в наилучшем виде. Всё-таки писателю повезло под конец жизни — его признали «в родном Отечестве». С самим Сапроновым мы тоже встречались в Красноярске после завершения «ангарского вояжа» и были потрясены, узнав через несколько дней о его скоропостижной кончине.

В книгу «Дочь Ивана, мать Ивана» вошли несколько новых рассказов. Из них самым запоминающимся безысходным трагизмом показался мне — «В ту же землю». Трагизмом веяло от всех последних произведений писателя. Он ничуть не обольщался насчёт будущего России, русского народа: «Люди теперь живут не ожиданием спасения, а ожиданием катастрофы». Так он сказал. И ещё несколько его печальных-прощальных слов: «СЛОВО исчезает в народе. Его вытесняют радио и телевидение».

А заголовок повести «Дочь Ивана, мать Ивана» подсказала Валентину в одном из писем давняя знакомая по «Красноярскому комсомольцу» Маргарита Ивановна Николаева (именно при ней, когда она была главным редактором нашего книжного издательства, издали большой том В.Г. Распутина в серии «Писатели на берегах Енисея»). В своём письме она упомянула, что её стойкость держится на крепком фундаменте: ведь она дочь Ивана. И мать Ивана.

«Да это же готовый заголовок книги!» — воскликнул Валентин Григорьевич. Так и появилась повесть именно с этим названием.

Своими произведениями Валентин Распутин призывает не сдаваться. Призывает к сопротивлению, к борьбе. Призывает не сгибаться перед трудностями, а жить да жить. Наверное, именно поэтому в мою поддержку он и начертал на последней подаренной книге: «Володе Зыкову — дружески и с радостью при виде после долгой разлуки крепкой твоей фигуры и твёрдого голоса. В. Распутин. 8.07.04.».

Нельзя складывать руки и жить благодушествуя. Нельзя быть спокойными, когда «горит, горит село родное... Горит вся родина моя». Именно такой эпитаф поставлен впереди повести В. Распутина «Пожар»: «Горит вся родина моя...» Об этом пожаре — горит Россия! — бил в набат все последние десятилетия своей жизни Валентин Григорьевич. Он кричал о «пожаре» всем своим творчеством. И особенно пронзительным и громким был голос его публицистики. Он бился за народ. За Русскую землю. За экологию. За Байкал. За Русское Устье. За Тобольск и Кяхту. За всю страну. Именно Валентин Распутин, как сказал наиболее авторитетный наш критик Валентин Курбатов, «писал «красную книгу» русской жизни». И все русские воспринимали и воспринимают Валентина Распутина не только как борца за Байкал, за экологию, а как радетеля за весь русский народ. Народ в опасности! Он на грани исчезновения! На грани «рассеянья».

Помните давние слова писателя в статье «Полная чаша злата и лиха»? Прочтите их снова: «Двадцать лет назад моя статья в газете «Известия» о плодах хозяйствования (тоже двадцатилетнего со времени запуска комбинатов) называлась предостерегающе: «Байкал у нас один». Многие и многие сотни писем-откликов получила тогда редакция, я их храню до сих пор. Теперь впору говорить с одышкой после множественных отступлений от былого величия: Россия у нас одна! Другой, запасной, нет».

Эти слова были сказаны в 2006 году. Десять лет назад. Вряд ли вы припомните, что в России хоть что-нибудь изменилось в лучшую сторону...

Наверное, большинство центральных, республиканских, краевых и областных газет России (и думаю, многих зарубежных тоже) напечатали слова соболезнования об уходе из жизни Валентина Григорьевича Распутина — нашего самого близкого человека. Я не

читал никаких некрологов, кроме как в «Красноярском рабочем», первом месте работы будущего писателя в Красноярске, и в «Красноярской газете». «Красноярский комсомолец», где когда-то мы работали вместе с Валентином, давным-давно утонул в волнах рыночных штормов.

«Красноярский рабочий» посвятил ему всю первую страницу: «УШЁЛ ПОСЛЕДНИЙ КЛАССИК... 14 марта, за несколько часов до своего 78-летия... скончался знаменитый русский писатель Валентин Григорьевич Распутин, Герой Социалистического Труда, дважды лауреат Государственных премий СССР и Государственной премии России, лауреат многих других литературных премий».

Тепло написал об ушедшем писателе Эдуард Русаков: «Особенно грустно, что именно в этом году, который объявлен Годом литературы, от нас ушёл последний классик русской словесности, писатель-сибиряк, автор таких всемирно известных произведений, как «Деньги для Марии», «Последний срок», «Прощание с Матёрой», «Живи и помни», «Пожар», «Дочь Ивана, мать Ивана».

И в «Красноярской газете» также прозвучало: «Прощай, Валентин Распутин! Вечная память!»

Обратило моё внимание и высказывание Александра Проханова в газете «Завтра»: «В литературном, духовном, идейном отношении я не близок Распутину. В каком-то смысле — даже антагонист... Мы никогда не были близки и ни разу не общались, что называется, по душам. Он был певцом народа, а я — певцом государства». Что тут скажешь? Каждому — своё.

22 апреля 2015 года накануне, как мы отметили, 40 дней ухода Валентина из «мира тварного», я смотрел о нём передачу (нечто вроде «круглого стола») на ТВ по каналу «Культура». Мне показались интересными некоторые высказывания выступающих, совпадающие с моим мнением. Владимир Толстой, советник президента России, сказал: «Совестливость — самое главное в человеке. Об этом все книги Валентина Распутина. А какой у него язык! Когда я читаю его произведения, мне кажется, я с ним разговариваю. У него нет ничего случайного и ни капли фальши, всё естественно... Это человек огромного общественного звучания». Алексей Варламов, ректор Литературного института, заметил: «Валентин Распутин — самый высший уровень литературы XX века. Роль этого писателя будет только возрастать».

ВЛАДИМИР ХОДИЙ

Журналист, г. Иркутск

Три дня мы были в перестрелке...

...И примкнувший к ним Распутин

Полвека назад в Чите прошёл исторический семинар молодых писателей Восточной Сибири и Дальнего Востока. Конечно, я далёк от утверждения, что если бы не состоялся этот семинар, то в отечественной литературе не открылись такие имена, как Александр Вампилов и Валентин Распутин. Да, рано или поздно их таланты проявились бы. Но в Чите произошло то, что в науке называется синергией, или кумулятивным эффектом: семинар выявил целую плеяду незаурядных молодых литераторов, дал толчок к ускорению их профессионального роста. Как сказал, закрывая семинар, тогдашний глава Союза писателей России Леонид Соболев, «мы хорошо поработали, подняли новый пласт сибирской литературы, и пусть теперь на этой благодатной почве расцветут новые таланты, порадуют читателя глубиной и актуальностью своих произведений».

Поначалу идея провести такой смотр молодых родилась в головах двух человек. «Незадолго до этого события ответственным секретарём Читинской писательской организации избрали Георгия Граубина, — писал спустя двадцать лет в «Восточно-Сибирской правде» его иркутский коллега Марк Сергеев. — Граубину с первых шагов хотелось изменить литературную ситуацию в своей области, наполнить её интересными делами. Я был представителем правления СП РСФСР на их отчётно-выборном собрании. Вечером мы долго разговаривали и решили, что на очередную конференцию «Молодость, творчество, современность», так хорошо утвердившуюся в Иркутске, приедут забайкальские писатели: члены Союза — как руководители, молодые — как участники. Но мы ещё не знали в тот вечер, что идея эта — лишь маленький камешек, которому предстояло вызвать лавину... Консультант наших обеих организаций Валентин Глущенко, секретарь правления Союза, только что переехавший в столицу из города на Ангаре Франц Таурин, а затем уже и сам председатель Леонид Соболев, человек государственной хватки, предложили нам собрать семинар Восточной Сибири — «Что мелочиться!» А когда мы после одного из пленумов Союза писателей пришли в ЦК ВЛКСМ, тогдашний секретарь ЦК Камшалов произнёс ту же фразу: «Что мелочиться!» — и к Восточной Сибири был прибавлен Дальний Восток. Таким образом от Енисея до Сахалина протянулся регион, молодые таланты которого должны были собраться на семинар. Местом его проведения избрали Читинку».

Причём, замечу от себя, семинар сразу объявили не простым, а «золотым» — наделили правом рекомендовать в члены Союза писателей, минуя приёмную комиссию. Это обстоятельство усилило эффект «лавинь», о которой упомянул Сергеев. Была установлена квота на участников от каждого края, области, автономной республики — пять человек. «Я прикинул: нам нужно было послать по крайней мере человек... двадцать, — вспоминал Марк Давидович. — Ну, при самом строгом отборе — пятнадцать. Звоню Граубину. «Слушай, — отвечает он, — меня разорвут представители других территорий. Но я знаю ваших ребят, так что привози больше — спрячем!»»

В итоге на семинар Иркутская область направила десять человек. Это не считая уже зрелых писателей — Иннокентия Луговского, Беллы Левантовской, Льва Кукуева, Валентины Мариной, Анатолия Шастина, которые наряду с коллегами из Москвы и других городов должны были вести занятия с молодыми, а также представителей обкома партии и комсомола, работников Восточно-Сибирского книжного издательства.

Делегацию в Читу напутствовала «Восточно-Сибирская правда» большой статьёй литературоведа Василия Трушкина под названием «О творчестве молодых». Её начало: «В литературе, как и в жизни, идёт постоянный процесс обновления — в неё приходят новые талантливые люди, приходят со своими темами, своими поэтическими интонациями и манерой письма... Показательно, что этот процесс идёт и вширь и вглубь, он расплескался из края в край по просторам Родины». И далее следовали перечень и анализ творчества по меньшей мере трёх десятков имён молодых иркутских прозаиков, поэтов, драматургов. Например, об Александре Вампилове в статье сказано: «Дебютировал сборником юморесок «Стечение обстоятельств» — жизнерадостной книжкой, искрящейся остроумием и заразительным весельем. В последнее время он пробует свои силы в драматургии, создавая комедии на социально-бытовые темы. Произведения его отличаются сочностью красок и живописностью языка».

«Хлеб-соль наши, стихи и проза — ваши»

Такими словами встречала Чита участников семинара. Прибывших разместили в только что отстроенной гостинице «Забайкалье». На её открытии от имени гостей выступил руководитель делегации Иркутской области Марк Сергеев. И вообще, нашим представителям грех было жаловаться на внимание со стороны хозяев. Местные газеты и до начала, и во время работы семинара охотно знакомили своих читателей с творчеством иркутян. Были опубликованы глава из повести Вячеслава Шугаева «Любовь в середине лета», рассказ Дмитрия Сергеева «На тихих плесах», стихи Сергея Иоффе, третья картина под заголовком «Загородная прогулка» пьесы Вампилова «Прощание в июне»...

Открытие семинара прошло в торжественно-праздничной обстановке — в большом зале Дома офицеров Забайкальского военного округа. Лозунг через всю сцену: «Творить для настоящего во имя будущего!» Приветствуя участников, Леонид Соболев сказал: «На нём (семинаре. — *В.Х.*) никто не собирается поучать или навязывать собственные рецепты. Нет, это должно быть — и обязательно будет — товарищеское обсуждение. По собственному опыту знаю, что такое обсуждение рукописи или книги даёт неизмеримо много, придаёт новые силы, показывает тебе твою работу с неожиданной для тебя стороны».

Всего на семинаре обсуждались работы 80 авторов. Они привезли в Читу ни много ни мало 600 печатных листов опубликованных и неопубликованных произведений, а это более 14 тысяч машинописных страниц стихов, пьес, рассказов, повестей, романов. «Семинаристов» разделили на 12 секций: пять — прозы, пять — поэзии и по одной — драматургии и книг для детей. Руководили разбором их творчества Сергей Наровчатов, Антонина Коптяева, Марк Соболев, Виктор Астафьев, Владимир Чивилихин, Юрий Рытхэу, Виль Липатов и другие мастера писательского цеха.

Пятеро первых

«Три дня мы были в перестрелке», — шутили ребята. Три дня горели страсти на творческих секциях. Говорилось много добрых слов и немало суровых», — писал в отчёте о семинаре специальный корреспондент иркутской газеты «Советская молодёжь» Владимир Жемчужников. И что же в результате?

Хотя, как уже было сказано, читинский сбор молодых был наделён правом рекомендовать в Союз писателей, минуя приёмную комиссию, однако никто не отменял общепринятого условия, что рекомендуемый должен иметь в своём творческом багаже хотя бы одну напечатанную книгу или, на худой конец, крупную журнальную публикацию.

У части посланцев Иркутской области с этим требованием всё обстояло как нельзя лучше. Так, сотрудник «Восточно-Сибирской правды» Леонид Красовский представил на

обсуждение две повести — «Кому пожинать плоды» (кстати, о журналистах), изданную Красноярским книжным издательством, и «Следы смоем весна» — в рукописи, а ещё раньше Иркутское книжное издательство выпустило его первую повесть «Ровесники» — о молодых строителях высоковольтной ЛЭП Иркутск — Братск.

Вторым, кто благополучно прошёл читинский «фильтр», оказался геолог, участник Великой Отечественной войны Дмитрий Сергеев. До этого он уже выпустил три книги о своих коллегах по профессии — «Загадка большой тропы», «Костры в тайге» и «Запас прочности», а на семинаре предъявил ряд рассказов на военную тему. Предварительно познакомился с ними и пришёл на обсуждение сам глава Союза писателей России. «И, видно, не просто познакомился, — писал в обзоре с семинара Владимир Жемчужников, — а прочитал внимательно, ревниво, ибо эта тема очень близка и дорога ему самому. Конечно, в разговоре не обошлось без фронтовых историй и без... критических замечаний. Фронтовик уточнял фронтовика. Но тем дороже оценка, которую дал известный писатель Дмитрию Сергееву». Добавлю от себя: в числе его рассказов о войне был «В сорок втором», который на следующий год опубликовал Александр Твардовский в журнале «Новый мир».

Вслед за Красовским и Сергеевым высокую оценку на семинаре получили произведения журналистов (если быть точным — в недавнем прошлом) Юрия Самсонова и Вячеслава Шугаева. Юрий, начинавший в «Восточно-Сибирской правде», а затем работавший корреспондентом ТАСС в Братске, в 1963 году издал повесть-сказку «Максим в стране приключений». Вячеслав, до этого отдавший несколько лет «Восточке», представил на суд руководителей семинара новый вариант опубликованной в альманахе «Ангара» повести «Любовь в середине лета» и рукопись принятой журналом «Юность» другой повести — «Беги и возвращаюсь».

Казалось, не будет проблем с рекомендацией в Союз писателей у драматурга Александра Вампилова — по первоначальной профессии тоже журналиста. Кроме «Прощания в июне», в Читу он привёз свою вторую пьесу — «Нравоучение с гитарой» («Старший сын»). «Радует в них, — говорил руководитель секции Николай Кладо, — не только лаконичный диалог, умение создать остроумные комедийные положения и чётко, выпукло обрисовать характеры, большей частью впервые открытые для сцены драматургом. В них в первую очередь привлекает чёткость нравственной позиции автора, борющегося за правду и утверждающего её победу».

«Ночью, накануне оглашения списка рекомендуемых (для принятия в Союз. — В.Х.), — вспоминал впоследствии Шугаев, — мы узнали, что Саня в него случайно не попал.

— Глухая ночь, — говорил Саня, — никому ничего не докажешь. — Мы сидели у него в номере, курили. — Может, в коридор выйти, авось кто-нибудь...

В коридоре мы встретили Б.А. Костюковского и, предводительствуемые им, в третьем часу ночи стучали в номер Л.С. Соболева. Он открыл. С серебряными взъерошенными висками, на щеках красные рубцы от подушки, он, тем не менее, улыбался.

— Что за тревога? Что за аврал?

Выслушал, сказал: «Обнародуем», — взял с подоконника большой, так и охота сказать — ведерный термос.

— Садитесь, чаю попьём, — и отпустил нас на рассвете, расспросив и выпросив с дотошностью, какою и днём не часто встретишь».

Ну, а днём, по воспоминаниям уже Марка Сергеева, публично было оглашено, что у Вампилова есть книжка, называется «Стечение обстоятельств». Правда, небольшая — всего в печатный лист. «И что же, что небольшая? — сказал кто-то. — Главное — талантливая». И вопрос с рекомендацией был решён.

Чуть не дотянули...

Итак, пятерым из десяти представителей нашей области был дан «пропуск» в творческий союз. А всего таких счастливиц со всей Восточной Сибири и Дальнего Востока

оказалось 13. Вот каким строгим и в ограниченном числе, хотя заранее организаторами это не декларировалось, получился отбор лучших.

Помимо Дмитрия Сергеева, о котором сказано выше, ещё два иркутских геолога — Глеб Пакулов и Геннадий Машкин — попытались фарта на литературной тропе. У Глеба в 1964 году вышел сборник стихов и поэм «Славяне», но на семинар он заявил пьесу «Горнист Чапаева». Написанная в форме сказки для детей, она получила одобрение, и вообще дебют поэта в драматургии был признан удачным. Но поскольку пьеса не опубликована, то в конечном итоге автору досталась только похвала.

На «ура» прошло и обсуждение повести Геннадия Машкина «Синее море, белый пароход». Её признали едва ли не лучшим произведением из всей представленной на семинаре прозы. «К сожалению, у молодого автора пока очень мало публикаций, и только поэтому мы не смогли рекомендовать его в Союз писателей», — заявило руководство секции.

С другой стороны, главный редактор Восточно-Сибирской студии кинохроники Борис Лапин привёз в Читу увидевший свет в Иркутске сборник рассказов «Сын своего отца», не говоря уже о нескольких произведениях в рукописи. Тем не менее возник, как писала по итогам семинара «Восточно-Сибирская правда», острый разговор, вывод из которого был единодушный: представленное начинающим писателем носит «печать надуманности событий и образов, литературного штампа, отсутствия художественного мастерства».

У преподавателя кафедры журналистики Иркутского госуниверситета Сергея Иоффе тоже подоспела к семинару книга — под названием «Желание» она вышла в поэтической кассете «Бригада». Хотя сами стихи были тепло приняты участниками обсуждения, до самой высокой оценки они не дотянули.

Похвальные слова на секции детской литературы услышала в свой адрес поэтесса из Ангарска Алла Стародубова. Более того, она успела до этого издать две книжки стихов для маленьких — «Почему-то» и «Электричка», причём последняя тиражом 100 тысяч экземпляров, а в Читу привезла почти готовую третью — «Смешинки». Однако, скорее всего из-за большой конкуренции или строгих критериев в оценке творчества детских писателей, ей не дали рекомендацию в Союз.

А как Валентин?

Между тем на одной из секций прозы рассматривалось творчество ещё одного иркутянина, правда, бывшего — журналиста Валентина Распутина. Он тогда жил и работал в Красноярске. Убедил же его принять участие в семинаре, как он потом вспоминал, Вампилов. «В шестьдесят пятом году у меня, — говорил в одном из интервью Распутин, — было написано около десятка рассказов или того меньше... А когда поехал в Читу, мне повезло. Повезло потому, что попал в семинар к Владимиру Чивилихину. Он отнёсся ко мне очень хорошо, как мне кажется. Может быть, потому, что он сибиряк и сибиряков выделял, хотя нас, сибиряков, там было много. Если бы я попал к другому руководителю, а так могло случиться, и ему, этому другому руководителю, рассказы мои не понравились, я бы, наверное, бросил писать, потому что был неплохим журналистом. Но Чивилихину они понравились. Каким-то образом он увидел в них больше, чем было, и сказал о них лучше, чем они заслуживали».

По свидетельству Жемчужникова, «прочитав рассказ журналиста Валентина Распутина, Владимир Чивилихин три часа диктовал его по телефону в редакцию центральной газеты». Известно, что газета эта — «Комсомольская правда», а вот рассказ назывался «Человек с этого света». Ранее он уже был напечатан в «Советской молодёжи», «Восточно-Сибирской правде» и альманахе «Ангара». В «Комсомолке» же ему дали другой заголовок — «Ветер ищет тебя»...

Любопытно также, что буквально в тот же день газета «Забайкальский рабочий» опубликовала следующий фрагмент репортажа с семинара:

«Четвёртая секция прозы. «Первооткрыватель» её — начинающий талантливый прозаик из Красноярска Валентин Распутин. С ним знакомы и читинские читатели по публикациям в газетах. Как отметили собратья по перу, уже в первых рассказах чувствуется его собственное «я». Он точен в выборе деталей художественного повествования. Поэтому не случайно, что обсуждение творчества Распутина вылилось в разговор о важности деталей в сочетании с глубокой обрисовкой характеров персонажей в рассказах и повестях».

А вот краткое резюме самого Чивилихина: «Красноярский журналист Валентин Распутин — весь в поисках, иногда и неудачных. У него редкое, своеобразное дарование. Ему присущи психологизм, смелость перед сложностью».

* * *

Закрытие читинского семинара, как и открытие, проходило в праздничной обстановке. Прощальный литературный вечер транслировался по областному радио. На нём руководители секций и другие участники делились впечатлениями, читали свои стихи. Леониду Соболеву в благодарность и на память о пребывании в Забайкалье подарили медвежью шкуру. В своей заключительной речи он сказал, что родился в Иркутске (в 1898 году. — *В.Х.*). «Я родом из Иркутска и хорошо помню своих друзей-мальчишек. Тогда, естественно, я не понимал, как различными окажутся наши жизненные пути: я был увезён в Петербург учиться, а мои маленькие друзья были обречены на неграмотность, нужду, тяжкий труд...»

Вообще в Чите в те осенние дни 1965 года Иркутск и иркутяне часто упоминались, были в числе фаворитов. Ещё бы! Пятеро, а фактически шестеро (Распутин в следующем году вернулся на свою малую родину) из тринадцати плюс ещё столько же, если не больше, в резерве (почти все они впоследствии были приняты в Союз) — отличный результат! Так возникла «Иркутская стенка» молодых писателей — уникальное явление в отечественной литературе второй половины XX века.

ПОЭЗИЯ



ВАЛЕНТИНА СИДОРЕНКО



Русь великая! Солнце и ветер...

* * *

«Мы живём хорошо... —
я писала на школьной странице
В деревенские дали
неведомой ныне родне. —
Передайте большой —
и поклон землякам и сестрицам...»
Полтетради приветов!
Боже их сохрани! Боже всех сохрани!

СИДОРЕНКО Валентина Васильевна родилась в Иркутске, здесь же закончила среднюю школу, после чего была проводницей на пассажирских поездах и начальником в почтовых вагонах, корреспондентом заводской многотиражки, художником, администратором кукольного театра. Впервые Валентина Сидоренко заявила о себе на конференции «Молодость. Творчество. Современность» в 1970 г., когда получила диплом первой степени за подборку представленных стихов. В 1981 г. была принята в Союз писателей СССР, в этом же году в Иркутске вышла её книга повестей «Сок подорожника». В 1984 г. — сборник повестей и рассказов «Завтра праздник» вышел в Москве в издательстве «Современник». В дальнейшем свой профессионализм прозаик подтвердила, став в 1991 г. автором сборника повестей «Поле небороненным» в серии «Современная сибирская повесть» и книгой прозы «Дело житейское» (2005). После серии прозаических произведений вернулась к поэтическому творчеству. Издано четыре книги стихов — «Осенние тетради» (2009), «Димитрова суббота» (2010), «Складень» (2012), «Русь земная» (2015). Несколько лет была редактором газеты «Литературный Иркутск» (1987–1996). Газета-альманах, составителем-редактором которого являлась Валентина Васильевна, стала изданием ярко выраженного православного характера и, по сути, не имела себе равных в то время. Об этом свидетельствовала большая популярность газеты в стране и за рубежом. Её книги переведены и вышли в издательствах Польши, Австрии, Болгарии. В. Сидоренко — составитель объёмной книги «Святитель Иннокентий» (2006), автор и ведущая телепрограммы «Путь к Отчему дому», организатор ежегодных «Иннокентьевских чтений» в Иркутске. Награждена грамотами мэра, губернатора, патриарха Алексия II, медалью «Благодатное небо», премией им. Святителя Иннокентия. Лауреат премии Губернатора Иркутской области, Всероссийской премии «Золотой Витязь» (2016). Член Союза писателей России. Живёт в Иркутске.

А потом про картошку,
здоровье и про зарплату,
И про мясо на рынке,
которое внове в цене.
«Это лысый Хрущёв
скот извёл, нас оставив в заплатах,
Не продать боровка
и не справиться пальто по весне...»

Но живём хорошо!
Как цари мы идём в телогрейках,
Во театры и школы
царской поступью грозно грядём.
Кресла нам ни к чему,
мы Шекспира глядим на скамейках,
Мы читаем Толстого,
и Есенина хором поём.

И живём хорошо!
Крепко спим, просыпаясь для счастья
Видеть травы и росы,
и молиться, чтоб дождик прошёл...
Ой вы сволочи мира,
уготованные для ненастий! —
Вам не ведать побед!
Мы умеем! Живём хорошо!

Потому что душа
нам основа любого богатства,
Русский Дух драгоценней,
роднее пределов земных.
Мы пришли и уходим
в родимое Божие Царство —
Родовую усадьбу,
наследие русских святых...

Ныне праздник Победы,
лики ближних, что алые стяги,
И весна на Руси,
и салют, как гроза, отошёл...
Я рукою пишу тебе,
друг мой, на белой бумаге:
«Мы живём хорошо!
И я тоже живу хорошо!»

* * *

Ты, рождённый в полях и покосах,	Ты стоишь у родного порога
Белый-белый, как белые росы,	Перед Оком всевидящим Бога,
В ярком пламени ясных волос,	Сотряхнув подростковую спесь,
Очи заревом — утренний росс!	Исполински кричишь ему: «Здесь!»

Я здесь, я — твой первенец вешний,
Безоглядный, отважный, безгрешный,
Я в земной уготовился путь,
Мой Создатель, меня не забудь!»

И пошёл, и прошёл незабытым
Кругом круглым окружность Земли!
Его пашни, как облако, взбиты,
Его тьмою плывут корабли!

Русский, ясный мой, русоголовый
Внук Творца и наследник святых,
Как ты мог заповедное Слово
На смердящее пошло земных

Променять, и их злые причуды
Драгоценным искусством назвать!..

За предательство, как от Иуды,
Отошла от тебя благодать!

Твои очи туманны, как войлок,
В твоём сердце могильная тишь.
Из квартирного серого стойла
Ты послушно в беспамятство зришь,

В беспросветное бездорожье,
Где нет пашен и кораблей.
И сжимаются старою кожей
Твоя участь и пяди полей.

И властнее стихий непогожих
В слабых жилах вздымается спесь...
Окликает тебя голос Божий —
Ждёт, когда ты ответишь: «Я здесь!»

* * *

Избяная, простая, родимая,
Величаяя, как корабли,
Как Архангел, непобедимая,
Русь исходит из русской земли.

Русь проходит. Дыхание древнее
Затихает в стихии разрух.
Только теплится в каждой деревне
Память вечная в лицах старух.

Да в кладбищенской нищей юдоли
Над крылами немых голубцов
Незатихшей, незримою болью
Сень курится от наших отцов.

Сень курится от русской закваски
Над развёрстанной далью полей...
И родною, старинною сказкою
На младенческом стихнет челе.

Русь Великая! Солнце и ветер
Твоей славе поют вещий стих.
И не взыщет никто на планете
Грозной тайны истоков твоих,

Красоту твоих крыш и зародов,
Первородную кротость лица
И рожденье святого народа
От тебя, неземной, и Творца.

В наши сроки последних исходов,
В разложение нечистых времён

Всякий раз после этих видений
Я готовилась в горестный путь,
Средь мытарств,
оправданий и прений
На любимые души взглянуть.

Вопросить их с правдивой любовью:
Правда ли, что в пречистых мирах
Имена наши вписаны кровью,
Слёзы собраны все в изголовье,
Сочтены словеса на устах?!

И заплакать,
душой возвращаясь
К несказанной юдоли земной...
Грёзы снов голубиною стаей,
Разметавшись, всплывут надо мной.

В стае снов и мой друг воплощался,
Собираясь во бrenную плоть,
Он всё реже со мною прощался,
Белым голубем в грёзах остался,
Чтоб смогла эти сны побороть...

Прощание

Сегодня так пахла земля на рассвете
Отавой морозною, утренник бил.
До стылых долин разметавшийся ветер
Горчинкой во сне приносил чернобыл.

И всё скрежетал лист последний берёзы,
Исходом готовой души трепетал...
Гасили ключом исходившие слёзы
В бороздках лица истомившийся пал.

И было так странно, так горько и странно
В просторном, как свет, ясновиденье сна,
Ни изморозь слов, ни сказанья тумана,
А то, что тебя провожаю одна.

Одна, наяву над развёрстой могилой,
Как зазимок стылый в предутренней мгле...

Душа лишь мелькнула птенцом сизокрылым,
Оставив единой меня на земле!

Когда о кончине его затрещало
Безжизненной жестью бесскорбное СМИ,
Последний тот лист, отлетев запоздало,
Капелью сырой исходил, как слезьми...

Потом сыпал снег на зароды и прясла,
На крыши домов и на весь белый свет,
В котором сухими глазами напрасно
Искала его неостывший я след...

И, глядя сквозь чёрную брешь краснотала,
В предзимнике грозном, седом, как зола,
И просто, и ясно я вновь увидала,
Что это не он, это я умерла!

* * *

Крылечко наше занесут снега,
Тропинку к дому заметут метели.
Под утро в серебро и жемчуга
Куржак обрядит лапы древних елей.

С тобой мы рано запалим огонь,
Печь затрещит, как сватья расписная...
Возлюбленный мой, прошлое не тронь!
Я не жила, я ничего не знаю.

Ты жил один: тебе был рай и сад,
И гурии цвели сладкоголосо.
Я не взгляну, не обернусь назад,
Остаток жизни доживём мы просто.

В печь русскую я заложу хлеба,
Поставлю щи томиться на припечье.
Мы не ушли от дома и судьбы,
Спокойны и мудры, как наши речи.

Не спрашивай же ни о чём. Зачем?
Я только помню — осы да осины,
По осени рубиновой рябины
Прекрасное, как свет твоих очей.

И сиверко, и дымный листопад,
Глаголы в полуночье одиноком.
Потомок мой и будущий собрат
Услышит их и вознесёт высоко.

Он скажет их возлюбленной своей.
Они взметнутся, разлетаясь, как птицы.
Ты ими сердце гордое согрей,
Ведь всё и вся тебе за них простится.

Я выстрадала их, когда снега
Твои следы порошили. И ели,
Как женщины, стонали на брегах,
Овеянные белою метелью...

* * *

Жар июля. Свистят сенокосы,
Дни, как свечи, сгорают дотла.
Скороспелые девочки в росах
Молодые купают тела.

Ах, остатняя дышит пора
Мудрой тишью, как плод светоносный.
Кротким оком глядеть бы бесслѣзно
И молиться, и думать с утра!

В небесах то гроза, то нещадно
Ярым оком светило горит.
Как торжественно и благодатно,
И светло от зари до зари!

Жизнь, о Господи, так хороша!
След земного простыл, словно ветер.
Одного только просит душа —
Увидать жёлтый лес на рассвете,

В этом пламенно-пылком июле
В двух шагах от окна до погоста
Всѣ, что истово в жизни люблю я,
Принимаю спокойно и просто.

И туманы, и изморозь трав,
Ветви, словно побитые плети...
И о том, как же был он неправ,
Он признался б на этом мне свете...

* * *

И шла вода высокая,
Высокая и бурная.
Под жѣсткою осокою
Земля лежала бурая.

И стала безответною,
Безвестною, молчащею.

Земля лежала мокрою,
Дыша сырой напраслиной,
Во всѣм широком округе
Мхом покрывались пряслины.

И плакала, разбитая,
И маялась, разорвана,
Летели искры свитою
Во все четыре стороны.

И тѣмное, курчавое
Покрыли небо вороны,
И разошлась душа моя
Во все четыре стороны.

И веяло бесцветною
Сырою безнадежностью.
И только часть заветная,
Та, что любила с нежностью,

В стихии все заветные,
Живые и творящие.

Ребра твоего, млечного,
Тобой самим не признана,
Одна дышала вечностью,
Светилась царской ризою...

* * *

А по утреннику вовсе —
В вѣдрах листья и ледок...
На моём покосе осень
Свой оставила следок.

Может, скорую дорогу —
Тот последний вечный путь?
Может, милостию Бога
Я ещё смогу взглянуть

Травы рыжие поникли,
Иней выбил свой узор,
Лишь вдохни пророст и кликни —
И ответный примешь взор!

Вон на тот высокий листвень,
Багровеющий вином,
На рябиновые листья
Над родным окном?

Как таинственно и строго
Очи дивные глядят...
Что пророчит мне, убогой,
Этот внятнѣй, кроткий взгляд?

Благодатным и высоким
Духом Родины дышать,
Многokrатно кротким оком
Сей иконный взор встречать!

Дорогой ценою надо
Заплатить за благодать —
Лик Отчизны, как отраду,
Даром дивным понимать!

Ощущая свою брэнность
На покосе у ручья,
Ощутить, как драгоценность,
Серпик лунного луча!

Видение о Байкале

Поклонись Байкалу от меня,
Расскажи,
 как я о нём скажу.

Помню жар закатного огня,
Вижу, как утёсами склоняюсь,
Волны колыбелью он качает.

А ещё по утренней поре
Всё меня томит воспоминанье,
Как в литом суровом серебре
Он народ выводит на собранье,
Как при Русе I, — при Царе
По поверьям светлым и сказаньям.

Он высок и древен, мой народ,
С крепостью могучей исполина.
И певуч, и складен, как былина,
Восходя на брег за родом род
Из сокрытой в глубине стремнины,
Знает своё место и черёд.

Там под полой, полною луной,
Под светилом неизбывных навий
Луч звенит натянутой струной,
Песнь звучит славянской гордой Правы,
Узорочьем плещет над страной,
Опадая в ситцы, печи, ставни,

И на лица, спящие во мгле...
Разметавшись, волны, словно крылья,
Выпускают мой народ к земле
Навестить таинственную былью
Сны земных предгорий и полей,
Чтоб они беспмятною пылью

Не опали в серу будних лет...
Корневой народ — к народу кроны
В годы бедствий горьких и побед

Медленно проходит через волны
И несёт ему живой и полный,
Судьбоносный памятный свет.

Гляну — старец с девою спешит,
Витязь гордый преклонил колена.
Из глубин родительной души
Крест кладёт на узкие рамена
Мать седая... Позабыв измены,
В крошево невзгоды раскрошив,

Кружат сёстры кругом хороводы.
У костров чурилы врозь поют,
Алконосты грезят о свободах,
И неистово, не зная броду,
Струги к солнцу навъему плывут,
Полные князей его народа...

И как будто не прошли века!
Времена, как чайки, не кружили...
Как их речь понятна и близка,
Тех, кто по Сибири шли, и жили,
Прадедов великорусской были,
Восходящих к нам издалика...

Издалика, с Божьего начала.
Тайной неизбывно хранясь
Из глубин неведомых Байкала,
И коснулась грешную меня
В отблесках кровавых краснотала,
В лунном свете, в предначалье дня...

Поклонись же от меня Байкалу!
На его высоких берегах
Протекала жизнь, как истекала
В леденисто-дымчатых снегах
Пред его могуче-грозным валом
С тайною высокой на устах...

* * *

Горьких рябин винограде кровавое —
Солнца байкальского всклень...
Я ль не гордилась сибирскою славою,
Древностью деревень?!

Дивно, тревожно в мятежном предснежии,
Здесь, на краю бытия,
Взором окрест с терпеливою нежностью —
Гордость земная моя!

Это не я ль в непролазе болотистом,
В цепком сплетении крон
Слышу глубинный со всхрапом и просвистом
Зычный языческий стон!

Гордость моя и дыханье бессмертное,
Твердь моя — Древняя Русь.
Все, кого метила грозною метою,
Не зарекаются пусть,

Это же я, глянув в просинь со клинами,
В сполохах зорь и зарниц
Пред куполами с крестами старинными
Падаю медленно ниц!

Не отрекаются в бреде неистовом,
Гулом блудливых шагов
От Богородичного, Пречистого
Образа Твоего!

* * *

Так полено к полешку, ты топись, моя печка,
Чем тесней и дружнее, тем жарче сгорит
Под малиновый гул твоей жертвенной речи
Переждём, пока солнце наберёт свой зенит.

За окошком темно, осень воет в округе.
В скорбных тучах укрылась голубая звезда.
Мы с тобой, моя печь, две надёжных подруги.
Ты меня не предашь, Я тебя не предаю
Никогда, никогда!..

Я не верю прогрессу, авангарду не верю,
Верю полю и лесу, верю русской печи.
Не страшны нам с тобой ни морозы, ни звери,
Мы спалим все невзгоды в самой лютой ночи.

Пусть взывает во тьме одинокой белугой,
Разорённая осень бьёт в оконный проём.
Мы с тобой, моя печь, боевая подруга,
От начала веков песни все пропоём...

* * *

Пеленала дорогу метель
да порошила,
Дорогую взбивала постель
с мелким крошевом

И до зорьки утихла метель,
натрудилася,
В золотую слегла колыбель,
свитком свилася.

Бирюзового серебра,
да с алмазами,
И баюкала до утра
землю сказами.

Жахнул-ахнул проснувшийся лес
белой кроною.
В драгоценном он царстве воскрес
под короною,

Под сапфирами, словно царь
в лучах розовых,
Молчаливый, как Государь,
с силой грозною.

Но пятнит Государев венец,
и петляет сорока —
Не бывает без скорби гонец,
красота — без порока...

Последний разговор

«Не уходи, старик, пожил бы ты, пожил!
Ещё бы походил, траву рукой потрогал...
Ещё обоч дорог дымит твой чернобыл,
Поди и мы с тобой нужны зачем-то Богу!
Не уходи, старик».

«Старуха, тяжело на сердце, что гора,
И ноют и саднят забывшиеся раны.
Траву уж без меня, а мне пора, пора!
Туда, где сын и внук... В неведомые страны».

«Не уходи, старик! Кого мне тут одной!
Ни чаю ни испить, ни молвить с тобой слово.
С кем греться у печи суровою зимой,
Кто мне воды подаст и мёда золотого?!
Не уходи, старик!»

«Старуха, невтерпеж! На утренней заре
С оружием пришли погибшие солдаты.
Сияли лики их почище фонарей,
Я с ними хлеб делил и водку во штрафбате.

Я с ними воевал, глотал окопный прах,
Солдаты те с войны явились не впервые,
Их имена давно у Бога на устах —
Бессмертные они, России часовые.

«Пора, — сказали. — Всё!
Ты пожил всласть! Пора!
И некому хранить Отчизну на восходе!
Все меньше от земли исходит к нам добра,
А сеча все страшней, и силы на исходе!»

Им надо подмогнуть, а ты уж поживи!
Я буду там с мечом, а ты уж здесь с молитвой.
Мы путь прошли с тобой в согласьи и любви,
Не оплошай, прошу, перед последней битвой!»

«О чём ты всё, старик? Мне без тебя здесь край!
Дышать я без тебя и жить не научилась!
И рай мне без тебя покажется не в рай,
И солнце по утрам мне без тебя не в милость!»

«Всё! Машут мне рукой! Старуха, не держи!
Там наши сын и внук, погибшие во смраде

Войны последней... Как душа дрожит!
Как будто я давно уж в Вышнем граде!»

«Прощай, прощай, старик!
И я не задержусь! — сказала она,
очи прикрывая ему ладонью. —
Ты ушёл на Русь,
А без тебя и я уж больше не живая...»

Плескался за окном, как жидкий чай, рассвет,
Покрыт был лес вдали суровым горностаем...
По первому снежку незримо вился след,
Над горизонтом шлем мелькнул и спешно стаял...

* * *

С прощальной тоской обернусь я назад
На медленно меркнувший белый закат,
на белый закат над водою.
Багряной лампадой рябины горят,
Последний свой танец вершит листопад
под первую белой звездой...

Протяжною песней исполнив полёт,
Кричат журавли над студёной землёй,
вонзаясь в глубокую просинь.
Своей нищетою нагой искусив,
Изгнанницей рыжей прошла по Руси
моя распоследняя осень.

И мне не забыть этот белый закат,
В который усталые птицы летят —
любимые птицы России!
Я памятку эту с собою возьму,
Когда им вослед отойду к Самому
за их косяками косыми, —

Предстану, увижу в очах у Творца,
Как птицы к закату летят без конца...
В очах, благодатных от жизни!
И души, и птицы на белый пожар
В глубинный, закатный, неистовый жар
летят и летят сквозь Отчизну!

* * *

Сокровенной природою дышит душа,
Глубиною озёр, терпким трепетом ветра,
Древней стойкостью скал, тишиной камыша,
Протяжённой тоскою родных километров.

Все стихии миров мне заложены в кровь,
Все цвета травостоев и светлы соцветий.
Из алмазных созвездий небесный Покров
Тайну русского рода хранит во столетях,

Из которого вышла в намеченный час,
Чтоб живые созвучья в гармонии Божьей

Не затихли вовек, чтоб их след не угас,
А светили строкой в временах бездорожья.

И когда Блажий Дух в предрассветной поре
Сходит тихо с небес на поля и народы,
Его искры ловлю и росу по заре
Собираю в суму уже долгие годы.

Всё богатство моё, что снега да ветра,
И осенние зори над простором России,
Что свечой озаряется из-под пера,
Ясно светит во тьме, что есть Духу и силы.



ВАЛЕНТИН РАСПУТИН



Деньги для Марии

ПОВЕСТЬ

Повесть «Деньги для Марии» была впервые опубликована в 1967 году в журнале «Ангара». Она стала поворотной в творческой биографии Валентина Распутина, именно тогда о нём заговорили как о новом, ярком и глубоком прозаике, исследовавшем непростые человеческие отношения, темы добра и зла, жестокости и милосердия... Сегодня, когда особенно обострилось противостояние духовно-нравственного начала и материального мира, повесть, её конфликт звучит не только чрезвычайно актуально, но и провидчески. Писатель уже в те годы смог угадать, что придёт время, когда тема «Человек и деньги» многих поставит перед жёстким нравственным выбором, заставит заглянуть к себе в душу и ответить на нелёгкие вопросы. Несомненно, что истинное искусство всегда остаётся современным и своевременным.

Редакция журнала «Сибирь»

Кузьма проснулся оттого, что машина на повороте ослепила окна фарами и в комнате стало совсем светло.

Свет, покачиваясь, ощупал потолок, спустился по стене вниз, свернул вправо и исчез. Через минуту умолкла и машина, стало опять темно и тихо, и теперь, в полной темноте и тишине, казалось, что это был какой-то тайный знак.

Кузьма поднялся и закурил. Он сидел на табуретке у окна, смотрел сквозь стекло на улицу и попыхивал папиросой, словно и сам кому-то подавал сигналы. Затягиваясь, он видел в окне своё усталое, осунувшееся за последние дни лицо, которое затем сразу же исчезало, и уже не было ничего, кроме бесконечно глубокой темноты, — ни одного огонька или звука. Кузьма подумал о снеге: наверное, к утру соберётся и пойдёт, пойдёт, пойдёт — как благодать.

Потом он лёг опять рядом с Марией и уснул. Ему приснилось, что он едет на той самой машине, которая его разбудила. Фары не светят, и машина идёт в полном мраке. Но затем они вдруг вспыхивают и освещают дом, возле которого машина останавливается. Кузьма выходит из кабины и стучит в окно.

— Что вам надо? — спрашивают его изнутри.

— Деньги для Марии, — отвечает он.

Ему выносят деньги, и машина идёт дальше, опять в полной темноте. Но как только на её пути попадаетея дом, в котором есть деньги, срабатывает какое-то неизвестное ему устройство, и фары загораются. Он снова стучит в окно, и его снова спрашивают:

— Что вам надо?

— Деньги для Марии.

Он просыпается во второй раз.

Темнота. Всё ещё ночь, по-прежнему кругом ни огонька и ни звука, и среди этого мрака и безмолвия с трудом верится, что ничего не случится, и в свой час придёт рассвет, и наступит утро.

Кузьма лежит и думает, сна больше нет. Откуда-то сверху, как неожиданный дождь, падают свистящие звуки реактивного самолёта и сразу же стихают, удаляясь вслед за самолётом. Опять тишина, но теперь она кажется обманчивой, словно вот-вот должно что-то произойти. И это ощущение тревоги проходит не сразу.

Кузьма думает: ехать или не ехать? Он думал об этом и вчера, и позавчера, но тогда ещё оставалось время для размышлений, и он мог не решать ничего окончательно, теперь времени больше нет. Если утром не поехать, будет поздно. Надо сейчас сказать себе: да или нет. Надо, конечно, ехать. Ехать. Хватит мучиться. Здесь ему больше просить не у кого. Утром он встанет и сразу пойдёт на автобус. Он закрывает глаза — теперь можно спать. Спать, спать, спать... Кузьма пытается накрыться сном, как одеялом, уйти в него с головой, но ничего не получается. Ему кажется, он спит у костра: повернёшься одним боком, холодно другому. Он спит и не спит, ему снова грезится машина, но он понимает, что ему ничего не стоит открыть сейчас глаза и окончательно очнуться. Он поворачивается на другой бок — всё ещё ночь, которую не приручить никакими ночными сменами.

Утро. Кузьма поднимается и заглядывает в окно: снега нет, но пасмурно, в любую минуту он может пойти. Мутный неласковый рассвет разливается неохотно, как бы через силу. Опустив голову, пробежала перед окнами собака и свернула в переулок. Людей не видно. С северной стороны вдруг бьёт о стену порыв ветра и сразу же спадает. Через минуту снова удар, потом ещё.

Кузьма идёт на кухню и говорит Марии, которая возится у печки:

— Собери мне чего-нибудь с собой, поеду я.

— В город? — настораживается Мария.

— В город.

Мария вытирает о фартук руки и садится перед печкой, щурясь от жара, обдающего её лицо.

— Не даст он, — говорит она.

— Ты не знаешь, где конверт с адресом? — спрашивает Кузьма.

— Где-нибудь в горнице, если живой.

Ребята спят. Кузьма находит конверт и возвращается на кухню.

— Нашёл?

— Нашёл.

— Не даст он, — повторяет Мария.

Кузьма садится за стол и молча ест. Он и сам не знает, никто не знает, даст или не даст. В кухне становится жарко. О ноги Кузьмы трётся кошка, и он отталкивает её.

— Сам-то назад приедешь? — спрашивает Мария.

Он отставляет от себя тарелку и задумывается. Кошка, выгнув спину, точит в углу когти, потом опять подходит к Кузьме и жмётся к его ногам. Он встаёт и, помолчав, не найдя, что сказать на прощанье, идёт к дверям.

Он одевается и слышит, что Мария плачет. Ему пора уходить — автобус отправляется рано. А Мария пусть поплачет, если она по-другому не может.

На улице ветер — всё качается, стонет, гремит.

Ветер дует автобусу в лоб, сквозь щели в окнах проникает внутрь. Автобус поворачивается к ветру боком, и стёкла сразу начинают позванивать, в них бьёт поднятыми с земли листьями и мелкими, как песок, невидимыми камешками. Холодно. Видно, этот ветер и принесёт с собой морозы, снег, а там и до зимы недалеко, уже конец октября.

Кузьма сидит на последнем сиденье у окна. Народу в автобусе немного, свободные места есть и впереди, но ему не хочется подниматься и переходить. Он втянул голову в плечи и, нахохлившись, смотрит в окно. Там, за окном, километров двадцать подряд одно и то же: ветер, ветер, ветер — ветер в лесу, ветер в поле, ветер в деревне.

Люди в автобусе молчат — непогода сделала их угрюмыми и неразговорчивыми. Если кто и перебросится словом, то вполголоса, не понять. Даже думать не хочется. Все сидят и только хватаются за спинки передних сидений, когда подбрасывает, устраиваются поудобней — все заняты лишь тем, что едут.

На подъёме Кузьма пытается различить вой ветра и вой мотора, но они слились в одно — только вой, и всё. Сразу за подъёмом начинается деревня. Автобус останавливается возле колхозной конторы, но пассажиров тут нет, никто не входит. В окно Кузьме видна длинная пустая улица, по которой, как по трубе, носится ветер.

Автобус снова трогается. Шофёр, молодой ещё парень, оглядывается через плечо на пассажиров и лезет в карман за папиросой. Кузьма обрадованно спохватывается: он совсем забыл про папиросы. Через минуту по автобусу плывёт синий клочковатый дым.

Опять деревня. Шофёр останавливает автобус возле столовой и поднимается.

— Перерыв, — говорит он. — Кто будет завтракать, пойдёмте, а то ещё ехать да ехать.

Кузьме есть не хочется, и он выходит, чтобы размяться. Рядом со столовой магазин, точно такой же, как и у них в деревне. Кузьма поднимается на высокое крыльцо, открывает дверь. Всё так же, как и у них: в одной стороне — продовольственные, в другой — промтовары. У прилавка о чём-то болтают три женщины, продавщица, скрестив руки на груди, лениво их слушает. Она моложе Марии, и у неё, видно, всё хорошо: она спокойна.

Кузьма подходит к горячей печке и вытягивает над ней руки. Отсюда в окно видно будет, когда шофёр выйдет из столовой, и Кузьма успеет добежать. Ветер хлопает ставнем, продавщица и женщины оборачиваются и смотрят на Кузьму. Ему хочется подойти к продавщице и сказать ей, что у них в деревне магазин точно такой же и что его Мария полтора года тоже стояла за прилавком. Но он не двигается. Ветер снова хлопает ставнем, и женщины опять оборачиваются и смотрят на Кузьму.

Кузьма хорошо знает, что ветер поднялся только сегодня и что ещё ночью, когда он вставал, было спокойно, и всё-таки не может отделаться от чувства, что ветер дует давно, все эти дни.

Пять дней назад пришёл мужик лет сорока или чуть побольше, с виду не городской и не деревенский, в светлом плаще, в кирзовых сапогах и в кепке. Марии дома не было. Мужик наказал, чтобы завтра она не открывала магазин, он приехал делать учёт.

На следующий день началась ревизия. В обед, когда Кузьма заглянул в магазин, там стоял полный тарарам. Все банки, коробки и пачки Мария и ревизор вытаскивали на прилавок, по десять раз считали их и пересчитывали, сюда же принесли из склада большие весы и наваливали на них мешки с сахаром, с солью и крупой, собирали ножом с обёрточной бумаги масло, гремели пустыми бутылками, перетаскивая их из одного угла в другой, выковыривали из ящика остатки слипшихся леденцов. Ревизор с карандашом за ухом бойко бегал между горами банок и ящиков, вслух их считал, почти не глядя, перебирал чуть ли не всеми пятью пальцами на счётах костяшки, называл какие-то цифры и, чтобы записать их, встряхивая головой, ловко ронял себе в руку карандаш. Видно было, что дело своё он знает хорошо.

Мария пришла домой поздно, вид у нее был измученный.

— Как там у тебя? — осторожно спросил Кузьма.

— Да как — пока никак. На завтра ещё промтовары остались. Завтра как-нибудь будет.

Она накричала на ребят, которые что-то натворили, и сразу легла. Кузьма вышел на улицу. Где-то палили свиную тушу, и сильный, приятный запах разошёлся по всей деревне. Страда кончилась, картошку выкопали, и теперь люди готовятся к празднику, ждут зиму. Хлопотливое, горячее время осталось позади, наступило межсезонье, когда можно погулять, осмотреться по сторонам, подумать. Пока тихо, но через неделю деревня взывает, люди вспомнят о всех праздниках, старых и новых, пойдут, обнявшись, от дома к дому, закричат, запоют, будут опять вспоминать войну и за столом простят друг другу все свои обиды.

Кузьма вернулся домой, сказал ребятишкам, чтобы они долго не сидели, и лёг. Мария спала, не слышно было даже её дыхания. Кузьма задремал, но ребята в своей комнате раскричались, и ему пришлось подняться и успокоить их. Стало тихо. Потом на кого-то загавкали на улице собаки и сразу умолкли.

Утром, когда Кузьма проснулся, Марии уже не было. Он позавтракал и на весь день уехал во вторую бригаду — председатель ещё накануне попросил его посмотреть, что у них там с овощехранилищем и какие материалы нужны для ремонта. За этими делами о ревизии Кузьма совсем забыл и, только когда подходил к дому, вспомнил. На крыльце сидел Витка, старший из ребят, он увидел отца и убежал в дом. «Что это с ним?» — с недобрим предчувствием подумал Кузьма и заторопился.

Его ждали. Мария сидела за столом, глаза у неё были заплаканные. Ревизор, пристроившись на табуретке около двери, поздоровался с Кузьмой растерянно и виновато. Ребятишки, все четверо, выстроились возле русской печи строго по порядку — один на голову ниже другого. Кузьма всё понял. Ни о чём не спрашивая, он снял с себя грязные сапоги и босиком прошёл в комнату за тапочками. Их там не было. Он вернулся, поискал у дверей, не нашёл и спросил у ребят:

— Не видали мои тапочки?

Мария, не выдержав, заплакала и убежала в комнату. Кузьма без всякого удивления проводил её застывшим взглядом и закричал на ребят:

— Найдутся мои тапочки сегодня или нет?

Он смотрел, как они, не отрываясь друг от друга, будто связанные, тычутся в углы, лазят под кроватями, семят цепочкой из комнаты в комнату, и всё больше и больше терялся, не зная, что делать, что сказать.

Тапочки наконец нашлись. Кузьма сунул в них босые ноги, пошёл к Марии. Она, закрыв руками лицо, лежала на кровати и всхлипывала. Он повернул к себе её лицо и спросил:

— Сколько?

— Ты-тысяча.

— Что — новыми?

Мария не ответила. Отвернувшись к стене, она снова закрыла лицо руками и зарыдала. Глядя, как дергается её тело, Кузьма на какое-то мгновение вдруг потерял связь с тем, что происходит, — настолько это было неожиданно и страшно. Потом очнулся, как во сне, вышел к ревизору и показал ему, чтобы тот сел к столу. Ревизор послушно пересел. Кузьма достал папиросу и, торопясь, закурил. Сначала ему надо было прийти в себя. Он курил, делая затяжки так часто, будто пил воду. В ребячьей комнате вдруг до крика сорвался голос из радиоприёмника, и Кузьма вздрогнул.

— Уберите его!

Ребятишки оторвались от печки, не меняя порядка, в каком стояли, зашлепали друг за другом в комнату, и голос смолк. Когда Кузьма поднял голову, они уже снова стояли у печки, готовые выполнить любое его приказание. Злость постепенно остывала, и Кузьме стало жалко их. Они ни в чём не виноваты. Он сказал ревизору:

— Я с тобой буду как на духу — не таскали мы оттуда ни одной крупинки. Я специ-

ально это при ребятах говорю, я при них врать не стану. Сам видишь, живём мы небогато, но чужого нам не надо.

Ревизор молчал.

— Так скажи, откуда столько? Тысяча, что ли?

— Тысяча, — подтвердил ревизор.

— Новыми?

— Теперь на старые счёта нет.

— Да ведь это сумасшедшие деньги, — задумчиво произнёс Кузьма. — Я столько и в руках не держал. Мы ссуду в колхозе брали семьсот рублей на дом, когда ставили, и то много было, до сегодняшнего дня не расплатились. А тут тысяча. Я понимаю, можно ошибиться, набезит там тридцать, сорок, ну, пускай сто рублей, но откуда тысяча? Ты, видать, на этой работе давно, должен знать, как это получается.

— Не знаю, — покачал головой ревизор.

— А не могли её сельповские с фактурой нагреть?

— Не знаю. Всё могло быть. Я вижу, образование у неё небольшое.

— Какое там образование — грамотёшка! С таким образованием только получку считать, а не казённые деньги. Я ей сколько раз говорил: не лезь не в свои сани. Работать как раз некому было, её и уговорили. А потом как будто всё ладно пошло.

— Товары она всегда сама получала или нет? — спросил ревизор.

— Нет. Кто поедет, с тем и заказывала.

— Тоже плохо. Так нельзя.

— Ну вот...

— А самое главное: целый год не было учёта.

Они замолчали, и в наступившей тишине стало слышно, как в спальне всё ещё всхлипывает Мария. Где-то вырвалась из раскрытой двери на улицу песня, прогудела, как пролетающий шмель, и стихла — после неё всхлипы Марии показались громкими и булькали, как обрывающиеся в воду камни.

— Что же теперь будет-то? — спросил Кузьма, непонятно к кому обращаясь — к самому себе или к ревизору.

Ревизор покосился на ребят.

— Идите отсюда! — цыкнул на них Кузьма, и они гуськом засеменили в свою комнату.

— Я завтра еду дальше, — придвигаясь к Кузьме, негромко начал ревизор. — Мне надо будет ещё в двух магазинах сделать учёт. Это примерно дней на пять работы. А через пять дней... — Он замялся. — Одним словом, если вы за это время внесёте деньги... Вы меня понимаете?

— Чего ж не понять, — откликнулся Кузьма.

— Я же вижу: ребяташки, — сказал ревизор. — Ну, осудят её, дадут срок...

Кузьма смотрел на него с жалкой, подёргивающейся улыбкой.

— Только поймите: об этом никто не должен знать. Я не имею права так делать. Я сам рискую.

— Понятно, понятно.

— Собирайте деньги, и мы постараемся это дело замять.

— Тысячу рублей, — сказал Кузьма.

— Да.

— Понятно, тысячу рублей, одну тысячу. Мы соберём. Нельзя её судить. Я с ней много лет живу, ребяташки у нас.

Ревизор поднялся.

— Спасибо тебе, — сказал Кузьма и, кивая, пожал ревизору руку. Тот ушёл. Во дворе за ним скрипнула калитка, перед окнами прозвучали и затихли шаги.

Кузьма остался один. Он пошёл на кухню, сел перед не топленной со вчерашнего дня печкой и, опустив голову, сидел так долго-долго. Он ни о чём не думал — для этого уже не было сил, он застыл, и только голова его опускалась всё ниже и ниже. Прошёл час, второй, наступила ночь.

— Папа!

Кузьма медленно поднял голову. Перед ним стоял Витька — босиком, в майке.

— Чего тебе?

— Папа, у нас всё в порядке будет?

Кузьма кивнул. Но Витька не уходил, ему надо было, чтобы отец сказал это словами.

— А как же! — ответил Кузьма. — Мы всю землю перевернём вверх тормашками, а мать не отдадим. Нас пятеро мужиков, у нас получится.

— Можно, я скажу ребятам, что у нас всё в порядке будет?

— Так и скажи: всю землю перевернём вверх тормашками, а мать не отдадим.

Витька, поверив, ушёл.

Утром Мария не поднялась. Кузьма встал, разбудил старших ребят в школу, налил им вчерашнего молока. Мария лежала на кровати, уставив глаза в потолок, и не шевелилась. Она так и не разделась, лежала в платье, в котором пришла из магазина, лицо у неё заметно опухло. Перед тем как уходить, Кузьма постоял над ней, сказал:

— Отойдёшь немножко, вставай. Ничего, обойдётся, люди помогут. Не стоит тебе раньше времени из-за этого помирать.

Он пошёл в контору, чтобы предупредить, что на работу не выйдет.

Председатель был у себя в кабинете один. Он поднялся, подал Кузьме руку и, пристально глядя на него, вздохнул.

— Что? — не понял Кузьма.

— Слышал я про Марию, — ответил председатель. — Теперь уж вся деревня, поди, знает.

— Всё равно не скроешь — пускай, — потерянно махнул рукой Кузьма.

— Что будешь делать? — спросил председатель.

— Не знаю. Не знаю, куда и пойти.

— Надо что-нибудь делать.

— Надо.

— Сам видишь, ссуду я тебе сейчас дать не могу, — сказал председатель. — Отчётный год на носу. Отчётный год кончится, потом посоветуемся, может, дадим. Дадим — чего там! А пока занимай под ссуду, всё легче будет, не под пустое место просишь.

— Спасибо тебе.

— Нужны мне твои «спасибо»! Как Мария-то?

— Плохо.

— Ты иди скажи ей.

— Надо сказать, — у дверей Кузьма вспомнил: — Я на работу сегодня не выйду.

— Иди, иди. Какой из тебя теперь работник! Нашёл о чём говорить!

Мария все ещё лежала. Кузьма присел возле неё на кровать и сжал её плечо, но она не откликнулась, не дрогнула, будто ничего и не почувствовала.

— Председатель говорит, что после отчётного собрания даст ссуду, — сказал Кузьма.

Она слабо шевельнулась и снова замерла.

— Ты слышишь? — спросил он.

С Марией вдруг что-то случилось: она вскочила, обвила шею Кузьмы руками и повалила его на кровать.

— Кузьма! — задыхаясь, шептала она. — Кузьма, спаси меня, сделай что-нибудь, Кузьма!

Он пробовал вырваться, но не мог. Она упала на него, сдавила ему шею, закрыла своим лицом его лицо.

— Родной мой! — иступленно шептала она. — Спаси меня, Кузьма, не отдавай им меня!

Он, наконец, вырвался.

— Дура баба, — прохрипел он. — Ты что, с ума сошла?

— Кузьма! — слабо позвала она.

— Чего это ты выдумала? Ссуда вот будет, всё хорошо будет, а ты как сдурела.

— Кузьма!

— Ну что?

— Кузьма! — её голос становился всё слабей и слабей.

— Здесь я.

Он сбросил сапоги и прилёг рядом с ней. Мария дрожала, её плечи дёргались и подпрыгивали. Он обнял её и стал водить по плечу своей широкой ладонью — взад и вперёд, взад и вперёд. Она прижалась к нему ближе. Он всё водил и водил ладонью по её плечу, пока она не затихла. Он ещё полежал рядом с ней, потом поднялся. Она спала.

Кузьма размышлял: можно продать корову и сено, но тогда ребятишки останутся без молока.

Из хозяйства продавать больше было нечего. Корову тоже надо оставить на последний случай, когда не будет выхода. Значит, своих денег нет ни копейки, всё придётся занимать. Он не знал, как можно занять тысячу рублей, эта сумма представлялась ему настолько огромной, что он всё путал её со старыми деньгами, а потом спохватывался и, холодея, обрывал себя. Он допускал, что такие деньги существуют, как существуют миллионы и миллиарды, но то, что они могут иметь отношение к одному человеку, а тем более к нему, казалось Кузьме какой-то ужасной ошибкой, которую — начни он только поиски денег — уже не исправить. И он долго не двигался — казалось, он ждал чуда, когда кто-то придёт и скажет, что над ним подшутили и что вся эта история с недостатчей ни его, ни Марии не касается. Сколько людей было вокруг него, которых она действительно не касалась!

Хорошо ещё, что шофёр подогнал автобус к самому вокзалу и Кузьме не пришлось добираться к нему по ветру, который как начал дуть от дома, так и не перестал. Здесь, на станции, гремит на крышах листовое железо, по улице метёт бумагу и окурки, и люди семячат так, что не понять — или их несёт ветер, или они всё же справляются с ним и бегут, куда им надо, сами. Голос диктора, объявляющего о прибытии и отправлении поездов, рвётся на части, комкается, и его невозможно разобрать. Гудки маневровых паровозов, пронзительные свистки электровозов кажутся тревожными, как сигналы об опасности, которую надо ждать с минуты на минуту.

За час до поезда Кузьма становится в очередь за билетами. Кассу ещё не открывали, и люди стоят, подозрительно следя за каждым, кто проходит вперёд. Минутная стрелка на круглых электрических часах над окошечком кассы со звоном прыгает от деления к делению, и люди всякий раз задирают головы, мучаются.

Наконец кассу открывают. Очередь сжимается и замирает. В окошечко кассы просовывается первая голова; проходит две, три, четыре минуты, а очередь не движется.

— Что там — торгуются, что ли? — кричит кто-то сзади.

Голова выползает обратно, и женщина, стоявшая в очереди первой, оборачивается:

— Оказывается, нет билетов.

— Граждане, в общие и плацкартные вагоны билетов нет! — кричит кассирша.

Очередь комкается, но не расходится.

— Не знают, как деньги выманить, — возмущается толстая, с красным лицом и в красном платке тётка. — Понаделали мягких вагонов — кому они нужны? Уж на что самолёт, и то в нём все билеты поровну стоят.

— В самолётах и летайте, — беззлобно отвечает кассирша.

— И полетим! — кипятится тётка. — Вот ещё раз, два такие фокусы выкинете, и ни один человек к вам не пойдёт. Совести у вас нету.

— Летайте себе на здоровье — не заплачем!

— Заплачешь, голубушка, заплачешь, когда без работы-то останешься.

Кузьма отходит от кассы. Теперь до следующего поезда часов пять, не меньше. А может, всё-таки взять в мягкий? Чёрт с ним! Неизвестно ещё, будут в том поезде простые места или нет — может, тоже одни мягкие? Зря прождёшь. «Снявши голову, по волосам не плачут», — почему-то вспоминает Кузьма. В самом деле — лишняя пятёрка погоды теперь не сделает. Тысяча нужна — чего уж теперь по пятёрке плакать.

Кузьма возвращается к кассе. Очередь разошлась, и перед кассиршей лежит раскрытая книга.

— Мне до города, — говорит ей Кузьма.

— Билеты только в мягкий вагон, — будто читает кассирша, не поднимая глаз от книги.

— Давай куда есть.

Она отмечает линейкой прочитанное, откуда-то сбоку достает билет и сует его под компостер.

Теперь Кузьма прислушивается, когда назовут его поезд. Поезд подойдет, он сядет в мягкий вагон и со всеми удобствами доедет до города. Утром будет город. Он пойдет к брату и возьмёт у него те деньги, которых не хватает до тысячи. Наверное, брат снимет их с книжки. Перед отъездом они посидят, выпьют на прощанье бутылку водки, а потом Кузьма отправится обратно, чтобы успеть к возвращению ревизора. И пойдет у них с Марией опять всё как надо, заживут как все люди. Когда кончится эта беда и Мария отойдет, будут они и дальше растить ребят, ходить с ними в кино — как-никак свой колхоз: пятеро мужиков и мать. Всем им ещё жить да жить. По вечерам, укладываясь спать, будет он, Кузьма, как и раньше, заигрывать с Марией, шлепать её по мягкому месту, а она будет ругаться, но не зло, понарошку, потому что она и сама любит, когда он дурачится. Много ли им надо, чтобы всё было хорошо? Кузьма приходит в себя. Много, ох много — тысячу рублей. Но теперь уже не тысячу, больше половины из тысячи он с грехом пополам достал. Ходил унижался, давал обещания, где надо и не надо, напоминал о ссуде, боясь, что не дадут, а потом, стыдясь, брал бумажки, которые жгли руки и которых всё равно было мало.

К первому он, как, наверно, и любой другой в деревне, пошёл к Евгению Николаевичу.

— А, Кузьма, — встретил его Евгений Николаевич, открывая дверь. — Заходи, заходи. Присаживайся. А я уж думал, что ты на меня сердиться — не заходишь.

— За что мне на тебя сердиться, Евгений Николаевич?

— А я не знаю. Об обидах не все говорят. Да ты садись. Как жизнь-то?

— Ничего.

— Ну-ну, прибудняйся. В новый дом переехал и всё ничего?

— Да мы уж год в новом доме. Чего теперь хвастать?

— А я не знаю. Ты не заходишь, не рассказываешь.

Евгений Николаевич убрал со стола раскрытые книги, не закрывая, перенёс их на полку. Он моложе Кузьмы, но в деревне его величают все, даже старики, потому что вот уже лет пятнадцать он директор школы, сначала семилетки, потом восьмилетки. Родился и вырос Евгений Николаевич здесь же и, закончив институт, крестьянского дела не забыл: сам косит, плотничает, держит у себя большое хозяйство, когда есть время, ходит с мужиками на охоту, на рыбалку. Кузьма сразу пошёл к Евгению Николаевичу потому, что знал: деньги у него есть. Живёт он вдвоём с женой — она у него тоже учительница, — зарплата у них хорошая, а тратить её особенно некуда, всё своё — и огород, и молоко, и мясо.

Видя, что Евгений Николаевич собирает книги, Кузьма приподнялся.

— Может, я не ко времени?

— Сиди, сиди, как это не ко времени! — удержал его Евгений Николаевич. — Время есть. Когда мы не на работе, время у нас своё, не казённое. Значит, и тратить мы его должны как душе угодно, правда?

— Как будто.

— Почему «как будто»? Говори «правда». Время есть. Чай вот можно поставить.

— Чай не надо, — отказался Кузьма. — Не хочу. Недавно пил.

— Ну, смотри. Говорят, сытого гостя легче потчевать. Правда?

— Правда.

Кузьма поёрзал на стуле, решил:

— Я, Евгений Николаевич, по делу к тебе тут по одному пришёл.

— По делу? — Евгений Николаевич, насторожившись, сел за стол. — Ну, так давай говори. Дело есть дело, его решать надо. Как говорят, куй железо, пока горячо.

— Не знаю, как и начать, — замялся Кузьма.

— Говори, говори.

— Да дело такое: деньги я пришёл у тебя просить.

— Сколько тебе надо? — зевнул Евгений Николаевич.

— Мне много надо. Сколько дашь.

— Ну, сколько — десять, двадцать, тридцать?

— Нет, — покачал головой Кузьма. — Мне надо много. Я тебе скажу зачем, чтобы понятно было. Недостача у моей Марии большая получилась — может, ты знаешь?

— Ничего не знаю.

— Вчера ревизию кончили — и вот преподнесли, значит.

Евгений Николаевич забарабанил по столу костяшками пальцев.

— Неприятность какая, — сказал он.

— А?

— Неприятность, говорю, какая. Как это у неё получилось?

— Вот получилось.

Они замолчали. Стало слышно, как тикает где-то будильник; Кузьма поискал его глазами, но не нашёл. Будильник стучал, почти захлёбываясь. Евгений Николаевич вновь забарабанил по столу пальцами. Кузьма взглянул на него — он чуть заметно морщился.

— Судить могут, — сказал Евгений Николаевич.

— Для того деньги и ищу, чтоб не судили.

— Всё равно судить могут. Растрата есть растрата.

— Нет, не могут. Она оттуда не брала, я знаю.

— Что ты мне-то говоришь? — обиделся Евгений Николаевич. — Я не судья. Ты им скажи. Я говорю это к тому, что надо осторожно: а то и деньги внесёшь, и судить будут.

— Нет, — Кузьма вдруг почувствовал, что он и сам боится этого, и сказал больше себе, чем ему. — Теперь смотрят, чтоб не зря. Мы не пользовались этими деньгами, они нам не нужны. У ней ведь недостача эта оттого, что малограмотная она, а не как-нибудь.

— Они этого не понимают, — махнул рукой Евгений Николаевич.

Кузьма вспомнил про ссуду и, не успев успокоиться, сказал жалобно и просяще, так что противно стало самому:

— Я ведь ненадолго занимаю у тебя, Евгений Николаевич. Месяца на два, на три. Мне председатель ссуду пообещал после отчётного собрания.

— А сейчас не даёт?

— Сейчас нельзя. Мы ещё за старую не расплатились, когда дом ставили. И так на-встречу идёт, другой бы не согласился.

Снова вырвалась откуда-то частая дробь будильника, застучала тревожно и громко, но Кузьма и на этот раз не нашёл его. Будильник мог стоять или за шторой на окне, или на книжной полке, но звук, казалось, шёл откуда-то сверху. Кузьма не вытерпел и взглянул на потолок, а потом выругал себя за дурость.

— А ты уже к кому-нибудь ходил? — спросил Евгений Николаевич.

— Нет, к тебе первому.

— Что ж делать — дать придётся! — вдруг воодушевляясь, сказал Евгений Николаевич. — Если не дать, ты скажешь: вот Евгений Николаевич пожалел, не дал. А люди обрадуются.

— Зачем мне про тебя говорить, Евгений Николаевич?

— А я не знаю. Я не про тебя, конечно, — вообще. Народ всякий. Только у меня деньги на сберкнижке в районе. Я специально подальше их держу, чтоб не вытаскивать по пустякам. Ехать туда надо. Времени вот сейчас нет, — он опять поморщился. — Придётся съездить. Дело такое. У меня там сотня и есть — сниму. Это правильно: мы друг другу помогать должны.

Кузьма, как-то вдруг сразу обессилев, молчал.

— На то мы и люди, чтобы быть вместе, — говорил Евгений Николаевич. — Про меня в деревне всякое болтают, а я никому ещё в помощи не отказывал. Ко мне часто приходят: то пятерку, то десятку дай. Другой раз последние отдаю. Правда, люблю, чтобы возвращали, за здорово живёшь тоже работать неохота.

— Я отдам, — сказал Кузьма.

— Да я не про тебя, я знаю, что ты отдашь. Вообще говорю. У тебя совесть есть, я знаю. А у некоторых нет — так живут. Да ты сам знаешь — что тебе говорить! Народ всякий.

Евгений Николаевич всё говорил и говорил, и у Кузьмы разболелась голова. Он устал. Когда он, наконец, вышел на улицу, последний туман, который держался до обеда, рассеялся, и светило солнце. Воздух был прозрачный и ломкий — как всегда в последние погожие дни поздней осени. Лес за деревней казался близким, и стоял он не сплошной стеной, а делился на деревья, уже голые и посветлевшие.

На воздухе Кузьме стало легче. Он шёл, и идти ему было приятно, но где-то внутри, как нарыв, по-прежнему зудила боль. Он знал — это надолго.

Мария всё-таки поднялась, но рядом с ней за столом сидела Комариха. Кузьма сразу понял, в чём дело.

— Ты уж прибежала, — он готов был выбросить Комариху за дверь. — Почуяла. Как ворона на падаль.

— Я не к тебе пришла, и ты меня не гони, — затараторила Комариха. — Я вот к Марии пришла, по делу.

— Знаю я, по какому ты делу пришла.

— По какому надо, по такому и пришла.

— Вот-вот.

Мария, сидевшая неподвижно, повернулась.

— Ты, Кузьма, в наши дела не лезь. Не нравится — уйди в другую комнату или ещё куда. Не бойся, Комариха, давай дальше.

— Я не боюсь, — Комариха достала откуда-то из-под юбки карты, косясь на Кузьму, стала раскладывать. — Поди, не ворую — чего мне бояться. А на всех если внимание обращать, нервов не хватит.

— Сейчас она тебе наворожит! — усмехнулся Кузьма.

— А как карты покажут, так и скажу, врать не стану.

— Где там — всю правду выложишь!

Мария повернула голову, с затаившейся болью сказала:

— Уйди, Кузьма!

Кузьма сдержался, умолк. Он ушёл на кухню, но и здесь было слышно, как Комариха плюет на пальцы, заставляет Марию вытягивать из колоды три карты, бормочет:

— А казённый дом тебе, девка, слава те господи, не выпал. Врать не стану, а нету. Вот она, карта. Будет тебе дальняя дорога — вот она, дорога, и бубновый интерес.

— Ага, орден в Москву вызовут получать, — не выдержал Кузьма.

— И будут у тебя хлопоты, большие хлопоты — не маленькие. Вот они, здесь. До трёх раз надо, — видно, Комариха собрала карты. — Сними-ка, девка. Хотя нет, подожди, тебе снимать нельзя. Надо, чтобы был чужой человек, который не ворожит. У тебя ребятишки дома?

— Нету.

— Ах ты, беда!

— Да давай сниму, — сказала Мария.

— Нет, нельзя, карта другая пойдёт. Эй, Кузьма! — ласково запела Комариха. — Иди-ка к нам сюда на минутку. Ты на нас, грешных, не сердчай. У тебя своё поверье, у нас своё. Сними-ка нам, дружок, шапку с колоды.

— Язви тебя! — Кузьма подошёл и толкнул сверху карты.

— Вот так. У меня зять тоже не верил, партийный был — как же! — а как в сорок восьмом под суд его отдали, в тот же вечер ко мне за молитвой прибежал.

Она раскладывала карты вниз картинками, продолжала:

— Это ведь до поры до времени не верят, пока жизнь спокойная. А случись беда, да не так чтоб просто беда, а беда с горем — сра-а-зу и про Бога вспоминают и про слуг его, которым в глаза плевали.

— Мели, мели, Комариха, — устало отмахнулся Кузьма.

— А я не мелю. Говорю как знаю. Вот ты, думаешь, не веришь хоть и в эту ворожбу? Это тебе только кажется, что не веришь. А случись завтра война, думаешь, не интересно тебе будет сворожить, убьют тебя или не убьют?

— Да ты раскрывай карты-то, — заторопила Мария.

Комариха отступилась от Кузьмы и затащила опять про бубновые интересы и крестовые хлопоты. Кузьма прислушался: казённый дом не выпал и на этот раз.

После Комарихи они остались дома вдвоём. Мария всё так же сидела за столом, спиной к Кузьме, и смотрела в окно. Кузьма курил.

Мария не шевелилась. Кузьма за её спиной приподнялся и посмотрел туда, куда смотрела она, но ничего не увидел. Он боялся заговорить с ней, боялся, что, скажи он хоть слово, произойдёт что-нибудь нехорошее, что потом не поправить. Молчать было тоже нелегко. У него опять разболелась голова, и острые, тукающие удары били в висок, заставляя его ждать их и бояться.

Мария молчала. Он исподволь следил за нею, но он мог бы и не следить, потому что, пошевелилась она, он в тишине сразу услышал бы любой её шорох. Он ждал.

Наконец она пошевелилась, и он вздрогнул.

— Кузьма, — произнесла она, по-прежнему глядя в окно.

Он увидел, что она смотрит в окно, и опустил глаза.

Вдруг она засмеялась. Он смотрел в пол и не поверил, что это смеётся она.

Она засмеялась во второй раз, но теперь её смех был где-то далеко. Он поднял глаза — её не было. Он испугался. Оглядываясь, он поднялся и осторожно подошёл к двери, ведущей в спальню. Она лежала на кровати.

— Иди сюда, — позвала она, не глядя на него. Он подошёл.

— Ляг, полежи со мной.

Он осторожно лёг рядом с ней и почувствовал, что она дрожит.

Через полчаса она рассказала:

— Ты, поди, решил, что я сошла с ума. Я и правда ненормальная. То плачу, то вдруг стала смеяться. Я вспомнила, кто-то рассказывал, что бабы там, в тюрьмах этих, вытворяют друг над другом. Срам какой. Мне стало нехорошо. А потом думаю: да ведь я ещё не там, я ещё здесь.

Она прижалась к Кузьме и заплакала.

— Ну вот и опять плачу, — всхлипывала она. — Не отдавай ты им меня, не отдавай, хороший ты мой. Не хочу...

Поезд подходит медленно, уже остановившись, в последний раз со скрежетом дёргается и замирает. Кузьма замёрз, но в вагон поднимается не сразу. Стоит, смотрит. Несколько пассажиров с поезда мечутся по перрону, перебегая от одного киоска к другому, — со стороны кажется, что их кружит ветер. Откуда-то из-за туч пробивается лёгкое и тонкое, как высохший лист, солнечное пятно, хотя самого солнца не видно; подрагивая, оно чуть держится на платформе, на крышах вагонов, но ветер быстро срывает его и уносит.

Кузьма ездит редко и всякий раз чувствует себя в дороге беспокойно, будто он потерял всё, что у него в жизни было, и теперь ищет другое, но неизвестно ещё, найдёт или нет. В этот раз особенно: он знает, что надо ехать, и всё-таки ехать боится. А тут ещё ветер. Конечно, ветер не может иметь никакого отношения ни к истории с Марией, ни к поездке в город, он дует сам по себе, как дул, наверно, и в прошлом, и в позапрошлом году, когда у Кузьмы с Марией было всё хорошо, и тем не менее Кузьма не может отделаться от чувства, что одно с другим связано и ветер дует не зря. И то, что не было билетов в общие вагоны, тоже, наверно, не так просто, что-нибудь вроде предупреждения: мол, если не дурак, то поймёшь и куда не поедешь.

По радио объявляют, что до отхода поезда осталось две минуты, и Кузьма, заторопив-

шись, идёт к своему вагону, но перед тем как подняться, оборачивается к вокзалу и думает: с чем же я приеду обратно? Как ни удивительно, это помогает ему, будто он прочитал молитву и доверил свою судьбу кому-то другому, а сам теперь может ничего не делать. Он стоит у окна и смотрит, как за поездом сходятся друг с другом станционные постройки, и ему странно думать, что ещё утром он был дома. Кажется, это было давным-давно. Он вздыхает. Скоро его мучения с деньгами кончатся — плохо ли, хорошо ли, но кончатся: через два дня приедет ревизор, и тогда всё решится. Два дня — это немного. Он чувствует усталость, страшную усталость, которая тем и страшна, что она не физическая — к физической он привык.

— Билет ваш покажите! — раздаётся за его спиной голос.

Кузьма оборачивается — подошла проводница, уже немолодая, уставшая от поездок. Она вертит в руках билет и несколько раз переводит взгляд с него на Кузьму и обратно, будто Кузьма этот билет украл или подделал; в этот момент она, пожалуй, искренне жалеет, что на билеты не наклеивают фотографии пассажиров, а без фотографии доказать ничего нельзя.

Проводница смотрит на сапоги, и Кузьма тоже опускает глаза — на ярком, до стеклянности чистом ковре его поношенные, изрядно запылившиеся в дороге кирзовые сапоги сорок второго размера выглядят гусеницами трактора, на котором заехали в цветник. Кузьма хочет оправдаться и виновато говорит:

— В другие вагоны билетов не было.

— А вы и рады, — зло бросает она и, не имея возможности выгнать его, но и не желая с ним больше разговаривать, делает знак, чтобы он шёл за ней.

Она стучит в одну из узких, будто игрушечных, синих дверок, потом отодвигает её в сторону и, став у входа сбоку, так что Кузьму хорошо видно вместе с его сапогами, фуфайкой и армейской сумкой, говорит виновато, совсем как Кузьма перед этим говорил ей самой:

— Извините, пожалуйста, тут вот пассажир... — она делает паузу и, оправдываясь, заканчивает: — С билетом.

— Неужели с билетом? — шуря один глаз, удивлённо спрашивает военный; потом Кузьма разглядит, что он полковник.

— Не может быть! — сидящий рядом с полковником человек в белой майке с выгибающимся брюшком испуганно повторяет: — Не может быть!

Проводница натянуто улыбается. Потом произносит:

— С билетом...

— Неужели нельзя было посадить к нам кого-нибудь без билета?! — полковник недовольно качает головой и даже цокает языком. — Ведь мы же вас просили.

Человек в белой майке, не сдержавшись, смеётся лёгким, без всякого напряжения смехом, с частыми звуками, совсем как мотор мотоцикла, работающий на средних оборотах, и полковник, выданный этим смехом, теперь тоже улыбается.

— Вы всё шутите, — с явным облегчением говорит проводница, по-прежнему выглядывая из-за двери. — Мне, правда, больше его некуда девать, всё занято. — Уходя, она уже и сама пытается шутить: — Но он с билетом...

— Заходи, заходи, — кивает полковник Кузьме.

Кузьма переступает в купе и у дверей останавливается.

— Полка твоя вон там, — полковник показывает наверх. — Опускай её и, если хочешь, устраивайся. Не робей, тут все свои.

— Да я не робею.

— Воевал?

— Довелось.

— Ну, тем более. Тогда ничего не страшно.

— Относительно того, что всё занято, она, мягко говоря, несколько присочинила, — подаёт вдруг голос человек, лежащий на второй нижней полке. — Рядом с нами, в девятом, тоже трое. Туда она, однако же, не пошла.

— Ну-у, — понимающе отвечает ему человек в белой майке. — К ним она так просто не пойдёт.

— А к нам, выходит, можно?

— Она, Геннадий Иванович, привыкла разбираться, кто из нас чего стоит. Ей удостоверения личности не нужны. И тебя она в первую же минуту рассмотрела, что ты всего-навсего какой-то там директор радиостанции, — человек в белой майке подмигивает полковнику.

— Не директор радиостанции, а председатель областного комитета по радиовещанию и телевидению, — сухо поправляет Геннадий Иванович.

— Поверьте, для неё это не имеет разницы.

— Не понимаю... — Геннадий Иванович поджимает губы, так и не договорив, чего он не понимает. Он лежит в пижаме, пижамные брюки заправлены в носки, роста он маленького, с красивым немужским лицом, на котором прежде всего обращают на себя внимание большие, холодно глядящие глаза. Голову с гладко зачесанными длинными волосами Геннадий Иванович поворачивает медленно, с достоинством, а повернув, поправляет её так, чтобы она сидела красиво.

Кузьма всё ещё стоит; хотел снять с себя фуфайку, но посмотрел — обе вешалки с той стороны, где его полка, заняты, а повесить её поверх дорогого коричневого пальто не решился — не замарать бы пальто. Фуфайка вообще-то чистая, но мало ли что — всё-таки надёванная. Сумку он пристроил на свободное местечко на полу у дверей — так что с сумкой всё в порядке.

Опустить бы полку, может, там и для фуфайки найдётся место где-нибудь в ногах, но Кузьма не знает, как она опускается; на всякий случай он дергает её вниз и, обернувшись, встречает насмешливые глаза Геннадия Ивановича.

— Подожди, подожди, — полковник поднимается и снимает задвижку, которая держала полку. — Вот так. Техника, брат. А то ты мужик здоровый, чего доброго, вагон перевернёшь.

— Из деревни? — спрашивает Кузьму человек в белой майке.

— Из деревни.

— Постель должна быть где-то там, — полковник показывает на нишу над дверью, похожую на деревенские полаты. Туда, в эту нишу, и заталкивает Кузьма фуфайку, потому что его полка обтянута белым и положить на неё фуфайку нельзя. Но, слава богу, место нашлось. Он чувствует, что стало легче, теперь осталось пристроить куда-нибудь самого себя.

— Как ты думаешь, Геннадий Иванович, почему я догадался, что товарищ из деревни? — спрашивает человек в белой майке.

— По духу.

— Нет, по лицу. Обрати внимание: у деревенских, почти у всех, без исключения, чёрные, загорелые лица. Они всегда на воздухе.

— А я думал, по духу, — насмешливо повторяет Геннадий Иванович.

Полковник, освобождая для Кузьмы место, отодвигается, и Кузьма садится — сначала на краешек, потом, поняв, что Геннадий Иванович заметил это, устраивается удобней. Он сидит у двери, у окна сидит человек в белой майке, между ними полковник. На другой полке — с подогнутыми в коленях ногами лежит на спине Геннадий Иванович. Кузьма поднимает на него глаза и сразу отводит их: Геннадий Иванович внимательно рассматривает его. Потом Кузьме кажется, что Геннадий Иванович смотрит на него не переставая, но он размышляет, что смотреть не переставая тот не может, а значит, это ему только кажется — такие у него глаза. Видно, он уже давно начальник, думает Кузьма, а сам по себе человек не сильно добрый. Голос у него слабый, голосом он взять не может, вот и научился брать глазами, чтобы люди его глаз боялись.

— Как вы там в деревне, дорогой товарищ? От-стра-дова-лись? — человек в белой майке с трудом произносит непривычное для себя слово.

— Отстрадавались, — отвечает Кузьма.

— И как урожай?

— В этом году ничего. В нашей местности вообще-то больших урожаев не бывает, но в этом году по двенадцать центнеров пшеницы на круг взяли.

— В этом году урожай везде хороший, — говорит полковник. — Так что деревня живёт.

— А она всегда живёт, — с нажимом, как бы вдавливая слова, говорит Геннадий Иванович. — Когда нет своего, берёт ссуду у государства, когда надо расплачиваться, снова берёт ссуду. И так до тех пор, пока государству ничего не остаётся, как плюнуть на эти долги и аннулировать их.

— Это было не от хорошей жизни, — заглядывая в окно, возражает человек в белой майке. — Сами знаете.

Геннадий Иванович хмыкает.

— Сколько рабочих ваш завод теряет каждую осень, когда в деревне начинается уборка? — спрашивает он.

— Что ж поделаешь? Видно, иначе нельзя. Деревне одной не под силу.

— А, бросьте. Но давайте даже допустим, что это так. Почему же в таком случае, когда у вас горит план в конце года, а деревне в это время делать почти нечего — почему она не посылает своих людей, чтобы помочь вам, как вы помогли ей? На равноправных началах, как хорошие соседи.

— На заводе нужна квалификация.

— У вас сколько угодно работы, где можно обойтись без квалификации.

— Геннадий Иванович, ты говоришь так, будто знаешь завод лучше меня.

— Конечно, я завод знаю хуже тебя, но деревню, думаю, не хуже, — говорит Геннадий Иванович. — Дело не в этом. Как-то раз один туберкулёзный больной сделал мне очень интересное признание. Я, говорит, если бы захотел, давно бы вылечился, но мне нет интереса быть здоровым. Не понимаете? Я тоже сначала не понял. Он объяснил: четыре, пять месяцев в году он находится в больнице, на полном государственном обеспечении, или в санатории, где они ловят рыбку, гуляют по роще, а государство выплачивает ему все сто процентов заработка. Лечат его бесплатно, питание, конечно, самое лучшее, квартиру в первую очередь — все блага, все привилегии как больному. А он возвращается из санатория и с полным сознанием того, что делает, начинает пить, курит, — особенно если наблюдается улучшение, — лишь бы не лишиться этих привилегий. Он уже привык к ним, не может без них.

— Ну и что? — спрашивает человек в белой майке.

— Ничего, — Геннадий Иванович улыбается ему снисходительной улыбкой. — Но не станете же вы отрицать, что деревня у нас находится на несколько привилегированном положении. Машины мы ей продаём по заниженным ценам, хлеб покупаем по повышенным, и она со своей деревенской хитростью и расчётливостью уже давно поняла, что решать все свои проблемы своими силами ей невыгодно. Хотя, очевидно, могла бы. Она отлично знает, что на уборку из города пришлют машины, людей, надо будет — государство опять даст деньги.

«Ага, все дураки, один ты умный», — думает Кузьма, но молчит.

— Хлеб мы все едим, — говорит человек в белой майке.

— Машины, выпускаемые вашим заводом, тоже, очевидно, на заводе не остаются, — отвечает ему Геннадий Иванович, и человек в белой майке, соглашаясь, неохотно кивает. — Правильно вы говорите: хлеб мы все едим, но с каждого надо спрашивать за тот участок, за который ему поручено отвечать, по всей строгости. С нас тоже спрашивают. А с деревней мы почему-то позволяем себе заигрывать, будто она в другом государстве. Торгуемся с ней.

— Что это вы сегодня на неё ополчились? — спокойно спрашивает полковник, но в его спокойном голосе слышно — нет, не приказание — а всего только вежливое и тем не менее настоятельное желание, чтобы этот надоевший ему спор заканчивали.

— Почему ополчился? Нисколько. Как видите, я пытаюсь разобраться в причинах её отставания, — не сразу сдаётся Геннадий Иванович. — Я считаю, что мы сами в этом виноваты. Сейчас это положение начинают понимать. В некоторых местах отказались от посылки горожан в деревню, и выяснилось, что она прекрасно обходится своими силами.

— Честное слово, Геннадий Иванович, разберутся и без нас — что мы будем себе зря голову ломать? — добродушно шурясь, но по-прежнему твёрдо говорит полковник. — Давайте найдём себе дело по силам. К примеру, преферанс.

Человек в белой майке моментально оживляется:

— Правильно. Действительно, пора начинать, а то спорим чёрт знает о чём. Пассажиры мы или Совет министров? — Он окликает Кузьму:

— Эй, дорогой товарищ, ты в преферанс играешь?

— В преферанс? — Кузьма не знает, что это такое.

— Он в «дурака» играет, — подсказывает Геннадий Иванович.

— В «дурака», ага, играю, — простодушно признаётся Кузьма.

Раздаётся смех — смеются полковник и человек в белой майке, а на лице Геннадия Ивановича сияет довольная улыбка; громкий и лёгкий, похожий на звук мотоциклетного мотора, смех человека в белой майке разносится по всему вагону. Полковник, отсмеявшись, хлопает Кузьму по плечу:

— «Дурак» тоже хорошая игра, но нам нужен преферансист. В «дурака» сыграем в следующий раз... Придётся вам опять идти за своим товарищем, — говорит полковник человеку в белой майке. Тот, вскакивая, козыряет:

— Есть!

Они возбуждены, говорят громко, и в купе становится тесно. Только Геннадий Иванович спокойно лежит на своём месте. Человек в белой майке надевает пиджак, стягивает его на животе пуговицей и, дурачась, начинает чесать нос, а сам поглядывает на Геннадия Ивановича:

— Геннадий Иванович, сколько мы вчера на вас записали?

— Не очень много.

— Неужели не хватит?

— Хватить-то хватит, — Геннадий Иванович смотрит на часы, — но там сейчас перерыв.

— Это можно устроить.

Человек в белой майке, насвистывая что-то весёленькое, выходит, и из коридора доносится его голос:

— Девушка, хорошая, загляните в наше купе, пожалуйста.

Через минуту в дверях появляется проводница, уставшими глазами смотрит на полковника. Полковник показывает ей на Геннадия Ивановича. Геннадий Иванович совсем не просящим, твёрдым голосом говорит:

— Услуга за услугу, девушка. Вашего пассажира с билетом мы устроили, теперь хотим вас попросить об одолжении. — Он протягивает ей деньги. — Бутылочку коньяку, если вы ничего не имеете против. Вы там человек свой, вам дадут.

— Ну ладно, — привычно соглашается она.

Кузьма размышляет, что делать — взобраться на свою полку или выйти в коридор, но, ничего не решив, снова принимается ругать себя за то, что взял билет в мягкий вагон.

Если идти в коридор, всё равно надо снимать сапоги, а то увидит опять проводница, и начнётся. Корчит из себя барыню, а сама такого же роду-племени, как и он, ничем не лучше. Только работа другая. Вот что работа делает с человеком.

Кузьма стягивает с ног сапоги, разматывает портянки и чувствует, что Геннадий Иванович наблюдает за ним. Кузьме опять становится не по себе, в нём поднимается не то злость, не то робость. «Я ему как бельмо на глазу», — думает он. Рядом стоят блестящие хромовые сапоги полковника, и Кузьма скорей заталкивает свои под скамью и в носках выходит в коридор. «Теперь пускай придерётся».

Он стоит у окна и слышит за спиной голос проводницы, принесшей коньяк, потом голосов сразу становится много — это человек в белой майке привёл преферансиста. Они смеются, называют какие-то цифры, затем в наступившей тишине до Кузьмы доносится знакомое побулькивание, и кто-то от души крикает.

Ветер на улице не стал меньше. Небо серое, с грязными потёками, по воздуху, как по реке в половодье, несёт мусор. Маленькие посёлки в пять-шесть домиков вдоль дороги

отстоят друг от друга недалеко, будто это ветром разнесло какую-то большую станцию. Даже из вагона видно, как сильно раскачиваются провода, и, кажется, слышно, как они гудят — натужно, из последних сил, мечтая оторваться и замолчать.

— Эй, товарищ! — слышит Кузьма голос человека в белой майке и оборачивается. — Послушай, а что, если мы тебе предложим обменяться вагонами вот с товарищем? — Человек в белой майке показывает на преферансиста. — Он вот тут рядом едет, в купейном, а у нас, видишь ли, выявились общие интересы, хотелось бы вместе.

— Если вы согласитесь, я думаю, вам будет там даже лучше, — говорит преферансист.

— Мне всё равно, — безразлично отвечает Кузьма.

Полковник внимательно смотрит на него:

— Если ты не хочешь, то и не надо, это совсем не обязательно. Это нам так, блажь в голову пришла, думаем, может, засидимся, а тебе отдохнуть надо будет.

— Мне всё равно, — повторяет Кузьма.

— Вот и замечательно, — радуется человек в белой майке. — Я же говорил, что согласится. Теперь осталось только договориться с девушками. А к нам, если хочешь, будешь в гости приходить, — говорит он Кузьме. — Это вот рядом, в соседнем вагоне. Сейчас мы всё устроим.

Кузьма, постояв, наматывает портянки, натягивает сапоги. Подпрыгнув, он хватается за рукав фуфайки и стягивает её вниз. Потом поднимает с пола сумку. Вот он и готов. Обмен так обмен — ему действительно всё равно. Лишь бы ехать. Если бы ещё обменяться на общий вагон, было бы совсем хорошо. Кто знает — может, там и предложат.

Преферансист ждёт его.

— До свиданья, — оборачиваясь, говорит Кузьма.

— Будь здоров, — отвечает ему полковник.

Магазин опечатали, ставни замкнули на болты, и только бумажку с объявлением, что магазин закрыт на учёт, с дверей так и не сняли; люди, завидев бумажку, шли к ней, поднимались ради неё на высокое крыльцо и подолгу читали. Надо бы сорвать бумажку, но её не срывали — опасались навредить Марии: пусть уж, пока Кузьма ищет деньги, считается, что учёт не кончился, чтобы обмануть этим Мариину судьбу.

Магазин был как проклятый — уже сколько народу пострадало из-за него! Ещё надо благодарить Бога, что до войны был живой Илья Иннокентьевич, он проработал в магазине без малого десять лет, и ничего. Но Илью Иннокентьевича не надо было учить, как торговать: у его отца раньше была своя лавка, которая потом перешла к нему, и он за прилавком привык стоять с малолетства.

А после Ильи Иннокентьевича началось. Первой, сразу после войны, пострадала переселенка Маруся, над которой деревня подсмеивалась за её хохлацкий выговор, но которую любила и жалела за её бедовость, за то, что видела своими глазами войну и кое-как спаслась от неё с двумя ребятишками. Маруся лучше многих деревенских понимала в грамоте и всё же не убереглась. Сейчас уж никто не помнит, какая у неё была недостача. Марусе дали пять лет, ребятишек её отправили в детдом, и что со всеми с ними случилось, больше в деревне не слыхали.

Остатки получились у однорукого Фёдора, но он оказался удачливей других и выкрутился, сказав, что держал свои деньги вместе с магазинными. Сначала ему не поверили и даже увезли его в район, но он стоял на своём, и его в конце концов отпустили, хотя в магазине работать не позволили. Но он бы туда и сам ни за какие пряники больше не пошёл, с тех пор он говорит об этом при каждом удобном случае.

До Марии продавщицей была Роза, молоденькая, совсем девчонка, которую выгнали за что-то из раймага и направили сюда. Роза работала не по часам, а по охоте: захочет — откроет магазин, не захочет — не откроет. На выходные и на праздники она уезжала к себе в район и не показывалась по три дня, а потом привезёт с собой какую-нибудь мелочишку и говорит, что получала товар, — попробуй докажи, что она гуляла. В деревне её не любили, но и она тоже не скрывала, что этот магазин и эта деревня ей нужны, как собаке пятая

нога, и не один раз собиралась уезжать, но её не отпускали, потому что работать было некому. Из Александровского, из училища механизации, к ней часто наведывались ребята, и тогда начиналась гулянка; ребята-то, наверно, и помогли Розе схлопотать три года за недостатку.

После Розы магазин не работал четыре месяца — в продавцы больше никто не шёл. Людям даже за солью, за спичками приходилось ехать за двадцать вёрст в Александровское, а туда приедешь — когда открыто, а когда и закрыто. Что уж там говорить — деревня намаялась всласть: свой магазин под боком, десяти минут хватит, чтобы обернуться туда-обратно, — нет, надо терять день, а то и два. Сельсовет названивал в райпотребсоюз, оттуда отвечали: ищите продавца на месте, а люди говорили: хватит нам план на тюрьму выполнять. Каждый боялся. Своими глазами видели, чем кончается это продавецство, а деньги, чтобы позариться на них, платили тут не такие уж и большие.

Но весной как будто засветилось: Надя Воронцова, беременная третьим, дала согласие — но только после того, как родит. Ей оставалось ходить ещё месяца два, после родов тоже за прилавок её сразу не поставишь — значит, и там месяца два, не меньше, ей надо дать. На это время и стали искать продавца. Вызывали, кого можно было, в сельсовет и там уговаривали. Вызвали и Марию.

У Марии тогда, как нарочно, всё одно к одному сходилось. Её последний парнишка рос слабым, болезненным, и за ним нужен был уход да уход. Это бы ещё полбеды, но Марии и самой по-доброму надо было оберегаться, потому что она лечилась и врачи не велели ей делать тяжёлую работу, да ведь это только сказать легко, а где в колхозе найдёшь её, лёгкую работу? Даже заикаться о ней неудобно — вот и ворочала всё подряд, себя не жалела. Пока сходило, но Мария всё же опасалась, что так её ненадолго хватит, а ребятишки ещё маленькие. Пусть бы подросли.

В то время они жили ещё в старом доме, который стоял рядом с магазином, — тоже удобно: ребятишки на глазах, чуть выдалась свободная минута, можно покопаться в огороде, а если кому надо в магазин — крикнет, и она уже здесь. Прямо лучше не придумаешь. И для семьи было бы хорошее подспорье: после ссуды, которую Кузьма взял на новый дом, деньги им теперь надолго были заказаны.

И всё же, когда Марию вызвали в сельсовет и заговорили о магазине, она наотрез отказалась.

— Тут и не такие головы летели, куда уж мне, — отговорила она и ушла.

На другой день, высмотрев, что Кузьма дома, председатель сельсовета пришёл к ним сам. Он знал, чем их пронять, и стал говорить о том, что надо же кому-то до Нади Воронцовой выручать деревню, которая уже измаялась без магазина, и Мария для этого самый подходящий человек.

Кузьма сказал:

— Смотри сама, Мария. — И отшутился: — Если что — корову вон можно отдать, а то уж надоело каждое лето сено косить.

Мария понимала, что деревню и правда надо кому-то выручать, и, сложив на коленях руки, уже не качала головой, как в начале разговора, а только молча, со страдальческим выражением слушала председателя; она страдала оттого, что и отказываться дальше казалось нехорошо, и согласиться было страшно.

— Не знаю, как и быть, — повторяла она. В конце концов председатель добился того, что она согласилась. Через неделю магазин открыли, а через четыре месяца, когда наступило время выходить Наде Воронцовой, Надя сказала, что она передумала. Мария, до смерти перепуганная, закрыла магазин и потребовала, чтобы у неё сделали учёт. Да ведь не зря говорят: от судьбы не уйдёшь. Всё сошлось, разница получилась так себе, всего в несколько рублей.

Мария после ревизии успокоилась и стала работать.

Вот так оно всё и вышло.

Работа, если сравнивать её с колхозной, была нетрудной — конечно, опасной, но не трудной, а когда надо было перенести из склада что-нибудь тяжелое, то помогал Кузьма,

да и любой из мужиков, если попросить, не отказывал в помощи. Утром Мария открывала магазин в восемь часов и торговала до двенадцати, потом до четырёх был обед, а с четырёх до восьми опять полагалось торговать. Но Марии этому распорядку следовать было не обязательно, она только открывала вовремя, а в остальные часы, когда не было народу, могла находиться дома. На тот случай, если кто придёт, она оставляла дежурить на крыльце ребятишек, они звали её, и она прибежала, ждать себя подолгу не заставляла ни разу. В деревне не все бабы понимают время по часам, а которые и понимают, да забывают, что обед, и идут когда попало — Мария и в обед, если была дома, тоже открывала: её, Марии, от этого не убудет, а старухе не придётся из последних сил шлёпать два раза с другого края деревни. Мужики, те, наоборот, не знают время вечером — уже девять, десять часов, совсем темно, а они являются за бутылкой. Им объясняешь: магазин уже опечатан, никакой бутылки сегодня не будет — нет, не поймут, одно по одному: дай, жалко тебе, что ли? На такие случаи Мария стала держать водку ещё и дома — ящик так и стоял под кроватью, и летом, бывало, торговала прямо через окно; если Марии не было, мужики искали Кузьму, как-то раз три бутылки продал даже Витька.

Но в долг водку Мария не отпускала. А то мужикам дай волю, они позаберутся, а расплачиваться потом опять придётся не кому-нибудь — бабам. Мужику что, он когда пьяный, то только сейчас безденежный, а завтра он будет всех богаче — вот и гуляет, не думает о том, что семья сидит без копейки. Нет денег — не пей. Одно время по договорённости с женой Михаила Кравцова Дарьей, которая устала умываться слезами из-за его пьянок, Мария не стала давать ему водку совсем, даже за деньги. Михаил кричал, грозил, что будет жаловаться, но Мария как сказала, так и держалась; тогда он привёл председателя сельсовета и пошёл в наступление при нём.

— Вот ты Советская власть, — доказывал он, обращаясь к председателю, — скажи мне: есть у нас такие законы, чтобы человек за деньги не имел права купить, что он хочет? Чего она из себя корчит — законы тут свои устанавливает? Кто ей позволил? Ты скажи ей, скажи.

— Дай ты ему, — чтобы только отвязаться, — сказал председатель.

Мария решила схитрить.

— Доверенность принесёт — тогда дам.

— Какую ещё доверенность? — разинул рот Михаил.

— Принеси от Дарьи доверенность, что она позволяет тебе взять бутылку, тогда дам.

Председатель махнул рукой и ушёл. Михаил ещё покричал, покричал и хлопнул дверью, пообещав сжечь магазин. Потом Дарья рассказала, что он, требуя доверенность, набрасывался на неё с кулаками, пока она не убежала. И всё же Михаила в тот вечер опять видели пьяным — видно, взял через вторые руки. Но тут уж Мария ничего не могла поделать.

Она знала, что люди при ней с удовольствием идут в магазин. Бабы собирались даже тогда, когда им ничего не надо было покупать. Стоят у прилавка, выстроившись очередью, обсуждают свои дела или перемывают кому-нибудь косточки. Старухи сидят на ящиках — несколько ящиков Мария так и не убирала из магазина, чтобы на них можно было сидеть. Мужики зимой перед работой заходили сюда курить, и Мария заставляла их топить печку. В старые праздники, если магазин был открыт, вваливались компании; тогда Мария, чтобы видеть, как пляшут, взбиралась на прилавок, потом её стаскивали оттуда, заставляли закрывать магазин и вели с собой, пока она где-нибудь по дороге не сбегала.

Ей нравилось чувствовать себя человеком, без которого деревня не может обойтись. Если посчитать, то таких было немного: председатель сельсовета, председатель колхоза, врач, учителя и специалисты. И вот она. И то — если агроном уедет куда-нибудь на месяц, можно и не заметить, а она один раз три дня проболела, не открывала магазин — так поизбегались: когда да когда? Мария видела, что теперь с ней многие хотят завести дружбу, но старалась для всех быть одинаковой. Она хорошо помнила, как ещё в первый месяц работы привезла в магазин клеёнки, которых не было давным-давно; бабы, узнав про клеёнки, потянулись к ней домой, и каждая подговаривалась, чтобы Мария по знакомству оставила

ей хоть одну. Мария тогда будто бы и шуточно, чтобы никого не обидеть, но всё-таки твёрдо сказала так:

— Да вы что, бабы? Это в городе по знакомству достают — там у продавцов есть знакомые, а есть и незнакомые. А вы мне тут все знакомые — как я другим-то в глаза будут глядеть? Вот завтра пораньше приходите и берите.

Утром Кузьма вышел на двор чуть свет — на крыльце уже толкалась очередь. Мария вскочила и, даже не убираясь по хозяйству, потому что невмочь было убираться, когда люди стоят и ждут, продала эти клеёнки задолго до восьми часов, когда надо было открывать магазин.

Чуть ли не с первого же дня Марии пришлось завести тетрадь, куда она записывала должников. К концу эта тетрадь вся была в цифрах, к одним цифрам прибавлялись другие, потом они зачёркивались, за ними шли новые. А что будешь делать, если приходит Клава, с которой вместе росли и которая живёт одна с двумя ребятами, и говорит, что её Катюку без формы не пускают в школу, а денег на форму сейчас нет? Дорогие вещи Мария редко давала в долг, всё больше по мелочи. Когда долг становился большим, Мария заставляла сначала расплатиться, а потом уж снова разрешала брать по записи. Но в последнее время, ожидая ревизию, она собрала со всех; только Чижовы остались должны четыре рубля восемьдесят копеек.

Ревизию она начала просить ещё с лета и всякий раз, приезжая за товарами, шла в контору и спрашивала, когда к ней пришлют ревизора. Требовать она не научилась, ей обещали, и она уезжала. Работать так, вслепую, не зная, что у тебя за спиной, стало невмощно. Когда ревизор, наконец, приехал, она не то чтобы испугалась, но как-то вся замерла, затаилась в ожидании того, что будет, и, если он спрашивал её о чём-нибудь, она вздрагивала и отвечала не сразу. Но даже в самых худших своих опасениях Мария не ждала того, что получилось. Когда закончили все подсчеты и ревизор показал их ей, она будто подавилась и весь этот вечер и почти весь следующий день не могла как следует продохнуть.

Она плакала, жалея и проклиная себя, и, плача, хотела себе смерти. Когда она думала о смерти, становилось легче, она словно проваливалась куда-то в потустороннее и уже оттуда смотрела на ребятшек, на Кузьму, представляла, как они будут жить без неё, и забывалась в жалости к себе. Но это продолжалось недолго, недостача, как палач, который дал ей немножко передохнуть, доставала её затем отовсюду, где она хотела умереть своей смертью, и снова принималась казнить — было больно и страшно, о чём бы она ни подумала, как бы ни повернулась, всё равно было больно и страшно, и она лежала без движения.

Потом пришёл Кузьма и сказал, что председатель колхоза обещает ссуду. Сначала она не поняла, что это может значить, но затем вдруг спасение представилось ей так близко и ярко, что она испугалась, как бы Кузьма не упустил его, и, обхватив Кузьму за шею, повалив его, стала умолять, чтобы он спас её, — с ней как бы сделался припадок. Кузьма прикрикнул на неё, потом лёг рядом и приласкал её, и она, измученная, всю ночь не сомкнувшая глаз, уснула — даже не уснула, а забылась, не страдая, — так пусто и хорошо стало на душе.

Её разбудила Комариха, и Мария обрадовалась ей, сама попросила сворожить. Карты показали хорошее; Мария про себя подумала, что, даст бог, ещё и обойдётся, если Кузьма успеет собрать сколько надо... в ней снова шевельнулась надежда, и Мария решила, что надо и ей тоже выйти в деревню и попробовать поискать деньги.

Из школы прибежал Витька и принёс четыре рубля и восемьдесят копеек. Чижовы подкараулили его где-то по дороге и велели передать матери.

После обеда Мария пошла к Клаве, с которой дружила с детства. Клава молча усадила Марию на кровать, села рядом и, обняв её, прижавшись к ней вплотную, заголосила сильным и чистым, как на запевках, голосом. Марии опять стало страшно, и она заплакала. Клава, услышав её плач, заголосила ещё сильнее. Но и плача, Мария чувствовала, что она делает не то, что надо, и скоро, вытирая слёзы, к огорчению Клавы, поднялась и ушла.

У заулка к реке Марию остановила Надя Воронцова и стала говорить, что она, Мария, видно, с ума сошла, что приняла тогда этот магазин, что она сама себя решила в тюрьму посадить — не иначе. Ведь сразу же было видно, что до добра он её не доведёт.

Мария, не дослушав, повернулась и пошла домой. Больше она в деревню не выходила. Больше она не верила, что у Кузьмы что-нибудь выйдет с деньгами. Почему не верила, она и сама не знала.

В купе, куда перебрался Кузьма, поменявшись местами с преферансистом, едут старик и старуха с одинаково седыми до полной белизны волосами и одинаково белыми, тоже как поседевшими, крупными лицами. На одной из верхних полок смята постель, значит, третий пассажир тоже есть, но, видно, куда-то вышел.

Кузьма опять снимает сапоги и уже собирается взобраться на свою полку, но в купе вваливается пьяный парень. Некоторое время он удивлённо смотрит на Кузьму, не спуская с него глаз, присаживается рядом со старухой, сразу же поднимается, вдруг веселеет и протягивает Кузьме руку:

— Будем знакомы.

Кузьма называет себя. Парень веселеет ещё больше, но тут же делает серьёзное лицо.

— Понятно, — говорит он. — Кузьма, значит. Будем знать. А это бабушка. — Он выбрасывает одну руку влево. — Это бабушка, — вторая рука опускается вправо. — А это я. — Он складывает руки у себя на груди и хохочет.

— Эк красиво! Эк красиво! — качает головой старуха. — Незнакомый человек, ты его не знаешь, а позволяешь себе. Не обращайтесь на него внимания, располагайтесь, — говорит она Кузьме. — Он у нас опять в ресторан ходил.

— А что я такого сказал? — гремит парень. — Разве я его обидел? Кузьма, я обидел тебя?

— Пока ничего обидного не было, — осторожно отвечает Кузьма.

— Во! Слышала, бабуся? Кузьма не обиделся. Ну, бабуся, опять ты на меня тянешь!

Он подсаживается к старухе и, подмигивая Кузьме, обнимает её.

— Уйди! — сердится старуха. — Скорей бы приехать. Надоел, честное слово!

— Ну-у? Неужели надоел? Со стариком всю жизнь живёшь — не надоел, а я раз обнял — и надоел! Дед! — кричит он. — Отбить у тебя старуху?

— А это как сумеешь, — неторопливо отзывается старик.

Парень умолкает. С пьяной задумчивостью он смотрит на старика, потом на старуху и устало декламирует:

— «Жили-были дед да баба, ели кашу с молоком...»

— Эк красиво! Эк красиво!

— «Рассердился дед на бабу, хлоп по пузу кулаком».

Парень оживает:

— Дед, а ты когда был помоложе, бил свою старуху или нет?

— Я её за всю жизнь пальцем не тронул, — с достоинством отвечает старик.

— Ни разу, ни разу?

— Ни разу.

— Теперь таких мужиков и нет, как мой старик, — говорит старуха.

— Куда уж там!

Парень ждёт, что ему будут возражать, но все молчат. Он смотрит на каждого из них по очереди, просто так, ни от чего морщится и из последних сил спрашивает Кузьму:

— Так ты, Кузьма, с нами, что ли, поедешь?

— С вами.

— Давай.

Он опускает глаза и долго смотрит себе под ноги. Вагон мягко и мерно покачивает. Парень опускает руки, голову, закрывает глаза. Мимо проносится встречный поезд, но парень не слышит.

Кузьма забирается на свою полку. Старуха внизу тормозит парня:

— Ложись, так тебе неудобно. Вот хоть на мою приляг.

— А что — у меня своей нету?

Он поднимается, долго и тяжело лезет наверх и уже со своей полки что-то непонятно бормочет.

Кузьма оборачивается к нему — парень лежит с закрытыми глазами, и на его лице нет ничего, кроме сна.

Кузьма тоже закрывает глаза. Но засыпает он не сразу. Стук колёс то отодвигается от него, то с грохотом надвигается — тогда Кузьма, пугаясь, открывает глаза и прислушивается. Он смотрит в окно — там всё ещё ветер. Кузьма устраивается поудобнее и в который раз пытается уснуть. В конце концов он засыпает.

Ему снится странный сон. Будто идёт общее колхозное собрание, на котором обсуждается вопрос о деньгах для Марии. Народу собралось столько, что в клубе, где проводят лишь отчётные собрания, на этот раз тесно. Многие пришли со своими табуретками, многие стоят в проходах, а люди всё идут и идут.

— Товарищи колхозники! — поднимается председатель. — Есть предложение закрыть двери. Все желающие сюда всё равно не войдут.

Двери закрывают.

— Для ведения собрания нам надо избрать рабочий президиум, — говорит председатель. — Со стороны правления мы предлагаем избрать в президиум следующих товарищей: Марию и Кузьму. Ребятишек ихних выдвигать в президиум не будем по причине несовершеннолетия. Кто «за» — прошу голосовать.

Все «за». Кузьма и Мария под аплодисменты зала поднимаются на сцену и садятся за стол президиума. Кузьма всматривается в зал и почему-то не видит ни одного знакомого лица. «Мария, — испуганно шепчет он, — посмотри: народ-то не наш, чужой». — «Да ты что? — отвечает она. — Что с тобой, Кузьма? Все наши».

Кузьма всматривается в зал внимательней и теперь, когда аплодисменты стихли, видит, что люди и в самом деле все свои, деревенские.

— Товарищи колхозники! — говорит председатель. — Есть предложение помочь Марии.

Снова звучат аплодисменты.

— Мы тут между собой обсуждали этот вопрос, — продолжает председатель, — и решили так: надо сейчас всех пересчитать, выяснить, сколько тут нас есть, а потом, зная, сколько Марии требуется денег и сколько нас здесь присутствует, мы будем иметь понятие, по сколько рублей сбрасываться. Есть другие предложения?

— Нет.

— Тогда прошу считать по рядам. Но предупреждаю: за попытку выдавать одного человека за двоих будем выводить из зала.

Пока считают, Кузьма за столом президиума от радости щекочет Марию в бок. Она дёргается и смеётся. «Бессовестный, — шепчет она. — В президиуме так не делают. Сиди смирно». Он затихает.

— Двести двадцать пять человек, — кричат из зала.

— Тысячу рублей разделить на двести двадцать пять человек, — подсчитывает председатель за трибуной, — на каждого выходит по четыре рубля и сорок копеек.

— Чего там — по пять рублей на брата, — округляют сразу несколько голосов.

И вот стол, за которым сидели Кузьма и Мария, — уже не стол, а ларь, и в него со всех сторон, из многих-многих рук падают деньги. Через пять минут ларь полон. Мария не выдерживает и плачет, и слёзы, как горошины, падают на деньги и со звоном скатываются внутрь.

— Все отдали? — спрашивает председатель. — В таком случае счётную комиссию прошу приступить к своим обязанностям.

Несколько человек выходят из зала и начинают считать деньги. Они собирают их в пачки — пятерки, тройки и рубли отдельно, сверху, совсем как в банке, надписывают сумму и складывают пачки аккуратной стопкой.

— Одна тысяча сто двадцать пять рублей, — наконец объявляют они.

Председатель с неудовольствием качает головой.

— Сто двадцать пять рублей излишку. Что будем делать?

— Пускай забирают все, — советуют ему.

— Нет, так нельзя, — не соглашается он. — Сто двадцать пять рублей — большие деньги. У меня есть вот какое предложение: давайте все деньги унесём в музыкальную

комнату, и по одному каждый из нас войдет туда. У кого недостаток в деньгах, тот пускай возьмёт рубль или два обратно. Прошу не шуметь и не возмущаться: мы не миллионеры. Кто не хочет брать — не надо, но чтобы непонятно было, кто взял и кто не брал, войти туда обязан каждый. Есть другие предложения?

— Нет.

Деньги уносят. Люди по одному поднимаются, заходят в музыкальную комнату и сразу же возвращаются на свои места. Последней идет Комариха. Кузьма видит, как она вскакивает, оглядываясь, прикрывает за собой дверь. И вдруг ещё там, в музыкальной комнате, раздаётся её крик.

Комариха выбегает, обводит зал обезумевшими глазами и кричит:

— Там их нет! Нет ни копейки! Я хотела взять только рубль.

Зал взрывается от смеха. Люди хватаются за животы, визжат и стонут, показывают друг другу на Комариху пальцами. Комариха стоит посреди зала с открытым ртом и вдруг, не выдержав, тоже начинает смеяться. Кузьма смотрит на зал с удивлением и ужасом; ничего не понимая, он оглядывается на Марию: присев, она корчится от смеха.

Кузьма просыпается и слышит, как старуха говорит старику:

— Серёжа, давай грелку, пойду горячей воды налью.

Прижав грелку к груди, она уходит. Тихо. Только постукивает по рельсам поезд, но звука этого, если к нему не прислушиваться, не слышать. В окно падает серый, измученный ветром свет, в мягко покачивающемся вагоне он успокаивается, становится по-сумеречному уютным. Парень спит, подперев огромным кулачищем подбородок.

Старуха возвращается, побулькивая водой в грелке, сует её старику под одеяло. В зеркало внизу Кузьме видно, как старик вытягивает ноги и замирает.

— Сегодня не болит? — спрашивает его старуха.

— Нет, сегодня спокойно.

— Ну и хорошо.

Они переговариваются тихими, заботливыми голосами, и голоса эти незаметны, они не вырываются из тишины, будто совсем не звучат, а только угадываются. Кузьма чувствует, что ему больше не уснуть, но признаться себе в этом не хочет; тогда придётся о чём-то думать или что-то делать. И он лежит с закрытыми глазами. Больше всего он боится думать о том, что мог бы значить этот сон с деньгами. Приснится же такое! Ничего он, конечно, не значит, просто думаешь все время об одном и том же, надумано уже столько, что теперь лезет обратно. А всё же на душе нехорошо. Одно к одному: ветер, история с билетом и вот теперь этот сон. Неужели ничего у него не получится? Неужели всё зря?

— Серёжа, — доносится до Кузьмы голос старухи, и Кузьма рад, что он может к чему-то прислушаться и отвлечься от своих страхов. — Серёжа, уж теперь телеграмма наша, наверное, пришла, правда?

— Теперь, конечно, получили, — отвечает старик.

— Ждут.

Старуха ласково, с откровенной радостью улыбается, и щёки на её широком, крупном лице расплзаются ещё шире. На несколько минут лицо её так и застывает с этой улыбкой, потом, устав, улыбка тихонько сходит с лица.

В тот же день, когда Кузьма был у Евгения Николаевича, от директора школы прибежал мальчишка.

— Евгений Николаевич сказал, что он завтра в район не может ехать и что теперь он поедет послезавтра и всё сделает, как договорились.

— Ладно, ладно, — согласился Кузьма.

У него как раз, поджав под себя по-турецки ноги, сидел на полу возле печки дед Гордей. Когда мальчишка убежал, дед Гордей спросил:

— Много он тебе посулил?

— Сто рублей.

— Мог бы побольше дать, у него деньги есть.

— Говорит, нету больше.

— Слушай ты его! — хмыкнул дед. — Нету — как же! Грамотный, холера, сильно! Не столько грамотный, сколько хитрый, — вот как я тебе скажу. Наш брат хитрить не мастак, он схитрит, его сразу видать, а Евгений Николаевич схитрит, и тебе же перед ним неловко, будто это ты схитрил, а не он. Грамотный, о-о!

Кузьма промолчал.

Дед Гордей сидел у него уже часа полтора. Кузьме надо бы куда-нибудь идти и что-то делать, а он вместо этого слушал болтовню деда. Сказать, что ты, дед, мешаешь, тоже нехорошо — ещё обидится. И Кузьма отмалчивался, надеясь, что деду одному говорить надоест и он уйдёт.

Деду Гордею было за семьдесят, но старел он плохо. Правда, за последний год он почему-то покосился на один бок, и за это в деревне его успели прозвать лейтенантом Шмидтом в честь парохода «Лейтенант Шмидт», который шлёпал по реке уже лет тридцать, но после войны от старости или от чего-то ещё стал заваливаться на правый борт и ходил, загребая им воду. Пароход несколько раз ставили на ремонт, но выправить никак не могли, и он снова, к тайной радости береговых деревень, появлялся со своей старой, знакомой всем осанкой.

Кособокость деду Гордею, видно, мешала не сильно, потому что бегал он по-прежнему бодро. По ночам дед сторожил в мастерских, а днём от нечего делать бродил по деревне. Если он усаживался на пол и доставал старую, прокуренную до дырки внизу трубку, можно было не сомневаться: это надолго. Деду торопиться было некуда. Он жил один в маленькой заброшенной избушке на краю деревни, а свой пятистенный дом оставил сыну, с большой и ругливой семьёй которого он не ужился, и после смерти старухи перебрался в «курятник», как он называл свою избушку. В «курятнике» и в самом деле было грязно: сам дед убирать не привык, и только Комариха, доводившаяся ему дальней родственницей, раз в месяц, а то и раз в два месяца, причитая, выгребала из избушки лишнее. Но дед этого не замечал.

Устраиваясь поудобнее, дед Гордей вытащил из-под себя одну ногу, пристроил её так, чтобы можно было на неё облакачиваться, и сказал:

— Холера, и у меня-то, как на грех, денег нету, а то бы ты беды не знал.

— Ладно тебе, дед, — отмахнулся Кузьма. — Откуда у тебя деньги — чего тут говорить!

— Дак вот, нету. А то бы мы с тобой не сидели, не мараковали, а пошли бы да и взяли у меня.

— Я уж как-нибудь сам справлюсь, — сказал Кузьма, давая понять деду, что он обойдётся без него. — Чего я ещё тебя буду впутывать в это дело?

Дед, обидевшись, умолк. Он выбил из трубки себе на колено пепел, дунул на него и снова стал набивать трубку, сосредоточенно вдавливая табак большим пальцем. Уходить никуда он не собирался и, раскурив трубку, тут же забыл об обиде.

— Дак ты, говоришь, у Евгения Николаевича был? — снова начал он.

— Был, был.

— У него деньги есть, пожалел он тебе. Может, мне у него от себя спросить?

— Не надо, дед. Найду я. Это моя забота, а не твоя. Шёл бы ты лучше отдыхать.

На этот раз дед рассердился совсем не на шутку.

— Ты, Кузьма, как ребёнок малый. Я что, для себя стараюсь, что ли? Я весь свой век без денег жил и теперь остатки без них проживу — мне их не надо. Табак у меня свой, кусок хлеба тоже есть, а трубку прикурить я и от уголька могу. Мне, старику, деньги что есть, что нету, я на них, знаешь...

— Ладно, дед, ладно, — примирительно сказал Кузьма.

— Мне обноски свои донашивать до самой смерти хватит. А ежели выпить, то я аппарат сооружу и такого накапаю, что огнём гореть будет, не хуже твоего спирту. Я за весь свой век сколько раз деньги в руках держал — по пальцам сосчитать можно, я с малолетства был приучен всё сам делать, на свои труды жить. Когда надо, и стол склочу и катанки

скатаю. В голодуху, в тридцать третьем году, и соль для варева на солонцах собирал. Это теперь всё магазин да магазин, а раньше в лавку два раза в год ходили. Всё своё было. И жили, не пропадали. А теперь шагу нельзя ступить без денег. Кругом деньги. Запутались в них. Разучились мастерить — как же, в магазине всё есть, были бы деньги. Ещё слава богу, если их нету у кого — там ребяташки хоть не разучатся руками двигать, на себя будут надеяться, а не на деньги. А то ведь это что? На иждивение перешли. И маленькие и большие.

— Раскипятился ты, дед.

— Я правду говорю. Когда у нас раньше бывало, чтоб деревенские друг дружке за деньги помогали? Хошь дом ставили, хошь печку сбивали — так и называлось: помочь. Была у хозяина самогонка — ставил, не было — ну и не надо, в другой раз ты ко мне придёшь на помощь. А теперь всё за деньги. Огород спасет — десятка, сена привезёт — десятка, а если отвернётся, не чихнёт на тебя, то дешевле — рубль. Работают за деньги и живут за деньги. Везде выгоду ищут — ну, не стыд ли?

— Давай, дед, кончай, а то это разговор надолго.

— Да я уж всё сказал. Ты думаешь, если старый, дак дурак. Я всё понимаю, поболее твоего пожил. И людей всяких видел.

Трубка у него за это время погасла, он спохватился и, причмокивая, стал её раскуривать. Потом курил — молча, с закрытыми глазами. Кузьма подумал, что теперь он должен уйти. Уже смеркалось, на дворе раз за разом надсадно кричала недоеная корова, но Мария после обеда куда-то ушла, и корова старалась зря.

— Если брать с верхнего края, — очнувшись, заговорил снова дед и объяснил Кузьме: — Это я всё маракую, к кому тебе пойти. Кто там, на верхнем краю, денежный? У Евгения Николаевича ты был. О-о, этому палец в рот не клади. Этот у себя, на верхнем краю, пукнет, на всю деревню во-онько пахнет, а как до дела коснись, чтоб человеку помочь, десять раз оглянется, пока рубль даст, будто на рубль здоровье своё отдаёт. А так и есть: изведётся весь, а здоровье от этого тоже садится.

— Да чёрт с ним, вот пристал ты ко мне с Евгением Николаевичем! — обозлился Кузьма.

Дед Гордей будто и не услышал его, продолжал говорить:

— У Петра Ларионова нету, этот простофиля. Этот бы тебе весь белый свет отдал, если бы он у него был. Вот так жизнь и устроена, что рядом с Евгением Николаевичем живёт Петька Ларионов, а они друг дружке как небо и земля. В одном месте родились, на одном языке разговаривают, а нет, не родня. — Со спокойным удивлением дед покачал головой и продолжал: — Ежели к агроному тебе стукнуться, дак он опять с леченья недавно, поди, поистратился. Оно сходить можно — вдруг да осталось сколько. Заработки у него хорошие: говорят, с государства деньги идут и с колхоза трудодни. Правда это?

— Правда.

— Сходи в таком разе. Глядишь, даст. А не даст, к Мишке, к соседу его, загляни, — дед коротко хохотнул, как кашлянул. — У этого разживёшься! Этот на три года вперёд всё с себя пропил. Ой, пьё-от! У кого тут ещё возьмёшь? — тянул своё дед. — Не знаю, Кузьма, не скажу тебе. И живут люди вроде неплохо, а всё на жизнь и уходит. В заначку шибко не спрячешь. У всех ребяташки, своя нужда. Теперь и время вроде сытное, ещё хорошо, что твоя беда теперь подгадала, а не весной, дак тебе картошку или зерно не будешь по дворам собирать. Кому ты их продашь? То-то и оно. На сто вёрст кругом такой же мужик живёт.

Дед заговорил о том, о чём Кузьма со страхом думал и сам: денег в деревне немного и лишних скорей всего нет. На трудодни выдали только хлеб, а продать его и правда было некому, да он ерунду и стоит. Но не мог же Кузьма согласиться с дедом, что да, дело табак, он не имел права даже так думать. И он сказал:

— Найдём, дед, найдём.

— Найдём, — передразнил его дед. — У кобылы под хвостом они спрятаны — там ищи.

— Деньги у людей есть.

— Откуда они?

— Может, скажешь, у той же Степаниды денег нету, когда она каждый год то корову, то быка в колхоз сдаёт? Да у ней, поди, тысячи припрятаны.

— У Степаниды, однако, и правда есть.

— Вот, у Степаниды. У механизаторов тоже должны быть. Им в уборочную и премиальные, и такие, и сякие платили.

— Дак это когда было.

— Есть у людей деньги, дед. Неужто я со всей деревни не соберу? Неужто не выручат? Врёшь, дед, выручат.

— А я тебе ничего такого и не говорю.

— Ну и ладно, — Кузьма оживился, поверил в свои слова сам. — Мы с тобой, дед, не пропадём. Иди-ка ты теперь на своё дежурство, а я пойду делать обход. Вот возьму мешок и в мешок буду собирать. А что? Один наберу, за другим приду. А потом тебя в сторожа найму, чтоб ты деньги мои охранял.

— Ну и балаболка ты, Кузьма, — прищурился в улыбке дед.

Он стал подниматься: сначала встал на четвереньки и только потом на ноги.

Растирая бок, на который клонился, сказал Кузьме:

— Дак я к тебе буду заходить узнавать.

— Заходи, заходи, дед. Чем железо караулить, будешь у меня к деньгам приставлен. Ты сторож для меня подходящий, у тебя трубка, на раскурку их ты непустишь.

— Кхе-кхе-кхе, — закашлялся в смехе дед.

Когда человеку под пятьдесят, трудно сказать, есть у него друзья или нет. Столько самых разных людей, как в гостях, перебивало у него за это время в друзьях, что теперь осталось только умудрённое с годами, молчаливо-спокойное отношение к близкому человеку. Не чаще, чем с другими, они встречаются, не имеют общих тайн, но при случае каждый из них осторожно, словно не доверяя самому себе, вспоминает, что есть у него человек, который, когда понадобится, поймёт его и поможет ему.

Вечером Кузьма пошёл к Василию. Сразу после войны одно время они вместе работали на полutorке — на весь колхоз тогда была только одна машина, на которой они и ездили: сами шофёры, сами грузчики. Потом Кузьма пересел на американский «студебеккер», а полutorка осталась Василию, и он на удивление долго ещё мусолил её на колхозных побегушках, пока она окончательно не развалилась. Колхоз как раз получал две новые машины ЗИС-150, которые отдали Кузьме и Василию, но Василий на своем ЗИСе проработал недолго: у него что-то началось с глазами, тут, как на грех, подоспела проверка, и его комиссовали. Последние четыре года Василий был бригадиром овощеводов.

Они встречались чуть не каждый день, как встречаются в деревне все, но с годами постепенно отошли друг от друга. Они здоровались, говорили друг другу всякие слова о чём попало и расходились. Но старое, так и не вытесненное ничем чувство, что Василий свой человек ему, в Кузьме продолжало жить, и он берёт в себе это чувство, думал о Василии хорошо и спокойно и про себя надеялся на него. Был ещё один человек, к которому Кузьма относился как к товарищу, но тот, другой, был председатель, поэтому Кузьма сам старался держаться от него подальше, чтобы не получилось, что он навязывается к начальству в друзья-приятели.

Василий встретил Кузьму без удивления и без радости, молча пожал ему руку, как это и водится, спросил о житье. Видно было, что он уже слышал о недостатке и теперь не знает, как себя вести, а охоть да давать бесполезные советы он не умел. Они сидели и курили. То и дело из кухни к ним выходила жена Василия, смотрела на Кузьму со страхом и с жалостью, но, ничего интересного не услышав, снова пропадала. Расспрашивать Кузьму не решались, а сам он отмалчивался. Он чувствовал себя человеком, которого ночь настигла в чужой, незнакомой деревне, и он попросился в этом доме переночевать. Ложиться ещё рано, и вот теперь все они, и хозяйева, и он, поночёмщик, так и не познакомившись как следует и не разговорившись, с трудом коротают время.

Кузьма поднялся и попрощался. Василий вышел его проводить. У ворот они постоя-

ли, помялись, чувствуя, что встреча вышла неловкой, но поправлять её было уже поздно. Василий сказал:

- Ты заходи, Кузьма, когда время будет.
- Зайду, — пообещал Кузьма.

Тогда Кузьма впервые подумал о брате. На худой конец, если он не достанет денег в деревне, можно поехать в город к Алексею. Брат, говорят, живёт хорошо.

Кузьма не был в городе у брата, а виделись они в последний раз семь лет назад, когда умер отец.

Это было осенью, в горячее, страдное время, и Алексей, вызванный из города телеграммой, провёл тогда в деревне два дня и сразу после похорон уехал. Они договорились, что он приедет на сороковины, когда отцу можно будет устроить неспешные, обстоятельные поминки, на которые соберётся вся родня, но почему-то так и не приехал, и поминки прошли без него. Потом, месяца через два, он написал, что был в командировке.

Кузьма редко вспоминал Алексея. Это случалось, когда он думал об отце или матери; тогда само собой приходило на память, что он не один, что на свете их живёт два брата. Но они настолько отвыкли друг от друга, что мысли об Алексее казались Кузьме не настоящими, не его собственными, будто кто-то ему подсказал их. И он сразу же опять надолго забывал об Алексее. Получалось так, что они братья не всегда, не каждую минуту, а только при встречах, да ещё были ими в детстве, когда вместе росли.

Три года назад Мария ездила в город в больницу и остановилась у Алексея. Она переночевала там две ночи, а потом, вернувшись, сказала, что лучше жить у чужих. О том, что Алексей с женой живут богато, она говорила без удивления и без зависти. «И телевизор, и стиральная машина есть, а только, куда ни взгляни, за тобой присматривают, не натворила бы чего, куда ни ступи, за тобой идут и следы твои подтирают. Разговаривали без интереса. Мы для них что есть, что нету. Нет уж, больше меня к ним калачом не заманишь».

В прошлом году адрес брата взял у Кузьмы Михаил Медведев, одноклассник Алексея, с которым они вместе после войны учились в ФЗУ. Михаила колхоз на зиму отправлял на курсы бригадиров, и он решил там наведаться к Алексею. Когда он приехал обратно, Кузьма при встрече поинтересовался:

- Ну как, был у брата?
- Был, ага, заходил.
- И как он там?
- Хорошо. Живой, здоровый. Мастером на фабрике работает, — уклончиво ответил Михаил.

И только позже по пьянке пожаловался:

- Узнать меня узнал, а за товарища не захотел признать. Бутылку и ту не распили.

Размышляя об этом, Кузьма решил, что брат для деревни совсем уж отрезанный ломоть — и потому, что его не манит сюда приехать, посмотреть, как живут свои и не свои, походить по старым, с детства знакомым местам и разбередить этим душу, и потому, что ему неинтересно с деревенскими разговаривать, знать хоть со слов, что случилось с дедом Фёдором, который когда-то жарил его крапивою, или с девочками, которых он провожал с полянки. В глубине души Кузьма обижался на Алексея, но это была слабая, не болящая обида.

В конце концов брат сам должен понимать что к чему, он не маленький. У них с деревней это обоюдное: брат постепенно забывал свою деревню, а стало быть, и своё детство, а деревня постепенно забывала, что был у неё когда-то такой человек.

Но если Кузьма приедет к нему, Алексей, конечно, поможет. Все-таки брат, одна кровь. У него деньги должны быть. Кузьма объяснит, что это ненадолго, что через два месяца с небольшим ему дадут в колхозе ссуду и он сразу вышлет. И как он раньше не вспомнил о брате?

Дома, чтобы успокоить Марию, Кузьма сказал:

- Если в эти дни не соберу сколько надо, поеду к Алексею.
- Не даст он, — помолчав, сказала она.

И вся уверенность в том, что ему надо ехать к брату, у Кузьмы сразу пропала.

К деньгам Кузьма всю жизнь относился очень просто: есть — хорошо, нет — ну и ладно. Это отношение выработалось главным образом оттого, что денег постоянно не хватало. У них в доме почти всегда была хорошая, сытная еда: хлеба Кузьма зарабатывал вдоволь даже в неурожайные годы, молоко и мясо шли со своего двора. Но деньги... Он слышал о колхозах, где на трудодень приходится по полтора и даже по два рубля, верил, что так оно в самом деле и бывает, но у них в таёжном колхозе, в котором поля, как заплатки, были разбросаны то здесь, то там, никто ещё больше полтинника на трудодень не получал. Последние три года, с тех пор как взяли ссуду на постройку дома, при зимних, годовых расчётах Кузьма и совсем получал копейки. То, что зарабатывала в магазине Мария, шло на ребятишек. Когда в семье четыре парня, одежка на них горит как на огне. Ещё удивительно, что Мария как-то сводила концы с концами и ребятишки ходили чисто, не хуже других; старших не стыдно было отправлять в школу, а младшие, как это и водится с испокон веков, донашивали одежку старших.

Кузьма не считал, что они живут плохо. Самое необходимое в доме есть, раздетыми, разутыми никто не ходит. Он никому не завидовал. К людям, живущим лучше его, он относился так же спокойно, как и к тем, кто выше него ростом. Если он не дорос до них, не ходить же ему теперь на цыпочках. В конце концов каждый топчет свою дорожку.

Кузьма не понимал и не старался понять, как у людей остаётся сверх того, что уходит на жизнь. Для него самого деньги были только заплатками, которые ставятся на дырки, необходимостью для необходимости. Он мог думать о запасах хлеба и мяса — без этого нельзя было обойтись, но мысли о запасах денег казались ему забавными, шутовскими, и он отмахивался от них. Он был доволен тем, что имел.

У них на почте, где была также и сберкасса, вот уже несколько лет висел на стене плакат, на котором розовощёкий, не похожий ни на кого из деревенских мужиков мужчина без устали призывал каждого: «Брось кубышку — заведи сберкнижку». Но когда на почте бывал Кузьма, мужчина смотрел мимо него. Кузьма, дурачась, переходил с места на место, лез под его взгляд, но мужчина с плаката всякий раз отворачивался, смотрел где-то рядом с Кузьмой и всё-таки мимо. Кузьма, довольный, уходил.

И вдруг понадобилось сразу много денег. Кузьма растерялся. Почему деньги выбрали его? Ведь он никогда не имел с ними ничего серьёзного. Казалось, за это они и решили ему отомстить. Волей-неволей ему приходилось теперь не просто размышлять, а постоянно думать об одном и том же: где достать деньги? К Евгению Николаевичу он пошёл сразу потому, что всегда слышал: у него деньги есть. А дальше? Ещё до деда Гордея он мысленно прошёлся по деревне от одного края до другого и вернулся домой ни с чем: одни жили лучше, другие хуже, но каждый в своём доме жил своим, у каждого были свои дырки, на которые он готовил заплатки.

Кузьма даже в мыслях не осмеливался просить у них деньги. Он представлял себе свой обход так: он заходит и молчит. Уже одно то, что он пришёл, должно было сказать людям всё. Но и они молчат, и это молчание, в свою очередь, также говорит ему больше и яснее всяких слов. Он прощается и идёт дальше. В каждый дом заходить нет смысла, он выбирает только те, где, как ему кажется, могут быть деньги. Но деньги с порога не увидишь, их почему-то всегда прячут: засовывают в щели к тараканам, в карманы старых пиджаков, на дно чемоданов. Считается, что деньги боятся света. Если бы они, как фотографии хозяев, были на виду. Кузьма сам бы решил, надо ли здесь, в этом доме, просить, он бы лишнее не взял. Но и там, где они спрятаны, и там, где их вовсе нет, он в одинаково трудном положении: его встречает молчание, а что за ним — безденежье или скупость, нежелание понять его беду, — он не знает.

И всё же Кузьма надеялся, что на самом деле все будет по-другому. Кто-то отмолчится, а кто-то войдёт в его положение, скажет просто и легко: «У нас тут, кажется, есть полсотни, на мотор к лету копили, но тебе сейчас они нужнее — возьми». Хозяин как бы между прочим протянет ему деньги, и он тоже как бы между прочим возьмёт в руки тоненькую тёплую пачечку из нескольких бумажек, без особого внимания засунет её в карман, и они с хозяином снова займутся разговором о чём придётся, но ни один из них даже словом не заикнётся больше о деньгах.

Кузьма и пошёл сперва к Василию, чтобы почувствовать, может ли он на что-то надеяться, он хотел начать с удачи, а не с отказа, чтобы у него не опускались руки, когда он пойдёт дальше. И ничего не получилось. Кузьма вернулся домой и не сел, а как-то осел на табуретку у окна, не зная, с какого боку теперь приниматься за поиски денег. Но потом вспомнился брат, и Кузьме стало легче.

Он понимал: деньги есть и в деревне, пусть немного, но есть. Каждому хочется жить не хуже других. Ради того чтобы скопить на мотоцикл, мужик будет ходить в последних штанах, а рубль припрячет; он спит и видит себя с мотоциклом, и на заплатки на штанах ему наплевать.

На такие деньги Кузьма и рассчитывал. На мотоцикл или на мотор их ещё не хватает, и они пока лежат без пользы и без движения, никому не делая добра. Так неужели люди откажутся на время дать их Кузьме, чтобы он мог отстоять Марию? Не может быть!

В окно, в закрытый ставень постучали.

— Кто там? — приподнялся Кузьма.

— Кузьма, выйди на минутку, — позвали с улицы.

Мария выскочила из спальни, испуганно прижала руки к груди.

— Кто это?

— По голосу будто Василий. Чего ты испугалась?

— Сама не знаю.

Василий стоял у ворот, выступая из темноты высокой, крупной фигурой.

— Чего в избу не заходишь? — спросил Кузьма.

— Нехорошо получилось, — не отвечая, сказал Василий. — Ты пришёл, а поговорить не поговорили. Зачем приходил-то?

— Сам знаешь зачем.

— Догадываюсь.

— Ну вот. Что ещё говорить? Я же знаю, денег у тебя нету, — со слабой надеждой сказал Кузьма.

— Нету. У бабы где-то лежат двадцать рублей, и всё.

— В избу заходить будешь?

— Нет. Там разговора не получится. Давай сядем здесь.

Они сели на скамейку у ворот, закурили и, поглядывая в темень перед собой, долго молчали, но не тяжёлым, понятным молчанием. Сбоку, уходя вправо от них, горели деревенские огни, оттуда доносились голоса, иногда срывался и затихал где-то возле клуба смех. Было не поздно, но деревня уже успокаивалась, не успев привыкнуть к ранней темноте. Голоса и звуки раздавались поодиночке и становились всё реже.

Папиросы докурились; почти в одно время они бросили их себе под ноги и ещё помолчали. Потом Кузьма пошевелился, сказал:

— Живёшь, живёшь и не знаешь, с какой стороны тебя огреют.

— Это так, — отозвался Василий.

— Ещё вчера всё ладно было.

— А завтра кто-то другой на очереди. Может, не из нашей, из другой деревни, а потом и до нашей снова дойдёт — до меня или ещё до кого. Вот и надо держаться друг за дружку.

— Да-а.

— Евгений Николаевич даёт тебе, я знаю, а ещё кто есть, нет?

— Пока никого. Хочу завтра к Степаниде сходить, да, однако, не шибко выгорит.

— К Степаниде? — Василий с сомнением повёл головой, помолчав, сказал: — А давай завалимся к ней сейчас. Вдвоём на неё надавим. Она же в бригаде у меня, может, при мне постыдится отказать.

— Пошли. Чтоб уж сразу.

— А откуда ты знаешь про Евгения Николаевича? — уже по дороге спросил Кузьма.

— Баба сказала. Да он сам, наверно, не вытерпел, доложил. Как не похвалиться — доброе дело собрался делать!

— Я теперь как космонавт, — невесело пошутил Кузьма. — Куда ни пойдешь, вся деревня знает.

— А ты как думал? Ты теперь на двор ходи и оглядывайся, чтоб не сфотографировали. Смех смехом, а рубли твои — это уж точно — вся деревня считает.

— Сейчас Степаниде и говорить не надо, зачем пришли. Она, поди, с утра ждёт.

— И место подыскала, куда прятаться.

Они засмеялись. Рядом с Василием Кузьма чувствовал себя легче, и беда его не стояла теперь комом в одном месте, а разошлась по телу, стала мягче и как бы податливей. И хоть надежды на то, что им повезёт, было мало, Кузьма знал, что от Степаниды они выйдут вместе, прежде чем расходиться, будут разговаривать и, наверно, о чём-нибудь договорятся на завтра. Это его успокаивало, помогало не думать всё время об одном и том же.

Степанида жила в большом, на две семьи, доме вдвоём с племянницей Галькой, которая осталась ей от умершей сестры. Гальке шёл семнадцатый год, но девка она была крупная и уже давно переросла Степаниду что ввысь, чтовширь. Мир их почему-то не брал, и они жили как кошка с собакой; когда в избе становилось тесно, выскакивали во двор и крыли друг друга на всю деревню таким криком, что соседские собаки, оглядываясь, с поджатыми хвостами переходили на другую сторону улицы.

Когда мужики вошли, Степанида засуетилась, запричитала от радости, но на её лице появилось да так и не сошло потом настороженное выражение с одной мыслью: к чему бы это? Улыбка то и дело проваливалась, но Степанида снова водворяла её на лицо и, суетясь, ждала. Мужики разделись, сели рядом на скамейке. На голоса из комнаты вышла Галька — в коротком, тесном ей платьице, с голыми крепкими коленками.

— Явилась! — найдя себе дело, напустилась на Гальку Степанида. — Смотрите на её, красавицу писаную. Хошь бы оделась, не показывала мужикам срамоту свою.

— А то они не видали! — лениво огрызнулась Галька.

— У-у, бесстыжие твои глаза!

— Ага, а твои не бесстыжие?

— Иди отседова.

Галька, подмигнув мужикам, ушла.

— Измаялась я с ней, — стала жаловаться Степанида. — Ой девка, не приведи Господь никому такую. Сколько она из меня крови высосала!

— Ага, была там у тебя кровь, — отозвалась Галька. — У тебя там помои, а не кровь.

— Во, слышали? Ей слово, она тебе десять. Ей десять, она тебе тыщу. И как я ещё дюжу, сама не знаю. Вот счастье-то выпало под старость лет.

— Делать вам нечего, вот и грызётесь, — сказал Василий. — Ты, Степанида, лучше другое скажи: неужели ты нам ничего не подашь?

Степанида растерянно прищурилась.

— Ну и хитрый ты, Василий!

— А чего тут хитрого? Я тебе прямо говорю. Мы с Кузьмой идём и про себя думаем: одна надежда на Степаниду, она, если есть, последнее выставит.

— Ой, Василий, да я для хороших людей и сама хорошая. Когда есть, мне её жалко, ли чо ли? Для того и держу: а вдруг хороший человек зайдёт, а мне и поднести нечего.

— Это правильно.

Подбирая юбки, Степанида полезла в подполье, подала оттуда зелёную, в земле, бутылку, закапанную сургучом. Кузьма, сидевший ближе к подполью, принял бутылку, прищурив один глаз, посмотрел её на свет.

— Она, она, — завершила Степанида.

— Вот с этого бы и начинала, — повеселел Василий, — а то связалась со своей Галькой.

— Не поминай мне про её.

Степанида вытерла бутылку о подол, поставила её на середину пустого ещё стола и побежала в амбар — видно, за закуской.

— О деньгах сразу не заговаривай, — предупредил Василий. — Обождём, когда готова будет.

— Да ты сам и скажешь.

— Можно и так.

Из комнаты вышла Галька, увидела на столе бутылку.

— Ого, уже облапошили мою тётку! Ловко вы!

— Ну и змея же ты, Галька! — рассердился Василий. — Тебя спрашивают? Ещё не выросла, чтобы со мной на таком тоне разговаривать.

— Смотри-ка ты! А как с тобой прикажешь разговаривать? По бабушке или, может, по матушке?

— А, да чего с тобой говорить! Ты разве поймёшь?

— Ну и не говори. Я к тебе не навязываюсь. Обидел он меня! Думаешь, я не знаю, зачем вы сюда закатились?

— Тише ты! — зашипел Василий.

— Ага, испугался! Не бойся, не скажу. Только не заедайся, понял? Я ещё и помогать вам буду, если со мной по-хорошему, — она взглянула на Кузьму, жалобным голосом сказала: — Мне тётку Марию жалко. — Снова перевела взгляд на Василия. — Думаешь, если ты постарше, так имеешь право на меня покрикивать? На бабу свою покрикивай. Я к тебе не нанималась.

— Здоровая же ты горло драть, — сдерживаясь, подивился Василий.

— Ага, не на ту напал.

— Ладно вам, — стал успокаивать их Кузьма. Прибежала Степанида, засуетилась возле стола. Усаживая за стол мужиков, стала причитать обычное при гостях, заменившее молитву:

— Ничего такого нету — прямо стыд! Если бы знала, что придёте, чего-нибудь бы и приготовила, а то все на скорую руку. Стыд, стыд...

— Ты, Степанида, не прибедряйся. С такой закуской можно неделю гулять, — успокоил её Василий.

— Уж ты, Василий, скажешь.

Разлили в три стакана. В точно рассчитанный момент, уже когда чокнулись и остановили дыхание, встряла Галька:

— А мне?

Степанида даже дернулась от злости, подалась вперёд.

— Ну, скажите мне, что она не вредительница! Ведь это уметь надо! Ни раньше, ни позже, в самый раз угадала, чтоб испортить людям аппетит. Ой-ей-ей! И за что меня Господь Бог покарал такой холерой?

Галька, ухмыляясь, принесла стакан, поставила его перед Степанидой, а себе взяла её стакан.

— Не трожь, окаянная сила! Кому говорю: поставь на место!

— Налёшь в этот — поставлю.

— Неохота при людях с тобой займываться, а то бы я тебе показала, как с родной тёткой разговаривать, я бы тебя научила...

— Где уж там!

— Ой, окаянная сила! Ой, окаянная сила! — запричитала Степанида, но в стакан плеснула. Галька взяла его, отлила ещё в него из Степанидино и потянулась чокаться.

— Не рано тебе наравне с мужиками пить? — не сдержался Василий.

Галька прищурила глаза, выразительно уставила их на Василия, но он продолжал:

— Ещё молоко на губах не обсохло, а туда же. Что из тебя потом будет?

— Во-во, — поддакнула Степанида. — Слушай, что тебе умные люди говорят, раз уж ты родную тётку ни в грош не ставишь.

Но Галька смотрела на Василия.

— Катись-ка ты отсюда со своей лекцией, — спокойно сказала она. — Я и без тебя грамотная, понял?

— Как ты разговариваешь с человеком? — затряслась Степанида. — Он кто тебе — дядя родной? — так с ним разговаривать! Ты уж совсем, ли чо ли, ума решилась?

— А пускай помалкивает, а то я его быстро на чистую воду выведу.

Кузьма под столом толкнул Василия коленкой, чтобы он отступился от Гальки.

— Ходит где-то хороший парень и не знает, что на него уж тут петля заготовлена, — не смог остановиться сразу Василий. — Вот кому-то достанется золотце.

— Да уж не тебе.

— Упаси бог.

— То-то ты и заоблизывался, когда я в том платье вышла.

Кузьма перебил их:

— Может, мы в бутылку обратно сольём да вас слушать будем?

Выпили. Галька подмигнула Кузьме и показала глазами на Степаниду. Кузьма незаметно покачал головой. Гальке не терпелось видеть, как будут раскошелить её тетку. Вот змея! Вызвалась в помощники, а умишко детский, как бы она со своим гонором не испортила всё дело.

— А ты чего в клуб не пошла? — совсем некстати спросил он её.

Галька прищурилась.

— Мешаю, что ли? Я же вам сказала, я за вас, если он, — она показала на Василия, — не будет заедаться.

— Чего это, чего? — насторожилась Степанида.

— Проехали, — отрезала Галька.

Кузьма замер. Разговаривать с Галькой было опасно. Она и понятия не имела о том, что существуют обходные маневры, или считала их лишними для своей тётки, с которой, мол, не стоит цацкаться, а надо, как курицу, хватать, пока она сидит на месте, и щипать. Нахмурившись, Кузьма показал ей, чтобы она помалкивала. Галька отвернулась.

— А ты чего, тётка, не допиваешь? — разглядела она. — Всех хитрей хочешь быть?

— Э, нет, так у нас не пойдёт, — приподнялся Василий. — Что же ты это, хозяйюшка? Давай, давай. Так у нас не делают.

— Ой, да я с её хворая, — стала отказываться Степанида.

— Ты, Степанида, чудная, как я на тебя погляжу: я, значит, не буду пить, чтобы и вы, гости дорогие, на меня гляючи, тоже кончали это дело. Так выходит.

— Да ты что, Василий, зачем ты на меня так говоришь? Разве я такая? Ты скажешь так скажешь. Разве мне её жалко? Да пейте всю, для того и достала.

— Без тебя не можем, ты хозяйка.

— Сейчас, сейчас, — Степанида заторопилась, допила. — Ты, Василий, прямо обидел меня. Я теперь всё буду думать про это. Да мне для хороших людей ничего не жалко.

— Посмотрим, — сказала Галька.

— Чего это ты, змея подколодная, собралась смотреть?

Кузьма торопливо сказал:

— Наверно, в кино собралась, а на билет нету. Ухажера ещё не заимела, чтоб на свои водил.

— Да её, кобылу, все киномеханики бесплатно пускают. У ей вся деревня ухажеры. Доброго человека с рублём не пустят, а она, откуда ноги растут, вертанет, и денег не надо. Прямо Василиса Прекрасная — куды тебе с добром! Я оттого и в кино это не хожу, что мне за её перед народом стыдно.

У Гальки раздулись ноздри, но Кузьма не дал ей взорваться.

— Давайте ещё по одной, — сказал он. — Тебе, Галька, налить?

— Назло ей буду пить, чтоб она от жадности лопнула.

— У-у, язва! Ждёт не дожждётся моей смерти, а я ей с девяти лет вместо матери была. Поила, кормила и вот вырастила, полюбуйтесь, хорошие люди. Всё для её делала, а от её доброго слова не слышу. Отблагодарила!

Степанида приготовилась плакать, полезла за подолом.

— Ладно вам, — сказал Кузьма. — Давай, Степанида, выпьем, чтоб ты ещё сто лет жила да беды не знала.

— Зачем мне, Кузьма, сто лет? Я уж намаялась, и правда скорей бы на покой. Работать не могу, а люди не верят. Я ведь только с виду здоровая, а изнутри вся порченая. Она вот смеётся, а время подойдёт, поймёт, как это бывает. Поймёшь, поймёшь, голубушка, не подсмеивайся, — голос у Степаниды снова отвердел.

— Сколько у тебя, Степанида, в этом году трудодней? — спросил Василий.
— Двести пятьдесят.
— Да сколько не работала.
— Больная я, Василий.
— Я это к тому говорю, что ты на меня как на бригадира не обижаешься?
— Что ты, Василий, что ты — какие обиды! Где бы я столько заработала? Спасибо тебе.
— И по правлениям тебя нынче таскать не будут, минимум есть.
— Есть, есть. Нынче я спокойна, не подкопаются. А всё ты со своей капустой. Я на тебя рада Богу молиться, а ты выдумал, будто мне бутылку жалко. Ой, Василий, да как это тебе на ум пришло?

Василий сказал:

— А ты знаешь, Степанида, зачем мы пришли?

— Не-ет, — Степанида, не выдержав, быстро и тревожно глянула на Кузьму. — Я думала, так просто, посидеть.

— Притворяется, — безжалостно сказала Галька.

Василий одернул её:

— Да помолчи ты! Без тебя обойдётся. — Степаниде сказал: — Посидеть — это само собой. Но у нас с Кузьмой к тебе ещё одно дело есть. Ты слышала, что у Марии большая недостача?

— Слышать слышала, кто-то сказывал.

— Выручи их, Степанида. Дело серьёзное: если завтра, послезавтра они не соберут, Марию могут забрать. А у тебя, наверно, деньги есть.

— Ой, да откуда у меня деньги?

— Дай им, Степанида. Я ото всей деревни тебя прошу. Дело такое.

— Мы скоро отдадим, — сказал Кузьма. — Мне после отчётного собрания ссуду дают. Это ненадолго.

— Вот видишь, это ненадолго, — продолжал Василий. — Они люди надёжные, дай им, Степанида.

— Да если бы они у меня были, я бы не дала, ли чо ли?

Галька закричала:

— Есть они у ней, есть, не верьте! Есть они у тебя, тётка! — крикнула она Степаниде. — Чего ты врешь?

— А ты их у меня видала? Ты их у меня считала? — подскочила Степанида.

— Не видала и не считала, а знаю, что есть. Ты бы давно уж удавилась, если бы у тебя их не было. Ты бы их украла. Ты кулак, хуже кулака, тебя раскулачить надо!

— Ты мне ответишь за эти слова. В суде ответишь. Ты мне ответишь! — подсакивала Степанида.

— Испугала! Ещё поглядим, кто ответит. Кулачиха, кулачиха!

— Тише вы! — крикнул Василий. Наступило молчание, потом Василий негромко сказал: — Ты посмотри, Степанида, может, сколько есть. Посмотри. Сама знаешь: четверо ребятишек у Марии.

— Не надо, Василий, — попросил Кузьма. Галька взглянула на него, не пряча лица, заплакала.

— Тётку Марию жалко, — причитала она. Слёз у неё было много, и они с крупного покрасневшего лица стекали на шею. Степанида нагнулась и тоже промакнула свои глаза подолом, плачущим голосом сказала:

— Мне Мария как родная. Да я бы для её последнего не пожалела. Она мне столько добра делала.

Снова замолчали. Степанида то и дело наклонялась, вытирала подолом глаза, будто надраивала их, как пуговицы, чтобы они, наконец, заблестели. Наклоняясь, снизу, почти из-под стола, выглядывала на мужиков, не то всхлипывала, не то мычала.

— Хватит тебе, Галька, реветь, — сказал Василий. — Рано ещё Марию оплакивать.

— Врёт она, врёт! — закричала опять Галька. — Я знаю. Видеть её не хоч.

— А не хочешь — ну и выметайся! — подхватила Степанида. — Не заплачу. Хошь сейчас выметайся! Ты мне всю шею переела.

— Пойдём, Василий, — сказал Кузьма.

— Пошли.

Они оделись и вышли. Из Степанидиной избы нарастал крик; с двух сторон деревни на него откликнулись собаки, загавкали густо и дребезжаще. Василий, шагая рядом с Кузьмой, грозился, что выгонит Степаниду из бригады. Кузьме стало всё безразлично. Боль за Марию и ребятишек, вспыхнувшая за столом, когда заговорили о деньгах, теперь прошла, и недостача казалась такой же нестрашной, как это собачье гавканье. Будь что будет. Кузьма чувствовал только, что он устал и хочет спать, всё остальное было неважно.

— Завтра я зайду, — сказал Василий, сворачивая к себе.

— Ага.

Кузьма остался один. Он шёл на самый край деревни, в свой новый дом, поставленный для того, чтобы жить в нём поживать да добра наживать. Деревня спала, только всё ещё подлаивали друг другу собаки. Спали люди, и вместе с ними спали их заботы, отдыхая для завтрашнего дня, чтобы двигаться в ту или другую сторону. А пока всё оставалось на своих местах, всё было неподвижно.

Кузьма пришёл домой и сразу лёг. Он уснул быстро и спал крепко, забыв во сне обо всём на свете.

Так закончился первый день.

Поезд рвётся вперёд, разбрасывая по сторонам дрожащие и тусклые на ветру огоньки. Потом огоньки пропадают, и за окном остаётся белесоватая, ещё не налившаяся до конца темнота. Снова покажется дальний одинокий огонёк, грустно посветит и отойдёт, но за ним вдруг выскочат два, а то и три огонька вместе, высветят перед собой кусок земли — совсем небольшой, с крохотным домиком и поленницей дров или углом сарая. Он сразу же отступает, его смывает темнотой, и опять надо ждать следующий огонёк и следующий домик, потому что без них как-то не по себе.

Кузьма лежит и смотрит в окно. Он устал лежать без движения, смотреть в темноту, как в стену, но что ещё можно делать, он не знает. Хорошо, что поезд идёт и идёт и город всё ближе. Так, отыскивая огоньки, можно ни о чём не думать — это игра, чтобы обмануть себя.

Заворочался на своей полке парень, заскрипел во сне зубами, и старуха внизу, тоже дремавшая, открывает глаза, смотрит на часы.

— Серёжа, — негромко зовёт она. — Проснись, Серёжа.

— Я не сплю, — отзывается старик. — Так лежу.

— Время принимать лекарство.

— Если время, то давай.

— Не болит сейчас?

— Нет, нет.

Кузьма ложится на спину; теперь, когда заговорили старик со старухой, можно опять послушать их и не тарачиться больше в окно. Услышав голоса, снова заворочался парень и сразу же, хмурясь, приподнялся, свесил ноги.

— О-о, — парень увидел, что старик что-то пьёт из стакана. — Наш дед уже опохмелиться решил. Ничего себе.

— У тебя одно на уме, — несердито отвечает старуха. — Серёжа лекарство водой запил, а ты уж бог знает что подумал.

— А что — дед раньше-то, поди, поддавал.

— Нет, Серёжа никогда не пил много. Выпивать выпивал, а пьяным я его не видела.

— А, потом все так говорят. Я, если до старости доживу, тоже буду говорить, что один квас пил.

— Скажи ему, Серёжа, сам.

— А зачем? — рассудительно отвечает старик.

— И то правильно. Они теперь не поймут.

В другое время парень, наверно, сцепился бы спорить, но сейчас ему не до того. Бережно, постанывая и побряхтывая, он опускается вниз и там признаётся:

— Голова трещит — спасу нет!

— Как же ей, голубчик, не трещать, когда ты её совсем замучил, — говорит старуха.

— Кого замучил?

— Голову свою замучил.

Парень через силу улыбается.

— Чудная ты. Говорит, голову свою замучил. Меня баба моя пилит, что я её замучил, а ты говоришь, голову.

— На кого вот ты теперь похож? На человека совсем не похож.

— Это дело поправимое, бабуса. Вон Кузьма, поди, знает, что такое вечернее похмелье. Лучше умереть, чем его переносить, — парень надевает ботинки, медленно, с болью разгибается и лезет в карман пиджака. — Сейчас мы ему скажем свят, свят, и его как не бывало. Можно дальше ехать. Дело знакомое.

Он уходит. Старуха качает вслед ему головой и вздыхает. Кузьма в зеркало видит, что старик, наблюдая за ней, чуть заметно улыбается.

— Ты что, Серёжа? — спрашивает она.

— Ничего, ничего.

— Я что-нибудь не так делаю, да?

— Всё так. Ты не беспокойся.

— Если не так, ты скажи.

— Обязательно скажу, я тебе всегда говорю.

— Да, да.

Кузьме и приятно слушать их разговор и как-то неловко, словно он невзначай стал свидетелем того, что говорится только между мужем и женой. Он закрывает глаза и притворяется спящим, но лежать так скоро становится невозможно, хочется повернуться на бок и куда-нибудь смотреть. Кузьма, как мальчишка, ёрзает, с силой сдавливая глаза. И вдруг он слышит, что дверь открывают. Но это ещё не парень, это проводница.

— Чай пить будете? — спрашивает она.

— Серёжа, чай, — говорит старуха.

— Несите, несите. Чай — это хорошо.

Кузьма сползает вниз.

— Тоже стаканчик выпью, — говорит он.

— Обязательно надо выпить, — отвечает старуха. — Я и то подумала, не разбудить ли вас.

Пристроившись за маленьким столиком, они пьют чай, и старуха угощает Кузьму домашними печенюшками. У Кузьмы наверху в сумке есть яйца и сало, но он не решается достать их, всё думает, что надо достать, и не может осмелиться. К чему им, поди, его сало? Они люди интеллигентные и говорят между собой так, будто только вчера сошлись и не успели ещё друг на друга налюбоваться. А живут давно; старуха рассказывает Кузьме, что они едут к сыну в Ленинград, сын вообще-то каждое лето приезжал к ним сам, но нынче он был в заграничной командировке и не смог их навестить. Она расспрашивает Кузьму, и Кузьма отвечает, что он едет в гости к брату, с которым не виделся семь лет. Старик больше помалкивает, но слушает внимательно. Кузьме хорошо сидеть с ними, и он потом уже не стесняется их, особенно старуху, которая, оказывается, выросла тоже в деревне и деревенских уважает.

Она говорит Кузьме, что все люди родом оттуда, из деревни, только одни раньше, другие позже, и одни это понимают, а другие нет. Кузьме это нравится, он поглядывает на старика, что скажет он, но старик молчит. И доброта человеческая, уважение к старшим и трудолюбие тоже родом из деревни, говорит старуха, но теперь уже сама смотрит на старика.

— Правда, Серёжа? — спрашивает она.

— Возможно.

И тут приходит парень, по песне они слышат его ещё издали. Он закрывает за собой дверь и продолжает петь: «Самое с бабами в мире Чёрное море моё, Чёрное море моё».

— Эх красиво! Эх красиво! — укоризненно качает головой старуха. — И кто тебя таким песенкам учит?

— А что — плохие песенки, что ли?

— Да уж чего хорошего?

— Да ну тебя, бабуся! Уж не знаешь, к чему прикопаться. Цензурные песенки, без мата. Хоть в концерте разучивай, — парень присаживается рядом с Кузьмой и встряхивает, будто взбалтывает, голову. — Почти в норме, — радостно сообщает он. — Чуть-чуть осталось, это пройдёт. Как ты это на меня, бабуся: голову, говоришь, свою замучил?

— И правда. Пьёшь и пьёшь. И денег тебе не жалко.

— Деньги — это ерунда, дело наживное.

— Деньги тоже уважать надо. Они даром не достаются. Ты за них работаешь, силу свою отдаёшь, здоровье.

— Денег у меня много. Они меня, бабуся, любят. Они — как бабы: чем меньше на них внимания обращаешь, тем больше они тебя любят. А кто за каждую копейку дрожит, у того их не будет.

— Как же не будет, если он их не бросает зря на ветер, не пропивает, как ты?

— А так. Они поймут, что он жмот, и — с приветом!

— Вот уж не знаю.

— Точно я тебе говорю. Ты, бабуся, не думай, деньги тоже с понятием. К крохобору крохи и собираются, а ко мне, к простому человеку, и деньги идут простецкие. Мы друг друга понимаем. Мне их не жалко, и им себя не жалко. Пришли — ушли, ушли — пришли. А начни я их в кучу собирать, они сразу поймут, что я не тот человек, и тут же со мной какая-нибудь ерунда: или заболеоу, или с трактора снимут. Я это всё уж изучил.

— Интересная философия, — замечает старик. — Сделайся, значит, простягой, и деньги твои?

— Не-е, зачем? Работать надо, — серьёзно отвечает парень. — Я люблю работать. В месяц по двести пятьдесят, по триста выколачиваю, а зимой, когда трелёвка начнётся, все четырёста. За мной не каждый удержится. Если не работать, откуда им быть?

— Это где же такие деньги? — не выдерживает Кузьма.

— У нас в леспромхозе. У нас механизаторы хорошо получают.

— А что толку? — говорит старуха. — Всё равно ты их и пропиваешь.

— Пропиваю. А что? Я за день намёрзнусь, намаюсь, и не выпить? Что это за жизнь? Я отдых тоже должен иметь.

— Жена тебе, наверное, сама к вечеру каждый день бутылочку берёт?

Парень смеётся.

— Подкусываешь, бабуся? Я бы за такую жену чего хочешь отдал.

— А твоя-то, значит, не очень любит, когда ты пьёшь?

— Ну да, не понимает. Но теперь это неважно. Я с ней разошёлся.

— Разошёлся?

— Ага. Вот недавно. Разошлись, я сразу и поехал.

— А почему?

— Без понятия она, не понимала меня. Поэтому. В бане родилась, а кашлять тоже надо по-горничному. Ну её... — парень бодрится. — На свете баб много.

— Они все, голубчик ты мой, не любят, когда пьют. Каждой охота по-человечески жизнь прожить. А ты явишься домой чуть тёпленький, да ещё начнёшь характер свой показывать, буянишь, наверно.

— Не. Я смирный. Меня если не трогать, я спать ложусь. Но тоже под пьяную руку меня не зудит. Не люблю. Утром говори что хочешь, всё вынесу, а с пьяным со мной лучше помалкивай.

— Неуважение к женщине тоже родом из деревни, — говорит старик старухе.

— Нет, Серёжа.

— Что это? — не понимает парень.

— Серёжа говорит, что женщину в городе уважают больше, чем в деревне.

— А чего её сильно уважать? Она потом на голову тебе сядет с этим уважением. Я знаю. Её надо завсегда в норме держать, не давать ей лишнего. А то слабинку почует — и пропал. Начнёт тебе права качать. Заездить могут.

— Тебя заездишь, — с сомнением говорит старуха.

— Я другой разговор. А есть которые слабохарактерные, им достаётся.

— Ну что ты несёшь? Что ты несёшь? Смотрите-ка, какой заступничек! Сам пьёт, а женщина у него виновата, — не то сердится, не то удивляется старуха. — Вот теперь и достукался, будешь жить один.

— Зачем один? Я себе найду.

— Кто за тебя, за пьяницу, пойдёт?

— Бабуся! — с ласковой укоризной произносит парень. — Стоит только свистнуть... На белом свете, бабуся, полно лишних баб. Им тоже жить охота. Женщины, они слабые, правильно? Они без нас не могут. Я вот сам деревенский, а в город когда приезжаю, завсегда себе бабу найду. Говорят, деньги им надо давать, то, другое — ерунда это, это, может, до революции и было. Теперь у них сознательность. Они обхождение любят, правильно? Им только не хаами, сумей подъехать — и всё в порядке будет.

— И хорошо твоя жена сделала, что разошлась с тобой, — говорит старуха.

— Это ты о чём? — удивляется парень. — Что я бегал от неё? Это неуважительная причина. Все бегают.

— Ты всех на свой аршин не меряй.

— Да что ты мне, бабуся, говоришь. Мне вот одно место давали почитать в одной книжке. Там писатель, не помню его фамилию, пишет, что кто, значит, это... не изменял своей жене, тот вроде дурака, нет у него интереса к жизни. А что? Правильно! С одной-то всю жизнь надоест. Придаетсяя.

— Серёжа, ты слышишь, что он говорит? — улыбаясь, спрашивает старуха.

— Слышу.

— Скажи ему.

— Зачем?

— Нет, ты скажи. Ведь он думает, что так и надо. Ведь он ничего не знает.

— Это его дело.

— Скажи, дед, чего она просит. Жалко тебе, что ли? — говорит парень.

— «Скажи, дед, чего она просит», — передразнивает его старуха. — Этот дед, вот он, перед тобой, живой пример, он за всю свою жизнь ни разу, ни одного разу мне не изменял. А ты говоришь, все такие. Вот он, перед тобой этот дед, смотри, если ты других не видел.

Парень подмигивает старику.

— Ты, думаешь, бабуся, я бы при своей бабе сказал, что, мол, было дело? — представив, что бы после этого началось, парень от души гогочет. — Вот была бы потеха, она бы мне...

Старуха смотрит на него и терпеливо улыбается. Потом говорит — всё с той же терпеливой улыбкой:

— Но он мне в самом деле ни разу не изменял. Почему ты не можешь в это поверить? Парень всё ещё смеётся.

— Откуда ты это знаешь, бабуся?

— Я ему верю.

— А-а... веришь.

— Скажи ему, Серёжа. Он ничего не понимает.

— А зачем мне было ей изменять? — спрашивает старик у парня.

— Как зачем?

— Да... зачем?

— Тебе лучше знать. Она твоя старуха, а не моя.

— Почему ты изменяешь своей жене?

— Интересно.

— Что интересно?

Парень сладко ухмыляется:

— Всё интересно. Какая баба и... вообще... всё. Бабы ведь разные.

— А Серёже было со мной интересно, — просто говорит старуха. — Ему с другими было неинтересно.

Парень с откровенным любопытством, как на иностранца, смотрит на старика.

— Так я ему и поверил, — говорит он.

— Это твоё дело.

Наступает молчание, в котором парень беспокойно вертит головой, поглядывая то на старуху, то на старика. И вдруг он замечает Кузьму.

— А ты, Кузьма, от своей бабы бегал или нет?

Кузьма растерянно улыбается. Во время этого разговора он не один раз вспомнил Марию и остро, до боли почувствовал, как она ему нужна. Всё, что было у них хорошего и плохого, теперь куда-то пропало, они остались одни, будто ещё не начинали свою жизнь, но он, Кузьма, уже знает, что без Марии ему жизни не будет. Он хотел ещё выяснить для себя, отчего это бывает, что человек так прикипает к человеку, и не мог. Неужели только ребятишки, как гвозди, сколачивают их вместе? Нет. Сейчас, когда старик и старуха спорили с парнем, он забывал о ребятах, они оставались где-то за спиной, а Мария будто сидела всё время у него на коленях, так что Кузьма чувствовал её дыхание, и всё слышала.

— А ты, Кузьма, от своей бабы бегал или нет? — спрашивает парень.

И Кузьма признаётся:

— Один раз было.

— Вот видишь, и Кузьма... — хочет что-то сказать парень, но Кузьма перебивает его:

— Подожди. У меня по-другому было. Я с той до войны жил, только мы не расписывались. После войны я сошёлся со своей Марией, но один раз по старой памяти с первой... Она меня вечером встретила...

Старуха с грустью смотрит на Кузьму.

— А Мария ваша не узнала?

— Узнала. Она уходила от меня, но я уговорил её вернуться, пообещал. Больше этого не было.

— А нам вы верите? — спрашивает старуха.

— Верю. В деревне такие тоже есть.

— В деревне! — взрывается парень. — Там всё на виду. Там если мужик на чужую бабу взглянул, в тот же миг вся деревня знает. Там бояться.

— Не потому, — возражает Кузьма. — Там сходятся, чтобы вместе жить.

— Вот и мы с Серёжей всю жизнь были вместе, — говорит старуха и смотрит на старика. — Куда он, туда и я. А если разлучались, то ненадолго. Мне без него было плохо, и ему без меня было плохо. Правда, Серёжа?

— Зачем об этом говорить?

— Мы ещё молодые были, решили, что так будем жить, и живём. Что всё будем вместе принимать — и радость, и горе, и смерть тоже, — старуха говорит спокойно и тихо. — Теперь вот у Серёжи большое сердце, а у меня сердце хорошее, но всё равно у нас на двоих только одно большое Серёжино сердце.

— Вы что, эти самые... баптисты, что ли? — ошарашенно спрашивает парень.

— Какие мы баптисты?! — посмеиваясь одним ртом, отвечает старуха. — Ты слышал, Серёжа? Нас уже в баптисты записали.

А поезд всё идёт и идёт, и город всё ближе и ближе.

Второй день начался с того, что рано утром — ещё ребятишки не убежали в школу — явился дед Гордей. Сел, как всегда, на полу возле печки, запалил свою трубку и, пока помалкивая, не выпускал её изо рта. Кузьма с дедом не заговаривал. Чего он притащился

ни свет ни заря — от бессонницы, что ли? Кому они нужны, его советы, что с них толку? Кузьма вспомнил, как утром, когда поднимались, он сказал Марии, чтобы она перед бабами сильно не распиналась о своей неимовности, и Мария со злостью ответила:

— Учи, учи! Я теперь умная-преумная стала, на тыщу лет вперёд знаю, как надо жить. Все учат.

Потом, когда старшие ребяташки убежали в школу, а Мария ушла по хозяйству, Кузьма спросил:

— Ты, дед, ко мне по какому делу?

— А? — дед засуетился, стал подниматься. — Тут вот... — и протянул Кузьме деньги. — Я вчерась у сына пятнадцать рублей выклянчил, а мне их куды...

— Не надо, дед.

— Как так не надо? — растерялся дед. — Зачем я их нёс? Ты не думай, я ему не сказал, что для тебя.

Он стоял перед Кузьмой с протянутой рукой, из которой торчали свёрнутые в трубочку пятирублёвые бумажки. И смотрел он на Кузьму со страхом, что Кузьма может не взять. Кузьма взял.

— Ты не думай, — обрадовался дед. — Будет, отдашь, а не будет — куды их мне, старику? Сам подумай.

Он собрался уходить, это на него совсем не походило.

— Посиди, дед.

— Нет, побегу.

— Дед!

— А?

— Только ты мне больше деньги не таскай, не надо.

— Как так?

— Я сам. А то у тебя ума хватит по деревне для меня собирать.

— Раз ты не велишь, не буду.

— Не надо, дед, не надо.

Вторым прибежал тот же самый мальчишка, сосед Евгения Николаевича.

— Евгений Николаевич велел сказать, что он собирается в район и вечером будет обратно.

Кузьма спросил:

— А он, когда на двор ходит, не велит тебе по деревне про это сказывать?

Мальчишка, хихикая, выскочил за дверь.

Потом пришёл Василий, коротко сказал:

— Одевайся, пошли со мной.

— Куда?

— К матери.

Кузьма давно уже не видел тётку Наталью, с тех пор, как года три или четыре назад она слегла. Он не мог представить себе, что она лежит в постели — никуда не торопится, ничего не делает, а просто лежит, как все старухи перед смертью, смотрит ослабшими глазами на людей, которые заходят к ней посидеть, с трудом поворачивается с боку на бок. Всё это годилось для кого угодно, даже для самого Кузьмы, но не для тётки Натальи. Сколько Кузьма себя помнил, она всегда, каждую минуту, как заведённая, что-то делала, она успевала в колхозе и дома, выработывала за год по шестьсот трудодней и одна, без мужика, поднимала троих ребят, из которых Василий был старшим. Мало сказать, что она была работающей, работающих в деревне сколько угодно, а тётка Наталья такая была одна. Она никогда не ходила шагом, и деревенские, завидев, как она несётся по улице, любили спрашивать:

— Тётка Наталья, куда?

Она на ходу торопливо отвечала:

— Куда-никуда, а бежать надо.

Эта поговорка осталась в деревне, её повторяют часто, но ни к кому больше она не подходит так, как подходила к тётке Наталье.

В колхозе и сейчас ещё вспоминают, как тётка Наталья вершила в сенокосы зароды. Нипочём потом этим зародам было любое ненастье, всё с них стекало на землю, и они, не оседая, картинкой стояли до самой зимы. А ещё тётка Наталья не хуже любого мужика умела рыбачить. Когда она по осени выходила лучить и зажигала смольё на своей лодке, мужики, матерясь, отгребали от неё подальше.

Она так и не научилась ходить шагом и, видно, из последних сил добежав до кровати, упала. И вот теперь, сама на себя непохожая, словно сама себя пережившая, день и ночь, не вставая, лежит в маленькой комнатке, отгороженной для неё от горницы. К ней приходят старухи, сидят, жалуются на житьё, и она, у которой всю жизнь не было даже пяти минут на разговоры, слушает их, поддакивает.

Когда Василий и Кузьма пришли, тётка Наталья спала и не услышала их. Одно окно было занавешено совсем, другое наполовину закрыто одной створкой ставня, и в комнате стоял полумрак. В нём Кузьма не сразу и разглядел тётку Наталью.

— Мать! — позвал Василий.

Она очнулась, без всякого удивления, будто ждала их, взглянула на мужиков и сказала:

— Василий пришёл. А второй — Кузьма. Давно я тебя не видала, Кузьма.

— Давно, тётка Наталья.

— Поглядеть на меня пришёл? Хвораю я. Глядеть не на что стало.

Она сильно похудела, высохла, голос у неё был слабый, и говорила она медленно, с усилием. Лицо её почему-то стало меньше, чем было, и как бы затвердело; когда она говорила, лицо оставалось неподвижным, даже губы не шевелились, и поэтому казалось, что голос идёт не из неё, а звучит где-то рядом.

— Я и не сильно старуха. Семьдесят нету. Другие поболее ходят. А вот привязалось, — говорила она, и слушать её надо было долго, хотелось в это время найти для себя ещё какое-нибудь занятие.

— Болит-то шибко? — спросил Кузьма.

— Совсем не болит. А ходить не могу. Встану — ноги не держат. Слабая.

— Раз не болит, ну и лежи себе на здоровье, тётка Наталья. Хватит, набегалась. Отдыхай теперь.

— А, ишь ты какой, Кузьма! Встать тоже охота. Я нонче летом вставала, на улицу сама ходила.

— Раз вставала, значит, и ещё встанешь.

— Не-е-ет, не встану. Духу все мене и мене.

Василий перебил их:

— Мать, у тебя деньги есть?

— Маненько есть. Но я тебе их, Василий, не дам. Пускай лежат.

— Дай, мать. Это не мне, вот Кузьме. Для Марии. Он нигде не может взять.

Тётка Наталья повернула глаза к Кузьме и, моргая, смотрела на него. Кузьма ждал. Василий поднялся и вышел из комнатки, что-то сказал сестре, которая жила с матерью, и сразу же вернулся обратно.

— У меня эти деньги на смерть приготовлены, — сказала тётка Наталья.

Кузьма удивился:

— Теперь что — и за смерть платить надо? Она будто всегда бесплатная была.

— Не-е,— глаза у тётки Натальи слабо блеснули. — Я хочу сама себя похоронить и сама себе поминки сделать. Чтоб с ребят не тянуть.

— Будто мы бы тебе поминки не сделали, — буркнул Василий.

— Сделали бы. Я на свои хочу. Чтоб поболее народу пришло и подоле меня поминали. Я не вредная была. Всё сама делала. И тут сама.

Отдыхая, она умолкла, не шевелилась. Кузьма подумал, что, наверно, пора подниматься, и оглянулся на Василия. Но тётка Наталья спросила:

— Мария-то сильно плачет?

— Плачет.

— Деньги тебе отдам, а тут смерть... Как тогда?

— Опять ты, мать, об этом, — поморщился Василий.

— Я уж ей согласие дала, — виновато сказала тётка Наталья, и было ясно, что она говорит о смерти.

Кузьма вздрогнул, боязливо глянул на тётку Наталью.

Смерть всегда, каждую минуту, стоит против человека, но перед тёткой Натальей, как перед святой, она отошла чуть в сторонку, пустив её на порог, который разделяет тот и этот свет. Назад тётка Наталья отступить не может, а вперёд ей ещё можно не идти; она стоит и смотрит в ту и другую стороны. Быть может, случилось это потому, что, бегая всю жизнь, тётка Наталья уморила и свою смерть, и та теперь никак не может отдышаться.

Тётка Наталья шевельнула рукой и показала под кровать.

— Достань, Василий.

Василий выдвинул из-под кровати старый, потрёпанный чемодан и нашёл в нём небольшой, в красной тряпке свёрток. Она разворачивала его и говорила:

— Я их много годов копила. Дать надо. Я, сколь могу, подую. Но ты, Кузьма, не задерживай. Уж я тебя попрошу. Силёнок совсем не стало.

— Ты лучше поправляйся, тётка Наталья, — зачем-то сказал Кузьма.

Она не стала ему отвечать.

— А как не сдую, умру, деньги Василию отдай. Сразу отдай. С тем и даю. Я хочу на свои помереть.

— Отдам, тётка Наталья.

Она спросила:

— На похороны-то придёшь?

Он замялся.

— Приходи. Выпей, помяни меня. Народу много будет, и ты приходи.

Она протянула ему деньги, и он взял их, будто принял с того света.

Хоть и сказал Кузьма тётке Наталье, что Мария плачет, она больше не плакала. Молчала. Если спросишь о чём-нибудь, ответит двумя-тремя словами, и опять молчит, а то и не ответит, сделает вид, что не слышала. Ходит, убирается по хозяйству, а сама будто ничего не видит, будто её водят и показывают, что надо делать. А потом упадёт на кровать и лежит, не шевелится. Прибегут ребятишки, попросят есть — она поднимется и снова ходит, как лунатик, не помня себя.

Ребятишки тоже присмирели, перестали возиться, кричать. Прислушиваются к каждому слову взрослых, ждут, что будет дальше. И никуда друг от друга не отстают, боятся. Выстроятся рядом и смотрят на мать, а она их не видит.

Изба большая, новая, а в ней тишина, как в нежилой.

Лучше бы Кузьма не заходил домой. Он хотел обрадовать Марию, показал ей деньги, которые дала тётка Наталья. Она взглянула на них, как на пустые бумажки, и отошла. Кузьма подождал, но она так ничего и не сказала. Он понял, что ей всё стало безразлично. Вчера, в первый день, когда страх только начинал своё дело, ей было больно, она плакала и умоляла Кузьму спасти её. Сегодня она окаменела. Смотрит и не видит, слышит и не понимает. Так, наверно, будет продолжаться до тех пор, пока её судьба не решится окончательно, пока её не уведут или не скажут, что всё кончилось хорошо и она может жить, как жила, дальше. Тогда опять начнутся слёзы, и, если всё обойдётся, душа её понемножечку начнёт оттаивать. Её тоже понять надо.

Кузьме стало невозможно оставаться больше дома, и он ушёл.

День стоял пасмурный и низкий, с тяжёлыми обвисшими краями. Было тихо, всё вокруг выглядело заброшенным и неприбранным, будто один хозяин уже выехал с этого места, а другой ещё не нашёлся. Так оно и было — не осень и не зима. Осень уже надоела, а зима не шла. Крадучись, ползли над избами дымки, не осмеливаясь подняться в небо, словно время для этого ещё не наступило. С тоскливым видом, не зная, чем заняться, бродили по деревне собаки. Выглядывали из окон ребятишки, но на улицу не шли, и улица была пуста. Неприкаянно и сиротливо темнел за деревней лес.

Все чего-то ждали. Ждали праздников, когда можно будет погулять. Ждали зиму, когда начнётся новая работа и повалят новые заботы. Ждали завтрашнего дня, который будет ближе к праздникам и зиме. А этот день, казалось, всем был без надобности, все его лишь пережидали. И только один Кузьма, для которого он начался удачно, ждал продолжения этой удачливости, надеялся на него.

Кузьма шёл и думал, к кому лучше всего теперь зайти, но ничего не надумал и, чтобы не возвращаться домой, направился в контору.

Председатель спросил его:

— Как там у тебя дела?

— Да будто ничего.

— Много собрал?

— Пока немного.

— А сколько — можешь сказать?

— Если сегодня Евгений Николаевич привезет, двести пятьдесят чуть-чуть не будет.

— И всё?

— Пока всё.

Председатель перебирал у себя за столом бумаги и был чем-то недоволен. Хмурился, вздыхал. Захлопнул одну папку, убрал её и достал другую. Спросил, не отрываясь от бумаг:

— Где остальные хочешь брать? Есть какие-нибудь виды?

— Хожу вот, — пожал плечами Кузьма. Председатель уткнулся в бумаги и молчал.

Кузьма, чтобы не мешать ему, хотел уйти.

— Сиди! — не сказал, а приказал председатель.

А сам будто забыл про него.

Кузьма сидел и вспоминал сентябрь сорок седьмого года. Пospели хлеба, к самому горлу подкатила страда, а машины стояли. Не было горючего. Председатель пять дней в неделю жил в районе, бегал от райкома к МТС и обратно, всякими правдами и неправдами выбивал бензин, который машины потом сжигали за два дня и снова останавливались. А погода стояла как на заказ — ни одной тучки. И без того небогатые хлеба начали осыпаться. Не сладко было смотреть, как падает зерно, — после всего, что натерпелись за войну и за два последних голодных года. Снова достали серпы, пустили конные жатки — да много ли этим уберёшь, когда и людей, и коней за войну поубавилось втрое?

Сам дьявол подчалил тогда к берегу эту баржу. Шкипер, толстомясый, как баба, мужик, засучив штаны, весь день ловил рыбу, а вечером зажёт на берегу костёр и стал варить уху. В огонь, чтобы лучше горел, он плескал из банки бензин. Туда, к костру, и пошёл председатель.

Они сговорились быстро. Утром выкатили на берег две бочки горючего, и баржа ушла. В тот день трактор снова потащил в поле комбайн, а Кузьма поехал отвозить от него пшеницу. О том, что бензин куплен у шкипера, знала вся деревня, но, пожалуй, только один председатель ясно понимал, чем ему это грозит.

Его взяли в начале ноября, словно дождавшись, когда он кончит уборочную. Он просил на праздники оставить дома — не оставили. И деревне праздник стал не праздник. Сначала недоумевали: за что? Бензин этот он не украл, а купил, и купил не для себя, а для колхоза, потому что в МТС бензина не было, а хлеб не ждал. Потом объяснили: бензин был государственный, шкипер не имел права его продавать, а председатель не имел права покупать. Кто понял, а кто нет. На собрании, как делегацию, выбрали трёх человек, которые должны были хлопотать за председателя. Они сделали всё, что могли: много раз ездили в район, один раз даже в область, писали бумаги в Москву, но ничего не добились, а может, ещё и повредили председателю, потому что ему дали пятнадцать лет. Тут уж было над чем ахнуть.

Он вернулся назад в пятьдесят четвертом, после амнистии. Хотели снова назначить его председателем — нельзя: был под судом, партийность потерял. Работал бригадиром. И только пять лет назад, после того как сменилась добрая дюжина председателей и из

колхоза убежала половина народу, написали в обком и ещё раз просили председателем его, председателя. Там разрешили. Его позвали на его старое хозяйское место вот так же осенью, после страды, как и сняли, — будто ничего не случилось, если не считать, что между этими двумя осенями прошло больше десяти лет.

Председатель оторвался от бумаг, крикнул в дверь:

— Полина!

Вошла Полина из бухгалтерии.

— Полина, посмотри, сколько у нас получают за месяц специалисты? Если со мной брать?

— Все вместе, что ли?

— Ага, все вместе.

— Я и так помню: шестьсот сорок рублей.

Председатель подумал, спросил:

— Бухгалтер не приехал?

— Нет, он к вечеру будет, не раньше.

— Ну ладно, иди. Пошли там кого-нибудь, пускай придут.

— Кто?

— Все, кто на зарплате. Скажи: дело срочное, а то они будут один за другим тянуться.

Мне их два часа ждать некогда.

Кузьме он сказал:

— Ты сиди.

И снова занялся с бумагами.

Стали подходить специалисты. Первым пришёл агроном, который только недавно вернулся с леченья; посреди уборочной его вдруг скрутила язва, и он ездил на курорт.

В деревню агроном приехал два года назад из сельхозуправления, сам, по своей воле выбрал дальний колхоз, и за это его уважали, хотя сначала встретили недоверчиво: сидел в кабинете, был начальством, чёрт его знает, как с ним разговаривать, не будет ли он под видом агронома делать работу уполномоченного, каких раньше посылали в каждый колхоз. Но потом, наблюдая за агрономом, об опасениях этих как-то забыли: дело своё он любил, летом с утра до ночи пропадал в полях и очень скоро стал в деревне своим человеком.

Он вошёл, поздоровался и вопросительно взглянул на председателя. Председатель, не отвечая, сказал:

— Садись пока, подождём.

Потом прибежал ветеринар, который в деревне жил так давно, что уже мало кто помнит, что он тоже специалист.

Пришла зоотехник, большая, с мужским голосом женщина. Она говорила мало, была спокойной, но в колхозе её все равно побаивались, будто знали, что такая силушка и такой голос, как у неё, не могут долго оставаться без применения и вот-вот должны что-нибудь натворить.

Ждали механика. Председатель ворчал, поглядывая на дверь:

— Где же он сразу пойдёт! Ему десять приглашений надо.

Наконец, появился и механик, молодой парень, ещё не снявший институтского значка. Намеренно усталой походкой человека, который делал дела, пока они тут сидели, он прошёл к дивану и сел с края.

Специалисты сидели на диване у одной стены, Кузьма напротив них у другой.

Кажется, только теперь председатель понял, что дело, которое он собрался решать с ними, совсем не простое. И он мялся, не начинал. Это почувствовали и специалисты, умолкли. Наконец он начал:

— Я вот зачем велел вам собраться. Завтра у нас зарплата. Если бухгалтер вечером привезёт деньги, завтра вы имеете право их получить. Но тут ещё вот какое дело. — Председатель помолчал, давая понять, что оно не пустяковое, потом снова заговорил — спо-

койным, ровным голосом. — Но тут ещё вот какое дело, — повторил он. — Летом, да и весной тоже мы не один раз задерживали вам деньги. Вы как-то перебивались, находили какие-то возможности. Я думаю, что такую возможность мы найдём и теперь, а деньги я предлагаю отдать Кузьме. У него, сами знаете, дело хуже некуда. Ему за три дня надо тысячу набрать, а где он ее возьмёт, если не оказать помощь? Потом мы ему собираемся дать ссуду, но ему ждать её некогда. Поздно будет. А мы проживём, не пропадём. Колхозники вон живут. Вот такое с моей стороны предложение. Давайте решать. Невольно мы никого в этом деле не можем.

Кузьма простонал:

— Меня-то ты в какое положение ставишь? Хотя бы сказал, предупредил, что разговор про это пойдёт.

— Тебя никто не спрашивает. Спросят — тогда скажешь, — председатель повернул голову к другой стене. — Ну как, товарищи специалисты?

Специалисты молчали.

Кузьма не мог смотреть в их сторону. Ему казалось, что от стыда он стал прозрачным и в нём теперь видно всё то жалкое и срамное, что есть в человеке. Он сидел перед ними, как на судилище, и не знал, хочет ли он, чтобы его помиловали, он чувствовал один стыд, горький и едкий стыд взрослого, уже пожилого человека. Сейчас, в эту минуту, не думая о том, что будет дальше, он даже хотел, чтобы ему отказали, потому что тогда он ничем не будет им обязан. Но кто-то сказал:

— Дать, конечно, надо.

— Надо дать, — твёрдо повторил председатель. — Я говорю: мы не пропадём, а человек может пропасть. Понятно, что вы на эти деньги рассчитывали, но в ноябре мы что-нибудь придумаем, постараемся пораньше выбить из банка. Вот так. Значит, завтра надо будет зайти и расписаться в ведомости, а деньги выдадим Кузьме. Если кто не согласен, пускай говорит сразу.

— Согласны, чего там! — ответил за всех агроном. Остальные молчали.

— Тогда ты, Кузьма, сразу с утра подходи и возьмишь. Полина говорит, там шестьсот сорок рублей. Мало тебе, но больше нету. Бухгалтеру я скажу, он знает будет.

— Я не могу понять: мы всю, что ли, зарплату должны отдать? — оглядываясь на специалистов возле себя, заволновался ветеринар.

— Ты ничего не должен, — недобрым голосом сказал председатель. — Это дело добровольное. Не хочешь — забирай свои деньги. Чего ж ты раньше молчал, когда решали? Мы свои деньги отдаём полностью, а ты как знаешь. Вот так.

— Да я согласен, согласен, — торопливо закивал ветеринар.

— Смотри сам.

— Согласен, согласен.

— Не надо полностью, — Кузьма, обращаясь к председателю, поднялся. — Что я, грабитель с большой дороги, что ли? Им тоже жить надо, а я все деньги заберу. Если на то пошло, если вы согласны, давайте я половину возьму, а половина останется вам. — Теперь он говорил специалистам: — Давайте так? А то это что получается? Вы, значит, работали...

Председатель оборвал его:

— Ты тут не торгуйся. Дают — бери, бьют — беги, а торговаться нечего.

— Так у меня совесть-то есть или нету?

— Иди-ка ты к такой-то матери со своей совестью! Совесть у него есть. А у нас, по-твоему, нету совести? Ты бы лучше подумал, где остальные взять, а не о совести рассуждал. Ты этой совести себе сильно много нахватал, другим не осталось. Думаешь, тебе деньги домой принесут? Дождись! Ты вон хотел со Степанидой по совести, ну и как, много она тебе дала? — председатель раздражённо перебросил с места на место папку с бумагами. — Завтра придёшь и получишь все деньги, или можешь Марии сухари сушить. Мне тоже, если хочешь знать, деньги нужны, но я тебе их отдаю, потому что я без них живу, а ты пропадёшь. Так и другие. Если ты с совестью, то и у нас она помаленьку есть.

— Да я разве...

— Всё. Хватит разговаривать! Можете идти, кому надо.

Механик ушёл сразу. Вслед за ним поднялась зоотехник, негромко спросила что-то у председателя, что-то о ферме, и тоже ушла. Пооглядевшись, выскочил за дверь ветеринар. Остались втроём: председатель, агроном и Кузьма. Кузьма сел опять на своё место напротив агронома.

Молчали.

Поднялся агроном, попрощался с председателем и с Кузьмой за руку, Кузьме сказал, показывая на председателя:

— Ты не думай, что он нас заставил. Он правильно сделал. Бери эти деньги, не стесняйся. Считай, что они твои.

Ободряюще кивнул и вышел. Председатель заметил, что Кузьма тоже собирается уходить, сказал:

— Подожди меня.

Он убрал папки в стол, проверил, закрыт ли сейф, и стал одеваться.

Смеркалось. В двух-трёх избах из окон слабо желтел свет, остальные дремали. Деревня лежала усталым, приткнувшимся к реке табором, который откуда-то пришёл и, отдохнув, снова куда-то пойдёт дальше.

Странно было сознавать, что это ощущение исходит от собственной усталости и что деревня не спит, а просто переживает переходное и как бы никуда не годное время между днём и ночью; потом, когда наступит полная темнота, можно будет до сна снова заняться работой, делать какие-то дела, а сейчас надо просто ждать — такой это беспутный час.

Шли молча, и только возле своего дома председатель сказал:

— Зайдём, если не торопишься.

Свернули. Председатель отомкнул дверь, включил свет. Они были дома одни. Председатель достал откуда-то уже начатую бутылку, разлил по полстакана, принёс в ковше воды. Показывая на бутылку, сказал:

— Спирт.

— Где это ты его взял?

— Давно уж стоит. Весной ещё ездил на рудник, купил одну. Немножко осталось. Ну, давай. За Марию. Чтоб не попала она куда не надо.

От слов этих у Кузьмы внутри всё загаилось; он скорее выпил и убил, сжёг спиртом то, что хотело заболеть. Сразу же запил водой, отдышался и спокойно, без боли, сказал:

— Теперь уж, поди, выкрутились. Помог ты мне здорово.

— А эту паскуду Степаниду я прижму. Вот начнётся год, — пригрозил председатель.

— Может, у неё правда не было.

— Да что ты мне говоришь, когда мы ей в сентябре за корову выплатили! Ест она их, что ли? Лежат в тряпочку завёрнутые, куда им деться!

— Не трогай ты её. Такой человек. Что с неё взять?

— Прижму, как миленькую, чтоб понимала. Деньги эти у неё так, без пользы лежать будут, а нет, не даст. И ведь самой взять нельзя — вот положение! И деньги вроде свои, а не пойдёшь, ни холеры на них не купишь. Люди увидят, поймут, что обманула. Так и будет по рублю таскать. Сама себе наказание придумала и у людей из доверия вышла. Куда дешевле было дать тебе эти деньги. Нет, жадность раньше её родилась.

— Ну её. Я на неё не шибко и рассчитывал. А вот со специалистами неловко всё же получилось, сердце не на месте. Ждали, ждали эту зарплату, а получать буду я. Сердятся, поди, на меня. Да и на тебя тоже — ты заставил.

— Ничего, обойдутся. Ну, пришёл бы ты завтра к агроному, а ему, если разобраться, и правда, деньги самому нужны. Может, он бы тебе и дал — да немного, для тебя это не выход. А ветеринар, тот совсем бы не дал. По отдельности-то легче отказывать. А я их вместе всех, — председатель усмехнулся. — Я знаю: когда вместе — так просто не откажешь, никому неохота перед другими себя не с той стороны открывать, а когда один — больше своё на уме, и никто не видит, что хитришь, разговор без свидетелей. Это уж давно запримечено.

— А ведь и правда, — удивлённо согласился Кузьма.

— Правда, правда. У нас в лагере, когда я сидел, один чудак был, он об этом целую тетрадь, толстую такую, общую, исписал. Много там у него было напридумано всякого, но вот это я помню, это я знал ещё раньше, из жизни.

— Я всё у тебя спросить хочу, — сказал Кузьма. — Когда тебя посадили, имел ты на нас обиду или нет?

— На кого — на вас?

— Ну, на меня, на деревенских. Мы этим бензином все пользовались, а осудили одного тебя. Ты не для себя старался.

— А за что я на вас-то должен был обижаться? Вы здесь ни при чём.

— Да оно и при чём и ни при чём — смотря с какой стороны подойти.

— Брось ты, Кузьма, — отмахнулся председатель. — Что теперь об этом говорить? Суд, что ли, новый собирать?

Разлили остатки и выпили. Председатель задумчиво умолк, и теперь, раскрасневшись после спирта, совсем не походил на председателя: лицо его стало безвольным, мясистым, без всегдашней твёрдости, глаза смотрели тоскливо. Если бы Кузьма не видел, что председатель выпил всего ничего, то подумал бы, что он пьян.

— Ты говоришь, была или нет у меня на вас обида? — сказал потом он совсем трезвым голосом и взглянул на Кузьму. — Вы здесь, конечно, ни при чём. Может, чуть-чуть поначалу и была, что вы за меня плохо хлопчете. Я ведь тоже думал: не для себя старался, для колхоза, должны учесть. Колхоз напишет поручительство, дадут принудиловку, и всё. Мне бы и этого хватило. А на суде вижу: мне вредительство паяют. Вот так, — словно удивляясь до сих пор, председатель хмыкнул. — Обида потом была, но на другое. Я, конечно, виноват с этим бензином, я с себя вину не снимаю. Но если поразмыслить, не один же я виноват, ведь не из вредительства же в самом деле я стал этот бензин покупать. Нужда заставила. У меня хлеб осыпался. Выходит, кто-то повыше тоже был виноват, где-то получился недосмотр с горючим, раз его не было. Но никто не захотел на себя вину брать, одного меня осудили.

— Вот-вот.

— Когда стали меня обратно в председатели звать, сначала не хотел идти. А потом думаю: над кем это я собираюсь каприз строить? Над колхозом? Он не виноват. Над государством? Этого еще не хватало... — председатель помолчал и, улыбаясь, но твёрдо добавил: — Жалко только, что эти семь лет из моей жизни зазря отхвачены.

Дома Кузьму ждал Евгений Николаевич.

— Загулялся ты, Кузьма, загулялся. А я сижу и думаю: если гора не идёт к Магомету, Магомет сам идёт к горе.

— Давно ждёшь, Евгений Николаевич?

— Так, давненько уже. Но решил сидеть до победного конца. Я такой человек: если пообещал — надо сделать. Приезжаю сегодня в сберкассу, а её на ремонт закрывают. Я туда-сюда, не можем, говорят, и всё. Побежал на дом к заведующему. Хорошо, меня там знают. Выдали. Повезло тебе, Кузьма.

— Смотри-ка ты, как получилось!

— Да, да. А сейчас сижу и думаю: может, зря ездил, зря бегал? Тебя всё нету и нету. Думаю, может, нашёл уже? Но сижу, не поднимаюсь. Если пообещал, надо до конца довести. Чтобы не было обид.

— Да какие обиды, Евгений Николаевич! Спасибо тебе.

— Значит, нужны деньги?

— Нужны, Евгений Николаевич.

— Тогда держи. Вот. Круглая сумма, посчитай.

Кузьма взял у Евгения Николаевича пачку денег, спрятал её в карман.

— Чего их считать? Все тут.

— Ну, смотри, это дело твоё. Я тебя обманывать не буду. Как обещал, так и сделал. С тебя поллитра.

— Это само собой, Евгений Николаевич.

— Да нет, я шучу. Это просто так говорится. Потом, когда всё кончится, можно и выпить, а сейчас не надо. Я знаю, у тебя сейчас каждая копейка на счету. Совесть надо иметь. Мы друг другу так помогать должны, без выгоды. Как русские князья объединились в старину против половцев, так и мы должны объединиться против несчастья. Твоя беда — это, знаешь, что? Это половцы, половецкое войско. Помнишь из истории? Против них мы, как русские князья, сходимся все вместе. Теперь нас попробуй тронь. Нас много, мы просто так не дадимся. А, Кузьма? Правильно?

— Правильно, — засмеялся Кузьма. — Смотри-ка, как ты рассудил! — И ещё раз засмеялся.

Из комнаты высунулся Витька, глядя на них, радостно улыбался.

— Правильно, Витька? — крикнул ему Евгений Николаевич. — Проходили вы про половцев?

— Правильно. Я книжку про них читал.

— Ну и как? Похоже?

— Похоже.

— Вот видишь, кое-что понимает, значит, у вас директор?

Витька, застеснявшись, исчез. Евгений Николаевич отчего-то вздохнул, хотя по лицу его было видно, что он полностью доволен собой, и поднялся.

— Идти надо. Эти половцы нам тоже нелегко обходятся. Устал я сегодня. Пойду спать.

— Задал я тебе работу, Евгений Николаевич.

— Ничего, ничего. Я тебя не упрекаю. Надо было — сделал. Свои люди. В другой раз ты для меня сделаешь. С людьми жить — человеком надо быть. Иначе тебя уважать не будут. Правильно я говорю?

— Это правильно.

— Вот видишь, — Евгений Николаевич осмотрелся. — Мария-то болеет, что ли?

Кузьма не знал, где Мария, но на всякий случай сказал:

— Болеет.

— Что с ней?

— Голова болит.

— А, ну это не страшно.

У порога Евгений Николаевич негромко спросил:

— Как там у тебя — обещают ссуду-то?

— Обещают.

— Ага. Ну, когда дадут, тогда и расплатишься. Я тебя торопить не буду. Я знаю, ты человек надёжный, за тобой не пропадёт. Ну, я пошёл.

Мария сидела на кровати и, положив себе на колени старый, с обтрёпанными углами альбом, рассматривала фотографии. Когда Кузьма подошёл, она смотрела на себя, какой была лет тридцать назад: с тяжёлой косой, перекинутой по тогдашней моде через плечо, с круглым толстощёким лицом — невеста невестой, нерожавшая, нестрадавшая, плакавшая только детскими, пустячными слезами. Ничего ещё тогда она не знала о себе, кроме имени, кроме того, что родилась и выросла в этой деревне и теперь будет жить дальше. Не знала о войне, о своих ребятишках, о магазине, о недостатке, думала, что для всяких бед и страданий на свете слишком много людей, чтобы все эти напасти могли выбрать её, деревенскую, незаметную, гнала от себя мысли о том, что жизнь будет трудной, со слезами и горем. И теперь, страдая, она любовалась собой — той, которая ничего не знала, завидовала ей и навеки прощалась с ней. Раньше за всем тем, что было в жизни, некогда было попрощаться, а сейчас вот нашлось время, она села и поняла, что ничего в ней не осталось от той девчонки, ничего, кроме имени и воспоминаний, всё остальное, как на войне, пропало без вести. О завтрашнем дне страшно было подумать.

Кузьма подошёл и сказал:

— Сегодня хорошо получилось. Теперь ерунда осталась.

Мария не ответила. Она положила альбом на подоконник и вышла. Он не пошёл за ней. Он сел на кровать и почувствовал, как устал. Хотелось спать.

Ему показалось, что на него кто-то смотрит, он поднял голову — это была Мария. Она смотрела на него из горницы, будто припоминая, что он о чём-то говорил. Он вышел в горницу; Мария ушла в кухню. Он почувствовал, что она и оттуда продолжает смотреть на него, словно никак не может припомнить, о чём он говорил. Он подождал, но она так ни о чём и не спросила.

Тогда он разделся и лёг.

И второй день подошёл к концу.

Давным-давно, ещё в молодости, Кузьма понял: каждый день наступает не просто так, одинаково для всех, а приходит для кого-то одного, кому он приносит только удачу. Если человеку не везёт или если месяц, два у него сплошные будни, значит, это были чужие дни, а его собственный где-то уже на подходе.

Засыпая, Кузьма знал точно: сегодняшний день был для него. Ещё утром он не смел даже мечтать о таком везенье. Сначала пятнадцать рублей принёс дед Гордей, больше сотни дала тётка Наталья, потом председатель собрал специалистов, и получилась сразу куча денег, которую осталось только утром пойти и взять, и под конец принёс обещанную сотню Евгений Николаевич. А день был сумрачный, невидный из себя, а такой удачный, такой богатый! И хорошо, что он подгадал сейчас, когда Кузьме казалось, что надо выходить на дорогу и кричать караул — другого выхода нет.

Кузьма засыпал счастливый, благодарный своему дню и людям за доброту и выручку. Так, счастливый, тогда и уснул, забыв, что его день уже прошёл.

Здесь, в поезде, среди ночи Кузьму будит парень.

— Кузьма! А, Кузьма! Ты спишь?

— Чего тебе?

— Дай закурить. Спасу нет, хочу курить, а у меня кончились.

Кузьма приподнимается, нащупывает на металлической сетке у стены папиросы. Тычет их парню. Тот стонет:

— Во-о-от хорошо. А то думал, пропаду.

Кузьме больше спать не хочется. Он слезает вслед за парнем вниз. Старуха от шорохов просыпается, взглядываясь, приподнимает голову.

— Спи, спи, бабуся, свои, — шепчет парень. Они выходят в коридор. Здесь никого нет, стоит сонный, уютный для ночи полумрак. Чуть покачиваются на окнах, закрывая темноту, розовые занавески, чуть подрагивает под ковром пол.

Закуривают. Стоят друг против друга у окна и курят: парень торопливо, шумно вздыхая от удовольствия, Кузьма — привычно и спокойно. Дым ползёт по коридору в хвост вагона и там, покрутившись, теряется.

Парень, утолив первый, сосущий голод, курит спокойнее. Спрашивает у Кузьмы:

— Ты ничего, что я тебя поднял?

— Да я почти и не спал. Так, дремал.

— Чего это?

— Днём, что ли, выспался. Теперь уж скоро приеду.

— А-а. А я всегда с похмелья плохо сплю.

Потом, поглядывая сбоку, он с нарочитым равнодушием говорит:

— А забавные эти старик со старухой. Ты заметил?

— Ага.

— Они что, правда такие или притворяются?

— По-моему, правда такие. Люди всякие бывают.

— Сюсюкает: Серёжа, Серёжа. По головке его гладит. И он тоже терпит, будто так и надо. Я бы со стыда умер — да ещё на людях.

— Они, видно, всегда так.

— Врёт он, что не бегал от неё.

— Кто его знает? Может, и не врёт. По-моему, не врёт.

— А она, правда, верит. По ней самой видать. Заметил?

— Ага.

— А когда верит, и сама не побежит. Всю войну, поди, ждала. Это ж подумать надо! Парень останавливается, не курит. Задумчиво жуёт свои губы. Добавляет:

— За это орден надо было давать. Придумали бы такой орден, специально для баб.

Проводница, услышав голоса, выходит из своей комнатухи, идёт к ним. Молча останавливается рядом и смотрит.

— Курим, — говорит ей парень.

— Другого места не нашли, где курить.

— Ты уж скорей кричать. Какие всё же вы! Вон бери пример, здесь старуха одна едет, она за всю жизнь ни разу на своего старика не крикнула. А вы чуть чего — и гавкать. Вот народ! Почему раньше женщины не такие были?

— Ты вот пооскорбляй меня...

— Да кто тебя оскорбляет? Нужна ты мне! Я тебе втолковываю.

Парень и правда говорит не оскорбительным, а скорее обиженным, жалующимся тоном человека, который много натерпелся. И проводница, подумав, уходит. Парень закуривает вторую папиросу и в задумчивости приваливается к стене. Кузьма, спохватившись, догоняет проводницу и спрашивает, сколько осталось до города. Всего три часа. Теперь уж не стоит и ложиться. Кузьма неторопливо возвращается к парню.

Парень смотрит куда-то рядом с Кузьмой и говорит:

— У меня баба вообще-то ничего была. А вот жизнь не получилась.

— Сам, наверное, виноват.

— Как тебе сказать, Кузьма? Сам, не сам. Пил, конечно. Но другая давно бы привыкла, и жили бы. Я один, что ли, пью? Привыкают же бабы. Так, для порядка, поворчат, и опять вместе. Я же вижу. А эта сбрындила, принцип поставила, ушла. Если бы я ещё каждый день пил. Я не алкоголик. Так, по настроению, с ребятами когда. И зарабатывал столько, что на всё хватало — и на водку, и на семью. Я говорю: принцип, — отдохнув, он говорит спокойнее: — Сам, конечно, дурак. Надо было смотреть, кого брал. Для другой бы и такой хороший был, а этой вот не подхожу, не тот сорт.

— Ребятишки-то есть у вас?

— Девчонка. Четвёртый год.

— Вернётся, поди. Как же ребёнку без отца?

— Не знаю, не могу сказать. Она один раз уже уходила от меня, но я тогда знал, что обратно придёт, никуда не денется. Почему знал, не пойму, но чувствовал, что придёт, что это нарочно, чтоб характер передо мной показать. Думаю, показывай, дело твоё. А сам хоть бы хны. Пришла. А сейчас не чувствую. Видно, всерьёз. Да и по ней было заметно, что всерьёз.

— А ты к ней не ходил, не разговаривал?

— Нет. Как ушла, я сразу отпуск, путёвку и поехал. Раз ты так, то и я. Я тоже бедовый.

— Да-а.

Вагон спит. Они разговаривают негромко, и разговор их никому не мешает, они будто специально оставлены здесь, как на дежурство, чтобы кто-то не спал, думал и разговаривал о жизни — не то всем вместе её можно проспать. Раз за разом со свистом кричит в ночи электровоз и смолкает — теперь надо прислушиваться, не закричит ли он снова. Ночью всё не просто, всё тревожит и пугает, завтрашний день кажется таким далёким, и ещё неизвестно, наступит ли он, не сломается ли что-нибудь в этом извечном порядке дня и ночи, не остановится ли в темноте, не замрёт ли. Разве возьмётся кто-то совершенно точно сказать, что это невозможно.

Парень говорит:

— Обратно подумаю: одной ведь тоже с ребёнком не сладко. Помотается, помотается и поймёт. Молодая, ещё не взяла своё. Это когда они ругаются с нами, думают, что мы им не нужны. Разойдётся и... такой-сякой, поливает на чём свет стоит. А потом одумалась и

обратно: ластится, задабривает. Живому живое и надо. А чего она одна будет? Не выдюжит, поди.

— Зачем одна? — с умыслом говорит Кузьма. — Найдёт кого-нибудь.

— Пускай попробует, — зашевелился парень. — Это как ещё найдётся! Думаешь, я смотреть буду? Не поздоровится ни ему, ни ей.

— Но раз вы разошлись...

— Пускай тогда уезжает, чтоб не на моих глазах. Хоть до любого доведись — думаешь, приятно, когда с твоей бабой, хоть и с разведённой, другой живёт? Всё равно что кусок мяса от тебя от живого отдирают. Да у нас в деревне, к примеру, никто и не осмелится с ней. Знают меня. Знают, что терпеть не буду.

Парень хотел бросить окурочек в мусорное ведро, наступил на педаль — крышка с грохотом отскочила, не удержалась и брякнулась обратно.

— Ч-чёрт! — выругался он.

На шум выглянула проводница, сверкнула глазами и снова скрылась. В купе кто-то заворочался и тоже затих — видно, проснулся и сразу уснул. А поезд как шёл, так и идёт.

Парень мнёт окурочек в руках, и табак сыплется на ковёр. Оглядываясь, он нагибается и сдувает табак с ковра. Потом руками осторожно приподнимает крышку и суёт окурочек в ведро. Хмуро молчит.

Опять тихо, спокойно.

И не видать, не слышать, успокоился ли ветер. Не видать, куда идёт поезд, есть ли под ногами земля. Хорошо тем, кто спит. Проснутся — будет утро, может быть, даже солнце. При солнце спокойней.

Кузьма думает: скоро город. Вот так бы ехать и ехать и подольше ничего не знать — нет, скоро приедет и всё узнает.

Парень вдруг спрашивает:

— Чёрт её знает, может, мне обратно поехать? Они любят, когда из-за них от чего-нибудь интересного откажешься. Пришёл бы, сказал: так и так. Как ты считаешь, Кузьма?

— Не знаю, — осторожно говорит Кузьма. — Это тебе самому надо решать...

— Ну да. Я знаю, что самому, — парень от волнения по-детски шмыгает носом. — Чёрт её знает... — пока он думает, поезд увозит его всё дальше и дальше. И он решает: — А-а, теперь уже поздно. Раз поехал, надо ехать. Приеду, как-нибудь решится. Нет так нет — на ней белый свет не сошёлся. — Он хочет свести этот разговор к шутке: — А то вернись, куда деньги девать? Опять пропивать надо. Лучше я их проезжу.

Он признаётся:

— Это всё старик со старухой. Посмотрел на них, и как-то не по себе стало. Расчувствовался. Я чувствительный какой-то. Родился, что ли, таким ненормальным. В кино другой раз сижу и чуть не плачу, когда там что-нибудь такое показывают. С ребятами из-за этого боюсь рядом садиться. Стыд один: они смеются, а я губы сжимаю, чтоб не зареветь. Душа какая-то бабья.

Поезд вдруг вскрикивает и начинает тормозить. Проводница с фонарём, не торопясь, идёт к выходу — значит, ничего страшного, просто остановка. Парень отводит шторку в сторону и смотрит в темноту. Видит огоньки. И говорит:

— Тоже люди живут.

До города теперь остаются совсем пустяки.

Наступил третий день. Кузьма поднялся с тем спокойным и довольным чувством, когда всё идёт хорошо. Сам разбудил ребят в школу, постоял, посмотрел, как они, суетятся, одеваются, подумал про себя, что надо бы им как-то сказать про деньги, чтобы они повеселели. Когда сели за стол и Мария, как всегда, налила ребятам молока, а себе и Кузьме чаю, Кузьма подмигнул Витьке, показал на стаканы:

— Давай меняться.

Витька удивился, радостно встрепенулся:

— Давай.

— Молока, что ли, нету — у ребёнка отбираешь! Надо — так налью! — вскинулась Мария.

— Не надо.

Кузьма нисколько не обиделся на Марию и даже в душе был немножко доволен тем, что она рассердилась: если может сердиться, сможет и радоваться, значит, застыла не совсем и скоро отойдёт. С Витькой они, пока сидели, всё время заговорщически переглядывались, и Кузьма теперь знал, что Витька, как мог, понял: всё хорошо. В школу он побежал подпрыгивая.

Кузьма подождал, когда совсем рассвело, неторопливо, удерживая себя от спешки, оделся. Уходя, сказал Марии:

— Пойду деньги возьму.

Она не ответила, но он и не ждал, что она ответит, ему надо было только сказать, чтобы слова эти остались в ней и делали своё дело.

День поднимался хмурый, сродни вчерашнему, который приходил для Кузьмы, — вот и этот, видно, будет ему как свой. Всё идёт к тому. Кузьма шагал и чувствовал, как приятной тяжестью отдаются в теле шаги и тело ждёт новых, следующих. У него это часто бывало, когда хочется идти и идти, и он отдыхал во время ходьбы.

Ему всё же показалось, что день встаёт какой-то непрочный, словно стеклянный, с тонким и ломким стеклом. Он подумал, что так оно и есть, такое время: не осень и не зима, осень каждую минуту может сломаться и наступит зима. Снег нынче на удивление ещё ни разу не пробрасывало. Теперь уж недолго осталось ждать.

Недалеко от конторы Кузьму окликнул механик, подошёл и поздоровался с ним за руку. Кузьма почувствовал неловкость перед механиком: как-никак идёт получать его деньги. Чего уж тут приятного? Стыдно в глаза человеку смотреть.

Механик сказал:

— Ты меня, Кузьма, конечно, извини, что я к тебе с этим подъезжаю. Я знаю, нельзя так, но больше ни черта не мог придумать. Понимаешь, я к себе на праздник товарища пригласил, вместе в институте учились, а денег нету. Бутылку не на что взять.

— Да я тебе дам! — обрадовался Кузьма. — Чего ты за свои деньги извиняешься. Вот ещё не хватало!

— Ага, если можешь, дай рублей двадцать. Я тут почти никого не знаю, занять не у кого.

— Дам, дам. Какой может быть разговор!

Они вошли в контору, и механик кивнул на комнату, где собирались специалисты:

— Я тут буду.

Кузьма пошёл к бухгалтеру. Тот увидел Кузьму с порога, откинулся на спинку стула и ждал, когда Кузьма подойдёт, показывая всем своим видом, что он его ждёт. Как и все бухгалтеры, он был дотошный и скуповатый, и Кузьма вдруг спохватился, что он почему-то ни разу не подумал, что может не получить деньги; это было вероятней всего, потому что мало кому удавалось получить их с первого захода, бухгалтер считал, что этого недостаточно, и заставлял приходиться по три, по четыре раза.

Кузьма сам себе удивился, почему он вчера, да и сегодня с утра был уверен, что получит деньги.

И, подходя к бухгалтеру, весь сжался, приготовился к самому худшему.

— Здорово!

— Здравствуй, — с вызовом ответил бухгалтер. — Пришёл?

— Пришёл.

— Получить хочешь?

— Если дашь.

Казалось, бухгалтер почувствовал, что Кузьма понимает, насколько он от него, от бухгалтера, зависит, и, помолчав, выждав время, чтобы Кузьма поволновался, сказал:

— Тут неприятность получилась, — ещё с удовольствием похмурился, ещё потянул время. — Я же не знал, что теперь ты будешь наши деньги получать. Взял и истратил свою зарплату.

— Как истратил?

— Как деньги тратят. В магазине. Могу отчитаться: купил жене тужурку на зиму, себе валенки.

Кузьма, наконец, понял, кивнул.

— А остальные? — спросил он.

Бухгалтеру, видно, доставляло удовольствие отвечать не сразу, и он, глядя на Кузьму, молчал. Всё же сказал сердито:

— Остальные в сейфе, у Полины. Там в ведомости не все расписались. Если Полина выдаст под свою ответственность, пускай выдаёт.

Кузьма пошёл к столику Полины. Бухгалтер крикнул ему в спину:

— Перепиши там себе на бумажку, кому сколько должен будешь. Отдавать придётся.

Он отпускал его от себя с неохотой, жалея, что так быстро всё сказал. Полина прошептала:

— Я тебе выдам, только ты сразу же найди зоотехника и ветеринара, пускай найдут.

— Ладно.

Она стала считать деньги, быстро-быстро перебирая бумажки, и всё-таки считала долго: деньги были только тройками и рублями, и она потом их ещё раз пересчитывала. Кузьма стоял, без интереса и без волнения смотрел, как мелькают бумажки в руках Полины, ждал. Отдавая ему деньги, она всё так же шёпотом спросила:

— Много ещё осталось?

— Теперь опять много.

Кузьма затолкал деньги в карманы, и карманы оттопырились. Он придавил их сверху ладонью, потом вспомнил, что надо двадцать рублей сразу отдать механику, и достал верхнюю пачку, в которой были тройки; он отсчитал не двадцать рублей, потому что двадцать тройками не получалось, а тридцать. Бухгалтер с холодным любопытством наблюдал за ним из своего угла, и Кузьма в ответ тоже уставился на бухгалтера и не отводил взгляда до тех пор, пока тот не отвернулся. Бухгалтер решил отомстить:

— Не пропей.

— Иди-ка ты... — без особого зла ответил Кузьма.

Он зашёл в комнату специалистов, где сидел механик, и тихонько, как взятку, сунул ему в руку тридцать рублей. Механик, не оборачиваясь, бормотнул:

— Ага.

В коридоре Кузьме попала жена ветеринара, но он не заметил, что она смотрит на него с тем жадным и недобрим вниманием, с каким преследуют добычу. Хотел зайти к председателю, заглянул — у председателя был народ — и закрыл дверь. Что он ему скажет? Лучше идти домой.

День был всё такой же хмурый, так и не сломавшийся, теперь он казался мятым, склеенным из старой прозрачной бумаги. Дунь на него, и он улетит, но ветра не было и дунуть на него было некому. Потихоньку что-то вокруг шумело, звучало, лаяло — будто шелестели стенки этого бумажного дня. Дали были мутными. Кузьма подумал, что сегодняшний день, наверно, наступил для бухгалтера — он под стать его постной роже.

Деньги в карманах мешали Кузьме идти свободно, и он задерживал шаг — не шёл, а нёс деньги, будто они могли расплескаться. Они не радовали его: что-то там случилось с радостью, и она не шевелилась. Он знал, что они нужны, и только, а удовлетворения, сладости от того, что они есть, он не испытывал. Хотелось скорей их выложить, освободить карманы.

Дома Кузьма сбросил деньги в большую, из-под леденцов, банку, которую привёз после войны из Австрии, и поставил банку на шкаф. Стало легче. Подбадривая себя, он подумал, что сейчас в деревне ни у кого нет столько денег, сколько у него в этой банке. Он сделал всё, что мог, а за два оставшихся дня должен добрать до тысячи. Как — он ещё не знал. Что-нибудь придумается, не может быть, чтобы на этом всё кончилось. Раз нужна тысяча, он её как-нибудь достанет. Только не сейчас, не сегодня. Он чувствовал, что не сможет просить сегодня деньги, что он израсходовал в себе для этого всё. Надо отдохнуть.

В сенях послышались шаги, но Кузьма принял их просто как шаги сами по себе, не связав их с тем, что это кто-то идёт. И когда вошла жена ветеринара, он удивился, откуда

она здесь взялась. И сразу вспомнил, что не нашёл ветеринара и зоотехника, не сказал им, чтобы они расписались в ведомости.

Жена ветеринара стояла у дверей с поджатыми, подрагивающими в уголках губами. Она была плоская, некрасивая, и Кузьме непонятно отчего часто её бывало жалко. Он знал, что с ветеринаром они живут плохо, и она, казалось, была доказательством того, что бывает с женщиной, когда в семье нет мира. Кузьма скорее привычно, чем сознательно, пригласил:

— Проходи, чего в дверях стоишь.

Она не тронулась с места. Губы её задрожали сильнее:

— А мы-то как будем жить, Кузьма? Ты подумал? Почему так делаешь-то?

Кузьма понял не сразу, а когда понял, не смог ответить.

— Мы их месяц ждали, — голос у неё подрагивал, сдерживался, чтобы не забиться, не заплескаться. — У нас пятьдесят рублей долгу. Как мы теперь?

Кузьма поднялся и достал со шкафа банку с деньгами. Опрокинул её на стол и сначала нашёл бумажку, на которую была переписана зарплата специалистов, а потом старательно, чтобы не ошибиться, отсчитал деньги. Жена ветеринара подошла ближе, и он, подавая ей деньги, вдруг увидел Марию. Она только на секунду остановилась и прошла в кухню. Кузьме стало противно и стыдно, будто эти деньги он украл у Марии и она застала его на месте преступления. Жена ветеринара пропала.

Кузьма собрал оставшиеся деньги в банку, поставил опять банку на шкаф, но с краю, не так далеко, как раньше. Когда в ней столько денег, конечно, за ними ещё могут прийти. Надо подождать. Деньги ещё кому-нибудь могут понадобиться.

Он стал ждать.

Несколько раз мимо проходила Мария, посматривала на него, но он не оборачивался. Он ждал.

Прошёл час, прошёл второй, и Кузьма уже стал недоумевать, почему так долго никого нет, но тут в сенях опять послышались шаги. Теперь он помнил: раз шаги — значит, кто-то идёт. Он ждал не зря.

Вошла девочка, дочь агронома, и Кузьма с неудовольствием подумал: почему специалисты не идут сами, почему они посылают вместо себя жён и детей? Ведь девочка может потерять деньги. Кто потом будет виноват?

— Здравствуйте, — робко, исподлобья оглядываясь, сказала девочка.

— Здравствуй, здравствуй, — ответил Кузьма и поднялся, чтобы достать банку. Хорошо, что он не заголкнул её к стене, а поставил с краю.

— Дядя Кузьма, — быстро заговорила девочка. — Скажите вашему Витьке, чтобы он за мной не ходил.

— Что? — Кузьма остановился, и вытянутая рука упала вниз.

— Скажите вашему Витьке, чтобы он не ходил за мной. А то нас дразнят женихом и невестой. Мне мальчишки проходу не дают. Кричат: «Жених и невеста поехали по тесту».

Кузьма недоверчиво засмеялся.

— Неужели?

— Ну. Зачем он ходит? Я ему сказала, а он всё равно. Пускай за другой девочкой ходит.

— Вот паразит! — громко засмеялся Кузьма. — Ходит, говоришь?

— Ну. Меня дразнят, а я не виновата.

— Вот он придёт, я ему шею накостыляю! Ходит, ишь гусь!

— Нет, вы ему так скажите. Он отца должен так послушать.

— Скажу. Я ему скажу.

— Я побегу, — попросилась девочка.

— Беги и не бойся: теперь он на тебя ни разу не взглянет. Вот увидишь.

Она глубоко кивнула, как поклонилась, и убежала. Кузьма ещё весело хмыкнул ей вслед, поулыбался, но уже чувствовал, что к нему возвращается то пустое и холодное состояние, которое было до девочки. Он покосился на банку и сел. Надо бы сосчитать деньги, но подниматься снова не хотелось; он боялся, что их осталось совсем немного, и тогда будет ещё хуже.

Он попытался успокоить себя тем, что ещё вчера он не смел даже и надеяться на такие деньги. Не успокоилось. Он решил: лучше думать о деле. К кому ещё можно пойти, у кого просить?

Потом как-то забылось, что он хотел думать о деле, и ни о чём не думалось. Он сидел возле банки, как сторож, когда воров нет и не может быть. Шевелился, курил. Прибежали из школы ребята, и Кузьма стал вспоминать, зачем ему был нужен Витька, но так и не вспомнил.

Ребята ели в кухне одни: ни Кузьма, ни Мария к ним не вышли.

Тихо, боязно было в избе; все дома, а тихо и боязно.

Перед вечером, запыхавшись, присеменил дед Гордей. Крикнул Кузьму, не находя места, закружил по комнате и под конец поманил его за собой к дверям. В сенях зашептал:

— Тебе, Кузьма, и вовсе никаких денег не надо. Кумекаешь? Без денег можно.

— Ещё что, дед, выдумашь? — морщась, сказал Кузьма.

Дед Гордей радостно захихикал:

— Вот тебе и выдумашь! Дед выдумывать не станет, он точно будет знать. Я тебе сейчас такое подскажу...

Кузьма промолчал.

— Вот, значит, как. Можно без денег. Ни одной копейки не надо. А Марию не тронут. И по закону будет правильно, — дед поднёс своё лицо вплотную к Кузьме и зашептал: — Сделай её беременной, и на этом хватит. В законе записано: беременных в тюрьму не брать.

— Да ты что, дед? — отшатнулся Кузьма. Дед заговорил горячей и громче:

— Верный человек мне сказывал, он врать не будет. Гольная правда. Сделай Марию беременной, и всё. Долго ли тебе? А?

— Иди, дед, отсюда и больше ко мне с этим не приходи. Советчик нашёлся!

— Как? — опешил дед.

Кузьма повернулся, пошёл в дом.

— Я тебе дело сказываю, а ты норку на сторону воротишь! — закричал дед. — Ну и вороти — моё дело маленькое. Только после не говори, что я к тебе не приходил.

Потом Кузьма раздумался, и предложение деда Гордея уж не казалось ему диким. Так оно, конечно, было бы неплохо. Всё сразу бы и решилось. Он и сам слышал, что беременных жалеют, не судят, но почему-то забыл об этом — наверно, потому, что точно не знал, правду ли говорили. Там, где шестеро ртов, прокормится и седьмой, где растут четверо, поднимется и пятый. Только теперь уж, наверно, поздно. Знать бы раньше. Надо всё же намекнуть Марии. Нет, лучше не надо, а то она подумает, что с деньгами ничего не выходит, и тогда уж совсем обомрёт. И так ходит как неживая. Куда ни кинь — везде клин. Что же делать? К кому завтра пойти? А к кому пойдёшь? Не к кому. Может, плюнуть на всё и поехать с утра к брату? Только вот есть ли у него деньги? Даст ли он?

Вот штука так штука получилась.

Третий день тоже кончился. Подошло его время, и он, как в могилу, ушёл под землю — и косточек не найдёшь. До ревизора теперь оставалось только два, от силы три дня.

С вечера Кузьма уснул, но среди ночи его разбудила машина, осветившая комнату фарами, и светом вспугнула сон. Кузьма поднялся, присел к окну. За окном была мёртвая темнота, она укрыла всё живое и, казалось, нигде не кончалась. Чтобы перебить в себе подступающую тревогу, Кузьма закурил, и оттого, что ему удалось закурить, стало легче. Ночью в голову лезут всякие мысли — вот почему по ночам люди стараются спать.

Потом он лёг, и ему повезло, он уснул. Ему приснился интересный сон: будто он едет в той самой машине, которая его разбудила, и собирает для Марии деньги. Машина сама знает, где они есть, и останавливается, а он только стучит в окно и просит, чтобы ему их вынесли. Деньги выносят, и машина идёт дальше.

Он снова проснулся, но ночь ещё не прошла, и темнота даже не тронулась с места. Опять в голову полезли всякие мысли, и одна из них была совсем нехорошая. Кузьме показалось, что он остался один на всём белом свете — он даже подумал: не на белом, а на чёрном, будто

белого света уже не существовало. Но задрезжал, словно разваливаясь на части, самолёт, быстро затих — как развалился, и Кузьма стал ждать следующих звуков, которые затаились в темноте. Их долго не было, но теперь он знал, что он не один, и мог думать о другом. Откуда-то сзади с ноющей болью выдвинулись мысли о Марии и о деньгах, и уже по цепочке, как последнее звено, вспомнился брат. И Кузьма решил: утром он отправится к брату.

Утром в стену снаружи бухнуло ветром, и Кузьма заторопился. Он сказал Марии, что едет в город, и она, безмолвная и недвижимая в последние дни, вынесла своё суждение: брат не даст. Но Кузьме отступать больше было уже некуда. Мария, поняв, что она будет одна, боясь остаться беззащитной, снова и снова повторяла, что брат денег не даст, потом заплакала. Кузьма не стал её успокаивать — пусть поплачет, теперь даже слёзы её были для него успокоением: это лучше, чем если бы она молчала.

В автобусе он сидел у окна и смотрел, как безумствует ветер. Кузьма понимал, что так оно и должно быть, что погода не может оставаться спокойной, когда они с Марией попали в такую кутерьму, но ветер задувал с такой силой, что Кузьма испугался, не придётся ли ему ещё хуже. Весь день он ждал, когда ветер затихнет, и не мог дожидаться; даже с закрытыми глазами он видел, как бьётся на ветру и стонет земля.

И только когда стемнело, Кузьма стал успокаиваться. Теперь он не знал, что происходит на улице, не знал и не хотел загадывать, что его ждёт впереди. Он был доволен тем, что может ничего не делать, что всё за него пока делает поезд. Кузьма отдышал, но это был отдых подсудимого перед приговором, и он чувствовал это.

Ему хотелось ехать и ехать, но поезд уже подвозил его к городу. Кузьма со страхом думал о том, что сейчас он снова должен будет просить деньги. Он не был к этому готов. Он боялся города, не хотел в него. И, когда поезд начал тормозить, он вспомнил о ветре и поёжился, говоря себе, что всё дело только в ветре.

Кузьма сходит с поезда и от неожиданности замирает: снег. Большими, лохматыми хлопьями он спадает на землю, и в наступающих утренних сумерках земля начинает белеть. Ветра нет и в помине. Мягкая, неземная тишина, спадающая вместе со снегом на землю, накрывает и глушит пока ещё редкие звуки.

Стараясь попадать в чьи-то следы, чтобы не мять снег, Кузьма через рельсы идёт к вокзалу. Его охватывает горькое, тоскливое чувство неизбежности того, что сейчас произойдёт. Он заставляет себя думать, что приехал не к чужому человеку, а к брату, но брат, как спасение, из мыслей всё время ускользает, и остаётся одно только слово, слишком короткое и непрочное, чтобы успокоить. Тогда Кузьма думает о снеге, о том, что снег сейчас — это к добру. Должно быть, он добрался теперь и до деревни, и Мария засветившимися в надежде глазами смотрит на него как на чудо. Наверно, Мария считает, что Кузьма уже у брата и обо всём договорился — после этого, как добрый знак, чтобы она зря не маялась, и пошёл снег. Она до всего может додуматься.

Кузьма идёт к автобусной остановке и, достав конверт с адресом, спрашивает, как доехать до брата. Ему показывают автобус, на котором надо ехать. Кузьма садится. Народу в автобусе из-за раннего и воскресного утра немного. Кузьма чувствует себя совсем одиноким и потерянным, будто он приехал в город не сам, а его привезли. Мысли о деньгах вдруг кажутся ему пустяковыми по сравнению с тем, что его ждёт впереди. Он оглядывается на людей — все смотрят на улицу и не замечают его. Он ругает себя: как это ему в голову пришло ради денег ехать в город, неужели он не мог достать их у себя в деревне?

Потом он сходит с автобуса, оглядываясь, держа перед собой конверт с адресом, идёт по улице. Рассвело. Снег всё валит и валит, падает Кузьме на плечи, на голову, застилает глаза, как бы мешая Кузьме идти дальше.

Он находит дом брата, останавливается, чтобы передохнуть, и прячет в карман мокрый от снега конверт с адресом. Потом вытирает ладонью лицо, делает последние до двери шаги и стучит. Вот он и приехал — молись, Мария!

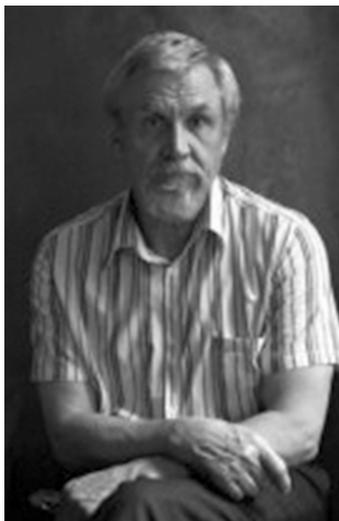
Сейчас ему откроют.

1970

ПОЭЗИЯ



ВАСИЛИЙ КОЗЛОВ



Посвящения

Ирония иронией,
Но могут и побить.

Влас Яницкий

Застольный разговор

А.Г.

— А что, может, выпьем? — спросил ты с улыбкой,
а мне не хотелось.
Но часто, о други, подводит меня мягкотелость.

И ты ненароком добил меня доводом веским:
— Писателей, глянь, как грибов от дождя, расплодилось,
а выпить-то не с кем...

Не в смысле того, что им трезвость внушила уроки,
Душевности нет в разговоре, всё распри да склоки...

КОЗЛОВ Василий Васильевич, поэт, редактор. Родился в 1947 г. на ст. Оловянная Читинской области. Окончил среднюю школу в г. Усолье-Сибирском. Служил в Советской армии. Учился в Иркутском госуниверситете на филологическом факультете. Автор поэтических книг «Уроки доброты» (Иркутск, 1975), «Есть у меня на свете брат» (Иркутск, 1979), «Стихотворения» (Иркутск, 1985), публикаций в антологиях, коллективных сборниках, журналах «Наш современник», «Москва», «Роман-журнал 21 век», «Огни Кузбасса» и др. Член Союза писателей России, поэт, главный редактор журнала «Сибирь» с 1986-го по 2012 г. Лауреат Всероссийской премии им. Николая Рубцова. Живёт в Иркутске.

И так покати́лась по камушкам наша беседа —
В прозрачной воде не оставишь заметного следа.

Крутили, мутили остатние воды колодца...
А что остаётся? А то, что другим достаётся...

Нет с нами давно Ростислава, Бориса и Глеба...
Когда-то и нам распахнётся любимое небо.

Там млечные реки, там райские кущи. И много чего там...
Но мало чего там по нашим делам и по нашим заботам.

Не надо мне рая, не надо мне чуда на блюде,
Но хочется верить, что были мы всё ж не последние люди.

Да хочется верить — за наши грехи и за наши писанья,
Быть может, но смертное ждёт нас с тобой наказание,

И где-то в медвежьем углу необъятного неба
Мы встретим с тобой Ростислава, Бориса и Глеба.

И пусть не нальют там на радостях даже компота,
Мне встретиться с ними хотя б ненадолго охота.

Глеб выйдет навстречу в своей допотопной тельняшке —
И там не забыл он свои молодые замашки.

Шагнёт Ростислав, ироничный, устало навстречу:
— Тут ходит такой анекдот про Ивана Предтечу...

Борису и в жизни была не знакома бравада —
Затеплится свет невечерний смиренного взгляда.

Всё будет не так, но хотелось бы верить, что будет...
А жизнь и без нас не убудет. Ты прав, не убудет...

Надпись на чаше

Виктору Бронштейну

В природе нет ни зависти, ни злости,
Она к нам равнодушно-холодна.
Незванные, мы к ней приходим в гости,
Ей непонятны наши письма.

Но всё в ней — мысль: и облако, и птица,
И дёрёва причудливая стать.
Возможно, через нас она стремится
Себя в грядущем сущем осознать.

И мне не важно, кто я и откуда,
Зачем пришёл я и куда иду, —
Меня ведёт предощущенье чуда,
Мне всё равно, когда я Чуда жду.

И всё же мне с руки забавы эти —
Стальной резец, весёлое тесло,
Не зря же выбрал я на этом свете
Созвучное природе ремесло.

2014 г.

* * *

Наталье Камышиовой

Грань между алым и синим прочерчена хлёстко —
В утренней, ветром пронизанной клетке ветвей
Чистую ноту возьмёт в тишине горихвостка
И сладкозвучную трель вознесёт соловей.

Все эти струны, свисточки и дудочки тонкие,
Все эти здешне-нездешние звуки с небес,
Все эти всплески, коленца и щёлканье звонкое
Смыслом неведомым луг наполняют и лес.

Певчие птицы не ждут от людей восхищения
И беззаветно невольничий славят приют.
Им безразлично, кто слышит не слышит их пение,
Певчие птицы поют, потому что поют...

1 декабря 2015 г.

* * *

Н.А.

Как чувства подчиняются уму, Так ты будь осмотрительней и злее. Калёного железа страсть острее. В любви не признавайся никому.	Не повторяй банальные слова, Пойми, что искупительней молчанье. Любила ты — и этим ты права. Кому нужны прощальные признанья?..
---	--

Наш друг Кон-цзы

*Сотоварищу по жизни и рыбалке
Альберту Гурулёву*

Чего мне в жизни больше жалко? А ничего не жалко мне. Нет, жалко всё же, что рыбалка Не состоялась по весне.	Достанешь грешную баклажку, Позволишь радостный глоток.
Была хреновая погода, Но это тоже не беда. Беда, что после ледохода Ушла высокая вода.	Но если вместе с першим другом, К тому ж аргунским казаком, Тогда стаканы ходят цугом, И не вразвалку, а бегом.
Для рыбака совсем неважно, Как говорил наш друг Кон-цзы, Когда вода зеркально влажна, Иркут пред ним или Янцзы.	Когда костёр развеселится И пламя ластится во мгле, Когда в огне сияют лица — Жизнь бесконечна на земле.
Людская жизнь, она сравнима, Конечно, с глубиной речной... А рыбы больше у прижима, Где создаёт теченье сбой.	Когда меня понять смогли бы, То объяснил бы людям я: Рыбалка — не добыча рыбы, А поиск смысла бытия.
Подденешь беглую букашку Блестящим рыльцем на крючок,	Но выпадает реже, реже Улыбка встречи у реки. Пусты и скорбны наши мрежи, Знать, мы стареем, мужики.

В пылу словесной перепалки,
В желанье света и добра,
Ценней охоты и рыбалки
Молчанье друга у костра.

Была бы жизнь сплошная горечь,
Не помогал бы магарыч,
Когда б ни Валентин Григорич
Да ни Альберт Семёнович.

Но если нет по жизни клёва,
Зачем нам всполохи грозы?

Ты не смотри на нас сурово,
Мы — кореша твои, Кон-цзы.

Ты у реки сидишь, сутулясь,
Не первый год, не первый век.
Вдоль ослеплённых ярких улиц
Проходит чуждый человек.

Вселенная — твоё жилище.
Ты сир и нищ, ты мудр и тих...
Бамбуковое удилище
Не выпускай из рук своих...

2016 г.

* * *

N.N.

Я рифмовать могу с утра до вечера
О чём угодно. Даже ни о чём.
Когда б мне в жизни делать было нечего,
Я стал бы знаменитым рифмачом.

В порыве неосознанно-лирическом,
Глухарь на поэтическом току,
Как тот столяр рубанком электрическим,
Я гнал бы кучерявую строку.

Я всех оплёл бы рифмою полезно,
Все имена знакомых мне людей

Вбил в переплёт булавкою железною
И деньги брал за книги без затей.

В своих стихах не понимая минуса,
И через тех, кого зарифмовал,
Я ловко проскользнул бы в книгу Гиннеса,
Чем Гиннеса сразил бы наповал.

Так с решетом ходил, ходил бы по воду,
Имел доход на многие года...
Прав Гоголь был, пусть по другому поводу,
Но он сказал: — Как скучно, господа...

Пейзаж с четырьмя воронами

Владимиру Кузьмину, художнику

Четыре ворона сидят
На четырёх столбах.
Зачем, кому они кричат,
Что мир летит во прах?

Над серым пеплом неживым,
Как безутешный вздох,
Рассеялся столетий дым,
Завял букет эпох.

А мы с тобой затопим печь,
Во мгле свечу зажжём.
И потечёт неспешно речь
Об этом и о том.

О взрывы дружеских бесед! —
Ничто пред ними век.
Твоя душа светла, как свет,
Чиста, как юный снег.

Всё, что волнует и болит,
Откроет другу друг...
И первый ворон замолчит,
Осмотрится вокруг

На серый пепел неживой,
На мёрзлый краснотал.
И замолчит за ним второй,
Забыв, о чём кричал.

Не понимая, что к чему,
Но чувствуя подвох,
Сорвутся чёрные во тьму,
В туман былых эпох.

И нет ни стен, ни потолка,
Лишь неба высота.
И мимо нас сквозят века,
И снег метёт с холста.

Не такова, приятель, жизнь,
Как кажется порой,
Пойди, попробуй, разберись,
Кто мёртвый, кто живой.

И Пушкин вступит в разговор,
И Репин, и Серов.
Старик Державин бросит взор
Поверх седых голов

На серый пепел меж кустов,
На мёрзлую сирень:
— Привет, Кузьмин, привет, Козлов!
Какой сегодня день?

А день сегодня выходной.
И, что там говорить,
Мы можем выпить по одной,
А можем и не пить...

Калитка вздрогнула во мгле,
Как выстрел по судьбе.
Всё, чем богаты, — на столе,
А чем мудры — в себе.

Последний ворон улетит...
А жизнь — она стоит:
Пока калитка в мир скрипит,
Пока свеча горит.

У костра

Владиславу Огаркову

Лес прозрачен. Воздух чист — Пламя ластится к ногам —
Пью как талую водицу. Поздней осени отрада,
Всякий падающий лист И моим седым годам
Выдаёт себя за птицу. Ничего уже не надо.

Поднесу к губам манок, Я обрёл иной чертог,
Пропоёт короткой трелью. Я для новой жизни вызрел.
Прилетай ко мне, рябок, И в душе моей восторг
Посидим вдвоём под елью. Не разбудит точный выстрел.

Без тебя скучаю я... Ёжась в стареньком плаще,
Ты не пьёшь, я выпью пива. Побреду без всякой цели,
Одностволочка моя С тяжким грузом на плече...
Смотрит в сторону стыдливо. ... Угли алые истлели.

10 октября 1916 г.

Гериатрический центр

Г.В. Аксаментову,

главному врачу писательской организации

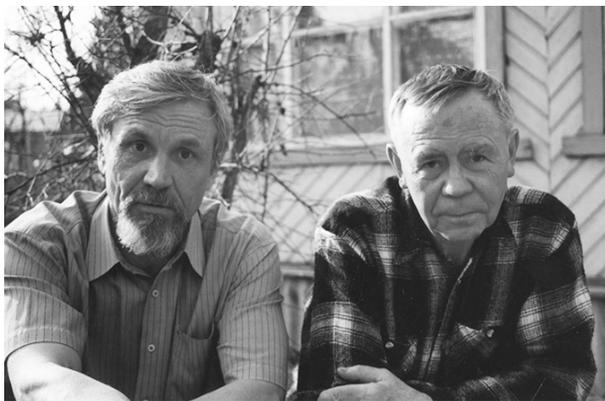
Сюда с утра спешат творцы литературы,
Здесь искренне звучат высокие слова.
Столица всех искусств и цитадель культуры —
Дневной стационар больницы номер два.

И если мы сюда дойти ещё сумели,
То, значит, в нас струя поэзии жива.
Здесь жизнь живет, чем в писательской артели,
В палате номер шесть больницы номер два.



ВАСИЛИЙ КОЗЛОВ

За черникой



Василий Козлов и Валентин Распутин

Кому-то может показаться, что поход в тайгу за ягодой то же самое, что и на рынок, с той лишь разницей, что в тайге бесплатно, а на рынке за свои кровные. Конечно, в таёжной глубинке, где ягодники начинаются за огородами, можно управиться и обыдёнком, то есть одним днём, но всё равно неторопливый и созерцательный сборщик и котелочек с собой прихватит, и закуски какой-никакой, а по настроению и пузырьёк с живительной влагой сунет в горбовик. Если и один

идёшь, как можно обойтись без костра, не обогрева ради, а сооруженного только для того, чтобы вдыхать тонкий шершавый запах горящих сучьев, смотреть на невесомый дым, ползущий между деревьями по склону, пошвыркивать из металлической кружки чай, с брошенными в закипевший котелок лепестками свиного багульника, ягодами шиповника, листочками брусники и какой-нибудь ещё, неизвестной, но всем своим видом и запахом полезной травки-муравки, попавшей под руку здесь же, около кострища.

Если взять горожанина, то ему-то уж точно дешевле покупать ягоду на рынке. И собираться в тайгу надо не на один день и преодолевать сотни километров, и возвращаться иногда, как говорят, не солоно хлебавши. Никто в тайге ягоду не караулит, кто успел, тот и нашёл, а кто не успел, тот и не съел. Но это не останавливает горожанина.

Скажу, что не за ягодой русский сибиряк ходит в тайгу, собираясь в небольшие ватажки, группы семейные и холостые, постоянные и случайные, предмысливая и предвкушая, обсуждая подолгу предстоящие хлопоты в неотступной зимней темноте по телефону. Походы в тайгу — неотъемлемая и незаменимая часть жизни.

Иркутские писатели Валентин Распутин, Альберт Гурулёв, Ростислав Филиппов, Владимир Жемчужников, Станислав Китайский, Михаил Трофимов, Анатолий Горбунов, Анатолий Байбородин, Василий Забелло, Андрей Антипин и другие в различной мере в разные годы бывали кто рыбаком, кто охотником, кто-то не ловил рыбу и не стрелял зверя, а вот ягодниками были все. И, скажем, тема ягодного сбора есть почти у всех названных мною прозаиков и поэтов, но всё же не будет преувеличением: у Валентина Григорьевича эта тема занимает особое место, и нет другого писателя, который с поэтической ясностью изобразил в подробностях и деталях и таёжный пейзаж, и нетягостное сидение у костра, и неповторимость ягодной местности, и психологию сборщиков, и потайной смысл походов в тайгу. Не откажу в удовольствии себе и приведу отрывок из рассказа Валентина Распутина «Под небом ночным», с посвящением «друзьям-ягодникам Альберту Гурулёву и Николаю Есипёнку».

Нет, не только за ягодами и орехами ехали они сюда и не о них томились долгими зимами, вымаливая в тоске и нетерпении вот эту пору. И везли они сюда не только посуду под ягоды, но кое-что еще и в себе, требовавшее утоления. Не стало зимовья, но остался этот бугор между сосняком и речкой, обжитый многими наездами и почти родной, устроившийся так, что нельзя его ни сжечь, ни снести, и, должно быть, тоже помнящий их, потому что никогда и ни в чем не принесли они ему урона. Здесь даже грубое слово не выговаривалось. Остался этот неумолчный и нежный, хрустальный звон речки, это обрезанное горами и изгибающееся небо, эта высокая дородная ель с зеленью до синевы и широким, загнутым по краям изладом борчатого подола, и дикая, в сумерках совсем мрачная картина уходящей вверх по речке тайги с высоко и мертво торчащим сухостоем, и грубый крик козла где-то неподалеку, похожий на рев медведя, и ночное звезднотрепещущее небо, и предутренний, короткий, как выдох, шум верхового ветра, тронувший верхушки сосен и ели и тут же загасший... Остался этот вязкий и хмельной запах всего-всего, что есть вокруг, — от муравейника, расположившегося рядом с тропкой на спуске с бугра, от вызревшей травы, клонящейся и отдающей сухостью, от порыжевших грузных сосен и собенной от старости черемухи, от камней, поросших мхом и наполовину ушедших в землю, от вывороченного соснового корневища, от нагретой за жаркое лето горы. Остались это умиротворение, этот покой, в которых сейчас лежит тайга, это желанное и щедрое отпущение грехов.



*Василий Козлов. Ангара. Весна 2007 г.
Напротив дома Валентина Распутина*

Я никогда не вёл дневников, подразумевающих ежедневные записи. Когда вернулся из армии и стал работать в газете, на областном радио, а в дальнейшем и редактором журнала, то появлялись адресные и записные книжки, необходимые в работе, ежедневник на столе дисциплинировал, там были расписания встреч, всевозможных совещаний и т. д., которые держать в голове невозможно. Там же на свободных страницах оставлял заметы, не относящиеся к работе, цитаты из прочитанных книг, случайно приходившие поэтические

строки, кем-то сказанные удачные фразы и т. д. и т. п. Как легко появлялись эти записи, так же легко выбрасывались в конце года ежегодники, вместе с записями. Иногда я вырывал страницы и складывал в папки вместе с письмами, адресованными мне, с поздравительными открытками, тоже выборочно оставляемыми на память.

Невозвратные годы складывались в десятилетия, и только сегодня, когда годов впереди уже изрядно меньше, чем за спиной, разбирая действительно, а не образно пожелтевшие страницы, вдруг пришло острое чувство сожаления, что так расточительно обращался с богатством, которое как дар свалилось мне с неба прямо в руки, но невнимателен я был и равнодушен, не фиксировал даже самых важных имён, случаев и встреч, так мимолётно и скоростремительно промчавшихся куда-то, запечатлев в памяти только эхо, только очертания, только слабые видения, а не картину жизни.

Но в оправдание звучит и другой голос, успокаивающий, что всё произошло как произошло, и по-другому не могло произойти, Божья воля выше человеческой, и то, что отсеялось, отваялось, — это словесные отруби, из которых, как ни старайся, не слепишь лепёшку, как ни разминай — рассыплется влажным песком.

Валентин Распутин был знаменитым писателем, и в смысле знаменания, и в смысле знаменности. Его известность, а потом и знаменитость утверждались медленно и незаметно, от книги к книге, от выступления к выступлению, от действия к действию. Не было резкого всплеска читательского интереса, но не было и забвения. Было возрастание его значения

в жизни литературы, в жизни страны. Даже в последние годы, когда Валентин Распутин ничего не писал, он оставался неким неофициальным центром в литературной жизни России. И значимость ему придавала не только и не столько литературная деятельность.

При жизни Распутина можно было услышать:

— Если бы не Распутин, то я бы был первым писателем в Иркутске.

Какой-то нелепый упрёк проскальзывает и в писаниях этих авторов. Может быть, это — дымовая завеса зависти?



*Валентин Распутин с читателями.
Фото Василия Козлова*

ного литератора, если бы в своё время Распутин не обратил на них внимание и не вселил в них надежду и уверенность.

* * *

По просьбе редактора отправил в журнал воспоминание о поездке с Валентином Григорьевичем в Присяянье за черникой, рядовое событие, бытовые сценки, словом, путевой очерк, но на этом фоне проявление пусть малых, незначительных черт его, которые в других ситуациях не проявятся, потому и важны, как важен теперь, когда его нет с нами, каждый шаг этого человека. Редактор позвонил мне, сказал, что очерк добротный, но в очередной номер не войдёт, готов поставить в следующий, но надо насытить его глубокими мыслями из его публицистики.

Какие могут быть великие мысли, когда прорубаешься, пропиливаешься бензопилой, сквозь тайгу, неторопливо беседуешь у костра о самых незначительных вещах, но наполняющих смыслом общение, любишь грохотом воды в горном ручье или спускаешься по крутому каменистому склону на вездеходе, готовом, кажется, в каждое мгновение сорваться вниз, и думаешь только об одном: не дай бог!..

Всё великое и мудрое — в книгах Распутина. Надо быть только любопытным и не ленивым, открыться душой и сердцем навстречу.

Отшумит юбилей, отшелестят газеты, отговорят телевизоры, уйдут люди, знавшие Валентина Распутина, дружившие с ним, слышавшие его, а распутинская Сибирь останется заповедной страной, как Сибирь историческая до пришествия русских, и всякий может стать первопроходцем по нашей духовной Сибири, и откроются щедро каждому несметные сокровища распутинской мудрости, созидательной силы и любви.

* * *

С писателем Станиславом Китайским прилетели в восточный Берлин. В Карл-Маркс-Штадте один немецкий писатель пригласил к себе на дачу. Пили чай. Разговор зашёл о дачных делах. Это только у нас в России дача — место, где работают в свободное от основной работы время, работают от зари до зари, а в тёмное время ещё прихватывают ночь,

включая фары автомобиля или переноску. У немцев, как и у других европейцев, дача — это место отдыха: стриженные лужайки, несколько фруктовых деревьев и никаких грядок или теплиц. Зачем, если всё есть в магазине. И дачи, как правило, расположены сразу за чертой города.

Гюнтер спрашивает меня:

— У вас дача есть?

— Конечно, — говорю, — а как же?

— Далеко от города?

— Да нет, не очень, сто километров.

Он стал думать, затем переспросил переводчицу, та — меня. Я подтвердил.

— На машине ездите?

— Нет, на электричке, машины у меня нет.

Он недоуменно вскинул на меня глаза:

— Это что, шутка?

Мне пришлось долго его убеждать, что это правда. Я говорил, что русский дачник ждёт не дожждётся, и каждую пятницу садится на электричку и едет к чёрту на кулички, чтобы проторчать там до воскресного вечера кверху задницей, вернуться к полуночи в город, а утром выйти на работу и с восторгом делиться с сослуживцами счастьем. Для немца это было непостижимо, мне показалось, что он так и не поверил. Но подхватил тему расстояний и стал с восторгом рассказывать, что к его сыну приехала подруга:

— Вы представляете, она проехала восемьдесят километров на поезде, чтобы встретиться с моим сыном!

Восемьдесят километров у него звучало как восемьдесят тысяч лье под водой.

За две недели он несколько раз вспоминал эту историю с подругой сына, чувствовалось, что случай этот поразил его до глубины сознания.

Европейцы живут другими представлениями о расстоянии. В средние века мы жили на одном европейском пятачке, и у каждого народа была возможность расширять свои владения на восток, но только мы ушли за Уральский Камень, дошли до океана легко, как нож сквозь масло, а у них хватало смекалки и наглости только на то, чтобы ходить в наши владения и пытаться прибрать к рукам наши земли, освоенные и обихожённые. Западные историки, когда пишут о причинах поражения и Наполеона, и Гитлера, непременно приводят фактор необъятности наших территорий, чтобы принизить силу, храбрость русского человека, его самопожертвование во имя общей победы. Ну что ж, кому-то стены крепостные помогают, а нам — бескрайние просторы и леса.

Наши студенты на выходные едут из Иркутска к родителям «подхарчиться» за сотню-другую километров, и даже не думают, что это далеко.

Надо заметить, что в России во все времена расстояния или отношение к ним были иными, чем в других странах. Приведу выдержку из воспоминаний Сергея Тимофеевича Аксакова о Державине, с которым он близко сошёлся в 1815 году, часто бывал у него, подолгу беседовал с ним. И когда Гаврила Романович узнал, что Аксаков из Оренбуржья и учился в Казанском университете, воскликнул: «Но позвольте: ведь мы с вами с одной стороны... Да мы с вами и соседи по оренбургским деревням; я обо всем расспросил братца вашего. Моё село, Державино, ведь не с большим сто верст от имения вашего батюшки». «Сто верст считалось тогда соседством в Оренбургской губернии», — добавляет Аксаков.

Многие путешественники отмечали спокойное отношение русских людей к расстояниям. И.А. Гончаров размышляет об этом, возвращаясь из кругосветного путешествия: «На Каменной станции оканчивается Якутская область, начинающаяся у Охотского моря, — это две тысячи верст: до Иркутска столько же остается — что за расстояния! Какой детской игрушкой покажутся нам после этого поездки по Европейской России!» Или в другом месте сибиряки говорят: сто рублей — не деньги, сто километров — не крюк. Если бы я рассказал немцу, как мы с Валентином Распутиным ездили за черникой за тысячу километров, он бы мне не поверил всё, что не поддаётся пересчёту на евро, подчас не подвластно европейскому уму.

Среди писателей мало найдётся, кто мог бы сравниться с Валентином Распутиным: так быстро и чисто никто брать не может ни бруснику, ни жимолость, ни чернику, ни голубицу. Я думаю, это не столько опыт, сколько данный от рождения навык. Это подметил и поэт Ростислав Филиппов:

*Сам я по тайге ходок неважный.
Вот Распутин бегаёт, как лось.
Мне не часто, но и не однажды
по бруснику с ним ходить пришлось.
Всякого бы склоны устрашили.
Еле-еле рюкзачок несущ...
Он же — свист травы! — и на вершине.
Снова посвист — он уже внизу!
Ты идёшь, усталый, до ночлега.
Поработал, как передовик.*

*Он — весь день проиштал и пробежал.
Ан, проверьте — полон горбовик!
В том, конечно, оправдания мало —
мы, мол, не в деревьях рождены.
Дилетанты и профессионалы —
все подряд перед тайгой равны.
Вот искусство — на одном и том же
месте больше ягод усмотреть.
Если ты того ещё не можешь —
не завидуй. Постарайся впрёд.*

Сбор ягоды — дело фартовое. Бывает, придёшь в ягодник, кажется, всё кругом выбрано на версту, а возвращаться пустым не хочется. Пойдёшь в одну сторону, в другую, ноги изобьёшь, еле волочишь — и вдруг наткнёшься на нетронутую полянку рясной, прямо какой-то праздничной ягоды; два-три часа — и полон горбовик. Но бывает, что излазишь округу, сколько сил достанет, и — пусто: не уродилась.

* * *

Николай Васильевич Терещенко, человек известный не только в Тулуне, где живёт, он — охотовед, предприниматель, путешественник, работал по молодости и штатным охотником, и ягоды заготавливал, и орехи бил, и прочие дикоросы собирал.

Однажды, будучи в Иркутске, позвал нас за черникой. Мы легко согласились, собрались, уложили вещи, залезли в его джип и — полный вперёд. О том, куда едем, и речи не вели, проводник надёжный, места знает, ему видней. Доехали до Тулуна — это четыреста километров, переночевали на Казачке, в небольшой гостинице недалеко от Тулуна на реке Ие, куда нас устроил Николай Васильевич. Утром на вездеходе ГАЗ-66, военной машине, которая уже давно не выпускается нашей промышленностью, но надёжно работает по всей таёжной Сибири, двинулись в сторону Саянских хребтов. Николай Васильевич родился в Ишидее, присаянском таёжном селе, его дед, его отец были профессиональными охотниками, и Николай с детских лет освоил таёжный промысел. В Ишидее он взял проводника, местного парня Сергея, хотя сам Терещенко знает местность и мог бы обойтись, но где в этом году уродилась черника, не знал.

Заехали к знаменитому охотнику, участнику войны. Пили чай. И как-то сам собой без напряжения шёл разговор о том, что волнует, о варварской рубке леса, об упавших ценах на пушнину и т. д.



Валентин Распутин. Тулунский район.
Фото В. Козлова

Наверно, на земле уже не осталось таких мужиков, таких характеров, которые ещё встречаются у нас в Сибири, особенно в глубинке. Их тоже немного, но они есть. По мощи природной, по силе и воле они плоть от плоти тех русских первопроходцев, которые за короткий срок освоили Сибирь плугом и конной тягой, топором и пищалью, невероятным напряжением собственных жил они сделали то, чего не делал ни один народ в мире. Они преодолевали невообразимые расстояния, и наверное

в нас и через несколько поколений не ослабевает та сила, которая вела их. У нас нет боязни расстояний, нет страха глубины и высоты и, наверное, поэтому мы первыми устремились в космос.

Однажды я спросил Николая Васильевича, сколько раз он обогнул земной шар на своём автомобиле.

— Я об этом не думал.

Стало интересно прикинуть, хотя бы приблизительно, сколько тысяч километров он проехал, оказалось, что он мог бы обогнуть нашу землю, совершить кругосветное путешествие три десятка раз, не менее, а то и более.

* * *

Кто не трясся в грузовиках по таёжным дорогам, не спускался по размытым колеям в глубокие пади и не «полз» по каменистому или болотистому бездорожью, цепляя железным брюхом автомобиля камни, вряд ли представит даже в развитом воображении, что это за путь. Остановились в середине дня, когда ниже дороги возникла речка, поблёскивавшая на перекате расплавленными искрами света. Стали собирать сухой хворост, подтащили парочку увесистых коряжин. Место выбирать не пришлось, на чистой полянке над берегом в траве чернело старое костровище. Было видно, что рыбаки давно облюбовали этот пригорок.

Чайник закипел скоро. Николай Васильевич достал из ящика с продуктами кусок чаги и хорошую щепоть какой-то сушёной травы:

— Будем пить полезный чай из чаги и каменного зверобоя.

Тёмный настой источал смолистый аромат и был приятен на вкус. Пили, нахваливали. Николай Васильевич потянулся к чайнику за добавкой.

— Слушай, Вася, а давай нашего бесполезного индийского заварим, — это Валентин Григорьевич мне, едва уловимо улыбаясь одними глазами.

Накануне вечером в гостинице я заваривал чай, который прихватил из дома. Жена обнаружила в одном магазине чай, назывался он «Золотые лепестки» и, как нам казалось, не уступал по вкусу индийскому чаю, который пили в советское время. Валентин Григорьевич оценил его вкус. Он не отрицал полезность травяных настоев, но чай предпочитал в чистом виде. Вспомнилось, как пили чай у Альберта Семёновича Гурулёва, писателя, университетского товарища Валентина Григорьевича, он гуран и чай пьёт только с молоком. Но Валентин Григорьевич от молока отказался, сказал, что так два продукта портятся — и чай, который перестаёт быть чаем, и молоко, которое перестаёт быть молоком.

Когда закончили трапезничать, Валентин Григорьевич стал собирать кружки, тарелки. Сергей хотел взять у него посуду:

— Валентин Григорьевич, дайте, я схожу помою.

Но он отстранил его руку и стал спускаться к реке...

Мы «шли» всё дальше и дальше. Надо заметить, что лесные дороги, ранее бывшие лесовозными, здесь, в Присаянье, находятся в хорошем состоянии, хотя лес уже почти не заготавливают — весь вывезли, но грунтовки служат и поныне. К вечеру мы по крутому, казалось, отвесному склону спускались в широкую падь, колея была размыта на метровую глубину, и валуны торчали из промоин. Лавируя между ними, Николай медленно и умело вёл машину, уклон был настолько крутым, что дух захватывало. Машину болтало из стороны в сторону, борта будки шоркались о кусты и стволы деревьев.

Я повернулся к Валентину Григорьевичу — напряжённо глядит вперёд, сжимая ручки на передней панели.

Уже поздней ночью, когда мы укладывались спать, он спросил:

— Ты когда-нибудь ездил по таким дорогам?

Я сказал, что бывает и хуже. С Николаем Васильевичем я ходил и в Саяны на снегоходах, и на охоту и зимой, и весной, случалось, что вездеход уходил под лёд, поэтому было с чем сравнивать — в тайге не бывает асфальта...

Валентин Григорьевич только качнул головой, но жест был понятен.

Накануне прошла мощная буря, и долина была сплошь завалена выворотнями, сло- манными деревьями — проехать было невозможно. Мы остановились. Пропиливать до- рогу было бессмысленно, около километра до зимовья мы пробивались бы не одни сутки. Николай остановил машину, вышли все. Он прошёл вперёд, свернул влево, к речке, вер- нулся.

— Пойдём по руслу реки, там деревьев меньше, пропилим дорогу. Сергей, доставай пилу. А вы разводите костёр, чай варите.

Зашумела бензопила. Из лежащих поперёк речки деревьев выпиливалась середина, чтоб могла пройти машина, сутонок пускался вниз по течению.

Мы с Валентином занялись костром, собирали валежник, мастерили таган. Закипел чайник, шумно вырывался пар, подпрыгивала крышка, и кипяток выплёскивался прямо в костёр. Валентин снял с шеста чайник, отодвинул от пламени, и мы пошли на шум бензо- пилы помогать Николаю и Сергею.

Таёжные зимовья в общем мало отличаются друг от друга. Это было попросторней, видимо, здесь раньше, когда заготавливали орех и ягоду, жили бригадой.

Истопили баню, пристроенную к зимовью, попарились, сидели у костра за разгово- рами чуть ли не до первого света. Рядом с Валентином, примостившимся на чурбаке, спала собака, дёргая лапами во сне и тихо поскуливая нутром, может быть, гналась за зверем или облаивала загнанного в скальник соболя.

В зимовье было жарко, и Валентин предложил ночевать в машине. Будка была обору- дована деревянными нарами, которые могли при необходимости вместить человек пять- шесть, на них лежали ватные матрацы, подушки, шерстяные одеяла.

Утром разводили костёр, вытаскивали из зимовья съестные припасы, варили чай. Сер- гей ушёл в черничник на разведку. За шумом речки не услышали, как он подошёл, повер- нулись на голос:

— Нет ягоды, Василич.

— Как, совсем, что ли? — переспросил Терещенко.

— Морозом цвет побило, я всё обежал. И вправо ходил по склону до конца ягодника, и вернулся по гривке — пусто.

Интересно, как бы воспринял немец или иной европеец рассказ о том, как мы со зна- менитым писателем Валентином Распутиным ездили собирать чернику за тысячу вёрст, если считать весь путь туда и обратно, то и подальше будет, а ягоды не оказалось. У них, как выражается один мой знакомый, наверняка бы произошло «смещение мозгового цен- тра».

Но ягоду мы всё-таки нашли, не зря Николай Васильевич взял с собой Сергея. На обратном пути, на каком-то перевале, Сергей повёл нас одному ему известным ходом и вывел на склон, на котором мы, поползав несколько часов, наполнили свои горбовики черникой.

Ну, а обратная дорога, как заметили наблюдательные таёжники, всегда короче.

НИКОЛАЙ ТЕРЕЩЕНКО

ОХОТОВЕД-БИОЛОГ, г. Тулун

Крепка дружба не лезтью...

Тулунчанина Николая Васильевича Терещенко с Валентином Григорьевичем Распутиным связывала многолетняя искренняя дружба. И неудивительно: Николай Васильевич — человек разносторонний, влюблённый в жизнь, в свою малую родину, открытый для общения с творческими людьми. Охотовед-биолог, предприниматель, меценат, экстремал-путешественник — это его жизненные ипостаси, с которыми он идёт по жизни. Имеет звание Академика Ганноверской академии естественных наук. Награждён медалью имени Альберта Швейцера в знак признания его морально-этических качеств и выдающихся заслуг как учёного и специалиста в области выживания человека в экстремальных ситуациях. У Николая Васильевича множество друзей во всех уголках земного шара. Но дружба с Валентином Григорьевичем — это особое, трепетное, уважительное, памятное отношение к выдающемуся писателю.

Редакция «Сибири»

Познакомился я с Валентином Распутиным в 2003 году. Валентин Григорьевич, а также иркутские поэты Владимир Скиф и Василий Козлов приехали с творческим визитом в город Тулун, остановились на моей базе отдыха «Казачка Ия». Тогда-то мои друзья Скиф и Козлов познакомили меня с Валентином Григорьевичем лично. Понятно, что заочно, понаслышке я Распутина знал, и наконец-то — личная встреча.

Мы много времени разговаривали, разезжали по Тулунскому району. И, как в народе говорят, приглянулись друг другу. Поразила его скромность, замкнутость, застенчивая, человеческая улыбка.



Валентин Распутин и Николай Терещенко

В жизни я человек любознательный, и мне интересны были его взгляды на жизнь. Разговоры в основном велись о политике, о жизни, о работе. В своих суждениях и высказываниях он был самобытен и независим, в отличие от тех, кто попугаями повторяет чужие слова, подлаживаясь к сильному миру сего. А у него — своя линия, своё мнение и понимание. И меня это подкупало.

Директор школы села Едогон Надежда Зыбайлова пригласила нас на мероприятие районного патриотического клуба «Красный квадрат». Утром, во время сборов, я подметил, насколько Валентин Григорьевич бережлив к одежде и обуви.

Он вышел из гостиницы, достал из пакетика небольшую сапожную щётку и аккуратно начистил обувным кремом чёрные туфли. Это, во-первых, армейская привычка, она даёт о себе знать, ведь Валентин Григорьевич был на военных сборах. И просто аккуратность человека — ведь он будет встречаться с людьми, и туфли у него должны быть чистые. И тогда я подумал: «Надо же, насколько он аккуратен во всём — в словах, в действиях, в жизни, настолько он аккуратен в пользовании одеждой и обувью». И с тех пор в машине я тоже храню обувную щётку с кремом...

Одевался он скромно. На нём была обычная рубашка, простой галстук, скромный костюм, неброская обувь. Простые недорогие вещи.

Приехали мы в село Едогон. Местная школа считается одной из лучших в России благодаря стараниям Надежды Сазоновны. Она вела с Валентином Распутиным длительную переписку, его долго ждали в гости в Едогоне. И дождались. Как Распутина встречали школьники!

Прошла хорошая творческая встреча, после был обед. Столы накрывало, наверное, всё село — широко, по-русски. Валентин Григорьевич, сам с русской натурой и удивительной широтой души, удивлялся: «Ну что вы натворили, столько наготовили! На свадьбе готовят меньше».

Когда закончился творческий визит и гости уехали, я задумался: настолько общение с ними было для меня знаменательно, необычно, важно, торжественно! И я повесил памятную доску о пребывании писателей в том здании базы отдыха «Казачка Ия», где мы кушали и проводили время:

Здесь в 2003 году с творческим визитом пребывали писатели Распутин Валентин Григорьевич, Скиф Владимир Петрович, Козлов Василий Васильевич.

И сейчас я горжусь, что таким образом сохранил память о пребывании в Тулуне этих писателей.

В ту первую встречу у меня с Валентином Григорьевичем на многие годы завязались дружеские отношения. Неоднократно он приезжал ко мне в гости отдохнуть.

Я помню одну из поездок в тайгу за черникой: я совком ягоду беру, а Валентин Григорьевич говорит: «Я не умею совком, собираю руками. Раньше совков не было». Минут за 30–40 начерпал я совком ведро черники. Набираю совок ягод почище, чтобы высыпать Валентину Григорьевичу: у него меньше половины ведра собрано. Ягода чистая — ни листьев, ни хвои. Я предлагаю: «Давайте совочек вам высыплю. Мне собирать некуда». А он как всегда на «вы» в ответ: «Нет, нет! Не нужно! Что вы, Николай Васильевич, это не хорошо, не нужно». А я говорю ему: «Валентин Григорьевич, а что мне теперь — высыпать ягоды на землю? Сыпать-то мне некуда». И он с такой неподдельной скромностью согласился принять от меня эту ягоду. В нём наивность, скромность, порядочность проявлялись даже в таких незначительных жизненных моментах. И это его очень отличало от многих важных своим положением персон — такие вещи он не понимал и не воспринимал, хотя, конечно, знал об этом и писал. Но сам он был человек тонкой души, тонкого понимания жизни — не от мира сего.

В тайге с ним было легко. Он знал, что и как делать. Не гнушался и дрова заготавливать, и еду готовить. Подолгу сидели у костра. Разговоры начинались по-простому: о жизни, об экономике, о бизнесе. Как это, как то. Интересовался всем искренне и хотел знать напрямую.

Был я у него много раз на даче на берегу Иркутского водохранилища. Там он мне подарил чайник, керосиновый фонарь и понягу — дощечку с сыромятными ремнями и завязками, к которой он прикреплял груз для переноски в тайге. Чайник был медный, покрыт сверху никелем. Более драгоценный, чем из другого благородного металла. Передавая их, Валентин Григорьевич сказал: «Я думаю, Николай Васильевич, что они пригодятся в вашем музейчике». Он знал, что я любитель собирать предметы старины. Я ответил: «Очень благодарен и счастлив, что вы сделали мне такой подарок». Из рук великого писателя получить три таких презента — это же здорово!



Подарки Валентина Распутина

В дачном домике у него печка-голландка из кирпича с чугунной плитой, чтобы готовить можно было. В сторонке лежала кипа листочков-черновиков, исписанных мелким убористым почерком. И я подумал: «Вот это да! Вот где этот человек работает!» Всё очень скромно, никаких излишеств. Под стать неприхотливости Валентина Григорьевича.

Авторитетом и величием он, Герой Социалистического Труда, обладатель высоких наград, никогда не пользовался. Михаил Горбачёв ему в Москве квартиру приличную выделил, так как Валентин Григорьевич много времени проводил в столице на писательских съездах, собраниях, симпозиумах, встречах. Был я у него и в московской квартире.

В 2005 году поехали в африканское сафари компанией, в которой был и помощник президента В.В. Путина Сергей Ястремжский. У меня были телефон и адрес Валентина Григорьевича. Едва я позвонил, он сразу же пригласил к себе в гости, продиктовал ещё раз адрес. Я прихватил с собой немного гостинцев — кусочек дикого мяса, брусники, мёда, по русскому обычаю в гости с пустыми руками идти неудобно. Приехал к нему на метро к обеду. А он опять: «Что вы, Николай Васильевич, зачем беспокоились? В самолёте с таким грузом!..» Я говорю ему: «Я же не могу приехать к вам с пустыми руками. Привёз вам скромные сибирские дары. Всё моими руками добыто». Он согласился и успокоился.

Долго разговаривали, чай пили. Пробыл я у него до вечера.

Когда я стал собираться — уже было поздно, надо ехать в гостиницу, он предложил остаться ночевать. Я ответил: «В гостинице вещи, бритвенные приборы и прочее». Он согласился: «Ну, ладно». И задумался. Потом сказал: «Подождите минуточку. Я сейчас». И на балкон. А был февраль месяц. Зима. Холодно. С балкона он принёс камуфляжный чемоданчик, на котором написано — «Калашников». Валентин Григорьевич пояснил: «Мы с конструктором Калашниковым хорошо были знакомы, и однажды он мне, как сибиряку, подарил хрустальный автомат, наполненный водкой. Такой сувенир. Вам на охоте пригодится». Подарок я принял. Валентин Григорьевич порадовался: «Как хорошо, что я про этот сувенир вспомнил. А то стоит на балконе без применения».

Прилетели в Парижский аэропорт «Шарль Де Голль». Далее надо было лететь самолётом камерунских авиалиний. И таможенники-пограничники увидели этот чемоданчик. Встали на дыбы, засуетились. Ястремжский по-французски говорит прекрасно. Он спокойно начал им объяснять про чемоданчик, затем повысил голос, а уж потом чуть ногами не топал. «Вы посмотрите, — объяснял он, — это же сувенир».

Таможенники упёрлись, не разрешали посадку. Упрямо твердили: «Водку перевозить нельзя». Кое-как их уговорили.

И в самом деле, как Валентин Григорьевич предполагал, на охоте нам эта водка очень пригодилась...

Я хорошо знал его супругу — Светлану Ивановну. Часто бывал у них в квартире в Иркутске. Хорошая, большая квартира рядом с управлением железной дороги. Знал детей — Машеньку и Сергея. Я был на отпевании Маши. На том злополучном рейсе она летела к родителям просить согласие на брак со своим молодым человеком.

Валентин Григорьевич на похоронах держался с трудом, а Светлане Ивановне было ещё хуже.

Всегда красноречивый владыка Вадим на отпевании сказал: «Никто не знает, почему одни люди погибли в этой авиакатастрофе, а другие выжили. Пути Господни неисповедимы...»

Смерть дочери подкосила родителей. Через шесть лет ушла из жизни Светлана Ивановна, а в 2015 году — и Валентин Григорьевич.

14 марта 2016 года, в день рождения Валентина Григорьевича и к годовщине его ухода из жизни, в Иркутске состоялось открытие экспозиции в студии краеведческого музея. Был губернатор С.Г. Левченко, много творческих личностей. Меня тоже пригласили, и я с радостью поехал. Через два дня, по дороге на левый берег Ангары, на съезде с моста, увидел надпись огромными буквами: «Библиотека имени Валентина Распутина». Думаю, слава Тебе, Господи, земляки-иркутяне увековечили такого великого человека. Ведь Валентин Григорьевич неоднократно говорил в узком кругу: «Я был бы счастлив, если бы моим именем назвали библиотеку».

Незадолго перед днём памяти Валентина Григорьевича мне позвонила из Иркутска моя дочь Наталья и попросила: «В школе готовятся к Дню памяти В. Распутина и Коля (мой внук. — *Н.Т.*) хочет написать реферат к этой дате. Вышли нам фотографии подарков от Валентина Григорьевича и совместную фотографию в сентябре 2014 года». Порадовало такое отношение дочери к моей дружбе с Валентином Григорьевичем.

Знают и помнят Валентина Григорьевича моя супруга Галина Анатольевна, внук Коля и внучка Арина, зять Александр. Мои внуки воспитаны в духе патриотизма, знают историю страны. В семье дочери чтят День Победы и ходят на парад. Символично, что мой отец родился в 1922 году 22 июня. Он семь лет пробыл на войне, прожил всего 64 года, а Коля, мой внук, правнук моего отца, родился в 2008 году тоже 22 июня.

Валентин Григорьевич подарил мне на юбилей старинную икону и две старинные книги на старославянском языке. Книги я отдал на реставрацию в библиотеку имени Молчанова-Сибирского. Библиографы заодно определяют и возраст книг.

На моём 55-летию В.Г. Распутин познакомился с Николаем Тимофеевичем Романкевичем, Героem Социалистического Труда, знаменитым руководителем колхоза имени Парижской коммуны села Мугун Тулунского района. На память о той встрече у меня осталась фотография: в центре — Валентин Григорьевич, слева — я, справа — Николай Тимофеевич Романкевич. Когда фотографировались, я в шутку предложил: «Валентин Григорьевич, загадывайте желание, так как стоите между двумя

Николаями». Посмеялись по этому поводу. Жаль, что эти люди ушли из жизни. А памятный снимок остался.

Познакомил я Валентина Григорьевича и с моим другим Соломоном — пасечником, что знатную медовуху делает. О Соломоне я Валентину Григорьевичу рассказывал, что это труженик, пчеловод, бескорыстный человек, а такие люди не так уж и часто встречаются. Они годки — оба с 1937-го. Сели рядом. Смотрю, Соломон бросил медовуху пить, — оба разговаривают и разговаривают. О чём говорили, мне неизвестно. Один — рядовой пасечник, совесть деревни, совесть рабочего класса. Другой — писатель, человек с мировым именем, совесть общества, совесть интеллигенции. Народ гудит, кто песни поёт, кто разговаривает, а они нашли общий язык и беседуют.

После этого, когда качка мёда начиналась, Соломон, говорил мне: «Ты увези медку Валентину Григорьевичу». И я увозил.

На мой 60-летний юбилей Валентин Григорьевич приехать не смог. Перед этим он был на родине в Усть-Уде, вернулся домой в Иркутск и приболел. Передал подарок и письмо:

Дорогой Николай Васильевич!

Ещё три часа тому назад я был уверен, что завтра увижу Вас на юбилейном торжестве. И вот прости, дорогой Николай, к несчастью остаюсь в стороне. Вчера, позавчера ездил на Лену, и вчера на обратном пути почувствовал себя неважно. Уверен был, что за сутки пройдёт, и даже сего дня собирался к вам, но вышел на улицу, походил-походил и почувствовал, что дело плохо. До того плохо, что пришлось добираться до дома «по-геройски»: три шага сделаешь и стоишь.

Пришлось брать отступную — извини, пожалуйста, Николай. Обнимаю, поздравляю, передаю приветы всем гостям, надеюсь на скорую встречу, где ты после юбилея предстанешь моложе и краше, но, поверь, что в этом случае берегу не только себя, но и забочусь о тебе и твоём празднике.

Люблю тебя и преклоняюсь и перед неутомимой деятельностью, и перед твоей неутомимой благотворительной жизнью.

Искренне горжусь дружбой с тобой. Твой Распутин. И — долголетия, такого, что ахнут многие! 15 сент. 2010. К 18 сент.

В сентябре 2014 года я узнал, что Валентин Григорьевич в больнице. Взял гостинцев — сок, фрукты — и к нему. Он как всегда: «У меня же всё есть. Все что-то приносят». А я ему: «Я же с пухлыми руками не могу прийти». Взял он пакет с гостинцами. Я ему предложил: «Давайте на память сфотографируемся».

Тогда я не знал, что эта фотография с ним окажется последней.

Он спустился ко мне в вестибюль, торопился, видно, даже рубашечка была застёгнута неровно. Мы посидели с ним, поговорили. Он честно признался: «Я, Николай Васильевич, ничего не помню. Сосуды головного мозга совсем отказали. Ничего не помню. Лечат меня, системы ставят, только улучшения нет».

Он чувствовал приближение конца, но воспринимал всё спокойно, достойно. Я его не успокаивал, не вселял ложную надежду, да это и не нужно было. Только подбодрил: «Держитесь, Валентин Григорьевич. Сколько Господь отпустил, столько и проживём».

Это была наша последняя встреча.

ЭДУАРД АНАШКИН

ПИСАТЕЛЬ, КРИТИК, Г. САМАРА

День рождения и День памяти



Валентин Распутин и Эдуард Анашкин

15 марта Валентину Григорьевичу Распутину исполнилось бы 80 лет со дня рождения. Судьба распорядилась так, что день рождения и день памяти нашего классика стали одной датой. И в этом ещё одно подтверждение мистики судьбы Распутина, невольно наводящее на глубокие раздумья. При долгом размышлении я решил опубликовать фрагмент моей будущей книги «Валентин Распутин. Жизнь и творчество. Наши встречи за 50 лет». Над книгой ещё работаю, торопиться в таком деле нельзя, суеты осмысление значения Распутина для России не терпит. Но, думаю, юбилейная распутинская дата — значимый повод представить читателям этот материал.

Казалось, как вчера имел я счастье встречаться и беседовать с Валентином Григорьевичем! И по прошествии нескольких лет никак не могу поверить, что его нет среди нас. То, что мне его очень не хватает — встреч с ним, разговоров, писем, просто дружеского общения — полбеды. Распутина очень не хватает России на её очередных непростых исторических путях.

Как утешение, достаю и перечитываю его письма ко мне, перечитываю дневниковые записи и словно бы въяве слышу его голос, вижу его внимательный, доброжелательный взгляд. Эта книга и этот материал по праву моей памяти общения с выдающимся русским писателем, быть может, последним русским классиком — в смысле верности великим заветам русской литературы.

* * *

В пору, когда Валентин Григорьевич работал над повестью «Мать Ивана, дочь Ивана», нам как-то довелось с ним неспешно прогуляться по парку в Доме творчества Переделкино. Остановились около пруда. Погода была прекрасная — лёгкий морозец, ни ветерка.

— Эдуард, — обратился ко мне Распутин. — Я заметил, что ты, когда приезжаешь в Переделкино, обустройстваешься в старом двухэтажном корпусе. Но ведь там, в номерах, нет условий проживания таких, как в новом корпусе. Может, тебе не хватает денег снять номер в новом корпусе? Так я помогу!

От такого вопроса-предложения я немного растерялся, но решил ответить как есть:

— Видите ли, Валентин Григорьевич, в старом корпусе даже стены пропитаны, намолены присутствием в них в разное время великих писателей. Они здесь жили, общались, работали над своими знаменитыми произведениями, подходили к телефону около дежурного и вели разговоры с родными, издательствами, редакторами. А в новом корпусе, признаюсь, хоть и условия хороши, да вот того писательского духа нет, который бы подзаряжал творческой энергией. Не пропах ещё в полную силу новый корпус писательским духом!

Валентин Григорьевич задумчиво улыбнулся:

— А ты, наверное, прав... Вот ты сказал про великих писателей прошлого, а я вспомнил Читку и давний-предавний семинар молодых писателей Сибири и Дальнего Востока, где мы с тобой познакомились. Там тоже было немало выдающихся писателей...

Наши с Распутиным хорошие отношения, собственно, имеют своим истоком ту нашу первую встречу в Чите уже более полувека назад. С тех пор каждое его письмо, каждый личный и телефонный разговор с Валентином Григорьевичем становились событием в моей жизни, о котором я долго помнил. Порой некоторые писатели, зная нашу с Распутиным дружбу, косились: мол, Анашкин, видимо, Распутину надоедает, пытаясь просочиться на страницы журналов. Но, честно скажу, мне

и в голову никогда не приходило просить Валентина Григорьевича помочь мне напечататься. Не хотелось тратить драгоценное время, отпущенное на общение с ним, на такие житейские темы. Пересеклись мы как-то в Правлении Союза писателей России на Комсомольском проспекте, 13, на втором этаже, около приёмной. Поздоровались, пожали друг другу руки. «Как дела? — спросил Распутин и вдруг поинтересовался: — А где новая рукопись? С собой?»

Рукопись у меня была с собой. Кто из нас, писателей-провинциалов, приходя в главное писательское Правление, не берёт с собой произведения в надежде, а вдруг да случится познакомиться с редактором издания, которому как раз в это самое время ты позарез нужен со своими «нетленками»? Я протянул Распутину папку с рукописью.

— Посмотрю, скажу своё мнение, — сказал Распутин и начал спускаться по лестнице на первый этаж, на ходу добавил: — Время и желание будет, приходи ко мне домой. Всегда рад встрече. Надеюсь, найдёшь, не заблудишься.

Заблудиться я не боялся, а вот опасение показаться навязчивым сказалось. На квартиру Валентина Распутина в Староконюшенный переулочек я пойти не осмелился.

Возвращаюсь домой в Самарскую область. Через несколько дней после возвращения от Распутина звонок: «Ты почему не пришёл ко мне? Я разыскивал тебя в Перedelкино, не нашёл, сказали, что уехал. К твоей новой книге я написал короткое предисловие. Когда получишь письмо, позвони, если с чем-то не согласен. Буду ждать звонка. Смотри, не зазнайся у себя в деревне (в трубке раздался смех). Светлане Ивановне очень понравились твои рассказы, она даже плакала». Может, и нехорошо в том признаваться, но услышав слова о том, что фактически я довёл до слёз Светлану Ивановну, я обрадовался!

Подумалось, что, наверное, не со мной одним, как автором, он поступал, как врач, главная заповедь которого — «Не навреди». Памятно мне одно письмо от Валентина Григорьевича от 28 ноября 2001 года. Вот цитата из него: «Вполне может быть, что моё суждение о рукописи Вам не понравится. В таком случае откажитесь от него, а с моей стороны никаких обид быть не может. Повредить Вашей книге было бы для меня неприятно...»

Вообще каждое его письмо становилось для меня событием. Вот цитата из письма от 5 июня 2002 года из Иркутска: «Очень виноват перед Вами за молчание. Свой юбилей (тогда Валентину Григорьевичу исполнилось 65 лет. — *Прим. авт.*) праздновали с вашим гостинцем — степным мёдом во главе стола. 15–16 марта уже у меня были тяжёлые, я уже 17-го отправился на поезде в Иркутск. Дома пришёл в полную негодность и два месяца не подходил к письменному столу ни для «художеств», ни для писем. Забросил всё, даже деловую переписку, так мне достаётся Москва. Полная психическая немощь. Только теперь начинаю с трудом отзываться на своё существование, виноват перед многими за своё «небытие», но что делать!.. И ещё одно: когда дойдёт дело до книги, для которой я писал свои два или три листочка, дайте мне, пожалуйста, знать предварительно. Чтобы я мог свои листочки посмотреть...»

До чего обаятельны были распутинские письма — добрые и самоироничные, кратко талантливые, но при этом такие ёмкие по смыслу! «Я в своём духе, т. е. умею надолго пропадать. Наконец, недостающие строчки для начала предисловия отправляю. Что выбрасывается, пометил. Удач Вам! В. Распутин».

И вот на излёте 2002 года Самарское отделение Литературного фонда России выпустило мою книгу «Запрягу судьбу я в санки» с предисловием Валентина Григорьевича, которое называлось «На добро — добром!» Привожу его полностью вовсе не из авторской гордыни, а затем, что в этих строчках живёт взгляд нашего классика на непростую жизнь народа, из гущи которого он никуда не выходил. А жил в народе, и потому стал народом любим. А я что? Я лишь один из представителей русского народа, которому повезло познакомиться и общаться с Распутиным. Вот что он написал:

В этой книге всё, казалось бы, просто и нарочно обыденно. Простые люди, простые характеры и жизнь как жизнь, без стремительных и оглушительных подъёмов и падений. И пишет автор простодушно и незатейливо, обыденно, но и бережно, как-то по-отцовски вникая в каждую предложенную судьбу. И герои его не врываются в читательский мир, а входят с осторожностью, как и полагается гостям, и уж после неторопливого общения появляется к ним дружеское расположение. В литературе, кроме техники письма и степени доверия к героям, есть ещё одна составляющая, от которой ничуть не меньше зависит конечный результат. Техника может быть безупречной, события могут происходить как наяву, в самой естественной, не вызывающей подозрений форме, но у читателя тем не менее доверия к происходящему не будет. Он станет наблюдать за ними как бы со стороны, не решаясь войти внутрь и отдаться сопереживанию, потому что книга, в которую его приглашают, по профессиональным качествам котированная высоко, написана холодным сердцем. В ней нет ни тела, ни уюта, ни дружеского расположения, там по душам не поговоришь, и душу свою не полюбишь.

Эта книга написана бывшим детдомовцем, и вся она — от начала до конца — посвящена им же. Надо ли говорить, что это особое психического склада люди, униженные своим сиротством и оскорблённые той жестокой действительностью, которая с каждым годом всё беспощадней продолжает плодить сиротство. Спассти их может только совокупное добро, получаемое от государства, от воспитателей и учителей, от окружающих и от таких же, как они, покинувших детдомовские стены прежде. Не воз гуманитарной помощи со сникерсами и кока-колой, доставленной из Америки или Европы, не компьютер, привезённый богатым дядей, который купил и огородил забором пустошь за холмом, где детдомовцы собирали грибы для общего стола, не пакеты со сладостями, выпадающими раз в год, и не бесплатный Дед Мороз к Новому году помогут им смягчить боль своей раненой души. А повсеместное и сознательное наше родительство, не скупающееся на ласковое слово и поощрительный взгляд, деликатная поддержка, целительное внимание, охранение от зла. По отношению к ним не должно быть чужих и посторонних. Все мы вольно или невольно виноваты в их сиротстве.

В этой книге из всех литературных достоинств есть самое главное — она удивительно добра. Добра, в некоторых случаях может показаться даже чересчур, добро неестественно, неоправданно, несовместимо с тем, во что сегодня превратилась Россия и во что превратился в ней человек. Но вот вопрос: разве может быть где-то, в том числе и в литературе, излишнее добро? И как это — много? Разве мы уже, как у Достоевского в рассказе «Сон смешного человека», всё зло преодолели и погрузились в сияющую, как солнце, нравственную гармонию? Напротив, мы погрязли в зле, у нас огромная, бесперебойно работающая идеологическая система, вырабатывающая зло. И за всякий лучик добра мы хватаемся, как за спасение.

А вот герои книги Эдуарда Анашкина живут добром так же естественно, как все мы дышим воздухом, — и никак! «А всё-таки она вертится!» — сказано было одним упрямым о нашей планете, считавшейся в его пору центром Вселенной. «А всё-таки добра больше!» с тем же упрямством уверяет автор этой книги. И что бы вокруг него ни говорили, какие бы ни вели подсчёты, а он прав. Без любви к человеку и без веры в него жизнь теряет всякий смысл. Поверим же ему. В любой области человеческой деятельности, если она терпит крушение, начинать следует с азов. И всюду эти азы — одно: любовь и вера.

Валентин РАСПУТИН

* * *

Конечно же, сразу же после выхода книги я отправил одну с дарственной подписью Распутину. А 19 января 2003 года в день Крещения Господня Валентин Григорьевич пишет мне письмо: «Поздравляю Вас с выходом книги; это всегда событие для писателя из глубинки, а для Вас, должно быть, событие вдвойне, потому что уж очень с большими трудностями она выходила. Это-то ладно и вышла, казалось бы, и хорошо, но что-то уж очень поскупились с тиражом. Что это за тираж — 500 экз! ох, и комментировать не хочется! Я искренне рад рождению Вашей книги. Это хороший Ваш новогодний подарок. Будьте здоровы и новых Вам книг!»

Видимо, с лёгкой руки Распутина моя книга пошла по России. Иначе, как же она попала к главному редактору журнала «Уроки литературы» Надежде Леонидовне Крупиной? Хотя уточнять этот вопрос я не стал ни у Валентина Григорьевича, ни у Надежды Леонидовны, а только однажды получаю бандероль, в которой несколько номеров журнала «Уроки литературы». Начал перелистывать страницы журнала и обомлел: мой рассказ «Вовкин поцелуй» журнал «Уроки литературы» не только опубликовал, но по этому рассказу, оказывается, во многих школах России прошли уроки. И учителя средних школ на страницах журнала делились своими впечатлениями о проведённых уроках.

Позже многие рассказы из сборника «Запрягу судьбу я в санки», крестным отцом которого стал Валентин Григорьевич, были напечатаны и в других столичных журналах: «К единству!», «Россия молодая», «Наша улица». А редактор газеты Союза писателей России Николай Дорошенко опубликовал все рассказы в нескольких номерах газеты «Российский писатель». Уверен, что именно предисловие Валентина Григорьевича Распутина к этой моей книге проложило ей такую широкую дорогу к читателю!

* * *

Валентин Григорьевич был настоящим русским интеллигентом. За все годы нашей дружбы я не слышал от него ни одного скверного слова. Помнится, однажды после ужина в Перedelкино я про-

вожал Распутина до нового корпуса. О чём-то разговорились, и я, возмущённый несправедливостью по отношению ко мне персонала, загнул по-русски. Валентин Григорьевич вдруг резко остановился, поднял голову, и я увидел его глаза, испытующе глядящие на меня:

— Эдуард, никогда не пачкай душу об эти слова. У нас такой богатый язык. Следи за своей речью. Не забывай, что ты писатель!

Его удивительный талант, конечно, не мог оставить равнодушным никого. Одни его пламенно любили, другие писали на него доносы за его гениальные, но якобы «антисоветские» повести. Когда начальник политического управления Советской Армии и Военно-Морского флота А.А. Епишев узнал о повести Распутина «Живи и помни», то запретил подписку на опубликовавший эту повесть журнал «Наш современник» для библиотек воинских частей.

Известный русский поэт, иркутянин Владимир Скиф вспоминает о Валентине Распутине: «За чаем (этот разговор произошёл на даче Распутиных в Порту Байкал. — *Прим. авт.*) я спросил у Вали: «Я знаю, что тебе пишут очень много доброжелательных и восхищённых писем. А есть ли письма, в которых тебя ругают?» «Случается, — коротко ответил он. — Однажды пришло просто разгромное письмо. Это было после публикации повести «Живи и помни». В нём автор разносил Распутина в пух и прах, грозился обратиться с письмом в соответствующие органы за подрыв советской идеологии и с просьбой, чтобы его наказали за разрушительную работу против СССР. «И что? Ты ответил?» — спросил я. «А зачем?» — Валя замолчал. «А подпись? Подпись была? И кто автор письма?» — «Некто Иванов Николай Петрович, фронтовик, орденоседец». — «Тебе, наверное, стало худо от этого письма...» — «Было, конечно, очень неприятно. Но потом я привык. Такие письма теперь для меня не редкость». — «Да, странно». — «Ничего странного. Мне-то понятно, кто водил рукой того же Иванова». — «А где это письмо?» — «Я выбросил. Я всё выбрасываю...»

* * *

Когда в ноябрьском номере журнала «Наш современник» за 2003 год была опубликована повесть Валентина Григорьевича «Дочь Ивана, мать Ивана», то очень точно высказался заслуженный деятель искусств России, академик РАЕН, искусствовед, историк, писатель, лауреат многих наград Савва Васильевич Ямщиков: «Читая о дочери и матери Иванов, я отчётливо понял, откуда глубокие борозды и тени на лице их создателя. Пропустить через себя такие коллизии не каждому под силу. Уверен, что критики немало слов напишут о новой распутинской повести. Наиболее шустрые враз прорезались. С лёгкостью необыкновенной вездесущий Дм. Быков, не поняв и малой доли многозначности классического сочинения, успел уличить писателя в «русофильстве» и свысока поучить «товарища по цеху» уму разуму!» Прав оказался Савва Васильевич Ямщиков!

Сначала, после публикации новой распутинской повести, воцарилась тишина, как всегда она воцаряется после редкого в море разлитом лжи правдивого слова. А затем — началось. И по нарастающей. Не только в столице! Судили-рядили об этом новом детище Распутина все, кому не лень. Местные писаки ничтоже сумняшеся сравнивали Валентина Григорьевича с местными гениями, а в каждом регионе эти местные-поместные, как известно, свои. Попутно вспоминали предыдущие повести Распутина, особенно «Живи и помни». Даже сибиряки не остались в стороне, тоже захотелось лягнуть выдающегося коллегу-земляка, видимо, за то, что «посмел» стать классиком при жизни.

Так, некий, никому не известный далее города проживания (город Черемхово) Александр Серёдкин в статье «Предательство возвели в ранг доблести» («Литературная Россия», № 13 от 31 марта 2006 года) пишет о фильме «В круте первом» Глеба Панфилова, экранизовавшего десять серий Солженицына: «Книги Солженицына читают немногие. И он решил наверстать не мытьём, так каганьём, чтобы донести до граждан поверженной России свои не востребуемые тома сериалами». Я не большой поклонник идей и творчества Александра Солженицына. Но пресловутый Серёдкин зачем-то попутно не преминул лягнуть Распутина, проводя, мягко говоря, сильно натянутую параллель между творчеством Солженицына и Распутина, писателей, несопоставимых по уровню художественного таланта. И литературная Самара, увы, не осталась в стороне в попытке низвержения Распутина. Одна из самарских газетёнок (потому что уважаемые газеты вряд ли позволят себе такое неуважение к признанному во всём мире классику), рассказывая об экранизации режиссёром Прошкиным повести Валентина Распутина «Живи и помни», назвала распутинскую повесть «непопулярной»... Как говорится, хотели обидеть, а получилось наоборот, если учесть, что сегодня популярны лишь вышедшие в тираж безголосые певцы и певички.

Но это я сейчас, по прошествии лет, понимаю умом всю глупость самарских «популистов». А тогда так меня задело это интервью самарской журналистки со столичным режиссёром Прошкиным, что не смог я промолчать, написал статью «Популярно о непопулярном», отправил на сайт «Русское Воскресенье» Союза писателей России.

Популярно о непопулярном Стыдно за самарское околотературное хамство

С печалью приходится констатировать: околотературный моськизм, когда местечковые «журналошки» считают хорошим тоном гавкать на прижизненных всероссийских писателей-классиков, стал одним из принципов самарской журналистики. Намедни одна из самарских «жёлто-бульварных» газет*, рассказывая об экранизации режиссёром Прошкиным повести Валентина Распутина «Живи и помни», назвала повесть «непопулярной». По всему видно, что определением «непопулярная» горе-журналистка Татьяна Симакова, яко моська слона, хотела укусить современного русского классика Распутина. Но не подрассчитала силёнок и попала впросак. Впрочем, о чём я? Где Распутин и где эта жёлтая газетка, коих в одной Самаре многая множество?! Видимо, обаяние популярности, помноженное на одичание поп-культурой (культурой поп, как её ещё называют), среди журналистов дошло до такой степени, что они уже не в силах отличить хулы от хвалы. По себе, бедолаги, судят! Но разве уважающего себя и своих читателей художника может порадовать принадлежность его творчества к «культуре поп»? Не буду называть имя «популярной» газеты (на которую почему-то на селе заставляют подписываться в добровольно-принудительном порядке!). Не буду порицать иных особей местной журналистики. Сам я одно время работал в газете и знаю, как легко отупеть на журналистской работе, которая причащает человека к цинизму и поверхности суждений. О каких приоритетах можно говорить, когда пресловутая газетка пафосно пишет о проводимом их редакцией среди сотрудников и авторов газеты чемпионате по пьяным шашкам и даже называет имя победителя чемпионата по пьяным шашкам, не понимая, что тем самым дискредитирует человека подобной «похвалой».

Странно мне только, что сия газета, которая кормится с руки государства в лице областного правительства Самарской области, считает при этом хорошим тоном лягать это же государство в лице Президента России, который в 2004 году наградил «непопулярного писателя» Валентина Распутина премией Президента. Но странностей у нас сегодня в России предостаточно, никакого Салтыкова-Щедрина не хватит, чтобы их описать! Позабавило в этом материале, посвящённом самарской премьере фильма по повести Распутина «Живи и помни», интервью режиссёра фильма Александра Прошкина. Сразу скажу — точность этого интервью, якобы данного Прошкиным газете, оставляю на совести пресловутой «популярной» журналистки Татьяны Симаковой. Цитата из Прошкина: «У Распутина вообще много литературщины, которую в фильм нельзя ставить. Повесть ведь очень принадлежит своему времени, невозможно сегодня читать её...» Подивил режиссёр так подивил! Снял кино, а о чём оно, так и не понял! Разве предательство, являющееся основным предметом художественного исследования распутинской повести, не вечно на нашей земле? Господин Прошкин, да оглянись же вокруг — тотальное предательство стало едва ли не нормой жизни современной России. <...> Далее популярный режиссёр, экранизовавший «непопулярную» распутинскую повесть, якобы говорит «популярной» журналистке: «Вообще я стараюсь с авторами не общаться и предпочитаю экранизировать произведения уже мёртвых писателей...» Конечно, куда как легче режиссёрам иметь дело с покойными гениями. Покойные классики смолчат и не смогут отстоять своё детище — это нам показала недавняя премьера «Тихого Дона»... Насколько полнокровен «Тихий Дон» Сергей Герасимова, подбирать актёров для которого помогал сам Михаил Александрович Шолохов, настолько же выхолощен «Тихий Дон» Бондарчука... Я вообще уверен: чтобы экранизировать классику на должном уровне, надо быть режиссёром, который по таланту сопоставим с экранизируемым писателем как художник. Гениального писателя должен экранизировать гениальный режиссёр, иначе будет ситуация, когда сапожник пытается судить произведение искусства «выше сапога», налагая свои «сапожные» критерии на понятия художественности.

По иронии судьбы кинокартина Прошкина по «непопулярной» повести Валентина Распутина «Живи и помни» получила Гран-при как лучший фильм 15-го Российского кинофестиваля «Литература и кино» в Гатчине. Операторы Геннадий Карюк и Александр Карюк награждены специальным призом фестиваля за лучшую операторскую работу. Роман Дормидошин отмечен призом жюри имени композитора Андрея Петрова за лучшую музыку. Но вряд ли бы хороший фильм состоялся, не будь изначально хорошего литературного произведения, положенного в его основу. Даже либеральная кинематографическая «тусовка» не смогла при всём желании замолчать фильм по гениально «непопулярной» повести Распутина «Живи и помни». Фильм получил сразу несколько призов на фестивале «Тэффи» у Михаила Швыдкого... Короче, фильм высоко оценили и красные и белые, и почвенники и либералы — все, но только не самарская бульварная газетка! Я считаю себя пи-

*Симакова Т. Очень немодное кино // Волжская коммуна. 2009. 14 апр.

сателем-почвенником, поскольку всю жизнь живу на этой самой русской почве и тем горд. Чтобы посмотреть фильм, вынужден был купить видеодиск. После просмотра, положила руку на сердце, не могу сказать, что прошкинская экранизация достойно выдержала конкуренцию с гениально самодостаточным распутинским текстом. Это тема отдельного разговора о том, насколько вообще нынешние режиссёры способны подняться до уровня экранизации «непопулярной» классики. Возможно, если бы я смотрел фильм на широком экране, он бы мне понравился больше. Но если впечатление от фильма кардинально зависит лишь от размера экрана, то... Знаю одно: если встанет вопрос, что лучше — посмотреть фильм или перечитать повесть, однозначно предпочту второе!

Валентин Распутин категорически непопулярный писатель. Само сопоставление Распутина и популярности кажется смешным. Не придёт же нам в голову поверять критерием популярности наследие прижизненных классиков Габриэля Гарсиа Маркеса или Мориса Дрюона! К ним можно отнести немало эпитетов, но эпитет «популярный» будет едва ли не последним в этом ряду. Оставим популярность голосистым певичкам, сочинительницам дамских романов да журналюшкам жёлтых провинциальных газеток. Популярность преходяща. Приходят и уходят идеологии, мировоззрения, президенты. А «непопулярная» классика переживает всех. И повесть Распутина о таком непреходящем, увы, явлении, как предательство, останется в веках, потому что помогает нам постичь суть этого явления. Что касается Распутина, то категорически не может быть «популярным», как червонец, писатель — Герой Социалистического Труда, имеющий два ордена Ленина, орден Трудового Красного Знамени, орден «Знак Почёта». Писатель, впервые лауреатом Государственной премии ставший ещё тогда, когда наша страна называлась СССР. И ставший лауреатом именно за «непопулярную повесть» «Живи и помни!» Спустя десять лет вновь Распутин — лауреат Государственной премии. Менялись властители, режимы, идеологии — на смену партократам пришли демократы. В 2004 году, как я уже упоминал выше, Валентин Распутин был награждён премией Президента России. В марте 2007 года Президент Путин наградил Валентина Григорьевича орденом «За заслуги перед Отечеством»... Можно долго перечислять награды «непопулярного» Валентина Григорьевича Распутина. Но сам он не любил этих перечислений. А я по опыту своего с ним общения знаю, что наиболее высоко наш классик ценил Международную премию имени Фёдора Михайловича Достоевского — куда более скромную в материально-финансовом выражении, нежели другие его премии, но зато освящённую именем «непопулярного» Достоевского. Того самого Достоевского, который несколько лет назад был так гениально экранизирован режиссёром Бортко. И не помешали режиссёру Бортко, который поставил «Идиота», сделать гениальный фильм с пространными монологами, что произносят герои Достоевского. Может, режиссёру Прошкину лучше не гоняться за призрачной популярностью, а у режиссёра Бортко поучиться умению понимать и ставить классику?

Зачем я пишу эту статью? А затем, что стыдно за родное самарское околотературное хамство и протекающее из этого хамства стремление своим региональным обывательско-бульварным аршином измерять явления всероссийского и всемирного масштаба. Так ведь и аршин сломать недолго.

* * *

Когда статья была напечатана на сайте «Русское Воскресенье», я получил много писем и отзывов со всей России, авторы которых горячо меня благодарили. Неожиданно откликнулся и Валентин Григорьевич: «Дорогой Эдуард! Спасибо за поддержку в Самаре моей работы и моего имени. От Симаковых никуда не деться. Эти безграмотные и подловатые люди для того и существуют, чтобы защищать дурное и набрасываться на иное. За последние десятилетия в России расплодилось столько Татьян Симаковых, что как-то и стыдно иной раз становится за Россию. С них, как говорится, взятки гладки. Но меня удивил так называемый режиссёр Прошкин. Кто его, интересно, заставлял брать мою повесть «Живи и помни»? Кстати, текст её от начала и до конца, должен быть мой, если Прошкин не напортачил что-нибудь. Не годился он для Прошкина — зачем брал, кто его заставлял? Меня это удивляет больше всего. Коли взял, да ещё по своей воле... ты и только ты несёшь ответственность за неё. Эта Татьяна Симакова и подобные ей могут говорить о ней всё, что угодно, а ты уже не можешь. Ну их подальше! Всё, что требовалось сказать, ты сказал в своей работе. Я недели через две собираюсь лечь опять в больницу. А затем уже буду собираться в Иркутск. Но это уже ближе к маю. Работа твоя — я имею в виду «Популярно о непопулярном» — серьёзная и о многом говорит помимо моих с Прошкиным отношений. Серьёзная работа. Кланяюсь.

В. Распутин»

Долго думал, а стоит ли, говоря, о Распутине, задевать тему его личной жизни? Сам Валентин Григорьевич был человеком закрытым, когда речь шла о его семье, публичности не любил. Хотя семья его была едва ли не идеальной, а уж с точки зрения литературной среды — и вовсе. Всю свою жизнь Валентин Григорьевич прожил со Светланой Ивановной, воспитали двух прекрасных детей...

Через трагических событий преследовала семью классика. 8 мая 2008 года жене Распутина в Москве сделали онкологическую операцию. Когда она находилась в реанимации, в больнице была и младшая сестра Евгения Ивановна. После выписки, дома за Светланой Ивановной ухаживала, делала перевязки племянница Настя.

«Наша Асланочка, так называли мы её в семье с лёгкой руки моей дочери Даши, — написала как-то мне Евгения Ивановна, — была всегда сильной, деятельной».

Не устаю восхищаться сестрой Светланы Ивановны Распутиной — Евгенией, этой красивейшей, умнейшей и тактичной женщиной. Она, памятуя мою долгую дружбу с Распутиным, прислала мне некоторые дневниковые записи своей старшей сестры.

Стоит привести фрагменты этого дневника, чтобы прочитали это юные современные девушки и осознали, как далеко порой они ушли в своем стремлении к успешности от тех извечных канонов русской женственности, которые воспели лучшие поэты и писатели России. И которые стали олицетворением русской женщины. В своём дневнике от 28 августа 1960 года совсем ещё молодая будущая жена будущего классика русской литературы Светлана так формулирует своё жизненное кредо:

*Надо жить в полную силу. Дерзать. Творить.
Не бояться повседневности. Подчинять её себе.
Всегда, везде быть сильной, независимой.
И чтобы все это знали.
И никогда не раскисать, по крайней мере,
Чтобы никто не видел этого...*

Это были не просто красивые слова. Этим принципам Светлана Ивановна следовала всю свою жизнь. После выписки из больницы Светлана Ивановна всё делала по дому сама и возмущалась, если ей кто-то пытался помочь.

В золотой юбилей — 50 лет совместной жизни — Валентин Григорьевич и Светлана Ивановна решили обвенчаться.

12 октября 2010 года Распутины венчались в храме в честь иконы Божьей Матери, именуемой «Касперовская», расположенном рядом с Князе-Владимирским храмом, в лесочке, по улице Лесная, 145. Таинство венчания совершил протоиерей Алексей Середин.

...В конце сентября 2013 года я принял участие в работе замечательного праздника «Дни русской духовности и культуры» в Иркутске. Однажды, когда гости праздника завтракали, в гостиничный комплекс «Русь» пришёл Валентин Григорьевич Распутин. Накануне по телефону мы с ним договорились встретиться. Распутин сел на кожаный диван, я присел рядом. Валентин Григорьевич, это уже было заметно, очень изменился, измученный борьбой с недугом, он, и без того никогда не отличавшийся лишним весом, ещё более похудел. Глаза были усталы и печальны.

Я спросил:

— Валентин Григорьевич, а почему вы венчались со Светланой Ивановной в храме Касперовской иконы Божьей Матери на окраине города, а не в своём любимом храме Михайло-Архангельском, рядом с домом, где вы живёте?

— Это наше со Светланой Ивановной общее решение. Венчаться в Москве мы не захотели, решили совершить таинство на родине, на иркутской земле. Да, старинная Михайло-Архангельская, её ещё называют Харлампиевская, церковь рядом, мы её любили. Немногие знают, что в этой церкви венчался и Александр Колчак. Я видел в церкви запись о бракосочетании в марте месяце 1904 года лейтенанта флота Александра Васильевича Колчака с дочерью действительного статского советника, потомственной дворянкой Подольской губернии Софьей Фёдоровной Омировой. Мы с женой, — продолжил Валентин Григорьевич, — не хотели, чтобы на нашем семейном празднике присутствовали журналисты, фотографы. Они бы сделали из этого, Эдуард, шоу. Потому всё произошло скромно, по-хорошему и, главное, тихо...

15 марта 2012 года, в день 75-летия Распутина, Валентин Григорьевич и тяжело больная Светлана Ивановна покинули Москву, вернулись в Иркутск. Светлана Ивановна покидала Москву навсегда. Валентин Григорьевич старался всё время проводить с женой. Когда наступили самые трудные дни, вообще не отходил от постели жены. И, конечно, постоянно рядом со Светланой Ивановной

кто-то был, то младшая сестра Евгения Ивановна, то племянница Катя, но основные заботы легли на тех, кто был постоянно рядом: сын Сергей и его жена Лена.

Скончалась Светлана Ивановна 1 мая 2012 года в день рождения своего отца — известного сибирского поэта, первого председателя Иркутского отделения Союза писателей СССР Ивана Молчанова-Сибирского. Отпели её в Богоявленском соборе областного центра 4 мая. Похоронили рядом с дочерью Марией на Смоленском кладбище.

Именно с момента смерти жены стала заметно прогрессировать болезнь и у самого Распутина. Он проходил курсы лечения в больницах Иркутска и Москвы...

* * *

Немного отвлекусь от грустного, чтобы вспомнить о праздновании Дней русской духовности и культуры «Сияние России» – 2016 — праздника, обязанного когда-то своим появлением на свет несколько десятков лет тому назад Валентину Распутину. Вот уж праздник так праздник! Мы, писатели России, вместе с иркутскими товарищами по перу проводили встречи с общественностью, школьниками, студентами. Побывали вместе с творческим коллективом иркутской филармонии на родине В.Г. Распутина в посёлке Усть-Уда. Восхитились концертом «Встань за веру, Русская земля!» заслуженной артистки России, замечательной певицы Татьяны Петровой, посетили литературные места в посёлке Листвянка, были на месте гибели известного советского драматурга Александра Вампилова. Большая работа по подготовке и проведению праздника проделана Иркутским отделением Союза писателей России.

Особенный душевный подъём вызывали встречи с иркутянами и сибиряками. Однажды после обеда мне в номер позвонил дежурный и попросил выйти в холл гостиничного комплекса, сказав, что меня ждут посетители. Подумал, что это кто-то из читателей или коллег. Я был изумлён, увидев красивую женщину и молодого мужчину с роскошным тортом в руках. Это оказалась известный иркутский модельер, ученица знаменитого Вячеслава Зайцева Людмила Васильевна Карелова и её сын Руслан, известный скульптор и ваятель ледяных фигур. Огромный именной торт гласил: «Эдуарду, дружески, с надеждой на встречу в Иркутске».

«Вы не удивляйтесь, — сказала женщина. — Я прочитала вашу статью о нашем любимом земляке Распутине. Вы в ней приводите автограф на подаренной вам книге «Прощание с Матёрой», выпущенной к его 75-летию издательством Геннадия Сапронова у нас в Иркутске. И я испекла этот торт и перенесла на торт этот автограф. Торт из измельчённой иркутской черёмухи. Примите его, пожалуйста, вы же сибиряк, и этот торт передаст вам запах и вкус Сибири».

Хозяйка кулинарного чуда вручила мне это чудо, взяла сына под руку, села в машину да и была такова. Вконец изумлённый, я даже не помню, успел ли её поблагодарить! Так и остался стоять как вкопанный с тортом в руках, где кремом был нарисован один из распутинских автографов...

Номер, где мы жили с поэтом из Братска Владимиром Корниловым на празднике «Сияние России», сразу стал местом паломничества прозаиков и поэтов. Весть о торте разошлась мгновенно, многие приходили посмотреть на кулинарное чудо.

Однако торт под свою ответственность взяла моя любимая певица, друг Татьяна Петрова. Она попросила персонал ресторана, где мы питались, поставить торт в холодильник. Чтобы за праздничным столом всем писателям досталось по изрядному куску торта. А мне Татьяна Юрьевна подарила свой диск «Сто русских песен» с таким автографом: «Эдуарду — родному брату во Распутине на долгую дружбу. 1.10.2016 года. г. Иркутск».



Могила Валентина Распутина на территории Знаменского монастыря в г. Иркутске



ГЕННАДИЙ АКСАМЕНТОВ



Композиция из девяти сюжетов

1

Я долго странствовал по словарям и книгам,
вникал в узор и в беспризорный слог,
скитался между вечностью и мигом,
перекопал, казалось, всё, что мог.
Напрасно я старался и томился —
мир сам собою отворился,
и гром небесный радугой разлился,
всё стало впору, я остановился
в её дуге.

2

Возьму с собой орехов, кураги,
чтоб, как у юноши, легки были шаги,
и вдоль по кромке, Боже, помоги,
взберусь живой
без груза и без грусти на Шумак¹,
а там грозой разбрызган красный мак,
а там туман качает свой гамак
над тишиной.

АКСАМЕНТОВ Геннадий Васильевич, поэт, врач. Родился 8 марта 1945 г. в Иркутске. Окончил Иркутский медицинский институт. Долгие годы работал главным врачом областного гериатрического центра. Автор книг стихов: «Поэтические акварели» (1989), «Дорога к дому» (1993), «Прохожий» (2001), «В ритме шага» (2005), «Одна жизнь» (2009) и др. Член Союза писателей России. Живёт в Иркутске.

¹Природный заповедник Восточного Саяна.

Здесь неуместен торг: глаза в глаза!
На розовом синее бирюза,
острей восторг и солоней слеза,
когда живут одни глаза.

И физику поправ,
преодолев и плоть свою, и нрав,
оковы долга и гирлянды прав —
в объятья глаз.
Владелец их — простор,
но как хотелось, чтоб сеньор
спустился с одиноких гор,
ввязался бы в весёлый спор,
махнул рукой и в первый раз
сказал бы «пас», и рассмеялся
светло и радостно...

Безлюдье и безмолвие вокруг,
блестит вечнозелёный луг,
в ладонях гор вода,
но не испуг, а дар в глазах.

3

Откуда эта оранжевая полоса
тепла и света
в растворённую стужу?
Я неуёмность обнаружу
души и рук желанье
послать поленья на закланье
во имя света и тепла.
Сгорай, смолистое, дотла!
Алтарь воспоминанья
откроет истину изгнанья
ума и сердца, позовёт

с собой в таинственный обход
основ и ожиданий.
Потрескиванье угольков,
грядущее из тьмы веков,
для слуха — азбука преданий,
проникновенный зов.
И рыжих отсветов порханье,
как ветры с дальних берегов,
доносит лёгкое дыханье
того, кто на изломе лет
инициирован в тепло и свет.

4

Дни и ночи — карусели
то взметнулись, то осели,
поминай, как звали.
По преданьям, как по зале,
наследили — нагоптали
в королевские скрижали дураки.

Знают сверху и донизу:
дуракам закон не писан,
и порой от их сюрпризов
киснут рожи, что приют им —
слово Божье, и неволить их негоже,
что озноб и бездорожье — их судьба.

Раскошелится эпоха на шута царя Гороха,
Йорика и скомороха
с языком напрасным:

всё туманно, всё неясно,
толку только то — что красно,
но таинственно и властно, словно маг.

Кто охает звон капели!
Без греха мели, Емеля,
в храме грёз, твоя неделя
под охраной музыки.
Кандалы, вериги, узы, обмирщение, обузы,
и капризы — всё без груза, всё не в счёт.

Карусель гремит и кружит,
сносит крыши, сносит души,
обрывает листья пожелтевших истин.
Перспектива, словно скатерть:
скоморошество и паперть,
и последнее потратить дважды два.

5

«... Вот в чём вопрос» — конец известной фразы,
 параметры её: этап, период, фаза,
 и тёмная константа — сам вопрос,
 терзающий самодопрос.
 Устойчивость — достоинство немногих.
 А впереди лежащие дороги
 неведомы, но надо их пройти
 и ничего не растерять в пути.
 Изъян на сердце — не дыра в кармане.
 И сам себя поймает на обмане,

когда однажды явишься судьбе
 совсем не так, как думал о себе.
 Что было в сердце, то и узнавалось,
 но вот прояснило — и оказалось,
 что нет того, чем жил, к чему привык,
 и это ты, а не пустой двойник,
 спокойно отвечаешь на угрозы
 грамматикой, в которой нет вопросов,
 пятно слепое зрелого ума,
 вокруг него зелёная кайма.

6

Какие странные виденья
 и необычные слова
 в привычных опытах и бденьях,
 смекай, седая голова.

Мобильник спросит: как дела,
 мол, жив, здоров, и ты, надеюсь, тоже.
 И сразу лето, а метель мела, прогноз не обещал тепла,
 ответил важно: проблемы ваши,
 и запахнул пальто из кожи.
 Вот так... а ведь когда-то
 читали в книжках октябрюта
 о том, что выдержка и труд
 проблемы перетрут,
 и надобно держаться дела —
 закона для ума и тела.

Что было — делалось, осталась
 от мира отвыкающая старость
 ещё и потому, что с миром стало,
 что есть, но тут остудим лоб,
 ведь оппонентами у нас флэшмоб
 и жёсть адреналина, и спайс, и паутина.
 Казалось бы, терпенью хватит,
 но тут гламур глаза закатит
 и вывихнется эпатаж,
 что ж, это современник наш,
 в законе и цене экстрим,
 а приглядеться — вечный Рим
 от императоров до *dolce vita*²,
 и кажется, что наша карта бита.

Довольно... этот боевик
 растает так, как и возник,
 его пустая ноша сойдёт, как снежная пороша,
 не потревожив ни на миг.
 А потому, что голубое сияет небо
 и вдали приветливо передо мною
 мои родители прошли, и я пройду...
 Звонит мобильник, и маленький его светильник
 в ладони, как живой птенец, и слышу я: «Привет, отец».

²Сладкая жизнь (с итал.) — название фильма Ф. Феллини.

7

Вот на канве весеннего бульвара скамейка, на скамейке пара.
И солнце просто и светло льёт своё первое тепло,
оно стекает по щеке, у губ в уютном уголке
чуть растекается в улыбке и веселит без всякой скидки
на давность памяти и той весны, откуда золотые сны.

Тепло апрельского светила, немая квантовая сила,
свободный дар, но зыбкий, зыбкий, когда от физики к улыбке,
когда к душе и к тайне рая в шалаше,
но нам достался без усилий, так после летних изобилий
пустым полям даётся нега косых дождей и снега.

А день в стремлениях безбрежен,
он ещё юн, он ещё нежен, и озорной, как синий камень
в сережках на прекрасной даме,
и так далёк он от заботы лелеять ветошь позолоты
и чью-то жизнь наедине, где на двоих или вдвойне
и пытка, и оплот пространства, а счастье — облик постоянства.

Ты рядом, и на склоне лет на сердце радостный куплет.
И снится мне, что мы идём, куда — не знаю, но вдвоём,
чтоб там остаться...
и впервые душа на эти позывные не ищет довод.

8

Не докучай, а лучше помоги...
и как бы невзначай разматываю фразу,
её целебную заразу, её крылатые шаги.

Ступеньки осени выходят из тумана,
ожог листвы, затянутая рана, браслеты паутин и вести, и напасти...
не оступиться как-то, не упасть бы с ступенек этих,
как бы не увлечься, чтобы от новых истин уберечься.

А прошлое живёт издалека, не приближаясь, но его рука
с утра рисует улицы и парки, стирает недомолвки и помарки,
умело восстанавливает память до зримых дел, но так,
чтобы не ранить, не потревожить...

Время — не предел, и прошлое есть та задача,
которую перерешить я должен, снова пережить,
и пережить иначе, и кое-что исправить. Дальше — свет...
он будет править в остывшей повседневности неброской
уже за фиолетовой полоской.

9

Смотрю в окно. Седой рассвет.
А ночью донимавший бред остался на бумаге.
А рядом с ним моя душа, расположилась не спеша,
помучилась, перекрестилась и снова в тело возвратилась.
Какой её попутал леший?
Из кухни доносился свежий печенья ароматный зной,
с любовью испечённого женой.

2015–2016



ЭДУАРД АНАШКИН

КРИТИК, ПИСАТЕЛЬ, Г. САМАРА

Любовь моя — печаль моя

Однажды мне в руки попала книга «Писатель. Жизнь. Литература» известного советского писателя, главного редактора журнала «Дружба народов» Сергея Баруздина. Запомнилось его такое высказывание: «Не знаю, как для других, но для меня всегда важна не только хорошая книга, но и облик человека, её создавшего».

В случае с моими друзьями, коллегами по перу Валентином Григорьевичем Распутиным и Виктором Петровичем Поляковым, полный порядок. В моей памяти сохранились лица дорогих мне друзей. Надеюсь, мне суждено написать о них хорошие воспоминания, и помогут мне в этом их книги с автографами, мои дневники, встречи, письма и телеграммы.

Они были одногодками, в этом году им исполнилось бы по 80 лет — Распутину 15 марта, Полякову 4 апреля.

Знакомы очно друг с другом они не были. Но знаю, что Виктор Петрович очень уважал и любил книги Распутина. Много раз перечитывал, а рассказ «Уроки французского» даже цитировал. Он жил надеждой, что в день Крещения Господня — 19 января 2015 года, когда ему будут вручать Всероссийскую литературную премию «Имперская культура имени Эдуарда Володина» за книгу стихов «Избранное» в конференц-зале Союза писателей России на Комсомольском проспекте, 13, Валентин Григорьевич посетит это мероприятие. Там они и познакомятся. Но Распутин тяжело болел и лежал в больнице.

Я был в числе приглашённых на этот праздник литературы и видел, как радовался Поляков признанию его заслуг в российской поэзии, как они с композитором Александрой Пахмутовой, которой была вручена такая же премия, но только в области музыкального искусства, поздравляли друг друга, как затем их поздравлял муж Александры Николаевны — известный поэт Николай Добронравов. Мы с Виктором Петровичем думали навестить Валентина Григорьевича в больнице, но не получилось.

Однако заочно они познакомились. Валентин Григорьевич Распутин был прост и вовсе не походил на «живого классика». Его сочинения не нуждались в предисловиях и комментариях. Однако Распутин был классиком. Его произведения читали и читают не только у нас, но и во многих странах, о нём много пишут, вокруг его произведений возникают споры и дискуссии. В Нобелевский комитет были поданы документы на присуждение Валентину Григорьевичу премии в области литературы. Документы ходят по кабинетам из года в год, но решения так и нет.

Распутин — обладатель многих заслуженных наград и премий. Но есть у него самая высокая награда — любовь читателей.

А Виктор Петрович Поляков был врачом, не просто врачом, а выдающимся. Единственный в нашей стране кардиохирург, который сумел во время одной операции по устранению кардиомиопатии провести сразу четыре самостоятельных, по сути, операции. Это аортокоронарное шунтирование, замена клапанов сердца, лечение мерцательной аритмии и уменьшение расширения левого желудочка. Каждая из перечисленных операций требует от врача высочайшего профессионализма. Устранение аритмии, операцию под названием «Лабиринт», могут делать только в Самаре да ещё в знаменитом Бакулевском центре сердечно-сосудистой хирургии. Виктор Петрович изучил методику этих операций в США. Но как человек творческий, сумел усовершенствовать методику американских коллег по-русски.

Однажды Поляков сказал мне, протянув ладонь левой руки:

— До сих пор ощущаю биение сердца каждого пациента. А сделал я свыше пяти тысяч крупных операций.

Об этом он просто и мудро сказал в одном из своих стихотворений:

*По благу судьбы велению
Уж без малого сорок лет,
Как поставлен я в оцепление —
Не пускать народ на тот свет...*

В 2012 году 1 мая у Валентина Григорьевича Распутина умерла его любимая жена Светлана Ивановна. Сразу же после этого сообщения я послал Распутину телеграмму соболезнования. Пришёл домой с почты, присел, задумался. Затем достал с полки экземпляр книги Виктора Полякова «Любовь моя — печаль моя», вложил в конверт, вернулся на сельскую почту и отправил на иркутский адрес Распутина.

Теперь хочу рассказать о том, как и я приложил руку к этому сборнику. Виктор Петрович часто приезжал ко мне в село, рыбачил, отдыхал, мы вели беседы до глубокой ночи. В августе 2008 года он приехал ко мне в очередной раз и положил на стол папку со стихами.

— Посмотрите, пожалуйста, — попросил Поляков и продолжил: — Здесь собраны все стихи, которые я писал для любимой и о любимой моей жене — Александре Спиридоновне. Хочу, чтобы вышла книга, посвящённая её памяти, отредактируйте.

Редактировать книгу Виктора Петровича мне было легко и — очень трудно. Легко, потому что это талантливая книга состоявшегося поэта. Книга о большой любви, которая далеко не каждому из нас, грешных, даётся. О любви, озарившей всю жизнь замечательного самарского кардиохирурга Полякова, врача и поэта от Бога, ставшего таковым во многом благодаря супруге Александре Спиридоновне. И в то же время работа с рукописью далась мне с трудом, потому что счастливая любовь, озарившая жизнь её автора, всё-таки оказалась для Виктора Петровича трагической. Многие стихи в книге — словно кровоточащие сгустки боли, не знающей срока давности. Эта боль не лечится, уж кто-кто, а врач Поляков это знает лучше других.

Помощник Виктора Петровича, заслуженный врач России, любимая Александра Спиридоновна трагически погибла в 2005 году, умерла у него на руках.

О книге Полякова хорошо сказал в своём предисловии наш общий друг, поэт из Тольятти, ныне покойный Виталий Сивяков: «Его отточенные строки искренни. Эмоциональны, человечны, полны возвышенной, чистой любви. Мир поэта Полякова — мир красок, оттенков, точно отражающих настроение и чувства. Любовное чувство в его стихах перерастает в раздумья о вечном: жизни и смерти, добре и зле, настоящих и ложных ценностях, соединяется с мыслями о родной земле, природе, человеке. Прочитать эти стихи — значит осмыслить и собственную жизнь, очистить душу от мелочного, корыстного, ложного, прикоснуться к истинной красоте...»

Однажды, ночью, в четвёртом часу, меня разбудил телефонный звонок Распутина:

— Эдуард, я получил от тебя книгу Полякова. Читал и перечитывал её от корки до корки. И всю ночь, как в твоём рассказе «Вовкин поцелуй», стонал глазами...

Я не успел ничего даже сказать. Послышались гудки. Телефон отключился.

Больше о книге Виктора Петровича «Любовь моя — печаль моя» мы с Валентином Григорьевичем разговора не заводили.

Осенью 2013 года я был приглашён в Иркутск на праздник Дни русской духовности и культуры «Сияние России». Команда приглашённых была сильной: Александр Проханов, Станислав Куняев, Владимир Крупин, Владислав Артемьев, Андрей Ребров, Анатолий Заболотский, Василий Попов. За день до окончания праздника мы, Анатолий Заболотский, главный режиссёр и директор Иркутского городского театра народной драмы, заслуженный деятель искусств России Михаил Корнев и я, решили побывать на Смоленском кладбище и посетить могилы дорогих для Распутина людей — дочери и жены. Пригласили Валентина Григорьевича, чтобы он показал, где они похоронены.

С кладбища возвратились уже поздно, остановились около гостиничного комплекса «Русь». Успели на ужин. За ужином Валентин Григорьевич наклонился ко мне и сказал:

— Чай не пей, у меня дома чайком побалуемся — настоящим сибирским.

Мы сидели на кухне у моего старшего товарища, друга-сибиряка, пили крепко заваренный, духмяный чай, на столе стояла тарелка с тёмно-красной брусникой.

— Эдуард, ты любишь поэзию? — неожиданно спросил меня Распутин.

— Да. Конечно, да. Ведь я начинал со стихов. В десять лет мои стихи были опубликованы.

— А кого из поэтов любишь?

— Есенина, Рубцова, Юрия Кузнецова, Надежду Мирошниченко и которые рядом со мной живут — Женю Семичева, Диану Кан и вашего земляка из Ангарска молодого Василия Попова.

— Да, ты прав, земляк. Рубцов — это был человек не от мира сего. Точно так, как и Есенин не был человеком от мира сего.

— Нам надо не забывать слова Константина Паустовского: «Больше всего обогащает язык прозаика знание поэзии».

— А о Викторе Полякове почему ничего не скажешь?

— Виктора Петровича знаю давно, был с ним у него на родине — в городе Сорочинске Оренбургской области, где меня поразило то, что в городе сохранили памятник известному советскому писателю Александру Фадееву, во времена СССР бывшему депутатом Верховного Совета от Сорочинска. Александр Александрович не раз бывал в городе. Памятник находится на том месте, где был поставлен. Хорошо сохранился, а клумба перед памятником вся в цветах. В библиотеке города бережно хранятся книги Фадеева с дарственными надписями. Были вместе с Виктором Петровичем на могиле его любимой жены, Александры Спиридоновны, на кладбище в Рубежке. Добрый, хороший памятник, много цветов, но меня поразило выбитое на граните четверостишие:

*Я отдал всё, что есть,
И жизнь свою в придачу,
Чтоб вновь тебе сказать,
Как я тебя люблю...*

Это из стихотворения Виктора Петровича «Я осуждён на жизнь».

— Это обо мне сказано, — с грустью произнёс Валентин Григорьевич, облокотился на стол, отодвинул кружку с чаем и опустил голову.

Добавлю только одно: в сентябре прошлого года Полякова положили в могилу рядом с любимой женой. Навсегда. Теперь они не расстанутся.

— Эдуард, — произнёс Распутин, глядя на меня, — ты правдиво пишешь, что как нужны в наш век «сердечной недостаточности» такие люди, как Виктор Поляков, который даёт надежду сердцам и как врач, и как поэт. Он настоящий поэт, передай ему мои слова. Его книга помогает мне переносить горечь утраты Светланы Ивановны. Вот какое сильное стихотворение запало мне на сердце. И я часто его повторяю:

<i>Благословляю прошлые года, Тот день, когда я встретился с тобой. Осенний день... И стала ты тогда Моей любимой, другом и судьбой.</i>	<i>Боготворил тебя полсотни лет, Я и сейчас боготворю! С тобою всё мне было по плечу. И пусть теперь я тлею — не горю, За то, что ты зажгла мою свечу, Благодарю тебя, благодарю...</i>
--	--

Валентин Григорьевич налил себе ещё чаю, сделал глоток, затем поднялся и произнёс:

— Я сейчас. Наливай ещё чайку, где ещё такого попьёшь? Может, с молоком будешь? У меня есть гущённое молоко.

— Нет, Валентин Григорьевич, спасибо большое, но я привык пить чай с кипячёным молоком, когда у него образуется коричневая пенка.



Светлана Ивановна Распутина

Распутин остановился, улыбнулся.

— Мы в детстве всегда пили чай с пенкой, бабушка кипятила молоко. Однако доставалось редко, меньше меня были у бабушки внучата и внучки. Я пытался, если мне доставалось, отдать ложку с пенкой моей младшей сестре. Маленькая была.

Вернулся Валентин Григорьевич быстро, с толстой, по-сибирски увесистой книгой и шариковой ручкой, сел за стол и начал писать на титульном листе книги что-то своим мелким убористым почерком. Закончив, протянул мне книгу и произнёс:

— Эдуард, передай, пожалуйста, эту книгу с автографом Виктору Петровичу Полякову. Как это у тебя: «На добро — добром»...

«Сибирь, Сибирь...» — так называется эта книга, которую мне подал Распутин. Это своего рода подробный и красочный путеводитель по этой огромной и до сих пор загадочной для многих земле.

Уже когда поезд «Иркутск — Кисловодск» подходил к Самаре, я позвонил Полякову. Он меня встретил у вагона. Я сразу же достал и передал подарок от Распутина Виктору Петровичу. Как он бережно нёс эту книгу, останавливался и читал автограф великого русского писателя Валентина Григорьевича Распутина!

И вот по прошедшим стольким лет, когда их уже нет в живых, я думаю, что же у Валентина Распутина и Виктора Полякова было общее? А общее у них одно: они служили России, они служили Народу, они были влюблены в Поэзию.

НИКОЛАЙ РАЧКОВ

Поэт, г. С.-ПЕТЕРБУРГ

Была дарована благодать

В 1985 году я был неожиданно приглашён в Москву редактором «Нашего современника» Сергеем Васильевичем Викуловым в редакцию журнала на подведение итогов года и обсуждение плана на будущее. Жил я тогда в Арзамасе. Конечно, для меня это было и вправду неожиданным и знаковым событием: мои стихи в журнале заметили, оценили, будут и дальше печатать, если пригласили поучаствовать на мероприятии в своём коллективе. Ура! Что и говорить, не больно-то жаловали в ту пору нас, провинциалов, в столичных журналах. Помню, не шёл, а летел в редакцию. Волновался. И было отчего. Когда вошёл в кабинет главного редактора, увидел помимо сотрудников журнала известных всей стране авторов: Евгения Носова, Гавриила Троепольского, Георгия Семёнова, критика Ирину Стрелкову и других не менее тогда популярных писателей.



Сергей Котьяло и Николай Рачков в телепередаче о жизни и творчестве Валентина Распутина. Март 2015 г.

И вот там я впервые познакомился с Валентином Распутиным. Вид его был несколько усталый. «С дороги только что, — признался он всем, — никак не могу ещё прийти в себя...» И смущённо улыбнулся. И ничего-то в нём от уже прославленного писателя. Ну, такой как все, как обыкновенный человек!

К тому времени я уже успел прочитать и «Деньги для Марии», и «Живи и помни», и «Прощание с Матёрой», и «Последний срок». И я тогда уже понимал, какой это большой, ни на кого доселе не похожий мастер слова, всем сердцем принимающий тот мир, ту боль, которые

набатно зазвучали в его произведениях, и робко наблюдал, как с ним уважительно общались старшие по возрасту писатели.

А он после обсуждения запросто за столом чаёвничал со всеми нами, что-то с усмешкой рассказывал о жизни в Иркутске, о погоде, о дороге, да разве сейчас упомнишь все эти разговоры. Запомнил только, что держал себя очень просто, не кичился уже свалившейся на его голову всемирной известностью, ел охотно баранки, прихлёбывал из чашки чай, нацезенный из огромного самовара, стоявшего на столе. И было тогда за этим редакционным столом такое дружеское общение, столько шуток, новых анекдотов, писатели делились задумками, планами.

Вот там мы впервые пожали друг другу руки.

А вторая наша встреча произошла через годы, через целую эпоху, которую пережила страна. В 1998 году в Петербурге состоялся пленум Союза писателей России. Собрались в Смольном. Писатель Семён Шуртаков подвёл меня к Валентину Распутину.

— Валя, это Коля Рачков, поэт, мой земляк, познакомься...

Валентин пристально посмотрел на меня и улыбнулся:

— Эх, Семён Иванович, да мы с Николаем Рачковым давно знакомы. Вместе чаёвничали в редакции «Нашего современника».

Не скрою, именно это меня тогда очень обрадовало: узнал, узнал меня через столько времени!

Как-то так получилось, что после, когда все делегаты пошли знакомиться с городом и оказались на территории Александро-Невской лавры, мы с Распутиным всегда были вдвоём. «Ты от меня не отходи, а то потеряюсь», — пошутил он. Мы пошли на мемориальное кладбище, где похоронены Жуковский, Карамзин, друзья Пушкина. Постояли и у надгробных памятников великим русским композиторам, причём Валентин Григорьевич о каждом из них вспоминал что-то интересное. О каждом у него было особое мнение.

Когда мы зашли в Троицкий собор, увидели длинную очередь писателей к раке с мощами Александра Невского. И на эту очередь с интересом смотрели пришедшие в храм туристы. Узнавали, кто есть кто. Я не могу объяснить, почему мне стало как-то неловко от этих взглядов, потихоньку отошёл в сторону. И тут ко мне подошёл тоже несколько смущённый Валентин Григорьевич. В руке у него было две свечи. «Это тебе, — сказал он, подавая мне одну, — пойдём поставим во здравие...»

И мы зажгли эти свечи у Иверской иконы Божией Матери.

Постояли молча.

Молча помолились.

И потом присоединились к группе наших писателей и приложились к мощам святого князя.

Этот день, это общение с великим русским писателем в Лавре настолько меня взволновало, что я вскоре написал стихотворение и посвятил его Распутину. Вот оно:

*Сиявший в Лавре над Невою
Забывать ли Троицкий собор?
Там припадали головою
К святым мощам, потупив взор.*

*Мы отошли с тобой смиренно
В сторонку от дотошных глаз:
Негоже то, что сокровенно, —
Так откровенно напоказ!*

*И вот, с душой неутолённой,
Там, где сильнее цвели лучи,
Мы перед Иверской иконой
Зажгли две трепетных свечи.*

*В тот миг раскаянье без меры
Сковало грешные уста.
В России жить нельзя без веры
И невозможно без креста.*

Но печатать не торопился. А вдруг да не понравится оно ему?

В следующем году мы с ним снова оказались вместе в поездке из Петербурга в Псков на празднование 200-летия со дня рождения А.С. Пушкина. Ехали поездом. Купе наши были рядом. Валентин Григорьевич находился вместе с председателем Союза писателей России Валерием Николаевичем Ганичевым. И вот я решил прочесть это стихотворение.

— Это ты мне посвятил, Николай? — спросил Распутин. — Большое тебе спасибо. Да, да, всё так и было, ты очень правильно описал тот момент в соборе. Это ты мне подарок сделал...

Ганичев поддержал:

— Здорово, концовка-то какая точная, лаконичная...

У меня отлегло от сердца: теперь стихотворение можно печатать с посвящением.

А через два года Распутин пригласил меня в Иркутск на праздник «Сияние России». Мы летели туда с Анатолием Пантелеевым из Санкт-Петербургского госуниверситета и Иваном Федоровичем Гончаровым, профессором Педагогического университета им. А. Герцена. Вылет задержали часа на три. И всё это время Валентин Григорьевич терпеливо ждал нас в

аэропорту в Иркутске. Он проводил нас в гостиницу, а через пару часов зашёл и пригласил к себе в гости. «Поужинаем у меня, — сказал он, — посмотрите, как живу...»

Этот вечер я не забыл до сих пор. Именно у него я впервые попробовал байкальского омуля. Его жена, Светлана Ивановна, угощала нас домашними разносолами. «И огурчики, и помидоры сами выращиваем на даче...» Ели пироги, выпивали, конечно, и о чём только не говорили! Был с нами за столом ещё местный журналист и весельчак Костя Житов. Помню, с какой тревогой обсуждали вопрос о русской школе в России. Распутин и Гончаров особенно были озабочены преподаванием русского языка и литературы.

На другой день Валентин Григорьевич, зайдя в гостиницу, пригласил меня пройтись по городу. «Посмотришь Иркутск, столицу Сибири...» Мы прошли вдоль университета, где он учился, где учился заодно и драматург Александр Вампилов, показал мне старинное здание Русского географического общества, напомнил, что именно отсюда отправлялись экспедиции на дальнейшее освоение Сибири, Дальнего Востока, в Китай, в Монголию. Мы вышли к Ангаре. «Сейчас у меня зрение не то, — вздохнул он с сожалением, — а раньше я мог прочесть заголовок объявления на здании на другом берегу Ангары...» Меня заинтересовала целая улица деревянных домов, скорее изб, с большими ставнями на окнах, с крепкими воротами, и всё это в центре Иркутска. «Вот так жили-вековали наши деды-прадеды, вот таким был раньше наш Иркутск...»

Довелось нам вдвоём выступать в городской библиотеке. Он попросил, чтобы я прочёл стихотворение «А Россия была и будет». Оно ему нравилось. «Ты везде его читай, — наставлял меня, — это очень даже необходимо сегодня...» Но я прочёл недавнее «Россия только начинается». Он, когда мы вышли из зала, взял меня за руку: «Ты умеешь кратко в стихах сказать о главном. Вообще, завидую поэтам. Мы, прозаики, можем только говорить о проблемах, не будешь ведь читать вслух рассказ или повесть в зале. Не те времена. А ты вон написал «Любку» — и в этом стихе целая художественная повесть о жизни...»

Мне, конечно, было приятно услышать от него такую похвалу. Я, доселе не избалованный критикой, и верил и не верил его словам, у меня и в мыслях не было, что Распутин так серьёзно относится ко мне.

Мы выступали в Иркутске в университете, в институтах, в техникумах, на большом торжественном собрании в концертном зале филармонии. Интересные творческие люди были приглашены тогда на праздник «Сияние России». Это и артист и кинорежиссёр Николай Бурляев, и писатели — депутат Государственной Думы Анатолий Грешневиков, Юрий Лощиц, Валерий Хайрюзов, уже упомянутый мной профессор, организатор проекта «Русская школа» Иван Гончаров, местные поэты, среди которых выделялись Владимир Скиф из Иркутска, Владимир Корнилов из Братска и другие авторы.

Трудно объяснить, почему Распутин как-то тепло, даже уважительно стал относиться ко мне. Я, кстати, не скажу, чтобы он был уж очень молчаливым. Многие об этом и говорят, и говорили, подчёркивая молчаливость, замкнутость как основную черту его характера. Да нет, мы с ним беседовали обо всём, общались вполне откровенно, доверительно. Мне кажется, что его замкнутость, его «каменное молчание», о котором упоминает критик Валентин Курбатов, это состояние его души в тот или иной период жизни, особенно это стало заметно после гибели его дочери Марии. А со смертью Светланы Ивановны он стал даже не столько сторониться людей, сколько испытывать неловкость, потому что жаловался на память: «Здороваются, а я не узнаю, кто это, забыл, понимаешь — забыл и имя, и фамилию встречного. Злюсь на себя. Отшибло память... Прячусь от порядочных людей...» Я его утешал как мог — и в письмах, и по телефону.

И ещё к той якобы замкнутости его. Хочу вспомнить, как мы в Усть-Уде, в том самом посёлке, где он учился в школе, той самой, где развивались события, описанные им в повести «Уроки французского», где его, а вместе с ним и нас, встречали, как, пожалуй, больше нигде не встречали писателей: девушки, одетые в русские сарафаны, с цветами в руках образовали нарядный почётный коридор, и мы торжественно проходили через него в местный Дом культуры. После выступления, а оно затянулось допоздна, собрались поужинать вместе с местным начальством.

И вот после застольных речей, и серьёзных и шуточных — ведь здесь Распутин для всех просто свой родной человек, а не только великий русский писатель, — Толя Пантелеев развернул гармошку, с которой он не расстаётся ни в каких поездках, и грянули песню за столом. Пели «Славное море — священный Байкал», «Катюшу», «Волховскую застольную», «Артиллеристы, Сталин дал приказ!» И Валентин Григорьевич пел вместе с нами, и ещё подсказывал, какую новую песню спеть. Вообще, он был здесь ещё более прост и открыт душой, вспоминал с земляками былое, обсуждая тамошнюю жизнь. Я и во время последующих встреч замечал, что он никогда не старался как-то выделиться, в нём естественно уживались и врождённая скромность характера, и величие таланта.

По возвращении в Иркутск на ночной дороге наш водитель свернул в темноте в сторону — там же никаких столбов с фонарями на дороге не было, тайга кругом — и мы оказались за тридцать километров от главного пути, оказались в местечке, куда был сослан Сталин. Никто, конечно, не огорчился, все шутили, что так нам и надо, что пели про Сталина, вот он и напомнил о себе.

«Вот она, мистика, — только и мог сказать Распутин, — может, кто-то из нас и рассказ об этом напишет. Чудеса да и только...»

С этой встречи в Иркутске, собственно, начались наши дружеские отношения. Я посылал ему книги, он отзывался, как всегда давал оценку, рассказывал о своём бытии, я писал ему, иногда мы созванивались по телефону. Не скрою, каждое его письмо, его оценка ободряли меня, поднимали дух, настраивали на творческую работу.

А как он был деликатен, если находил слабую строчку!

Вот выдержка из одного письма от 01.11.2009 г.:

«Верните русскому деревню» — очень хорошо, очень точно и больно.

«Кричу я небу и Кремлю». Мы с тобой, и не только мы, в одни адреса кричим. «Единым без земли не будет землёю вскормленный народ». Землёю вскормленный, рекою вспоенный — и то и другое давало вечность, в них была самая крепкая и неизносная правда бытия.

У меня впечатление такое, что пишешь ты всё сильнее и точнее. И всё необходимое для стиха, о чём бы ты ни задумывал, при тебе, надо только растворить ворота и выбирать из лучшего самое лучшее. Терзания, очевидно, и в этом случае бывают, но уже не надо весь свет обегать за словом, а только выбрать как бы из домашнего хозяйства.

За одно запнулся, может быть, и несправедливо. Это в другом стихе о деревне:

«Как солнце играло на жёлтой стерне» — прекрасный стих; «Тебя извели. Истребили. Не плачь» (всё тут есть — и напряжение, и точность, и боль), но концовка:

«Тебя ещё вспомнит Россия» — мне показалась несколько вялой и, может быть, изъезженной. Не берусь утверждать — показалась...»

Господи, да что там «показалась» — всё ведь правильно подметил. Как я благодарен за это замечание! Надо сказать, что эти стихи я посылал ему в рукописном виде, они не были ещё нигде напечатаны. И стих «Как солнце играло на жёлтой стерне» я до сих пор нигде не напечатал. Наконец нашёл концовку, но, увы, не прочтёт её мой любимый писатель.

Когда я бывал на пленумах Союза писателей в Москве, Валентин Григорьевич приглашал меня к себе в гости в Староконюшенный переулок «попить чайку». Но я по своей закоренелой деревенской застенчивости, что ли, не решался обременять его своим посещением. Зачем я буду отрывать время у него?

Нет! Я всегда покупал заранее билет на поезд домой и оправдывался: «Билет у меня куплен, Валентин Григорьевич, уж как-нибудь в другой раз. Передай привет Светлане Ивановне...» Он мне: «И Светлана была бы рада увидеться...»

Не могу забыть, как он в последнем письме ко мне, когда был уже очень болен, писал, что хочет хотя бы ещё разок приехать и посмотреть Петербург. Надеялся приехать осенью 2014 года. И опять напомнил мне в письме: «Надо увидеться, надо...»

Не получилось. Ни приезда в Петербург, ни встречи нашей. Я ведь совсем не догадывался, что он смертельно болен. Да он и сам, вероятно, не хотел в это поверить. Но что случилось, то случилось, причём очень быстро.

Сейчас я очень сожалею, что даже в том же 2014 году, когда я приехал с конференции из Белгорода, писатели Виктор Потанин с женой Людмилой и Виктор Лихоносов звали меня к Распутину в гости, я не помчался к нему, рассудив: куда такой компанией-то? Шумно будет.

Именно сегодня я уяснил, как был он всё-таки одинок и страдал душой в этом мире в последние годы. Как ему хотелось просто поговорить с теми, кто не надоедал, наверно, ни просьбами, ни суетливым вторжением в его жизнь.

Я приехал в Москву в храм Христа Спасителя проститься с ним. Увидев исстрадавшийся, изболевшийся до неузнаваемости лик любимого писателя, я внутренне содрогнулся. «Плачу и рыдаю...» — даже молитвенными словами не выразить того состояния, которое сжало мне сердце.

Народ шёл и шёл проститься с ним, ложились цветы на стоявший у временного прохода столик и на гроб классика отечественной и мировой литературы, горели свечи у икон. Народ шёл и шёл...

«Плачу и рыдаю...»

Я ехал домой и вспоминал до мельчайших подробностей и все наши встречи, и путешествие по Байкалу, и то, как мы взбирались на крутой лесистый берег вдоль «золотой пряжки» Транссиба, и Валентин Григорьевич, присев на корточки перед крохотным, в ладошку, кустиком кедра, обрадовано извещал: «Вот выкопаю и пошлю приятелю-писателю, давно обещал...»

И надо было видеть, как светилось его лицо, как он по-крестьянски деловито расправлял длинные хвойные иголки.

Без слёз не могу читать его письма, вспоминая и понимая, какая великая благодать была мне дарована свыше — быть в дружеских отношениях с писателем от Бога Валентином Григорьевичем Распутиным.

ВИКТОР БОЧЕНКОВ

Журналист, г. Калуга

Литература может многое

Вечером 12 февраля 1999 года я захватил с собой миниатюрный диктофончик. Эпоха цифровой записи только-только начиналась, и у меня, тогда корреспондента калужской областной газеты «Весть», он всегда был под рукой. Вставил внутрь миниатюрную кассетку, которую легко можно было спрятать в кулаке и которая ни для чего больше не годилась, кроме как для разговоров: записал, стёр, записал, стёр... В ту пятницу я записал встречу с Валентином Распутиным, она состоялась в калужском концертном зале имени С.И. Танеева, просто — для памяти, для собственного архива. Редакционного задания осветить это событие у меня не было. Но я вёл тогда тетрадь, куда заносил всякие «интересности»: обрывки фраз, разговоров, случайно услышанных в троллейбусе или на улице, отражавших, как мне казалось, настроение людей, их восприятие времени, каких-нибудь событий: авось, пригодится когда-нибудь, перечитывать буду из любопытства, вспоминать, вот и запись этого вечера тогда же, по горячим следам расшифровал (ведь надо кассету освободить), занося всё подряд от руки на линейки тетрадных листов. Назвать их дневником? В общем-то, наверно, можно. Но вести записи регулярно у меня не хватило терпения и постоянства...

После недавнего ухода писателя я возвращаюсь к тому дню.

Минуло шестнадцать лет. Я не смог вспомнить, когда же именно была та встреча. Тетрадка отыскалась, хотя и не без труда. Хорошо, что я обозначил там дату перед рукописью своей, только почему-то ошибся: 12 февраля 1999 года, это была пятница, а не суббота, как отмечено было у меня. Несложно было в Калужской областной библиотеке отыскать «Весть» с небольшой статьёй поэта Валерия Васильева об этом вечере, подтверждающей дату. Не стану на ней останавливаться, но для будущих библиографов и биографов Распутина вдруг пригодится ссылочка: *Васильев В.В.* Чужебесие, или Поступь истории // Весть: газета Калужской области. 1999. № 32 (2091) от 16 февраля, с. 1.

Вместительный зал тогда был набит до отказа. Я помню, что сидел где-то в середине, у прохода, с краю длинного ряда, напротив больших колонок, они хорошо усиливали звук. Запись получилась более-менее приемлемой. Перечитывая сейчас свою «стенограмму» (назовём её так), я понимаю, что, видимо, экономил плёнку (кассета была рассчитана только на шестьдесят минут), потому что вступительное слово Станислава Куняева не записывал, нужно было больше уделить места гостю. На сцене, перед залом, у микрофонов, они были тогда вдвоём. Впрочем, в одном месте всё-таки нажал на кнопку с красной точкой — запись. Речь шла об «Избе» Валентина Распутина. Этот рассказ «Наш современник» опубликовал в январском номере 1999 года. И о «Матрённом дворе» А. Солженицына.

Всё, что тогда фиксировал мой диктофон, мне хочется оставить, как есть, как и легло потом на «дневниковые» линейки. Не править, не обрабатывать, не шлифовать прозвучавшее устно «сырое» слово до стилистического совершенства. Ведь я пишу не статью о той встрече с калужским читателем, свидетелем и участником которой был, не пишу воспоминания в чистом виде. Я публикую документ, предлагая, где требуется, свои пояснения к тексту. Время сделало ту запись, те речи литературным документом, может, и не слишком высокого значения, и, быть может, для биографии писателя он ценен не в самую первую очередь, но оставить его в своих бумажных залежах я чувствую не вправе. Жаль только, что передать особенности голоса, интонаций уже невозможно.

— Рассказ «Изба», — признался тогда Станислав Куняев, — поразил меня (а меня трудно чем поразить, я столько всего читаю, ведя журнал). И я подумал: как мы сходили с ума по «Матрённому двору»!.. Я специально перечитал его, чтобы сравнить с «Избой». Когда-то, конечно, Солженицын с «Матрённым двором» произвёл фурор. Он, как нам

казалось, открыл какие-то глубины народной жизни, которые литература то ли опасалась, то ли не могла изобразить... И вот я перечитал и увидел, насколько рассказ Распутина совершенней, значительней и истинней в самом высоком смысле слова! Судьба русской женщины. Сюжет почти одинаков. И я понял, что Александр Исаевич — талантливый писатель, но в нём вот это публицистическое начало, которое всегда присутствовало в русской литературе у писателей второстепенных, но пытающихся изобразить народность (была такая школа, «народники»: Златовратский, Помяловский, Глеб Успенский), — их линию и продолжил Александр Исаевич — с отступлением, с публицистикой, с прямым изображением своего отношения к действительности, с сентиментальными паузами. Как будто не до конца доверял он читателю... А «Изба» написана на уровне «Записок охотника» Тургенева или лучших рассказов Толстого...

...Уже подготовив электронный набор своих тогдашних записей, я отправился в Калужскую областную библиотеку и попросил «Наш современник». «Изба» — рассказ об ангарской жительнице Агафье, а если шире — о национальном русском характере, в данном случае женском, удивительный и светлый рассказ. Тогда, на встрече, прозвучал вопрос, почему там грустная концовка? Нет, он не показался мне грустным. Самые последние строки в конце — когда Агафья уже умерла, когда в доме её случился пожар, когда стоит она одна, — нежилая её изба, открытая всем сторонам света — какой-то неизвестный читатель отметил на полях скобкой и тремя восклицательными знаками. «И в остатках этой жизни, в конечном её убожестве явственно дремлют и, кажется, отзвучат, если окликнуть, такое упорство, такая выносливость, встроенные здесь изначально, что нет им никакой меры».



Валентин Распутин. 90-е годы.
Фото Льва Тетелева

В давние-предавние студенческие годы мне встретился как-то перевод тютчевских «Этих бедных селений...» на французский, с этими вот словами: «*Cher pays d'extrême endurance / Par toi, peuple russe, habité!*» Всё тут почти дословно: «Край родной долготерпенья, край ты русского народа». *Endurance* вообще переводится как выносливость, стойкость, терпеливость, в сочетании с некоторыми словами — способность терпеть или переносить (боль, например). *Extrême* — и так понятно. *Экстремальный. Крайний, чрезмерный, чрезвычайный...* И если, не зная Тютчева, перевести на русский заново, получится «*страна, или край экстремального (долго)терпения*», существительное вдвое усилится прилагательным. А куда уж дальше-то терпеть?

«...Нет им никакой меры». Было бы, в самом деле, замечательно, если б появилось полное, насколько возможно, литературоведческое исследование о женских характерах в русской прозе второй половины XX века, от «Матрёниного двора» до «Избы», чтобы издано было, а не погребено в от-

деле диссертаций Российской Государственной библиотеки в Химках. Увы, так устроено: довести результаты своей научной работы до широкого читателя — это порой подвиг.

В Савелии, герое «Избы», вдруг померещится собственный отец: так бы точно разворачивал конфетки, в знак того, что принимает угощение, но не ел бы. Одна деталь, но сколько говорит она о человеке, о его «пережитом и передуманном», о бесконечном труде и войне за его спиной! Особенность и значение творчества Валентина Распутина, кажется, не только в том, что национальный русский характер, идеалы, народные судьбы раскрыты у него во всей типической точности, что узнаваемы и в Сибири, и в Центральной России, во всей их полноте и цельности, но в том ещё, что слово он воспринимал как служение высшей правде, свято и всецело сберегаемой народом. В том, что литература отказалась

от этого предназначения, он видел причину её упадка. Писательское слово становится у него синонимом таких понятий, как «ответственность» и «совесть», иначе лучше молчать. Творчество есть выражение народного духа и народной совести. И иначе не может быть, не должно быть. Но есть ещё один момент, о котором говорил он в «Моём манифесте», — воля. Воля стоять за свой народ, его правду, его ценности и за судьбу его.

Столетиями литература учила совести, бескорыстию, доброму сердцу — без этого Россия не Россия и литература не литература. Но одно, как теперь замечается, не добавляла она к этим мудрым наставлениям — одно, в чем давно явилась необходимость и без чего самые славные добродетели начали провисать до опасной расслабленности. Это волевой элемент — как элемент зарядной батареи. Он был в той же военной литературе, но в общем ряду ценностей для русского человека оставался на десятом месте. С учетом того, что он ослаб и окислился, и вычерчивались планы обращения с великим народом. Нет воли — в неволе; есть воля — на воле. Пора вспомнить это старинное правило и литературе. Народная воля — не результат голосования (вот и еще одна подмена), а энергичное и соединенное действие в защиту своих интересов и ценностей, в защиту, в конце концов, своего права на жизнь. К нашим книгам вновь обратятся сразу же, как только в них явится волевая личность, — не супермен, играющий мускулами и не имеющий ни души, ни сердца, не мясной бифштекс, приготовляемый на скорую руку для любителей острой кухни, а человек, умеющий показать, как стоять за Россию, и способный собрать ополчение в ее защиту. <...>

Литература может многое, это не раз доказывалось отечественной судьбой. Может — худшее, может — лучшее, в зависимости от того, в чьих она руках. Но у национальной литературы нет и не может быть другого выбора, как до конца служить той земле, на которой она была возвращена.

Очевидно, я не сразу включил диктофон, когда заговорил Распутин, начало его выступления у меня отсутствует. Но речь зашла тогда о том, что писателей патриотического лагеря не видно на экранах, потому что мой «конспект» начинается с этих вот распутинских слов:

— ...Иногда даже второстепенные фигуры уж такой карнавал устроят, такой фейерверк из небольшого юбилея... Завидно становится. Но нас нет... Жди, Россия, скоро мы вернемся на экраны, и будем точно также поздравлять друг друга (в зале аплодисменты. К сожалению, я не вспомню уже, о каких поздравлениях шла раньше речь. — В.Б.). Потому что там очень много неприличия, а мы уже соскучились по читателю, вот по таким встречам соскучились, хотя они бывают... В последнее время их бывает побольше... Несколько лет назад, года четыре, мало приходили, даже на известных писателей. И это тоже понятно. Потому что то, что сделала интеллигенция в конце восьмидесятых годов, когда она послужила неким «динамитом», взорвавшим старую нашу страну, Советский Союз, и то, что она сделала потом, после 1991 года... Тогда люди не очень разбирались, кто из этой интеллигенции достоин внимания, кто не достоин, а просто не хотелось приходить и слушать их. Бывает, что не хочется читать никакой литературы, как у меня несколько лет назад. Художественной литературы я не мог читать. Читал воспоминания, читал философскую литературу, но это проходит... Происходит какое-то необходимое насыщение... Но как же вообще без художественной литературы? Не читая своих товарищей, нельзя жить. Что делают товарищи рядом — это всегда необходимо знать. И без этого работа не очень двигается... Но мне следовало бы начать с того, что я очень рад оказаться в Калуге, перед вами, калужанами. Испытываю робость, вполне понятную, естественную робость. Я попытаюсь её объяснить. Для меня Калуга — из тех старинных русских городов, которые являются опорой всего государства Российской-го. И я несколько раз проезжал через Калугу и, казалось, должен был бы остановиться здесь (а я ездил в Оптину пустынь), остановиться и пожить. Как-то всё не получалось. Эта робость, она всё-таки была... У меня эта робость долго была, скажем, перед Ленинградом, у меня эта робость до сих пор существует перед Владимиром, Ростовом.

Я ни разу там не был ещё. Эта старина, из-за неё всегда чувствуешь себя несколько не готовым к восприятию её... И я не был готов, чтобы приехать в Калугу. Вот поступило приглашение. Я немножко протянул, свои были дела. Я недолго сегодня посмотрел Калугу, больше слушал о ней. Тут недалеко от Москвы, дорога теперь уже накатана. Я буду здесь, может быть, и своим человеком. (Аплодисменты в зале.) Власть у вас хорошая, насколько я понимаю. С уважением относится к культуре. Это очень хорошо. Далеко не в каждом городе есть такая власть. (Аплодисменты.) Я не заискиваю перед властью. Я человек независимый. О том, что делается здесь, я знаю со слов калужских писателей, и это была одна из причин, которая поманила сюда...

Дальше у меня в тексте стоит значок, означающий пропуск. То ли нажал на паузу, то ли не расшифровал диктофон. А потом начинается немного иная тема.

— Несколько лет назад каждая публикация вызывала поток писем. Он был действительно огромным. Я не отвечал даже на десятую часть... Теперь нет писем. И, может быть, даже не потому, что не читают. Периодику меньше читают. Но — нет вот этой необходимости тут же поделиться, то есть — не остаться с прочитанным наедине. Наша российская власть сделала самое гнусное дело с человеком — она его оставила одного. Одному прожить нельзя. Вот почему общины для нас, вот почему эта собранность, о которой мы постоянно говорим, — они значили очень-очень много для нашей нравственной ориентации, даже для атеистической жизни. Потому что без общины...

Вновь пометка: *неразбираемый текст*. Но, по всей видимости, сказано было и оказалось пропущено два слова: «разрабатывать нельзя», и полностью фраза звучала так: «Потому что без общины разрабатывать нельзя землю у нас в Сибири». Это прозвучало в качестве примера особой необходимости коллективного труда при освоении тех непростых краёв.

— В России нет благодатных земель. Благоденствовать нам никогда не удавалось... Но, чтобы жить хорошо, надо было организовываться в общины, потом в колхозы... Нынешняя власть сделала страшное дело, что разъединила нас всех. Нам всем стало как бы стыдно за то, что произошло. Мы все чувствуем вину за это. А кто сам прямо за это виноват — тот как раз не чувствует. Для них просто наслаждение видеть, чего они добились... Я не страдаю от того, что не зовут меня на телевидение, не зовут меня на радио. Это уж я по характеру такой человек. Я люблю замыкаться и работать. Это мелькание придворной интеллигенции, оно неприлично. Нельзя постоянно показывать себя. Пусть ты очень мудрый человек, но ты надоедаешь. И постоянно мудрости произносить ты не в состоянии. Начинаешь говорить глупости и пошлости. Люди всё это замечают. Мы замечаем, когда <...> (вновь «неразбираемый текст», но здесь была названа чья-то фамилия. — В.Б.) говорит пошлости, когда Сванидзе говорит пошлости, когда Доренко говорит... Но это уж совсем бандиты отпетые...

Так он тогда прямо и сказал на весь зал:

— Патриотическая литература и печать оказались на партизанском положении. Никогда не было ощущения того, что ты не прав...

И далее какой-то фрагмент я пропустил, но оставил пометку, что речь зашла о низвержении литературных классиков.

— Это партизанское положение, оно сейчас заканчивается, — продолжил Распутин. — Мне кажется, что дело не в том, чтобы взять микрофоны и оказаться перед телезрителями, а в том, чтобы сказать что-то такое, чтобы люди поверили нам. Сейчас нет смысла говорить, что нас ведут к разорению, что разрушили Россию, полностью разорили нас. Это всё и так понятно... Вот почему, выходя перед вами, не знаешь, что сказать. Потому что всё уже понятно. Сама жизнь заставила понять... Вот есть уже вопрос о «Русском национальном единстве». Не понимая происходящего, нельзя акцентировать

внимание на одном каком-то больном вопросе и делать из этой организации только фашистскую организацию. Это не фашистская организация в обычном понимании. Пусть они тоже создали похожую символику. Пусть они считают себя сами фашистами. Они не могут представлять весь русский народ. Нам это не свойственно. Фашизм — это есть, в сущности, тоталитарный национализм. Нам необходим сейчас национализм. Но необходим национализм, какой у всякого другого народа. У нас-то как раз меньше всего этой опасности... Национализм, это как лекарство, но до определенного периода. Когда национализм вырождается в фашизм, это уже не лекарство, это уже яд. Тем более, такой замечательный русский ум как Иван Александрович Ильин, который не однажды размышлял о фашизме, он говорил, что нельзя пользоваться этой символикой, потому что после войны (точнее — во время, в результате войны. — В.Б.) она показала себя, и уже никогда не сможет оправдаться. И те молодые люди, которые эту символику взяли (а взяли они, казалось бы, из благих намерений, чтобы «выздороветь» — это есть национальное выздоровление), говорить о них, о баркашовцах, что они только фашисты — так нельзя говорить. Точно такие же организации есть во всех европейских странах. Гораздо более серьезные и опасные. Я считаю, что как раз отряды самообороны нам нужны. Вот в этой роли баркашовская организация могла бы сыграть неплохую роль. Но не с этой символикой. То, что творится сейчас вокруг баркашовцев, это понятно всё, понятно, потому что теперешняя демократия проигрывает, и она ищет новое идеологическое оружие для того, чтобы остаться у власти. Какой фашизм у русского народа? Народа, который за брата последнюю рубашку отдавал. Все народы, которые были в России, они сохранились, даже малые народности. Там свои проблемы, но они не зависят от русского человека. Вся эта кампания поднята сейчас потому, что патриотизм как движение, как идеология — он нарастил сейчас мускулы, и против него необходимо избрать новый способ борьбы. Другого способа борьбы, как этого последнего средства — превратить патриотизм в фашизм — не нашли.

Здесь я то ли остановил запись, то ли не стал делать расшифровку. Оставил только пометку: «Взгляды Распутина на баркашовцев — в «Советской России», 5 января 1999 г. Самый первый в этом году номер газеты». Откуда это я взял, не вспомню уже. То ли сам недавно читал, то ли упоминалось на встрече.

В библиотеке заказываю газету. Да, ошибки нет. Имелась в виду беседа Виктора Кожемяко с Валентином Распутиным, опубликованная на второй странице «Советской России» под заголовком «Краденый венец», только речь тут не о баркашовцах, о фашизме вообще — спровоцированная в какой-то мере словами Ельцина о русском фашизме (как известно, другого у нас в стране нет), размышления о русофобии, её причинах. Глубокая, замечательная беседа. Она во многом дополняет и уточняет то, что говорил писатель 12 февраля. Но моя задача — не сравнивать, не анализировать, а только, повторюсь, опубликовать ту запись свою...

«Дальше речь шла о коллективном одурачивании людей в СМИ, — написал я от себя. — Поддаются, по мнению Распутина, люди, главным образом, образованные, которым «корневой системы не хватает». А потом зашёл разговор о том, что молодёжь, несмотря ни на что, тянется к классической литературе, о том, что значительной её части мы были лишены после 1917 года, то есть об эмигрантской классике...

Из зала последовал вопрос о книге воспоминаний: не собирается ли Распутин заняться мемуарами. Он возник потому, что в том же первом номере «Нашего современника», который открывала «Изда», напечатано было начало книги Станислава Куняева «Поэзия. Судьба. Россия».

— Я не вёл дневников, не хранил писем. И сейчас, если бы взялся за книгу воспоминаний, она бы у меня была далеко не полной... Кто ведёт дневники, тот поступает совершенно правильно. Тут дело не в самолюбовании. Описать жизнь с самого начала, тут дело в организации этой жизни, своей деятельности. И эти записанные строчки пони-

маешь потом иначе, когда ты возвращаешься к ним. Писатель сильно обкрадывает себя, если не делает такого вот самоописания... Возвращение в зрелом возрасте к итогам, оно необходимо.

Записка со следующим вопросом звучала: «Ваши рассказы, в частности «Изба» — пессимистичны. Почему?»

— Я не могу с вами согласиться, что «Изба» имеет пессимистический конец. Вовсе нет. Это как раз, как мне кажется, самый оптимистический конец. Оптимизм — это не обязательно хороший, благополучный конец, а когда есть ощущение продолжения жизни. Вот у меня там последние слова, что такое терпение, которому нет меры — это слова не просто об этой женщине. Речь идёт, разумеется, обо всём нашем народе, который проявил великое терпение и мудрость. Не в первый раз эта мудрость проявляется. Я часто думаю, что это было — терпение наше, глупость или мудрость? — и всё же прихожу к выводу — мудрость... Печальное лицо, печальные глаза, печальные концы, это, очевидно, от характера. Жизнь была у нас невесёлая, и сейчас невесёлая... Но весёлых людей, я думаю, хватает. И в литературу или весёлые люди, и с «хорошим концом», фальшивым, правда... Сам материал так диктует, сам просит.

Вечер продолжался. Станислав Куняев озвучил следующую записку: «Уважаемый Валентин Григорьевич, как вы относитесь к предложенному «Независимой газетой» списку десяти лучших русских писателей двадцатого века, где нет таких фамилий, как Платонов, Астафьев, Распутин? И насколько, по вашему мнению, полезны такие вещи?»

Сейчас уже совершенно непонятно, о чём тут речь. Тот, кто спрашивал, имел в виду публикацию в «Ех Libris-НГ» (№ 5, февраль, с. 11) «Русские писатели XX столетия». Это были кратенькие, занявшие всю полосу биографии Ахматовой, Блока, Бродского, Булгакова, Бунина, Горького, Набокова, Пастернака, Солженицына, Шолохова с портретиками и общим редакционным вступлением, в котором говорилось, что газета совместно с радиостанцией «Эхо Москвы» проводит акцию «Персоны века», и вот из этой писательской десятки читателю нужно выбрать трёх самых-самых или предложить своего кандидата. Тот пятый номер «Ех Libris-НГ» вышел 11 февраля.

— Сначала о «Независимой газете». Я не верю ни в какие независимые газеты. Это всё чепуха. Это прикрытие, чтобы скрыть свою зависимость. И «Независимая газета», она тоже зависимая... Что касается списка... Думаю, что в список десяти писателей я бы не вошёл никогда, будь действительно какой-то независимый рейтинг. А люди, которые проводят такие опросы, они знают, к кому обращаться, чтобы получить желаемый результат. Они сначала подводят результат, а потом, под результат... Это всё известно, насколько литературны эти опросы...

Станислав Куняев:

— Вот такой вопрос. «Валентин Григорьевич, каково ваше отношение к Алексею Второму и к «официальной православной церкви». В кавычках тут. «Ваше отношение к старообрядчеству».

Распутин, кажется, понял это как вопрос о возможном объединении расколотых в XVII и XX веках русских церквей и, подходя к этой теме, начал «издалека».

— Когда говорят о воссоединении, о политическом или другом, когда говорят, что «необходимо примирение», всё это несерьёзно. Как будто можно вот так вот обратиться и всё решить. Но как могу я примириться с писателями, вот с Черниченко, скажем (Юрий Черниченко, либеральный писатель и общественный деятель, в октябре 1993 года подписал т. н. «Письмо сорока двух» с призывом к расправе над коммунистической и национал-патриотической оппозицией. — В.Б.). Невозможно мне с ним примириться, невозможно рядом сидеть. Я буду чувствовать себя неудобно. Если бы даже он изменил свои речи. Как я с Карякиным (Юрий Карякин, публицист, автор работ по творчеству Достоевского, также подписал «Письмо сорока двух». — В.Б.) могу объединяться? Это

невозможно сейчас... Мне трудно даже с такими замечательными русскими людьми, как Михаил Ульянов и Кирилл Лавров. Огромные люди в искусстве. Но они способствовали тому, чтобы грязь вот эта, вся... (следующее слово на плёнке оказалось невозможно разобрать. — В.Б.) пришли в искусство. Боролись за это в конце восьмидесятых годов. Сейчас они, очевидно, сами понимают, что нельзя было... Но их авторитетом пользовались, и грязь уже проникла, конечно, очень далеко. Сейчас они об этом уже не говорят. Но дело сделано, в конце концов... Когда дело касается объединения православных религий, русской и зарубежных церквей, тоже ведь нельзя поставить себе цель: объединиться, и всё. Очень большой вопрос, это, разумеется, староверы. «Раскольники» наши. Это очень сложный вопрос. Они сохранили для России те ценности допетровской Руси, которые нельзя было терять. Они были великими стоиками. Но эти великие стоики настолько оказались упрямыми, что они уже не считают официальную православную церковь за церковь. Считают истинными только себя. Но это уже тоже ни к чему...

О патриархе Алексии Втором ничего сказано не было, ответ уклонился немного в сторону. А о самих старообрядцах есть у Распутина в очерке «Смысл давнего прошлого» строки, не совсем похожие на то, что он сказал тогда...

Старовер не курил, не пил вина, а в Сибири и чай пили лишь из трав и корней, строго соблюдали все посты и моральные уставы, и лишь в одном не знал воздержания — в работе. Это был тот же человек, что и рядом с ним в обычной православной деревне, и всё же далеко не тот: по-другому живущий и верующий, по-другому смотрящий на мир — всё основательно, весомо, тяжело. Отлучённый от ортодоксальной церкви и судорожного общественного развития, он и их отлучал от себя, обвиняя в греховности и несамостоятельности, в пляске под чужую дудку. Со временем он выделился в особый тип русского человека, который вопреки всем бедам и обстоятельствам, упрямо хранил в себе каждую косточку и каждый звук старой национальной фигуры, в тип, несущий живое воспоминание о той поре, когда человек мог быть крепостью, а не лавкой, торгующей вразнос.

Следующая записка спрашивала: «Уважаемый Валентин Григорьевич! Много шума наделало в 1991 году коллективное письмо или «Слово к народу». Вы его подписали. Актуально ли оно сегодня?» Это «Слово...» в июле 1991-го подписали Юрий Бондарев, Людмила Зыкина, Вячеслав Клыков, Александр Проханов, Геннадий Зюганов и другие известные деятели культуры, политики. То был призыв к объединению накануне крушения СССР: «Как случилось, что мы на своих оглушающих митингах, в своем раздражении и нетерпении, истосковавшись по переменам, желая для страны процветания, допустили к власти не любящих эту страну, раболепствующих перед заморскими покровителями, там, за морем, ищущих совета и благословения?» и т. п.

— Оно печаталось в последние годы не однажды. «Советская Россия» его напечатала, кажется, в прошлом году. Всё актуально. Мы предупреждали о той опасности, которая ждёт Россию, если мы не объединимся и не поставим заслон — вот этому подчинению всему чужому, распродаже России, народной собственности. Всё это там есть. Чем ещё хорошо «Письмо...» было — оно написано было очень эмоционально. Я где-то читал, что я якобы принимал участие в его сочинении. Нет, я не принимал участия. Это делали, наверное, Проханов, Зюганов и Чикин. Рука Проханова там чувствуется... Но «Письмо...» было написано с опозданием. Точно так же, как года полтора назад мы попытались написать письмо к народу по поводу защиты наших святынь и защиты нашей культуры. Тоже — с опозданием...

Станислав Куняев развернул следующую записку, переданную из зала:

— Вот такое письмо, которое не требует ответа, но я его прочитаю, чтобы порадовать Валентина Григорьевича. «Спасибо за «Живи и помни». Когда всё хорошо, легко быть вместе. Это, как сон. Знай живи. Но быть вместе, когда плохо... В наше трудное время

Ваше творчество помогает нам жить. Ваша повесть оказала немалое влияние на формирование молодых. Мы — это молодёжный студенческий театр при колледже культуры. У нас в театре идёт спектакль по «Живи и помни». И плачут на нём люди, прошедшие войну, и двадцатилетние. Приглашаем Вас на спектакль».

В зале раздались аплодисменты.

— *Записка стоит очень много,* — произнёс Валентин Распутин. — *Это ведь молодёжный театр ставит «Живи и помни»; если оттуда, из этого театра, пишут такие записки, да если этот театр находится в старинном русском городе Калуге, это стоит ведь очень и очень многого. И когда мы говорим, что прозевали свою молодёжь, что она теперь совсем другая, что она «отслоилась» от России, будет служить кому угодно, это не так. Часть — да. Это самая заметная, самая агрессивная часть. Нам кажется иногда, что эта часть — большинство. Вовсе нет. Всякое такое начинание, молодёжный театр, оно заслуживает поддержки. У меня только одна обида на этот театр, что они раньше не дали знать, я бы раньше приехал.*

После ответных аплодисментов зала зашёл разговор о фильмах, снятых по произведениям писателя, и пьесах, поставленных на театральных подмостках: где и что идёт. «Вот такой вопрос, резкий, политический, — произнёс Станислав Куняев, развернув очередную записку. — «Валентин Григорьевич, поделитесь, пожалуйста, своим мнением, кто Вам больше импонирует на роль нашего вождя?»»

— *Я не могу ответить вам на этот вопрос не потому, что не хочу, а потому, что не могу. Я не знаю. Но, слава Богу, у нас ещё есть время, больше года ещё до выборов...*

...Здесь нужно пояснить, что эти выборы состоялись в марте 2000-го, после отставки Ельцина, о которой он проурчал по телевизору 31 декабря того же 1999 года, передав полномочия Владимиру Путину... Тогда же, за десять с лишним месяцев, этого нельзя было предвидеть.

— *Мы оказались в таком положении, когда мы не знаем, кто лучше. Лебедь?*

Здесь и память, и магнитная плёнка подвели меня, и прозвучавший отзыв об Александре Ивановиче Лебеде я не смог воспроизвести дословно. Впрочем, плёнка кое-что всё-таки передала, и в тетради я оставил пометку: «суть в том, что он — предатель».

— *Лужков? Но там рядом с ним ходит Иосиф Кобзон.*

В зале — аплодисменты.

— *Зюганов? Но пик славы, популярности у него был в 1996 году. Сейчас, по всяким рейтингам, он вроде на первом месте, но... то ненавязываемое может быть его лидерство, мне кажется, сейчас потеряно... Что-то в обществе потеряно, не в личности его даже. Подождём, посмотрим, что будет дальше.*

Следующая записка, прочитанная Станиславом Куняевым, была краткой и немного странной: «Что случилось с Виктором Астафьевым?»

— *Трудно говорить. Я до сих пор разобраться не могу. Виктор Петрович сам больше всего пострадал. Он понимает, что ту сторону («демократов». — В.Б.), которую он взял, она оказалась грязной... Вот читаю я, что теперь пишет Виктор Петрович, и вижу: выжжено у него всё. Наверное, у него были какие-то основания взять ту сторону. Я не знаю, что это были за основания. Наверное, злость. Много было обиженных, хотя Виктор Петрович меньше всех был обижен...*

Я, видимо, не расшифровал плёнку дальше из-за плохого качества записи. Сделал только пометку, что было упомянуто о том, что Астафьев одним из последних получил звание Героя Социалистического Труда» (в 1989 году), с 1997 по 1998 год вышло в свет пятнадцатитомное собрание его сочинений.

В очередной записке оказался самый трудный вопрос: «Кто же всё-таки автор «Тихого Дона»?» «Какой вопрос, такой и ответ» — сделал я в тетради пометку вместо того, чтобы расшифровать ответ (а может, и вообще запись тогда выключил). В самом деле, что тут сказать? Но снял диктофон с паузы, когда Распутин высказал своё мнение о Солженицыне:

— *Он принёс немало вреда. Но нашёл в себе мужество вернуться, отказался от президентского ордена. Его последняя книжка «Россия в обвале» — это книжка националиста. Там есть места, с которыми нельзя согласиться. О Чечне. Нельзя «отпускать» Чечню... Сейчас всё в этом Солженицыне есть. Что касается «Тихого Дона», то он сам тут всё понимает, но вот упёрся, по-русски, и всё.*

Здесь имелся в виду отказ Александра Солженицына от ордена Святого Апостола Андрея Первозванного (когда-то — высшая государственная награда Российской Империи, восстановлен указом Б.Н. Ельцина в 1998 году и тогда же присуждён писателю). «От верховной власти, доведшей Россию до нынешнего гибельного состояния, я принять награду не могу», — сказал Солженицын со сцены Театра на Таганке спустя четыре дня после своего 80-летия на премьере спектакля «Шарашка», поставленного по его роману «В круге первом». (См., напр.: *Деготь Е.* Солженицын не принял награды // *Коммерсантъ.* 1998. № 233 от 15 декабря, с. 2). «Россия в обвале» вышла в свет в том же 1998-м.

Плётка закончилась. Я перевернул кассету. Может быть, зря, может, нет, но дальнейшее я потом не расшифровывал. В «дневнике» моём пометка: «Далее диктофонная запись разбирается плохо. Другая сторона всегда плохо записывалась. Но там было несколько глупых вопросов: «Как вы относитесь к буддизму, кришнаизму» и т. д., «Что для вас Пушкин?», «Расскажите о себе, о семье» (Ст. Куняев пошутил, что в записке женский почерк)». Это всё. Заметки мои здесь закончились. Но, насколько помню, звучали тогда и серьёзные темы, и много, увы, нужно признать упущенным, утраченным; память моя коротко сохранила прозвучавший тогда отзыв Валентина Распутина о его работе в Президентском совете СССР при М.С. Горбачёве (1990–1991 годы), точнее, свидетельство: «Давали ему книги русских философов, Ивана Ильина, он не читал».

P.S.

Одно время будто некое поветрие прошло по Калуге: там и сям стали появляться мемориальные доски. Как-то раз посетил областную библиотеку Солженицын — раз! — доска на стене. «21 мая 1998 года выступал с лекцией». Чёрный мрамор, золотые буквы, портрет. Но коль скоро уже такого случайного повода оказалось достаточно, почему тогда и в память Валентина Распутина не установить такую ж доску на стене Калужского областного музыкального колледжа имени С.И. Танеева (учебный корпус № 2)? И совсем было бы неплохо, если б появился ещё один памятный знак, в честь другого русского патриота, на той же улице Баженова, где Танеевский зал, в том уголке, что носило некогда название Три Палаты, поскольку в числе других ведомств находилась там и Калужская палата уголовного суда, где прослужил без малого полтора года Иван Сергеевич Аксаков.

2016 г.

ВАЛЕНТИНА СЕМЁНОВА

КРИТИК, ЛИТЕРАТУРОВЕД, г. ИРКУТСК

Во славу земли Иркутской

Растекаясь ручьями большими и малыми, Дни русской духовности и культуры прошли по земле Иркутской в 23-й раз и, как обычно, вобрали в себя как события общероссийского размаха, так и мероприятия местного порядка.



Назовём гостей 2016 года.

По программе министерства культуры и архивов Иркутской области:

Сергей Станиславович Куняев — критик, историк литературы, заведующий отделом критики и публицистики журнала «Наш современник», член правления Союза писателей России (Москва);

Вячеслав Витальевич Ар-Серги (Сергеев) — удмуртский прозаик, поэт, драматург, переводчик (г. Ижевск);

Вячеслав Дмитриевич Лютый — литературный и театральный критик, публицист, ответственный секретарь журнала «Подъём» (г. Воронеж);

Эдуард Константинович Анашкин — прозаик, критик и публицист (г. Самара);

Сергей Лаврентьевич Донбай — поэт, глав-

ный редактор журнала «Огни Кузбасса», член редколлегии журналов «День и ночь», «Сибирские огни» (г. Кемерово);

Владимир Васильевич Корнилов — поэт (г. Братск);

Татьяна Юрьевна Петрова — певица, заслуженная артистка России, известная исполнительница русских песен и романсов (Москва).

По программе управления культуры администрации г. Иркутска:

Александр Сергеевич Белоненко — музыковед, президент Национального Свиридовского фонда, директор Свиридовского института, заслуженный деятель искусств России (Москва);

Николай Петрович Бурляев — актёр, кинорежиссёр, президент Международного объединения кинематографистов славянских и православных народов, организатор кинофестиваля «Золотой Витязь» (Москва);

Василий Николаевич Попов — поэт, секретарь правления Союза писателей России (Москва), лауреат литературной премии «Золотого Витязя» за книгу стихов «Дороги неба и земли».

* * *

Прологом нынешнего «Сияния» стала мировая премьера 23 сентября, в областной филармонии, в день открытия нового сезона Государственного симфонического оркестра. В 1-м отделении концерта прозвучала «Симфония» Георгия Свиридова. Именно Иркутску доверил первое исполнение раннего произведения великого русского композитора второй половины XX века исследователь творчества музыковед, директор Свиридовского



Валентина Семёнова

института и племянник Георгия Васильевича Александр Белоненко, обнаруживший «Симфонию» спустя несколько лет после кончины её автора. Сам Свиридов не придавал большого значения своему сочинению студенческой поры и, как известно, вообще отошёл от жанра симфонии. Однако слушателям пришлось убедиться, что в этом первом крупном произведении молодого композитора заключена большая выразительная сила. Видны в «Симфонии» и подступы к будущей «Метели», и «Курским песням». И потому остаётся только предполагать, не суждено ли было Свиридову в XX веке сделать новый шаг в развитии симфонического жанра в русском национальном направлении. Ведь, по свидетельству Белоненко, Д. Шостакович называл Свиридова «прирождённым симфонистом».

Почему был выбран Иркутск? В своём выступлении во время концерта Александр Сергеевич объяснил это так:

— Здесь жил крупнейший писатель современности Распутин, которого связывала со Свиридовым многолетняя дружба, здесь знают и любят Свиридова. Мне понравился

симфонический оркестр, которым руководит Ирман Лапиньш, а мы с ним вместе учились в консерватории. И я подумал, что этот оркестр и этот дирижёр отнесутся трепетно и ответственно к свиридовской «Симфонии».

Общее радостное волнение от встречи с вновь обретённым творением русского музыкального искусства объединило зал и сцену и прорвалось горячими аплодисментами, подтверждающими, что ожидания слушателей сбылись.

* * *

Открытие Дней русской духовности и культуры проходило 25 сентября. Утром, как обычно, — праздничное богослужение в соборе Богоявления, крестный ход к Соборной площади и молебен «Во славу земли Иркутской», продолжение — в городском Театре народной драмы — одной из основных площадок праздника.

Был показан видеофильм-хроника «Сияние России», снятый театром. В своём приветственном слове начальник городского управления культуры Виталий Барышников перечислил предстоящие события, приуроченные к этим дням. Всё свелось к главной мысли — мы собираемся для того, чтобы развивать лучшие традиции.

Программу открытия вёл директор и главный режиссёр театра Михаил Корнев. Выступления гостей соседствовали с двумя литературными спектаклями — по «Рассказам о Суворове», в исполнении артистов театра народной драмы, и по поэме Н. Мельникова «Русский крест», что подготовили старшеклассники студии «Вдохновение» при городской школе искусств № 10 (руководитель Л. Захарова).

Оба спектакля хорошо вписались в тему русской духовности, и особенно «Русский крест», где судьба крестьянства увидена современным поэтом остро драматично и заставляет задуматься об истории России, отказавшейся от православной веры в начале XX века, а в конце, на переломе эпох, вновь обратившейся к ней. И то, что подростки-чтецы проникновенно и без надрыва донесли до слушателей простой по языку, но глубокий по смыслу текст поэмы, радует и внушает надежду на подрастающую молодёжь.

Главным событием второго дня, 26 сентября, стало открытие памятника на могиле Валентина Распутина в ограде Знаменского монастыря. Установлен крест, исполненный в камне. Митрополит Иркутский и Ангарский Вадим совершил заупокойную литию, присутствовали представители областной и городской власти, родственники писателя, гости «Сияния России», общественность.

Имя вдохновителя Дней русской духовности и культуры, словом и делом радевшего как за малую, так и большую родину, продолжает звучать в городах и посёлках области, везде, где заходит речь о литературе, о действительности, полной противоречий и требующей от человека совестливого отношения ко всему, что происходит вокруг.

Ядром «Сияния» остаётся живое писательское слово, всегда открывающее слушателям нечто новое в примелькавшихся картинах жизни. Гости этого года — представители Союза писателей России, лауреаты различных литературных премий — в сопровождении иркутских писателей и сотрудников Дома литераторов в течение недели выступали в студенческих аудиториях, библиотеках Иркутска, Ангарска, Шелехова, Усолья-Сибирского, в том числе посетили такие удалённые точки области, как посёлок Усть-Уда, где закончил среднюю школу В. Распутин, и село Анга — родину святителя Иннокентия (Вениаминова). В некоторых поездках участвовали и музыкально-песенные ансамбли.

Сергей Куняев — критик и историк литературы, член правления Союза писателей России, заведующий отделом критики и публицистики «Нашего современника» представлял журнал, которому в октябре исполняется 60 лет. К слову, за годы праздника не однажды посетили Иркутск и главный редактор Станислав Куняев, и его заместитель Александр Казинцев, а затем и добрая половина общественного совета журнала. Сергей Станиславович напомнил о давней традиции НС отдавать свои страницы талантливым авторам из провинции. Так, в своё время пришли к читателю Астафьев, Белов, Носов, Распутин, а сегодня, в частности, в сентябрьском выпуске, опубликованы сразу нескольких иркутян: Байбородин, Забелло, Максимов, Хайрюзов, дебютировал Михаил Корнев. Журнал уделяет много внимания молодым, участвует в их форуме, публикует лучшее, и это уже приносит свои плоды. Куняев поделился с читателями и радостью и грустью:

— Тираж «Нашего современника» сегодня составляет сумму тиражей трёх толстых журналов — «Нового мира», «Знамени» и «Октября», то есть идёт впереди. Однако же это всего шесть с половиной тысяч на всю Россию и несопоставимо с массовыми тиражами прошлых лет! И дело не в конкуренции литературы с телевидением и компьютером. За 25 лет власть сделала всё, чтобы журналы и книги не доходили до читателя. Год литературы отмечился закрытием огромного количества библиотек в России. Но редакция продолжает встречи с читателями, и это побуждает их следить за журнальными новинками.

Большой интерес вызвала книга С. Куняева о поэте Н. Клюеве, вышедшая недавно в серии ЖЗЛ. Несколько привезённых экземпляров разошлись мгновенно. А вот фрагмент из выступления народного писателя Удмуртии Вячеслава Ар-Серги, прозаика и поэта, драматурга и переводчика, автора более сорока книг, опубликованных в Удмуртии, России, ряде зарубежных стран.

— Я работаю в разных жанрах: творчество едино. Идея приходит и диктует: напиши меня романом, пьесой, стихотворением. ...Когда знакомлюсь с человеком, стараюсь расспросить, из какого он рода, какова национальность его предков, и тогда знаю, как говорить с ним. Заметил: если тюркская ментальность — то любят похвалу. Финно-угры любят говорить о своих проблемах, и вы должны принять эти проблемы в себя. Не то, что англичане, у которых всегда «Ол райт!». Изучил языки, близкие удмуртскому, — венгерский, татарский. ... Занимаюсь переводами и глубоко сожалею об утраченной в нашей стране школе перевода, которая так важна для национальных литератур...

Поэт прочитал свои стихи «Летяга», «Ветер покаянный», «Лунный бал».

Как известно, сфера критики близка не всем читателям, однако Вячеслав Лютый из Воронежа, увлечённо работающий именно в этом жанре, привлёк внимание своими суждениями о его нынешнем состоянии на пресс-конференции писателей, что состоялась в областной библиотеке им. И.И. Молчанова-Сибирского.

— Говорят, критика умерла. Это оттого, что издательства задают тон и берут в услужение критиков, которые должны оправдывать их книжную продукцию. Черта времени, так будет не всегда. Независимое суждение — большая редкость, но оно необходимо. Важно, чтобы при появлении новых книг возникало эхо, а теперь повсюду вата. ... Культурное пространство разорвано, как это преодолеть? Вижу выход в содружестве региональных журналов.

Сергей Донбай, поэт и главный редактор журнала «Огни Кузбасса» (г. Кемерово), продолжил мысль о содружестве, поделившись опытом перекрёстных публикаций произведений сибиряков в журналах «Сибирские огни», «Бийские вести», «Сибирь».

И на пресс-конференции, и в дальнейших выступлениях писатели задели немало волнующих тем.

Писатель и критик из Самарской области, в прошлом забайкалец, Эдуард Анашкин вспомнил о знаменитом Читинском семинаре, открывшем целую плеяду талантливых иркутских писателей. Там он познакомился с Валентином Распутиным. Дружба, наметившаяся тогда, окрепла в последнее десятилетие, и сегодня Анашкин работает над книгой о нём. Гость и земляк передал в дар областной библиотеке бюст Распутина работы скульптора Н. Селиванова. Выступивший вскоре молодой поэт Василий Попов (тоже гость и земляк — ангарчанин, обосновавшийся в Москве) предложил закрепить традицию и провести всероссийский семинар молодых писателей на Иркутской земле.

Если говорить о встречах со студентами, то хотелось бы выделить две из них: в Государственном университете путей сообщения (ИрГУПС) и педагогическом институте ИГУ. В первые годы, напомним, наиболее ярко осеяло «Сияние» именно пединститут, где огромный зал на Нижней Набережной заполнялся молодёжью и где гости выступали всем составом. Но постепенно как-то само собой стрелка перевелась на университет будущих инженеров-путейцев: уже многие годы студенты приходят целыми курсами, отчего писатели чувствуют повышенную ответственность за своё слово, и успех сопутствует каждой встрече. Разумеется, здесь немалая заслуга наставников — преподавателей и библиотекарей, которые заранее готовятся к «Сиянию». В этом году достигнуто равновесие: гуманитарный факультет пединститута встречал писательскую группу в своей самой большой аудитории, где присутствовали и студенты, и преподаватели, и по тому вниманию, с каким слушали гостей, чувствовался интерес к каждому выступлению.

Открывая встречу, председатель Иркутского отделения СП России Ю. Баранов зачитал приветствие празднику «Сияния России», полученное от его инициатора, представителя русского зарубежья Александра Шахматова, вернувшегося в Россию в 90-х годах. Это он в 90-е годы организовал в Приуралье несколько таких праздников: «Душа России», «Казачий Покров», «Сияние России», «Зов Руси» и подсказал идею проведения подобного в Иркутске Валентину Распутину. Вот несколько строк из этого послания:

«Слава Богу, русскому народу, великой России, что уже 23 года проходит праздник «Сияние России» в граде Иркутске и области! Печально, что уже не будет с нами отца исторического и знаменательного события, Валентина Григорьевича Распутина, русского писателя-классика XX века. Но жизнь продолжается, и мы обязаны в память о нём закреплять, прославлять и передавать молодому поколению величайшее русское духовное и культурное наследие не только на российской земле, но и в Русском мире!.. Сердечно поздравляю, желаю душевной радости всем участникам... Всегда ваш Александр Васильевич Шахматов...»

Первое слово было предоставлено С. Куняеву. В его рассказе о «Нашем современнике» звучали имена выдающихся авторов этого журнала, среди которых литературоведы М. Бахтин и В. Кожинов, публицист И. Шафаревич, политолог и философ А. Панарин. Они наверняка запомнятся, и кому-то захочется обратиться к их работам высокой духовно-культурной значимости. Эдуард Анашкин прочитал свой короткий рассказ о том, как в детском доме старшие ребята опекали младших, особенно сильно тоскующих о родителях, и будущие педагоги затихли, сопереживая трогательной истории, не придуманной, а случившейся с писателем в детстве. Анатолий Байбородин тоже коснулся школьной темы, но уже с юмором: поделился впечатлениями о своём кратковременном учительстве, где на каждом шагу подстерегали неожиданности. Было и серьёзное — писатель прочитал отрывок из своего очерка о С. Есенине, опубликованного в журнале «Москва». Поэт из Братска Владимир Корнилов, частый гость «Сияния», хорошо знаком иркутянам по светлому настрою творчества. Он прочитал несколько стихотворений из новой книги «Исповедь». Вспомнил и одно из ранних, посвящённое учителям.

Что касается упомянутой встречи в ИрГУПСе, то о ней приведём отзыв одного из организаторов — Людмилы Васильевой:

По русскому обычаю и сложившейся традиции с хлебосольным гостеприимством встречали сотрудники и студенты вуза известных писателей, поэтов, критиков России и Иркутской области. Гостей представил наш земляк, поэт, секретарь правления Союза писателей России Владимир Скиф. Он отметил знаковое событие этого дня — открытие памятника на могиле Валентина Распутина. Скиф прочитал стихотворение, посвящённое памяти писателя «Не верю», принадлежащее перу студентки Иркутского филиала ВГИК Елизаветы Оводневой, которая вслед за тем выступила со своими стихами, навеянными поэзией Есенина и Цветаевой. Критик Вячеслав Лютый сразу же подметил личностность, осязаемую в каждой строке молодой поэтессы, выразительность чтения, после чего поделился своими размышлениями о литературе.

— Поэт — посланец чистоты и красоты, правды и любви. Но очень часто стихи начинающих являют собой новую модернистскую форму, отчего рушится целостность мира произведения. Литературно-художественный стиль автора должен выражаться в простоте, точности, ясности слова. Русская литература должна многогранно показывать отношение к роду, к традициям, к земле... И критика должна быть понятна не только собратьям по перу, но и любому человеку. И тогда каждый жанр станет живым жанром.

Сергей Куняев разносторонне представил историю журнала «Наши современники», что очень важно для молодёжной аудитории, подчеркнув, что на его страницах отражается не только литературная, но и общественно-политическая жизнь страны — в публицистике, исторических материалах.

Эдуард Анашкин, до Ульяновского пединститута получивший специальность осмотровика вагонов в родственном нашему вузу заведению — железнодорожном училище, поведал о своей писательской судьбе и предстал не только прозаиком, но и литературным критиком, рассказав о книге «На литературных перекрёстках», изданной в Москве год назад, куда вошли статьи о В. Распутине, М. Алексееве, Н. Дорошенко и других российских писателях.

Андрей Мирошников, ныне проживающий в Иркутске, — поэт и заведующий отделом критики и публицистики журнала «Сибирь», — говорил о том, какой болью отзываются в его сердце межнациональные конфликты, из-за которых он был вынужден уехать из Казахстана, и трагические события на Украине, «которые искажают до неузнаваемости всю нашу историю. Отрадно, что на Иркутской земле можно свободно говорить, читать и писать на русском языке». Закончил своё выступление Мирошников на поэтической ноте, прочитав стихи «Не проси пути попроще», «На скале, окружённой волнами» и «Лишь бы не было войны», посвящённое памяти отца.

Искренние строки стихов «Кузнец Корнила», «На деляне», «Память сердца», «Барышня Осень» прозвучали из уст братчанина Владимира Корнилова. Поэт рассказал о том, как передаёт литературный опыт юным дарованиям из детского литературного клуба «Братские роднички», и подарил сборники своих стихов.

Приняла участие во встрече молодая художница, увлечённая керамикой, член Союза народных мастеров Прибайкалья Валентина Голендеева. В её экспозиции была представлена авторская керамика фамильной династии, где переплетаются традиционные образы славянской и восточной мифологии, озера Байкал, животных, рыб и птиц, а обращаясь к студентам, пожелала им познавать мир во всём многообразии его красок.

Этот день, безусловно, дал хороший заряд началу нового учебного года в нашем вузе.

В библиотеке «Алые паруса», по отзыву её сотрудницы Гюльнаны Осиповой, возник горячий разговор об отношении к поэзии в наши дни:

Поводом послужило четверостишие гостя из Кемерова поэта Сергея Донбая, можно сказать, весьма пессимистичное:

*Вымирает читатель стихов,
В трубку стиснув тетрадную пропись.*

*Он как будто уходит на зов
(Сам себя заманил крысолов)
В Интернета безвыходный хостис.*

Гости, среди которых были ангарчанка Людмила Соболевская и двое иркутян, высказали своё мнение. Артём Морс заметил, что поэзия во все времена интересовала узкий круг читателей, и наши дни не исключение. Светлана Михеева считает, что многое зависит от воспитания и традиций в семье. Если родители читают детям, говорят о литературе, то и дети будут читать. Донбай добавил: к сожалению, для многих смыслом жизни стали деньги и потребление, отчего ценность книги упала.

Мирииться с этим нельзя — таков был общий настрой разговора и потому вспомнились слова Д. Лихачёва: «... Чем больше человек окружён духовной культурой, погружён в неё, тем он счастливее, тем ему интереснее жить...», которыми завершился разговор. Гости подарили библиотеке книги с автографами, за что им особая благодарность.

Приведём ещё один отклик — от сотрудницы Гуманитарного центра-библиотеки им. Семьи Полевых Оксаны Запольской:

Две встречи состоялись в дни «Сияния России» в нашей библиотеке. Гостем первой стал молодой поэт Василий Попов — автор пяти поэтических сборников, в том числе недавнего — «Вот мой дом». Книга выпущена издательством Московской патриархии РПЦ и предназначена для чтения в семейном кругу. Юная аудитория (иркутские школьники) тепло восприняла стихи «Как я хотел у речки поставить домик небольшой», «А снегу, снегу намело до самых окон...», «Какая ранняя весна...», «Край наш богат лесами...». Поэт охотно ответил на вопросы о своём творчестве, о детстве, проведённом в Ангарске и деревенском доме бабушки и дедушки, а новую книжку подарил библиотеке.

День спустя перед студентами двух иркутских колледжей — экономики и туризма и педагогического образования — выступили представители старшего поколения писателей: вместе с гостем Эдуардом Анашкиным пришли иркутяне Василий Скробот и Олег Слободчиков. У всех троих путь в литературу оказался непростым: им приходилось быть с юных лет самостоятельными, не рассчитывать на родительскую помощь, осваивать тяжёлые рабочие профессии, а высшее образование приобретать уже сложившимися людьми. Тем желаннее была мечта добиться знаний и не потерять открывшуюся в душе жажду литературного творчества. Постепенно пришла уверенность: все преграды можно преодолеть, если твёрдо ступить на выбранную дорогу и идти вперёд.

Разговор писателей с молодёжью продолжился и после встречи. Ребята говорили о своём желании прочесть их книги, потому что опыт людей, прошедших трудную школу жизни, необходим многим из тех, кто сегодня ищет верный путь в будущее.

В Саянске в этом году побывали В. Ар-Серги и А. Байбородин. На выступлении речь зашла о межнациональных отношениях в Российской, затем Советской империи и нынешней России. По словам А. Байбородина, и гость — писатель из Удмуртии, и он — писатель-сибиряк, пришли к единому выводу: Россия — как летний луг в радужном свечении ярких цветов-соцветий, созвездий самобытных национальных культур. А посему долг истинного патриота Великой России приложить все творческие усилия для того, чтобы многонациональное российское поле не обратилось в серый, бездушный и бездуховный космополитический полигон глобалистов, утратив традиционно-культурное разноцветье. Писатели России, выражая эстетическое своеобразие этнических культур, показывают мудрость традиционных национальных этик, в основе которых издревле были заложены высокие нравственные идеалы — любовь к своему народу, любовь к малой родине, из которой вырастает и любовь к Отечеству, к России, нестяжательство, честность, милосердность...

В заключение литературной части праздника надо признать: всего, что проходило, охватить невозможно. Так, в Центральной городской библиотеке им. А.В. Потаниной 27 сентября состоялась презентация книги Андрея Румянцева «Валентин Распутин», вышедшей в издательстве «Молодая гвардия» в серии «Жизнь замечательных людей». Наверное, не все желающие смогли в этом поучаствовать из-за тесноты мероприятий.

Упомянем о встрече, которая прошла там же 29 сентября и которую можно назвать «Писатель о писателе», поскольку поводом для разговора стала документальная повесть Александра Лаптева «Армань», посвящённая судьбе известного сибирского прозаика и поэта Петра Петрова, в числе первых иркутских литераторов получившего в 1934 году билет члена Союза советских писателей. Повесть опубликована в журнале «Сибирские огни» в 9–10-м выпусках 2016 года как главы из книги, которая готовится к выходу в одном из московских издательств.

Как известно, П.П. Петров, писатель-партизан, защищавший советскую власть в 1920-е годы, автор знаменитого романа «Борель», высоко оценённого М. Горьким, был репрессирован в 1937-м и расстрелян на Колыме в 1941 году после неудавшегося побега. Реабилитирован посмертно; имя его носит Иркутский Дом литераторов.

А. Лаптев рассказал о своей поездке по местам заключения Петрова, где ознакомился с музейными материалами, сделал фотографии сохранившихся лагерных построек и суровых колымских видов — они были показаны на экране. О том, как по-новому взволновали в «Армани» горькие страницы истории страны, сказал писатель Ким Балков и был поддержан библиотекарями и слушателями.

* * *

Концерт заслуженной артистки России Татьяны Петровой вновь прошёл в Иркутске и городах Приангарья и, как всегда, с большим успехом — так душевно звучат в её исполнении русские песни и романсы. Визитной карточкой певицы можно назвать песню на слова иркутянина Андрея Мингалёва «Встань за веру, Русская земля» — созданная в Иркутске, она далеко разнеслась по свету, и теперь прозвучала уже в память об авторе: Андрей Мингалёв совсем недавно, летом, скорострительно ушёл из жизни.

В этом же году родилась ещё одна иркутская премьера: певица представила песню на слова Владимира Скифа «Бессмертный полк», впервые исполненную ею с детским хором при Московской консерватории. Музыка написал композитор Владимир Беляев.

Две встречи с Н. Бурляевым, президентом Международного кинофестиваля «Золотой Витязь» — в театре народной драмы под руководством М. Корнева и в областной филармонии — безусловно, яркая краска в завершение «Сияния». Театр приготовил свою программу: выступления гостей и руководителей культурных учреждений сменялись концертными номерами. На сцену вышел мужской ансамбль «Иркутская застава» и исполнил песни «Первопроходцы» и «Крым — наша земля»; вторая считается неофициальным гимном Крыма. Обе песни, слова и музыка, написаны М. Корневым. Женские голоса влились двумя дуэтами: И. Тиунова и О. Кондратьева спели «Под окном широким», М. и Н. Самодинские — «Любо мне», «Грибочки».

Всем хорошо известно, что небольшой, но с мужественным голосом театр из Сибири сроднился с громадой Международного кинофорума славянских фильмов, став постоянным участником фестивалей и обладателем трёх золотых, серебряной и бронзовой статуэток.

Эхо «Золотого Витязя» живёт в театре — в призах, хранящихся в его стенах, в репертуаре, что готовится на маленькой сцене для больших фестивальных сцен, в настроении артистов, причастных к укреплению славянского единства, в фильмах, прошедших на фестивалях и подаренных Н. Бурляевым кино клубу театра. И потому выступление Николая Петровича в одной программе с артистами Иркутского театра было дружески-тёплым, напроць лишённым официозности, и знаменитый деятель российского и мирового кино предстал перед собравшимися в зале как человек свой, удивительно близкий по мировосприятию. Что и подтвердилось, когда им были прочитаны три стихотворения: «Клеветникам России» А. Пушкина, «К ненашим» Н. Языкова, «К славянам» Ф. Тютчева («Привет вам душевный, братья...») с историческим комментарием, из которого следует, что судьба современного славянства — продолжение драмы, явившей себя в XIX веке.

— Легко не будет никогда, — сказал Бурляев. — Но мы упорно отстаиваем ценности славянского мира, идеалы русской классики и убеждаемся — дело это не напрасное. В том, что в России появился документ «Основы государственной культурной политики», а вместе с ним надежда на утверждение высокого искусства, есть и частица наших трудов...

На этой бодрой, духоподъемной ноте мы расстаемся с гостями «Сияния России» 2016 года, чтобы готовиться к новым Дням русской духовности и культуры в следующем году.

**ТЕЛЕГРАММА.
К 80-летию ВАЛЕНТИНА РАСПУТИНА**

Очень жаль, что нет уже среди нас великого русского писателя, Валентина Григорьевича Распутина, но нам дана возможность торжественно отметить 15-го марта 2017 года Его 80-летие!

Для меня Он не был советским человеком — потому, что мы при первой встрече — Он из Великого Отечества, а я с чужбины, из Русского мира — горячо объединились русскостью.

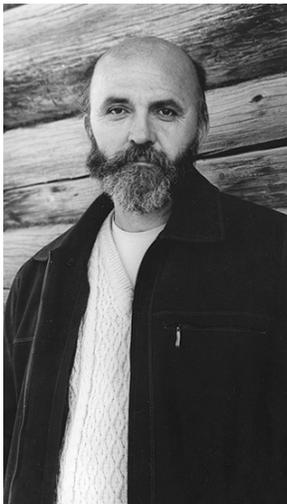
Благодарен Ему, что Он поддержал меня, когда я в 1994 году предложил провести Русский праздник духовности и культуры «Сияние России» в граде Иркутске, который ежегодно объединяет русские умы и таланты!

Царство Небесное душе Русского гения! Русский народ — Великая Россия, человечество будет вечно помнить, молиться и благодарить неповторимого сына Русской земли!

*Русский певец,
Александр Васильевич ШАХМАТОВ*



НИКОЛАЙ ЗИНОВЬЕВ



Печаль вселенская остра...

Стена

Скорее болен, чем здоров,
И сам себе не господин,
Бреду по стыку двух миров,
Как все, но всё-таки один.

Всё ниже солнце бытия,
И жизнь прошедшая моя,
Которой место — за спиной,
Стеной встаёт передо мной.

К какому, знать бы, — рубежу
Сквозь эту стену подхожу?

ЗИНОВЬЕВ Николай Александрович, поэт. Автор 25 поэтических сборников, которые издавались и переиздавались: в Москве, Новосибирске, Иркутске, Киеве, Краснодаре, Армавире, Ростове, Саратове, Архангельске. Публикуется в краевых, региональных и центральных изданиях. Лауреат многих международных и литературных премий. Стихи переведены на белорусский, украинский, вьетнамский, армянский и другие языки. Женат, имеет сына и дочь. Член Союза писателей России. Живёт в Краснодаре.

Снова

Снова в грустный час заката
Сердце бьётся виновато,
Снова совесть душу гложет,
Снова день неверно прожит.

Снова скрипнула калитка —
Это вновь соседка Ритка...
Надо все-таки решить:
Может быть, вся жизнь — попытка
День как следует прожить.

* * *

«Ночь. Улица. Фонарь. Аптека».	С вином стоит всё та же роза,
Не четверть века — век мелькнул.	Вот только лепестки опали,
Не изменил он человека,	Да стебель высох, словно мумия,
Лишь ближе к бездне подтолкнул.	По мировым законам зла.
Всё это так, но это — проза.	А степень общего безумия
А что с Поэзией? В бокале	Растёт вовсю, как и росла...

* * *

Россия! Матушка! Держава!	Исподтишка плюёт в колодец
Прошу ответ, не хмурь бровей:	И ненавидит мать свою.
Зачем ты столько нарожала	Но всё итожит воля Божья:
Неблагодарных сыновей?	Как ни была бы тьма густа,
Всегда в народе есть народец,	Мы все сойдёмся у подножья
Который — правду говорю —	Животворящего Креста.

Сон

Пахнет клевером и тмином,	Мне ни крикнуть, ни рвануться,
Время вяжет узелки.	Про себя взмолился: «Бог!
Детвора на поле минном	Дай до взрыва мне проснуться!»
Собирает васильки.	И проснулся... Бог помог.

* * *

Из жизни вынес я урок.
Он вызывает горький смех:
Из всех предложенных дорог
Безлюдная надёжней всех.

* * *

Зла не желая никому,	Она не может улыбаться
В обратном не уверен всё же.	И вовсе разучилась петь...
И вот, наверно, потому	Хотя в подробности вдаваться
Душа всечасно насто́рбе.	Не стоит. Надо потерпеть.

У новогодней ёлки

Что за мистика, за бредни? В яркой ёлочной игрушке Я от пяток до макушки Отражаюсь пятилетним. Вижу я, как перед ёлкой Скачет мальчик с рыжей чёлкой.	Я за голову хватаюсь, На которой нет волос. Я за ум свой опасаясь, Успокоиться пытаюсь... Слава Богу, удалось.
--	---

Одиночество

Скоро сорок. Это — срок. Так не даром говорится. Рок, как правило, жесток: Нет ни нищего, ни принца.	В монастырь? Не хватит духа, Хоть и плоть, как груз гнетёт. Ну, конечно, не старуха, Только время-то идёт».
---	--

Ощущая близость дна, Но смириться не желая, Говорит она: «Я злая, Потому что я одна.	Ничего в миру большом Не осталось ей, похоже, Кроме танцев нагишом Перед зеркалом в прихожей...
---	--

Эпизод

Опять больничная палата И за окном вороний грай. На мой вопрос: «Что глубже ада?» Кричат вороны: «Снова рай».	В палату входит медсестра — Хозяйка двух прелестных ножек. «Больной, укольчик делать надо», — Звенит весёлый голосок. А мне вопрос: «Что глубже ада?» Стучит, стучит, стучит в висок...
--	--

* * *

Река свои воды несла не спеша,
Когда я услышал: «Эх, Колька,
Потёмки — не только чужая душа,
Своя не светлей ни насколько».

Когда это было? Не вспомнить уже.
Но всё-таки было, однако,
Поскольку былые потёмки в душе
Успели сгуститься до мрака.

Но, брат мой, не слушай, не слушай меня,
Хоть я и считаюсь поэтом,
Ты верь, что другие придут времена,
Иные они назовут имена, и души наполнятся светом.

Слабое утешение

Унынье — грех, как всем известно, И потому его — долой! Утешься, брат, всем хватит места В котле с кипящей смолой.	Нет, не кошунствую я, брат, Ладони потирая. Ты сам прекрасно знаешь: ад Намного ближе рая.
---	---

* * *

Мы выползаем из болота
Или затягивает нас?
Я не пойму. Пускай хоть кто-то
Мне скажет правду без прикрас.

Но мне никто не отвечает,
Душа томится и скучает,
И ничего понять не в силах,
Как старый уж на острых вилах,
Ум извивается бесплодно...
Уехать, что ли, к тётке в Гродно?

* * *

С презрением глядя на бомжа, Ты отвращаешься от брата. Так знай, надменная душа, За это ждёт тебя расплата.	Поверь, ты будешь поражён Несоразмерностью расплаты.
Считаешь, мало сделал зла ты? И мой укор тебе смешон?	Иди, стань ближе к алтарю, Проси прощения у Бога, Иначе будет очень плохо, — Не понаслышке говорю.

Неверие

Смерть входит в каждые ворота, И твой черёд не за горами. И всё. Конец и тьма. Но кто-то Не верит в это, стоя в храме.	Не для того мы родились, Чтобы разлечься по могилам. «Не для того, не для того», — Стучат сердца людские дружно. Не зная больше ничего, Я знаю: больше и не нужно.
Неверье это движет миром И устремляет его высь.	

* * *

Опять ищу в стогу иголку, Хотя мне кажется порой В занятии этом мало толку — На первый взгляд... и на второй.	И что тут, собственно, такого? Зачем писать об этом стих? Другие так же бестолково Живут, а я не лучше их.
Но словно кто-то заставляет Солому будней ворошить, И глупый ум не представляет, Что по-другому можно жить.	И копошишься втихомолку... Но вдруг выходит на проверку, Что там, где ты не видишь толку, Есть смысл, который виден сверху.

* * *

Писать, и только лишь о главном, Не попадая в молоко, Поверьте, очень нелегко, Как жить при свете православном.	Как может быть жизнь быстротечна, Коль всплыли в душу облака, Кулик на отмели, река, Да и остались в ней — навечно.
А эти вечные вопросы! — Они бы жалили, как осы, И отравляли б мои дни, Не будь я вечен, как они.	А за рекой ещё огни, А за огнями ещё сад, С душой отправятся они, Быть может, в рай. Быть может, в ад...

* * *

Хотя, по сути, жизнь прекрасна,	Об этом, знаю я, не дело
Порой она полна химер,	Всю ночь тупить карандаши,
Темна, тосклива, безобразна.	Ведь выход есть, но он — для тела,
Моя — тому живой пример.	Он не приемлем для души.

Из детства

Я сегодня дежурный по классу,	Я и весел, и горд, и послушен...
Я полил все цветы на окне,	Но теперь, через тысячу лет,
Стёр с доски nepотребную фразу,	Ощущенья того, что я нужен
Я сегодня на белом коне, —	Не себе одному, больше нет.

Война и мир

В. Скифу

Нервы, дружище, ни к чёрту.
Чувствуя страх и вину,
Хочется дать себе в морду
Или пойти на войну.

Мир ненавидит войну,
Очень давно ненавидит,
Как и война его, впрочем.
Что же из этого выйдет?
Хватит, а то напророчим...

Во всём, Поэзия, права ты.
Неправдой лавров не стяжать,
Но всё же маленькой бравады
Не удаётся избежать
Мне ни в одном стихотворенье.
Быть может, я один такой?
Но все в одном мы измеренье,
Одной все крестимся рукой...

Этюд

Я шёл неспешно на вокзал,
Какой-то бомж на свалке рылся,
И вдруг язык мне показал...
Поэзия не в том, что ты сказал,
А в том, о чём проговорился.

Изгнание из рая

В светлой роще, встречая зарю,
Я, трёхлетний мальчонка, как в храме стою.
И в душе лишь Божественный свет,
Потому, что тьмы попросту нет,
Не присутствует в мире она,
В светлой роще летает желна...
«Просыпайся», — сказала жена.

На реке

Смотрю из гуши ивняка:	Бревно, которое из глаза
Что в океан несёт река?	Кому-то вынуть удалось.
Я вижу трупик кулика,	И что печально и обидно:
Обломок старого баркаса.	Бревно — одно,
А вон, промокшее насквозь,	других не видно.

Полное откровение

Есть доступная всем благодать:	А спасение — вынь да положь.
Как Христос, за людей пострадать.	Кто мне ложную мысль навевает?
Но лежу я на вечных полатях	Чую: телом душа заплывает
И мечтаю о тех «благодатях»,	И не слышно её из-под плоти,
Где усилия надо на грош,	Я, как будто, по горло в болоте.

Поэзия

Ни от кого не жди участия.	А кто не понял, тот на лире
Ни пониманья, ни привета,	Бренчит, пытаясь свергнуть зло.
«Звезда пленительного счастья» —	
Всего лишь выдумка поэта.	Попытка глупая напрасна
	Предпринимается давно,
Нет никакого счастья в мире,	И прекратить пора бы, но
Кто понял это — повезло,	Она — прекрасна!

Врагам

Грозите, что сживёте нас со света?
А мы грозим, что выдержим и это.
Мы внемлем Божьему велению,
А вы стараетесь безбожно.
Поймите, по определенью,
Вам победить нас невозможно.

* * *

Сотри случайные черты,
И ты увидишь: мир прекрасен!

А. Блок

Не может быть прекрасным мир, В котором льются кровь и слёзы, Народ народу шлёт угрозы, И брат в Канаду укатил.	Сорок лет было нам на двоих, А теперь втрое больше их стало.
Случайны ль эти все черты? Блажен, кто думает так просто. Вот мне б достичь такого роста Да наступленья темноты.	Но теперь я не знаю, где ты. В мыслях даже порой: а жива ли? Смутно помню твои я черты, Но совсем их забуду едва ли.
Мне от губ оторваться твоих Человеческих сил не хватало.	Опускаясь на тёмное дно, Где усталая вечность зевает, Убеждаюсь в известном давно: «А ведь старческих снов не бывает...»



ВЕРА ХАРЧЕНКО

ДОКТОР ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, ЗАВ. КАФЕДРОЙ ФИЛОЛОГИИ БЕЛГОРОДСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Христианские мотивы в творчестве В. Распутина

В современной филологии наметилось небезынтересное направление исследований христианских мотивов в творчестве писателей, нет, не только религиозного толка, что ожидаемо (Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский), но и, что совсем неожиданно, — в творчестве писателей... советской эпохи.

Начало было положено тверской научной школой, возглавляемой Г.И. Богиным — автором этой замечательной идеи (не побоимся громких слов!) национального единства. Получается, Георгий Исаевич Богин ратовал за то, чтобы всё советское не противопоставлялось пост- и досоветскому, а чтобы выявлялась подспудная, скрытая общность семантик. Кончина учёного не позволила воплотить этот замысел, но идею подхватили коллеги, и в 2008 году состоялась защита диссертации Ольгой Владимировной Шахиной «Динамика перевыражения экзистенциальных евангельских смыслов в художественном тексте (на материале идеологически маркированных текстов А. Фадеева)» (научный руководитель — профессор Н.Ф. Крюкова). Это исследование, действительно, стало прорывной точкой, во многом обусловленной не только «неявной» актуальностью, но и общим для тверских лингвистов интересом к герменевтике текста, к проникновению в его «подземные», пульсирующие ценностные смыслы.

Пафос диссертации — в обнаружении евангельских смыслов в будто бы противоположных евангельской символике произведениях. Так, «неприемлемость смирения» у А.А. Фадеева переходит (перевыражается) в прямо противоположный смысл: «красота человека, способного к примирению с теми, кто его высмеивал и поносит («блаженны кроткие»)). Казалось бы, автор диссертации должен был сосредоточиться только на лексике, но здесь берутся и другие уровни языка, анализируются инверсии, ритмика, смысловая избыточность.

Расскажем вкратце ещё об одной работе. Совсем недавно, в декабре 2016 года, Ольгой Сергеевной Батовой в Волгограде была защищена диссертация «Проблематика и поэтика произведений Л. Пантелеева о детстве», посвящённая (несколько вопреки названию!) религиозному подтексту у писателя: архетипам блудного сына, небесного отца, теме раскаяния, соборного единения. «Выявленный нами библейский подтекст позволяет говорить о том, — пишет О.С. Батова, — что произведениям Л. Пантелеева близок мир данной притчи не только на основе метафоричности общих сюжетных мотивов, но и в силу присутствия религиозного подтекста в сознании писателя, что следует из его признания в автобиографическом произведении «Верую...».

Итак, пообещав названием статьи о Валентине Распутине, мы, однако, начинаем с двух других имён: с А. Фадеева и Л. Пантелеева. Увы и ах, научные исследования гуманитариев после защиты, как правило, пребывают в пыли забвения, социумом они будто и не востребованы. А ведь это неправильно, и не исключено, что задача филологов как раз состоит ещё и в том, чтобы чаще знакомить общество с многолетними наблюдениями своих коллег, тем более если эти исследования действительно эвристичны и тем более если они побуждают к продолжению поиска... Валентин Распутин, как и те авторы, о которых только что шла речь, творил в советский период нашей истории, хотя захватил и более позднее время: «Век живи — век люби», «Живи и помни», «Пожар».

Сюжет рассказа «Век живи — век люби», как и подобает рассказу, подчёркнуто прост: мальчик едет на поезде с односельчанами в тайгу «брать ягоду». В тайге наслаждается дикой природой, неиспорченной вмешательством человека, предвкушая возвращение домой с ведром голубики, но вот оказывается, что ягоды, с таким трудом собранные, придётся выбросить. Односельчанин не предупредил, что за ночь в железном ведре ягоды пустили сок и стали опасными для здоровья.

Христианский смысл: «Мне отмщение, и аз воздам» преподносится автором устами Митяя:

— *Теперь, дядечка Володечка, ходи и оглядывайся, — неожиданно спокойно сказал Митяй. — Такое гадство в тайгу нести... мало тебе посёлка?!*

— *Сядешь, — так же спокойно ответил дядя Володя. — Сидел и ещё сядешь.*

— *А я об тебя руки марать не буду, — уверенно и как дело решённое заявил Митяй. — На тебя первая же лесина сама свалится, первый же камень оборвётся. Вот увидишь. Они такие фокусы не лобят... ой, не лобят!*

Не Бог — тайга не простит. Такое вот внутреннее знание присутствия высших сил, ощущение наблюдающего ока, которое способно наградить, простить, но и наказать по пословице *Бог долго терпит, да больно бьёт*.

А перед глазами мальчика мелькают пережитые им картины чарующей таёжной природы, так замечательно выписанные В. Распутиным.

Теперь Саня знал, что это такое — кусты ломаются от ягоды: они действительно ломились, лежали от тяжести на земле или стояли согбенно, поддерживая друг друга в непосильной ноше.

Саня раздвигал кусты и замирал от раскрывшегося потревоженного густоплодия. Дымчато-синяя, сыто и резко подрагивающая сыпь ослепляла, вызывая и удивление, и восторг, и вину, и что-то ещё, чему Саня не знал имени и что западало в душу всё это вместе скрепляющим чувством — смутным и добротворным.

И это тоже урок: учись наслаждаться дарованным тебе сегодняшним днём, восхищайся миром, созданным Богом. *Век живи — век люби*. Кстати, изображение дикой природы не столь частый гость в художественной литературе, это, скорее, прерогатива книг о путешествиях и путешественниках, составляющих детское чтение и весьма слабо востребованных взрослым контингентом (из тех, кто вообще хоть что-либо читает).

Кстати, этот рассказ натолкнул нас на мысль об актуальности одного, пока не выделяемого направления в лингвистике. Вчитаемся в описание тайги.

Но когда выбрались они, наконец, из завала... за всё, за всё они были вознаграждены. Среди огромных валунов, заросших брусничником, важно и родовито, не имея нужды тянуться вверх, стояли — не стояли, а парили в воздухе — могучие и раскидистые сосны, как и должно им быть царственными и могучими в виду многих и многих немереных километров вольной земли. Здесь был предел, трон — дальше и внизу, волнисто вздымаясь к дымчатому горизонту и переливаясь то более светлыми, то более тёмными пятнами, словно бы соскальзывая и упираясь, широким распахом стояла в таинственном внимании державная поклонная тайга.

Описание дикой, первозданной природы, Божьего мира, не тронутого вмешательством человека, может стать отдельной зоной исследовательских усилий филологов в ту самую эпоху, когда сплошь и рядом постулируется торжество принципа антропоцентризма. Год 2017-й объявлен Годом экологии. С позиций лингвистики, несколько подуставшей от антропоцентризма, это может означать, во-первых, необходимость исследования описаний первозданной природы. Во-вторых, становится актуальным анализ языка описания природы, «освобождённой» от вмешательства человека: заброшенных деревень, замороженных построек, заповедников, чернобыльской зоны. Наконец, в-третьих, к этому же направлению примыкают и описания усилий человека по воссозданию природного богатства, например, в повести Антона Тихолоза «Старик, посадивший лес». Разумеется, так описывать тайгу, как в рассказе «Век живи — век люби», может только человек высокого строя души, хорошо чувствующий дерево, камень, траву, каким и был Валентин Распутин, почему подобные произведения и могут служить материалом для такого направления лингвистического поиска, как «минус-антропоцентризм».

В повести о трагедии дезертирства «Живи и помни» главной героиней становится жена Гуськова Настёна. Не гладко складывалась её семейная жизнь, но она остаётся верной и своему мужу, и своей судьбе. Чем не модель поведения, завещанная Татьяной Лариной?

Настёна никогда не оглядывалась назад, не жалела о сделанном, не спохватывалась, что где-то когда-то надо было повернуть не сюда, а туда. Жизнь не одёжка, её по десять раз не примеряют. Что есть — всё твоё, и отречься ни от чего, пускай и самого плохого, не годится. С Андреем Настёне выпадали тяжёлые дни, но даже и в мыслях она не переключивала свою судьбу;

поправлять наперёд — поправляла, но по готовому не перекраивала и рядом с собой другого мужика не представляла. Тогда и из себя надо делать другого человека — как можно? Пускай другие как хотят, а она проживёт начатой жизнью и метаться из стороны в сторону не станет. Она дожждётся своего счастья.

Здесь высвечивает христианский мотив (концепт) смирения, однако смирения не унылого, не вынужденного, но спокойного, высокого. Кстати, достоинство христианского поведения просматривается и в манере одеваться.

Потому и любила Настёна по вечерам, покончив с делами, пусть ненадолго, да переодеться в чистое, что невольно тогда являлось ощущением своей молодости и красоты, того капризного богатства, которое чем дальше прячешь, чем меньше помнишь, тем быстрее оно убывает. А переодевшись, Настёна и ступала осторожно, словно боясь в себе что-то повредить, и улыбалась ласковой и теплой, опять-таки словно оберегая какую-то свою, её одной касающуюся тайну, для которой ещё не наступило время.

Обратим внимание, как подробно комментирует писатель поведение Настёны и в оценке ею прожитой жизни, и в ощущениях от перемены одежды на чистую, едва ли не праздничную. В Библии, Евангелиях христианские установки даны предельно сжато и поясняются всего лишь притчами. Писатель же самым внимательным образом исследует этику христианского поведения женщины, притом что самих слов *церковь, библейские заповеди, православие* и тому подобных здесь нет.

Эмоциональная пружина повести — забота о муже, прячущемся в тайге, и вынужденная ложь окружающим, так больно бьющая по сердцу героини.

Поглядывать, как живут другие, но жить наособь, под секретом. Смотреть в оба глаза и говорить вполязыка. Работать вдвое больше и спать вдвое меньше. Хитрить, изворачиваться, врать и знать наперёд, чем это кончится.

Христианская заповедь: *Да прилепится к жене и будут они одно целое* получает освещение и в другой повести писателя «Пожар».

И вот Алёна его, неизвестно с какого времени, сошлась в одно целое. <...> Она, когда требовалось, добавляла или убавляла его характеру, находила в нём терпение и вела домой. В долгих рейсах у себя в машине он нередко разговаривал с ней, зная, чем она станет отвечать, и, поговорив, посоветовавшись, приходил к какому-нибудь решению. Опрятный и мягчительный тот мир, который был Алёной, с годами не только не выстыл, но ещё и пораздался в понимании и тепле. Мужик, в котором не звучит голос жены: погоди, Ваня или Стёпа, скоренько выпрастывается из жизни и, даже живя, ходит в ней как в малахае с чужого плеча.

Писательскую интерпретацию получают и слова из Нагорной проповеди: *Блаженны плачущие, ибо они утешатся* (Мф. 5:4).

Плохо мы слушаем свою душу, её лад печален оттого лишь, что нет ничего целебнее печали, нет ничего слаще её и сильнее, она вместе с терпением вскормила в нас необыкновенную выносливость.

Не случайно в повести «Изба» говорится о женщине, воплотившей такое терпение: *Болезнь у неё была одна — насада, от других она выкрепилась в кремень.* Очень точно образовано индивидуально-авторское слово: *выкрепиться*. Нет, не *окрепнуть*, а именно *выкрепиться*, то есть окрепнуть надолго, навсегда, переработав болезни в крепость, неуязвимость.

Христианское отношение к вещам, даже к таким Большим Вещам, как дом, проступает в рассказе Валентина Распутина «Изба». Н.А. Бердяев писал, что человек к миру вещей должен относиться по-божески, они принадлежат не только ему. Это и воплощает героиня рассказа «Изба». А в повести «Прощание с Матёрой» домашний труд ассоциируется с предвкушением праздника:

Белить избу всегда считалось напраздником; белили на году два раза — после осенней приборки перед Покровом и после зимней топки на Пасху. Подготовив, подновив избу, выскоблив косарём до молочно-отстойной желтизны пол, принимались за стряпню, за варево и жарево...

За всё нарастающим обилием праздников, стимулирующих покупку подарков и деликатесов к столу, мы забываем о двухтактности любого настоящего праздника, о чём писала Татьяна Чередниченко. Празднику должна предшествовать аскеза, иначе он не будет восприниматься полноценно, полнокровно, полноформатно. Но и сам труд тоже праздник при любовном и качественном его исполнении, и такое отношение к труду тоже христианская заповедь.

Вчитываясь в повести и рассказы Валентина Распутина, невольно обращаешь внимание на талант использования афористики. Разумеется, это не те уверенные афоризмы, коих немало в соответствующих сборниках. Художественный текст диктует более мягкое изложение сентенций, более эмоциональное их звучание, при этом соблюдается механизм сфористичности, то есть внешняя парадоксальность утверждения.

Нет, родное скудным не бывает. Вина требует вины. Пропавшая душа ищет пропасть поглубже. Чтобы понимать друг друга, много слов не надо. Много надо — чтобы не понимать. ... Человек в слабостях своих на всю жизнь остаётся ребёнком.

Если у родителей один ребёнок, они, судя по всему, сами впадают в детство, продолжая играть с ним, как с куклой, до тех пор, пока он не откупится от них собственным родительским вкладом.

Афористичность может принимать форму риторических вопросов, и приём повтора усиливает воздействие финальных фраз повести («Пожар»):

Молчит земля. Что ты есть, молчаливая наша земля, доколе молчишь ты? И разве молчишь ты?

Иногда в повествование вплетается целиком афористическая миниатюра:

Четыре опорки у человека в жизни: дом с семьёй, работа, люди, с кем вместе правишь праздники и будни, и земля, на которой стоит твой дом. И все четыре одна важнее другой. Захромает какая — весь свет в наклон.

То, что мы своим анализом вытаскиваем на поверхность рассказа ли, повести, хорошо скрыто писателем в контекстах. Литература — это тонкое, тончайшее воздействие текста на человека, читающего этот текст и создающего текст своей жизни, своей судьбы.

Христианские мотивы в глубине или на поверхности высокохудожественных текстов не спасают их создателей от боли и потрясений. О трагедии Александра Фадеева, окончившего жизнь самоубийством, читаем в повести Г.Е. Фукса «Двое в барабане». Валентину Распутину выпало пережить трагическую гибель дочери в авиакатастрофе. А ещё ранее и до конца дней эта острая боль за Россию, о чём говорил писатель на встрече со студентами и преподавателями Белгородского государственного университета.

Горько звучат слова писателя: «У нас это какая-то национальная болезнь — распри. Мы не можем жить дружно, мы не можем делать общее дело, а если делаем, то обязательно с какими-то скандалами, подозрениями и т. д.» (Новая газета, 2010, 3 ноября). Христианские мотивы, мерцающие в книгах писателя, как раз и призывают к истинной соборности, умению слышать другого.

Валентин Распутин стал классиком уже при жизни. Классический текст отличается от обычного тем, что каждое перечитывание открывает в нём новые глубины и ранее не замеченные «мелочи». Как сказал по телефону мой хороший знакомый, кандидат филологических наук Янис Манукян (СПб.), занимающийся проблематикой текстов Ф. Ницше и Л. Толстого, «текст, по существу, не имеет дна, он бездонен. И как его интерпретировать, — это всё уровень нашего интеллекта» (01.09.2016). Так что нам всем рано ставить точку в интерпретации творческих открытий Валентина Распутина.

ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА

КАНДИДАТ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК,
КАНДИДАТ КУЛЬТУРОЛОГИИ, Г. ИРКУТСК

Радость-птица

Сквозь скорлупу текста: старуха-птица

И ЕЩЁ РАЗ О ПОВЕСТИ «ПОСЛЕДНИЙ СРОК»

Любопытно было бы сравнить изучение творчества Валентина Распутина с археологией, с обнаружением разных культурных слоёв текста, имеющих знаки давнего прошлого. Тогда можно было бы увидеть профиль, в котором открывается сначала мифический слой русской культуры с её сказочными сюжетами, мотивами, песенными формами, фразеологизмами, то, что обнаруживается уже в повести «Деньги для Марии». Затем выше открылись бы более поздние слои — знаки православной культуры, которые невозможно не заметить в художественном творчестве писателя, с его глубокой верой и непрестанной молитвой, с памятованием Бога, с красотой литургии и пасхального колокольного звона, аскетикой и преображением. И, наконец, самый верхний слой культурных отложений нёс бы в себе опыт человеческой жизни главных героев произведений, то, что называется мудростью.

Заманчиво было бы сказать и о «текстуре» текстов писателя, о том, как построено художественное целое, чем оно внутренне сильно. В этом случае были бы важны силовые, конструктивные линии, придающие устойчивость и жизнеспособность прозе. Это, безусловно, чрезвычайно интересно. Однако такие подходы открывают только часть правды, неполную правду о творчестве писателя. В подобных рассуждениях, на наш взгляд, нет места для описания жизни образа, его динамики. Они раскрывают качества и назначение материи художественного слова, оставляя в стороне его способность дышать.

Обманчиво ощущение того, что мы всё знаем о творчестве писателя, что всё читано и перечитано, написаны десятки книг, диссертаций, статей. Текст Валентина Распутина живой, и удивительные разгадки его ещё впереди. До поры до времени что-то будет скрыто от сегодняшнего читателя, чтобы явить себя миру в миропонимании читателя будущего. Так уже произошло с открытием православного содержания прозы писателя, невиденного в XX веке. Хотя ещё недавно, в 2010 году, мне как исследователю довелось попасть в ситуацию категоричного несогласия авторитетного учёного с христианской трактовкой образов писателя. Но времена меняются, и они несут с собой расширение границ нашего сознания.

Внутри текстов Валентина Распутина протекают изумительные, не видимые глазу процессы, как если бы художественный образ был живым. Подобное происходит, например, с образом птицы в повести «Последний срок». Образ птицы связан с образом старухи Анны и раскрывает уникальную динамику со следами архаических пластов русской культуры. Мифический код птицы переплетается с православным, формируя глубину распутинского мира.

Движение образа выражено, в первую очередь, в целостности протекания жизненного цикла — от вылупления из яйца до полёта. Первые страницы повести едва уловимо представляют то, что происходит внутри яйца, и одновременно то, что происходит со старухой. Шевеление внутри — «всё умерло в ней, и только сердце <...> продолжало шевелиться» — ассоциируется с биением сердца птенца внутри скорлупы. Присутствие внутри неясной, но чувствуемой, жизни очевидно: «Что-то происходило в ней <...> что-то внутри заработало». И далее следует описание, аналогичное



«Последний срок», иллюстрация художника Сергея Эляна

первым, слабым толчком птенца сквозь скорлупу и его настойчивого появления на свет: «Что-то стало биться в старухины глаза, шевелить их, и глаза не сразу, не легко, но открылись, попробовали пойматься за свет и не смогли, сорвались. Несколькими минут они лежали спокойно, затем опять пришли в движение и разомкнулись». При этом рождение чего-то живого отмечено птичьими звуками: «старуха тихонько раздвинула веки <...> и выглянула <...> из её груди посыпались слабые сухие звуки, похожие на клохтанье».

Глаголы «происходило», «заработало», «биться», «шевелить», «открылись», «разомкнулись», «выглянула» максимально точно передают действия птенца, находящегося сначала внутри яйца, а затем вылупляющегося из него. Веки Анны, словно скорлупа, размыкаются, чтобы выпустить на свет новую жизнь. Смысл рождающейся из яйца птицы выходит на поверхность только к концу повести в размышлениях старухи Анны о человеческой жизни и возможности жить дважды: «Вон и птицы рождаются на свет дважды: сначала в яйце, потом из яйца, значит, такое чудо возможно». Образ рождения птицы из яйца в конце ретроспективно возвращает читателя к тому, что происходило со старухой в начале повести, когда приехали дети.

В мифопоэтическом сознании русского человека яйцо понимается как источник творческих сил, новой жизни. У академика Б.А. Рыбакова яйцо соотнесено с моделью Вселенной. Мотив яйца и последующей второй жизни в сознании верующего связан с главным православным праздником Пасхой, Воскресением и идеей вечной жизни. Оба культурных кода в разной степени присутствуют в тексте повести. Интересно, что в позднем рассказе «Байкал предо мною...» (2003) писатель выводит образ яйца, соотнося рассказчика с птицей: «И поневоле чувствуешь себя при этом перерождённым, вылупившимся из яйца», создавая образ человека-птенца с семантикой преобразования. При этом образ яйца равен родному миру («в котором был заключён естественный, родной нам мир») — семиотически это не столько мифопоэтическая модель мира, сколько модель Дома, того, что обеспечивает человеку защиту, тепло, любовь.

Постепенно в повести «Последний срок» образ птицы открывает уникальное смысловое наполнение. При встрече старухи Анны с детьми, чуть уловимо проявляется значение «радость-птица»: «но радость, оттого что она видит перед собой своих ребят, не давала ей отдохнуть, билась в лицо, шевелила руки, грудь». К концу раскрывается другая грань семантики: «что теперь душу травить, её не травить надо, а отпустить с покаянием, пускай себе летит» — душа-птица. Неясные предчувствия старухи Анны оформляются в призрачный образ птицы с едва уловимой, колеблющейся между реальностью и ирреальностью, семантикой «жизнь-птица»: «только что с высокой ветки в лесу сонно, чуть не до земли, оборвалась птичка, но это ещё не твоя жизнь, не твои воспоминания <...> потревожили её сон, не твои — чужие». Возникает трёхчастная иерархическая структура смыслового наполнения образа птицы: «радость», «душа», «жизнь» — динамика от эмоции к экзистенции построена на тончайших, едва различимых нюансах прозрачной природы образа главной героини.

Скрытая метафора птицы развивается. Готовность к полёту взрослой птицы обнаруживается в описании облика самой старухи Анны: «крыльцы у ней торчали так, что казалось, вот-вот она взмахнёт ими и полетит». Образ женщины-птицы набирает силу, а внутренняя логика её жизни двигается параллельно основному сюжету повести. Образ птицы хранит в себе древний мифический код. Частично космологическая, стихийная её семантика может быть представлена загадкой у В.И. Даля: «*Махнула птица крыломъ, и покрыла весь свѣтъ однимъ перомъ!* (ночь)». Солярная семантика птицы известна исследователям декоративно-прикладного творчества. Женские головные уборы в Древней Руси несли в себе идею неба и воссоздавали образ птицы, что, скорее всего, обусловлено антропологическим равенством «человек-вселенная» и аналогией «голова-небо». Согласно Б.А. Рыбакову, «сами названия <...> являются «птичьими»: «кокошник» (от «кокошь» — петух, кур), «кика», «кичка» (утка), «сорока» и т. п.».

Невесомость, лёгкость, воздушность образа старухи прослеживается на протяжении повести и проявляется через мысли и слова Анны о том, что её будто на руках кто-то держит, что под ней ничего твёрдого нет, и через многократное употребление прилагательного «лёгкая» и его производных. От радости, что дети рядом, старуха Анна готова лететь птицей: «Сичас, кажись, взлетела и полетела бы куда-нить, как птица какая, и всем рассказала бы». Архаический образ птицы-вестницы радости в повести имеет как мифологическую, так и православную составляющую. Таинственная и не всегда явная для современника древнейшая семантика птицы-вестницы связана с миропониманием охотника, земледельца, ремесленника.

В сознании главной героини птица включена в картину согласия природы и человека. Мысли о жизни передают полноту ощущений Анны: «в последние годы всё чаще и чаще думала о солнце, земле, траве, о птичках, деревьях, дожде и снеге — обо всём, что живёт рядом с человеком, давая ему от себя радость». Счастьем и радостью дышит воспоминание о молодости: «всё чисто и азартно блестит, пахнет остро, свежо, звенит от птиц и стекающей воды». Пение птиц юная Анна ощущает,

как необходимый компонент счастья. Единство земной жизни для неё определяется связью её частей, передачей радости от себя другому как сущностного начала бытия. Образ птицы-вестницы, осуществляющей «связь между этим миром и не этим», в творчестве писателя позднее станет важной в рассказе «Что передать вороне?» (1981). В рассказе «В непогоду» (2003) рассказчик сам становится вещью птицей, пересекающей границу времени, прошлого и настоящего: «я стремительной птицей пролетал над Ангарой до детства моего и вернулся, туда пролетел над тою, что была в моём детстве, а вернулся над теперешней».

Реминисценция птицы Алконост в повести «Последний срок» обнаруживается во фрагменте с описанием восприятия старухой Анной старинных русских песен: «она будто взлетала на крылах над землёй и, не улетая, делала большие плавные круги, тревожась и втихомолку плача о себе и о всех людях, которые ещё не нашли успокоения». Образ плачущей птицы, кружащейся над землёй, имеет в повести ключевую семантику. Мифическая птица печали содержит в себе также православный код с молитвенной традицией русских святых, молитвой-плачем, принесённой на Русь паломниками-монахами с горы Афон и Синай.

Неожиданно в повести возникает образ падающей, подстреленной, птицы. Степан предлагает: «Давай, Илья, выпьем за вашу мать, — медленно и с удовольствием, с тем удовольствием, с каким охотник следит за падающей птицей, уже зная, что выстрел был на редкость удачным». Этот момент особенно выразителен в аспекте развития образа птицы-Анны. Образ падения птицы усиливается другим описанием — отрицанием действия, невозможностью взлететь в думках самой главной героини: «не соскочишь и не побежишь навстречу, раскинув крылами лёгкие руки». В конце повести мотив падения доведён до конечного образа распластанной, упавшей птицы. Старуха немощно передвигается по стене: «Перебирая руками по заборке, она волочила ноги по полу. Со стороны, наверно, показалось бы, что старуха ползёт по стене — она почти лежала на ней, раскинув руки». Руки-крылья старухи, ярко представленные в тексте повести, стали безжизненны, потеряли силу. Жизнь птицы, раскрывающаяся внутри образа главной героини, как будто бы завершена.

Но далее в повести появляется новый образ птицы, в фольклорном облике. Поэтической кульминацией и завершённостью жизненного цикла птицы становится образ лебедушки в песне-плаче, которой старуха Анна учит свою старшую дочь Варвару. Фольклорный параллелизм песенного зачина «ты, лебедушка моя, родима матушка», белоснежный образ «лебедь-матушка» с его хрустально-певучей интонацией, предельно и трогательно выражают свет и чистоту души главной героини. Параллелизм образов усиливается тройным повтором. Будто в образе лебедушки воплотилась душа главной героини. Поэтические образы песни завершают параллельную линию жизненного пути женщины и птицы: сначала по дороженьке проежжей, затем по дубравушке зелёной к матушке Божьей церкви, ко звону колокольному, читанницу духовному и затем в матушку-сырую землю, что равнозначно в песне возвращению к роду-племени. Интересно, что лебеди в древнерусской картине мира были сопряжены с конями, влекущими солнце по небосводу, и потому воплощали космологическую идею движения, пути.

Жизненный путь женщины-птицы как будто завершён. Но есть продолжение — сразу следом за песней-плачем идёт авторское описание солнечного дня, где можно увидеть интересную смену ракурса видения. Первоначально автор, или кто-то другой, за которого говорит автор, словно стоит на земле и всматривается в светлое синее небо, но затем происходит изменение точки зрения, будто тот, кто это описывает, плавно и незаметно поднимается над землёй и видит землю с высоты птичьего полёта. «Весь остальной простор над головой оставался чистым, глубоким и выражал бесконечный покой, под которым, заливаемая солнцем, легко и послушно лежала земля». Пространство «над головой», видимое с земли, и вид этой же земли сверху возможен только с позиции взлетающей и летящей птицы. Так едва уловимый переход от пути в землю (песня-плач) к полёту над землей (описание природы) направляет мысль читателя к мифологическому мотиву возрождения и полёту души-птицы над землёй.

Вспомним фрагмент повести, в котором за пределами земной жизни старуха Анна готова прислать весточку своим детям: «я вам какой-нить знак дам, что чую вас, каку-нить птичку пошлю сказать». Мифический образ старухи-птицы словно преодолевает границу земного существования и становится повелительницей птиц, имеющей власть отправлять по своей воле птичек-вестниц. Образом птицы раздвигаются границы земной жизни Анны.

Текущая метафора, движущаяся внутри образа героини, построена по принципу «матрешки»: одно внутри другого. О семантических конструкциях такого типа писал Ю.М. Лотман: «Общее построение системы уровней конструируется по принципу «матрешки» <...> Тогда все уровни в целом в определенной мере взаимно синонимичны, во-первых, и различаются степенью концентрированности некоторого единого значения, во-вторых. Вся система имеет некоторое единое Значение, которое в разной степени просвечивает в различных конструктивных пластах».

Образ Анны слит с птицей в одно системное целое, построенное взаимозависимо. Ядром «матрёшки» можно считать образ птицы, но образов птицы, скорее всего, два. Глубинный внутренний образ-ядро — это поэтический образ лебедушки из песни-плача, наделённый чистотой и белизной святости, олицетворяющей душу старухи. Важно, что благодаря слиянию возникает многоуровневый образ женщины-птицы с единым мифопоэтическим и православным кодом.

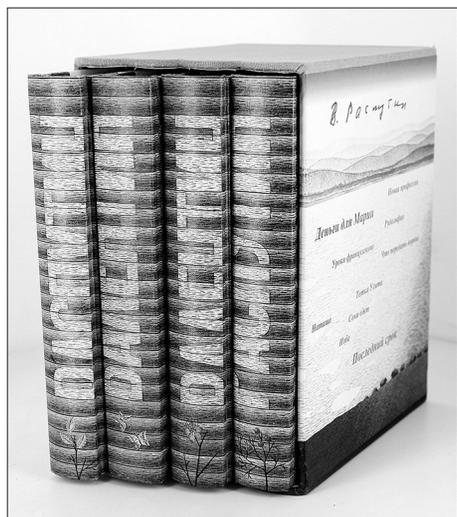
Подобная связь образов старухи Анны и птицы в контексте отечественной культуры имеет ясную семантику материнства. Семантика материнства, в свою очередь, соотносится с моделью жизни природы с её нескончаемым воспроизведением. Подвижная структура образа главной героини становится осмысленной и значимой, получает выразительность двойной метафоры. Возможно, именно эта усиленная, почти неуловимая и вместе с тем прозрачная метафоричность образов Валентина Распутина и составляет сущность его поэтики. Создаётся впечатление, будто сквозь скорлупу текста мы слышим, как бьётся чьё-то сердце, готовое родиться, готовое быть услышанным, увиденным, готовое быть понятым и любимым.

Изобразить слово

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР ВАЛЕНТИНА РАСПУТИНА И СЕРГЕЯ ЭЛОЯНА

Как изобразить слово? Как графически выразить глубину образов Валентина Распутина? Художник-график постоянно балансирует на тонкой грани выражения себя и мира литературы. Заслуженный художник России Сергей Норикович Элоян, кажется, смог передать в иллюстрациях само дыхание прозы писателя. Как ему это удаётся?

Внизу проплывают тёмные пятнышки изб, стелются пустые поля распаханной земли, открывается простор воды, дальние сопки другого берега Байкала... и — тишина. Предзимнее ожидание белого, покой утомлённой осени. Мерцание живой воды ощутимо даже с высоты. Видны светлые блики на воде — просыпается утро. Можно парить, кружить и кружить над домами, вглядываться в главки храма, в поля и крыши, продвигаясь из предзимья к весне. Наверно, надо очень любить своего зрителя, чтобы предложить ему побыть птицей. И это внутренне созвучно мироощущению Валентина Распутина, в прозе которого все старухи — птицы. Старуха Анна, Мирониха, тётка Улита, Дарья.



Собрание сочинений Валентина Распутина.
Оформление художника Сергея Элояна, 2007 г.

тура печати позволяет передать трепетную линию дороги, шероховатость брёвен избы, скользкую поверхность воды, невесомость воздуха.

Помните, как старуха Анна слушала старинные русские песни: «Она будто взлетала на крылах над землёй и, не улетая, делала большие плавные круги, тревожась и втихомолку плача о себе и о всех людях, которые ещё не нашли успокоения». Вместе с Анной и Сергеем Элояном мы кружимся над землёй, разглядывая четырёхтомник Валентина Распутина (2007)¹, и приближаемся, погружаемся в эти книги. Тихий плач Анны, её молитва о людях и об их успокоении сродни песне ангелов на небесах — любимых образов станковой графики Сергея Элояна. И в этом тоже особое участие и доверие к зрителю — предложить ему побыть ангелом.

Если спуститься на землю, держа подарочную коробку в руках, то в просторе земли, воды и неба можно увидеть сотни дорог, ведущих к Дому и Байкалу. Они тонкими ниточками протянуты к озеру, воды которого отражают небесный свет. Ощущение полёта возникает не только благодаря особым ракурсам изображения, но и благодаря светлой, нежной тональности, данной словно сквозь плоть воздуха. Можно увидеть и ощутить эту плоть, фактура

¹Распутин В.Г. Собрание сочинений : в 4 т. / предисл. В. Курбатова. — Иркутск : Издатель Сапронов, 2007.

Около домов-книг стоит задержаться — изб четыре, это уже маленькая деревня. В какую избу войти? Можно, не тревожа хозяев, пока осмотреться, чтобы понять, кто и чем здесь живёт. Каждый дом — это своё время года: весна, лето, осень, зима. И в каждом времени свои заботы, свои труды, особый мир.

Мне нравится книга-зима, и не только потому, что под обложкой автограф писателя, полученный на единственной встрече с ним. На последней обложке — мальчик, стоящий позади избы спиной к читателю. Ребёнок отстранён от суеты взрослых и случайного, непрошеного собеседника. Мальчик здесь и не здесь, поглощённый «чистым дыханием и смутным зовом»². Стоит, замерев, смотрит куда-то поверх домов, где вертикали печного дыма соединяют землю и небо. Любимое место писателя — «где-то на полпути к небесам» («На Афоне»). Мальчик так стоит уже долго, он и сейчас там. 72-летний писатель вспоминает в фильме «Река жизни»: «Вот так проснёшься иногда, и будто не было этих десятилетий. <...> Бабушка кричит с кровати: «Валька, Валька, ну что ты там нашёл в этих книгах?» Вероятно, писатель всю жизнь хранил, берёт в себе этого мальчика, а художник-график почувствовал это. Для меня Валентин Распутин — мальчик на обложке Элояна, замерший перед чудом жизни, тихий, вдумчивый, чуткий.

Только ребёнок мог почувствовать и услышать сотни запахов, звуков, вздохов земли, реки, небес, избы, неслышимых взрослыми в шуме и грохоте городов, улиц, пустых разговоров. Стуки-бряки деревни, вздрагивание избы, её стон, скрип старой лиственницы, шорохи мыши, возня пичуги в гнезде, «ихи» качнувшейся ветки на берегу, хлип воды — лопнул пузырёк воздуха в воде, дыхание возрастающей травы. Нужно иметь детское сердце, чтобы ощутить, как натянулась и с болью осела изба от вспыхнувшей спички, и как важно для неё сейчас чьё-то доброе прикосновение, ощущение того, что кто-то родной рядом. Но нужно быть и взрослым, чтобы суметь выразить это словом. Распутин-ребёнок, увидевший тайну, с глазами, устремлёнными к небу, — таким он остается навсегда на обложке четвёртого тома издания, собранного его душой.

Дети в прозе писателя наделены особым миропониманием, открытым то ли предрождению, то ли постбытию. Голый Илья, посвистывая, идёт по борозде, испуганная Люся пинает, пытаясь поднять измождённого Игреньку, пятилетняя Нинка прячет пустые бутылки. Мудрая пронизательность Анны способна увидеть что-то большее в этом перепутье. Люсю она учит лаской и добром поднимать умирающее животное, Нинке с благословением дарит своё место на кровати. А девочка Варька спустя жизнь сама открывает старухе тайны мироздания. Сложна диалектика распутинского образа, в котором сквозь недотёпу Варвару просматривается ребёнок-философ. Умирая, старуха вспоминает, как маленькая дочка давно, стоя на коленях, щепкой раскапывала на улице землю. Вслед за собакой, а та за курицей, она предлагает и матери делать то же: «Рой, и всё. И увидишь». Смысл детских слов старуха Анна начинает понимать только через много-много лет. К ней приходит «неожиданное желание сесть где-нибудь в поле на коротчки и рыть по Варькиному примеру землю, со вниманием и волнением рассматривая, какая она есть, отыскивая то, что никто ещё в ней не знает». Экзистенциональный узелок матери и дочери связывает давнее прошлое с будущим, детство со старостью, помогает прикоснуться к тайне бытия, к тайне человеческой жизни.

Среди многих рисунков-метафор Сергея Элояна на уголках страниц четырёхтомника, талантливых и проникновенных, хочется выделить один — к повести «Последний срок» (второй том). Я назвала его «пёрышко», так оно похоже на перо, упавшее от какой-то чудесной птицы. На самом деле, это вовсе не перо, а берег реки с соснами-крестами, отражёнными в воде, и дорогой, изгибом поднимающейся в гору. То ли погост, то ли редколесье. Тонкая графика-метаморфоза Элояна даёт свободу воображению. Мир неуловимый, зыбкий, уникальный. Мир снопоподобный, как грёзы-воспоминания старухи Анны. На грани памяти и беспамястства, благодарения и черствости, выраженный чёрно-белым контрастом. «Пёрышко» — самый загадочный графический образ на уголках страниц среди разных других к произведениям писателя — лодка на воде, изба, сорванная водой и плывущая по реке, многоэтажный городской дом, дерево на берегу, глава затонувшей деревянной церкви.

Эти рисунки-перевертыши на уголках страниц четырёхтомника, двойные за счёт своего отражения в воде, отмечены невидимыми связями с поэтикой писателя. Размещённые на каждой странице, они как напоминание о том, что утрачено. Но они и напоминание о том, что происходит с оставшимся миром, в котором многое оказалось перевернутым. Художественный мир Валентина Распутина имеет бинарную природу, с выраженными отношениями оппозиции. Образ «перевертышей» в этой системе является инвариантным, сквозным. Так в его произведениях обратность захватывает человека и природу (лес под водой, воздух-обрат, неживая вода, увядающие растения, перевернутый лес) и достигает космических масштабов с перевернутым солнцем, восходящим на западе («В боль-

²Распутин В.Г. *На Афоне* // Распутин В.Г. *В поисках берега: повесть, очерки, статьи, выступления, эссе.* — Иркутск : Издатель Сапронов, 2007. — С. 387.

нице»). Впервые люди-«перевёртыши» появляются в размышлениях мальчика Сани, героя рассказа «Век живи — век люби». Перевернутый мир в прозе писателя отмечен чёрным цветом. И графика рисунков-перевёртышей Сергея Элояна удивительно точно и зримо передаёт этот обратный мир чёрного цвета.

Подарочное издание повести «Прощание с Матёрой» (2012)³ планировалось посвятить 75-летнему юбилею писателя и готовилось как сюрприз. Дизайн макета и иллюстрации, по воспоминаниям художника, в процессе создания не были согласованы с писателем, как это было при издании четырёхтомника и как было принято в издательстве Геннадия Константиновича Сапронова. Отклик Валентина Распутина на сюрприз оказался не совсем ожидаемым. Приняв подарок и поблагодарив, писатель надолго замолчал и не давал ответа. При встрече с художником через несколько месяцев Валентин Распутин сказал: «Я всё думал, смотрел. Вы правы. Вы правильно сделали». Душа художника, разумеется, даёт свои объяснения этим раздумьям писателя.

Но можно попробовать и нам поискать на это ответ. Он, на наш взгляд, в соотношении дизайна книги с поэтикой повести. Чёрный цвет подарочной упаковки издания в виде избы с эффектной имитацией фактуры сожжённого дерева согласуется с текстом повести. Доминанта чёрного цвета угля, остатка от живого, очевидна: «чернела большим пятном выжженная земля», «на горяч чернели острые обугленные столбы». Царство чёрного цвета в повести — это уголь, ямы, обугленные столбы, пятна безжизненной земли. Чуткий читатель, Сергей Элоян увидел и запечатлел это в оформлении. Но если выделить цветовую палитру из текста, отделить её от сюжета, то отношения цвета в повести, сложившись в отдельную историю, проявятся с неожиданной стороны.

Чёрный и белый цвета в тексте вступают в борьбу. Чёрный цвет, впервые заявив себя в описании лица Жука, переплетается с белым, связанным с образом Дарьи, и в итоге доминирует в описании пожаров на Матёре, точнее, того, что осталось после них. Но победа чёрного цвета заканчивается поражением. Белый камень, из которого Дарья нажгла известью, кистки из высокой белой лесной травы, срезанной перед снегом, белые стены, окна избы создают целостный образ преображённого мира, где пространство и время отмечены белым цветом.

Сотворение белого (побелка избы) творится белым материалом («белый камень») и белым инструментом («кистки»), освящая и пространство, и сам процесс побелки. Творение белого и белым метафорически противопоставлено чёрному как результату уничтожения избы, деревни, леса. «Христовенькая» изба в воспоминаниях Дарьи и в творимой ею реальности обретает светоносность (выскобленный до молочной желтизны пол, «чтобы играло солнце», словно отражает свет неба, побеленная печка, белые стены, белые ставни). Изба воспринимается старухой как предвестница Светлого Воскресения и возвышается над уготованной ей судьбой. В сознании читателя изба так и остаётся белой, светоносной. Белый цвет побеждает, и, соединяясь с чёрным, победу утверждает в сером цвете тумана. Интуиция писателя выражается в таком точном выражении цветовых законов. Палитра текста повести графична, сосредоточена на чёрном-белом-сером отношении, на ахроматическом сочетании. Возможно, что скрытое торжество белого в повести — белая, преображенная изба — и вызвало первоначальное несогласие, долгое молчание писателя.

Между тем есть что-то важное, что позволило сердцу писателя откликнуться на дизайн Элояна. Рядом с описанием обезображенной Матёры есть образ, который усиливает торжество жизни: «Выстывали луга; к голой, обезображенной Матёре жалась такая же голая, обезображенная Подмога. Один выстоявший, непокорный «царский листвень» продолжал властвовать надо всем вокруг». Власть «царского лиственя» над островом сохраняется и в последний вечер, когда Дарья сидит на земле возле него. Стойкость, несгораемость лиственя утверждает победу жизни над тем, что происходит на острове.

Дерево в книге представлено мощно, с размахом. Царский листвень выделен художником как центральный образ и дан на развороте страниц. Могучий ствол с обрубленной вершиной представлен как система координат мироздания, основа мира — вертикаль ствола и горизонталь упругих, сильных веток. Под защитой мощных корней голубые подснежники — отражение неба. Но как результат содеянного в других разворотах прозрачность голубого сменяется коричневым, когда пилат ствол, и чёрным, когда дерево подожгли. Мировое древо, Древо жизни, утверждённое в мифологии, соединяет землю и небо, становится осью мира. Его назначение держать землю остаётся в буквальном смысле неискоренимым, и это убедительно передано иллюстрациями Сергея Элояна.

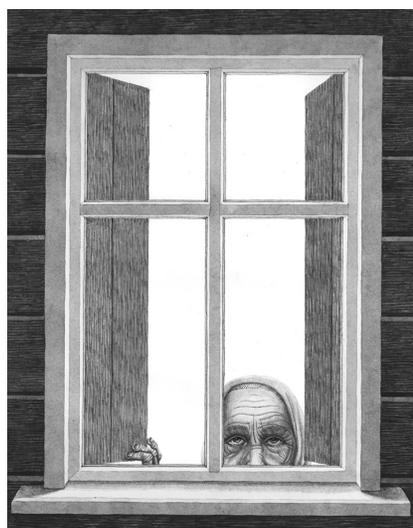
Сила жизни присутствует также в контрасте чёрной избы-коробки и светлого, праздничного нутра книги. Радость от соприкосновения с книгой в восклицании: «Ах!» как неожиданное открытие живого внутри неживого. Панорамные виды Матёры с силуэтом храма на границе земли и неба открывают мир света и добра. Симфония радости звучит в изображении сенокоса, в гармонии ритмов

³Распутин В.Г. *Прощание с Матёрой*. — Иркутск : Издатель Сапронов, 2012. — 208 с.

людей, кос, трав, цветов. Ведущий мотив — текущей воды-времени — сразу за обложкой. Мерцание движущейся реки определяет динамику листания страниц книги. Только одинокое бревно на дне реки свидетельствует о столкновении созидания и разрушения — остаток человеческого жилья как воспоминание в потоке времени. Дождь за окном, дождь над Матёрой — небесная вода — горизонталь и вертикали мира. Вода открывает и закрывает книгу, она как застывшее мгновение бегущего времени, как сколок вечности.

Особая мощь, сила жизни Матёры представлена художником в иллюстрациях на разворотах книги. Они выражают незыблемость и крепость земного мира острова. Представлен цикл изображений — день и ночь, дождь, пожар, обугленная земля — движение человеческого мира среди разрушения. Последний разворот с панорамой острова тонко соответствует поэтике заключительных страниц повести. Как и у писателя, у Сергея Элояна Матёра будто одновременно под водой и сияет в небесах. Лучистость объединяет небо, землю, реку, подсказывая реминисценции Небесного Иерусалима из Откровения Иоанна Богослова.

Панорамные виды Матёры переключаются с портретами персонажей повести. Мы подлетаем к острову — где-то парим над рекой, и, опускаясь на землю, входим в дом. Лица старух и Богодула даны крупно, фронтально, как на иконах. Взгляд читателя устремлён на глаза, погружает во внутренний мир и, минуя сюжетные коллизии, останавливается на главном — душе человека. Люди в прощании с землёй сами смотрят на нас — в них вопрос и призывание к ответу. Особенно лаконична иллюстрация к расставанию Дарьи с избой — старуха смотрит на нас с улицы сквозь окно. Слово сама изба обрела душу и смотрит на нас глазами Дарьи. Диалог человека с Домом, с совестью, с будущим.



«Прощание с Матёрой».
Иллюстрация художника Сергея Элояна

Изображение портретов фактурно, осязаемы морщины на лицах Дарьи, Симы, Богодула, Настасьи, Катерины. Линии текут как линии растрескавшейся древесины избы. Морщинки графики Сергея Элояна создают собственный, неповторимый, узнаваемый стиль. В этих линиях всё: и трещины на поверхности брёвен избы, проверенных ветром и временем, и неровности коры дерева, и трещины камня, и трещины расколовшейся земли, и морщины старого человека. Все сплетено в единый ритм, единый мир — дом, земля, природа, человек. Старость как красота вечного мира. Единый мир с единым принципом красоты, открытым Валентином Распутиным и Сергеем Элояном.

Откуда возник уникальный стиль художника? Что явилось импульсом в открытии этого мира? Возможно, наша долгая сибирская зима и природа подсказали художнику линии и пространство. Стоит только выехать зимой из города, чтобы увидеть этот возможный исток мира Сергея Элояна. Огромные белые поля и сухие, прозрачные ветки кустов, берёз, осин. Сухие, тоненькие, хрупкие, безжизненные, они согревают в себе жизнь, берегут её для нас, хранят до весны. Да и в городе

веточки и травинки на фоне раннего, нетронутого снега оживают линией. Серая, тонкая вязь этих веток, чёткость линий стволов на белом поле снега — графика сибирского текста.

Жемчужно-серый цвет обложек четырёхтомника невозможно передать словами. Перламутровое свечение найденного художником цвета создаёт ирреальное впечатление от обычного, знакомого, наглядного. Серая будничность старой древесины дома, дощатых заборов, тесаных крыш, лодок, ткани телогреек, ушанок, платков, сапог таит сдержанную сущность радуги. Она тоже от сибирской зимы с доминантой серого на белом. Снег даёт особое звучание серому дереву домов, стволов, веткам, травам, открывает симфонию оттенков. Красота серого у Элояна — в многоцветии. А скрытая полихромность его графики — одна из тайн художника.

Вместе с тем пространство белого листа Сергея Элояна — это контрапункт художественного мира его иллюстраций. Широкие поля на страницах четырёхтомника, начальные белые листы к каждому произведению с тонкой, прозрачной линейной графикой создают впечатление белого заснеженного поля среди долгой зимы. Белое поле страницы становится метафорой Матери-Земли, покоем и тишиной, как снегом, укрытой до поры рождения. Это же белое пространство в иллюстрации к заключительному эпизоду повести «Прощание с Матёрой». Спины оставшихся на острове стариков и мальчика Коляни дают возможность читателю взглянуть в будущее. У Элояна оно белое, как простор снега — центр и верх изображения — и в этом тоже что-то неведомое и святое.

Недосказанность, невыразимость и невыраженность характерна для творчества художника-графика в целом. Линии Сергея Элояна, тонкие как паутинки, своей непрочностью хранят тайну жизни. Осветит паутинку закатное солнце после дождя, и каждая капелька на ней засияет самоцветным убором лесной красавицы. Рванёт ветер, и тонкие пальцы паутинки судорожно вцепятся в веточки, в травинки. Напрягаясь от порывов ветра, паутинка крепко держит свою жизнь-ниточку. Тишина простого, хрупкого мира скрыта в линиях Сергея Элояна. Скромная невыразимость чего-то большого и чистого — видимая невидимость.



«Прощание с Матёрой».
Иллюстрация художника Сергея Элояна

открыл особую реальность и новую эстетику — эстетику русской старости. Распутинские старухи не вызывают жалости, сострадания, умиления. С их телесной немощью они, сухие, жилистые, жёлтые, воплощение духовной силы России. «Сила Моя совершается в немощи» (2 Кор 12:9). Они как живые линии Элояна — в них хрупкость и мужество одновременно. Старость как единый принцип эстетики в творчестве писателя и художника.

Графический и словесный мир двух авторов согласен, един ещё и тем, что позволяет приблизиться к себе максимально. Приглашает к погружению в себя. Словно многомерность живого, созданного высшей гармонией. В каждом слове и линии просматриваются следы и звуки архаической, европейской и русской культур. Они свёрнуты в них. И стоит прикоснуться к ним, чтобы древние знаки зазвенели, что-то сказали о себе. Два замечательных художника Сибири, России дарят нам свой мир, огромный, прозрачный, светлый. Он позволяет нам быть птицами — парить над Ангарой и Байкалом — видеть земное с высоты полёта, он учит твёрдо, ответственно ходить по земле. Он предлагает нам хотя бы иногда, совсем чуть-чуть, быть ангелами в жизни.

В старух и стариков писателя и художника невозможно не влюбиться. «Лицо у неё тоже потемнело и выткалось бисером частых и тонких морщинок, по которым, умей кто читать, прочитались бы однообразные подробности жизни» («Изба»). Лицо-книга, лицо-тканый узор. Можно путешествовать по морщинкам лиц Элояна, как путешествуешь по родному краю — не торопясь, вглядываясь в каждую веточку, комочек, камешек. Всё родное и одновременно незнакомое, новое. Узнавание себя в природе, судьбе другого, проживание вместе с другим новой жизни.

Поэтика морщин в иллюстрациях Сергея Элояна — зримая поэтика старости Валентина Распутина. Писатель в своём творчестве

ВЛАДИМИР ХОДИЙ

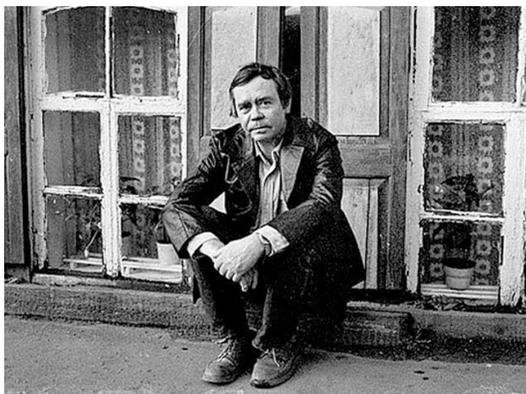
Журналист, г. Иркутск

Не дать восторжествовать подлости

НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ ВАЛЕНТИНА РАСПУТИНА

Принято считать, что одновременно с Распутиным-прозаиком родился и Распутин-публицист. Действительно, в самом начале 1960-х годов выходят в свет его первые рассказы, и тогда же он взял за правило и обязанность не проходить мимо острых фактов и явлений текущей жизни. А помогла ему в этом работа в редакции газеты «Красноярский рабочий».

Да, именно в редакции газеты — органа Красноярского крайкома партии и крайисполкома, куда сразу по переезду из Иркутска с семьёй в августе 1962 года был принят на должность литературного сотрудника будущий автор не только блистательных повестей «Живи и помни» и «Прощание с Матёрой», но и ярких, а порой и страстных газетных и журнальных выступлений в защиту природы, культуры, нравственных и духовных ценностей.



Валентин Распутин

Как в Светлане, сколько в Валентине, который к тому времени остался без работы после скандального ухода с Иркутской студии телевидения? Этот уход (руководство студии сняло с эфира подготовленную Распутиным и Сергеем Иоффе передачу о репрессированном в 30-е годы писателе Петре Петрове) имел широкую огласку после выступления газеты «Известия».

Рассказывает Евгения Ивановна, сестра Светланы:

— Никакие обстоятельства, в том числе то, что на руках у них был годовалый ребёнок и поначалу им предоставили отдельную комнату в институтском общежитии, не могли повлиять на решение молодой семьи переехать в другой город. Они хотели жить самостоятельно, никого не обременять, в первую очередь нашу маму, у которой были несовершеннолетние дети. В целом их устраивали условия жизни и работы в Красноярске, тем более что вскоре они получили отдельную квартиру.

Как свидетельствуют родные и те, кто близко знал Валентина Григорьевича, этот переезд был связан с тем, что его супруга Светлана Ивановна после окончания физико-математического факультета Иркутского университета получила распределение в Красноярский технологический институт. Правда, возникает вопрос: а разве дочь известного человека, чьё имя уже тогда носила областная государственная универсальная научная библиотека, не могла распределиться в родном городе, тем более что муж раньше неё окончил университет? И потом, возможно, проблема не столь-

Как писать «правильно»

И действительно, не так плохо, как можно было ожидать, да и теперь иногда прочитать, складывались у Распутина-журналиста дела в чужом городе. Его сразу определили

в отдел писем — самый близкий к читателям и вообще к каждодневным заботам простых людей. Прочитал недавно свидетельства одного вроде неплохо знавшего его коллеги о том, что Валентин там, в партийной газете, «совсем измаялся», что в редакции с первых дней всерьёз взялись за его перевоспитание, учили уму-разуму, как писать «правильно», и что он якобы сам специально перебарщивал «затертыми штампами» и «выдавал полнейшую сухомятину». Ничего подобного!

В филиале периодики Научной библиотеки Иркутского университета, которая теперь носит имя В.Г. Распутина, хранятся подшивки «Красноярского рабочего» за те годы. В них я обнаружил несколько публикаций за его подписью и никаких «затёртых штампов» и «полнейшей сухомятины» в них не увидел. Может быть, за исключением первой публикации под заголовком «Товарищ Попов сочиняет отписку...» Но это как раз тот случай, когда говорят, что стиль письма и речи определяют обстоятельства. А обстоятельства были таковы, что этот товарищ Попов являлся начальником солидного Ирша-Бородинского угольного разрезу, по вине которого в рабочем посёлке затянулось строительство нового хлебозавода. В ответе на критику в газете руководитель разреза всю ответственность за срыв сроков сооружения важного объекта пытался возложить исключительно на генподрядчика и субподрядные организации. Возражая ему, автор публикации В. Распутин подбирал необходимые в данной ситуации слова:

В связи с этим мы вынуждены напомнить тов. Попову следующее. Заказчиком с самого начала строительства было и остаётся разрезу управление. Оно поставляет оборудование, оно же должно контролировать сроки и качество строительства. Это его право и обязанность. Но в том-то и беда, что разрезу управление не следит за этим... Попытка тов. Попова свалить ответственность на кого-то и найти для себя смягчающие обстоятельства явно несостоятельна. Жителям посёлка Бородино нужен хлебозавод, а не обещания и оправдания!

А вот, можно сказать, обратный случай, когда никакого «политеса» сотруднику отдела писем редакции соблюдать не потребовалось, — небольшая заметка под заголовком «Легче всего закрыть...»:

Споры о том, считать фотографию искусством или не считать, в Емельяново не идут. С некоторых пор фотографии как таковой здесь нет. Раньше была. Занимала она старое, полуразвалившееся помещение церквушки, где под строгими взглядами «божественных» росписей чувствовала себя не очень свободно. Поэтому районные власти решили перевести фотографию в другое, более подходящее ей место. Закрывать её закрыли, а открыть не открыли. Стучилось это три месяца назад.

Те, кому нужно оставить о себе память, ещё терпят. Но людям нужны фотокарточки для документов. Этим приходится ехать в город и расходовать на пустяковое дело большие деньги.

«Пора бы нашим районным руководителям подумать об открытии фотографии», — пишет в редакцию работник Емельяновской конторы связи Н. Видякин. И он прав.

В. Распутин

Каким запомнили героя...

В ноябре 1962 года весь Советский Союз облетела весть, что на Тихоокеанском флоте, спасая на пожаре флаг корабля, погиб матрос Анатолий Бобров, до призыва на службу живший в городе Боготоле Красноярского края. Первой о его подвиге сообщила «Комсомольская правда», а Валентин Распутин по заданию своей редакции побывал в этом городе и узнал, каким запомнили героя его родные и те, с кем он окончил железнодорожное училище и затем работал в местном вагонном депо. Предлагаю фрагмент из этой публикации:

...Бабушке Анатолия Боброва 77 лет. Её глаза, насмотревшиеся за свой век на всякое, теперь видят плохо. Не могла бабушка прочитать статью в газете, в которой рассказывалось о подвиге внука. Но словно специально для неё статью прочитали по радио.

Бабушка слушала и плакала.

— Он, Толька-то, страсть какой отчаянный был. Да. Здесь ещё, — морщинки возле её глаз то сходятся, то расходятся, — как только заметёт на улице, он на лыжи и пошёл. Я кричу ему, чтобы вернулся, — куда там! А когда придёт, холодной водой полощется. Я ему сколько раз говорила: «Порешишь ты себя, Толька», — а он смеётся. «Я, — говорит, — бабушка, закаляюсь». Да, так и говорил: «закаляюсь». А один раз я сижу дома и вижу, что у меня в избе потолок прыгает. «С чего бы это, — думаю, — ему плясать вздумалось». Полезла на крышу, а там Толька боксёрские рукавицы на себя натянул, мешок с песком к крыше подвесил и стучит по нему.

Бабушка умолкает и начинает мигать своими покрасневшими глазами. Потом, всхлипывая, добавляет:

— Он такой был, — мухи не обидит. А что в огонь за флагом полез — это я верю. Он с сызмальства отчаянный был.

Мешок с песком валяется в хлеву. Анатолий уже не наденет боксёрские перчатки. Руки Анатолия уже не поднимут мешок.

Колодец в огороде Владимира Кротова стоит недокопанным. Анатолию не копать больше его. Уезжая, он сказал своему дяде:

— Пусть подождёт меня. Вернусь — сразу же дорою.

Клёны и тополя возле училища поднимаются всё выше и выше. Их высаживал Анатолий. Анатолий Бобров погиб смертью героя. А клёны и тополя шумят под ветром. А колодец докопают. Там осталось уже немного до воды. А люди, знавшие Анатолия Боброва, не забудут его. Таких ребят не забывают.

Дело о выселении, или История с подлостью

Так называлась статья Валентина Распутина, опубликованная им уже в самом начале работы в «Красноярском рабочем». Я немало перечитал из того, что он писал на раннем этапе своего творческого пути, но более остро и решительного газетного выступления не встречал. Статья начинается словами: «Признаюсь сразу: во всей этой истории непонятно только одно — как суд мог вынести такое решение?» И далее рассказывается об обычном, на первый взгляд, семейно-бытовом конфликте. Ещё во время войны жительница Красноярска Мария Андреевна Смирнова по приглашению своей двоюродной сестры поселилась в её двухэтажном доме. Комната небольшая, всего девять квадратных метров, но уютная и с отдельным входом. Мария Андреевна аккуратно платила за неё деньги, за свой счёт делала ремонт. И вообще две семьи жили дружно. Однако прошли годы, и хозяйка дома, имея ещё 57 квадратных метров полезной жилищной площади, безжалостно, под надуманным предлогом решила отобрать у сестры и продать комнату, в которой та проживала со старой матерью и дочерью-подростком. Суд Центрального района Красноярска, несмотря даже на то, что с места работы Смирновой поступило письменное обязательство в первой половине следующего года предоставить жильё, вынес решение: до 1 октября выселить её с семьёй без предоставления жилплощади. Более того, коллегия по гражданским делам краевого суда оставила этот вердикт без изменения.

И вот два заключительных абзаца статьи:

Мы понимаем — суд уважает личную собственность. Но в любом деле есть свои «да» и свои «но»... Поэтому неплохо иной раз наши моральные права доводить до степени законов. Так и делает советский суд. Но в этом случае суд руководствовался только справками, решениями, актами и не увидел за ними человека. Обстоятельно не разобравшись

во всей этой истории, он невольно помог восторжествовать подлости.

Мы, советские люди, уважаем народный суд, но ошибка, кем бы она ни была допущена, остаётся ошибкой. А когда ошибка совершена в отношении человека, она всегда вызывает протест, самый решительный и твёрдый.

В. Распутин

А эту его публикацию под рубрикой «На моральные темы» привожу полностью.

Цена равнодушия

Кроватку разобрали и вынесли. Пелёнки свернули и спрятали. По ночам не надо подниматься на детский плач, по ночам можно теперь спать крепко и беспробудно до самого утра. Но она не спит. Она долго лежит с открытыми глазами, боясь пошевелиться, чтобы не разбудить мужа. Потом неслышно поднимается и подходит к окну. Глядя через стекло на темноту, Надя беззвучно плачет.

Полтора месяца назад от воспаления лёгких у неё умер сын. Так записано в свидетельстве о смерти, которое им выдали в сельсовете. Но нет, это не так. Её ребёнка убили. Когда говорят об убийстве, то обычно имеют в виду смерть от ножа или пули. В данном случае не было ни того ни другого. Человека убили тем, что отказались ему помочь, отмахнулись от него. Это не менее жестоко.

...Когда Толик заболел, Надя сказала мужу:

— Надо в Ношино, Миша.

До Ношино около двадцати километров. Машина идёт медленно. «Можно побыстрей?» — нетерпеливо спрашивает Надя. А ребёнок кричит и кричит. Шофёр прокликает дорогу. Михаил напряжённо молчит.

В четыре часа дня медсестра Ношинской больницы Нина Турова приняла больного ребёнка. Когда у него измеряли температуру, термометр показал 39,5. К тому времени это был горячий кричащий комок. Необходимо было срочно вызвать врача. Но Турова врача не вызвала. Её дежурство подходило к концу. Турова ушла домой. Всю ночь ребёнок метался и кричал.

Утром пришла врач Жилина.

Осмотрев ребёнка, она определила: двухстороннее воспаление лёгких и одновременно токсическая диспепсия. Не нужно говорить, насколько это опасно. В Ношинской больнице не часто ставятся подобные диагнозы. Жилина — опытный врач, и она, разумеется, знала, чем это может кончиться. Но ещё накануне Жилина собралась в райцентр и своего плана не изменила. Закончив обход, она с облегчением вышла на улицу, куда не доносился плач ребёнка.

В то утро медсестра Клавдия Ивановна Коренева пришла на дежурство в девять часов. Ребёнок уже начал задыхаться. В маленькой комнате ему не хватало воздуха. Клавдия Ивановна перевела Надю в другую палату и побежала к телефону.

«Абан, ответьте, Абан. Мне срочно больницу. Детское отделение. У нас умирает ребёнок. Сердце работает совсем плохо. Кислорода нет. Что делать? Можно ли вводить сердечное? Врача тоже нет. Скажите, что делать?»

И летят обратно слова: «Ребёнка срочно везите к нам. Сердечные можно вводить. Будьте осторожны».

«Контора, мне нужна контора Абанского совхоза. Это из больницы. Дайте машину».

«У нас все вездеходы на работе. Звоните в Дворянск».

«Дворянск. Срочно передайте Михаилу Колесникову, чтобы выезжал на вездеходе в Ношино. Его сына необходимо везти в Абан».

Судороги. Клавдия Ивановна вводит сернокислую магнезию.

Дворянск ответил: «Колесников выехал».

Пенициллин. Стрептомицин с пенициллином.

Через два часа Дворянск сообщил: «Вездеход не придёт. Лопнул бак с горючим». Снова сердечные.

«Сельсовет. У нас умирает ребёнок. Помогите найти машину».

«Директор совхоза. Анатолий Алексеевич, помогите. Дайте вездеход».

Крохичев грубо ответил:

— У меня машин нет.

— Анатолий Алексеевич, у нас умирает ребёнок. Его срочно везти в Абан.

— А ты кто такая?

— Я медсестра Ношинской больницы.

— Как твоя фамилия?

— Какое это имеет значение?

Он бросил трубку. Она заплакала. Она уже не могла смотреть на то, как мучается ребёнок. Она уже не могла сдерживать обиду на этих людей. К телефону подошла учительница Винокурова, лежавшая в то время в больнице:

«Я им сейчас всё скажу. Бюрократы! Волокитчики! Разве это люди? Они только о себе думают».

Через несколько минут мимо больницы проехал на своей машине директор совхоза. Он ехал в Орловку. Орловка находится в той же стороне, что и Абан. Но Крохичев возле больницы не остановился.

Через два часа ребёнок умер. За два часа можно было сделать многое.

Так умер человек. Вернее, так убили человека. Те, кто это сделал, не признают за собой никакой вины. Совесть? Она у них молчит. Они не стреляли, не наносили ему ножевых ран. И всё-таки это они убили его. Убили своим равнодушием, своей жестокостью.

* * *

Всего полгода Валентин Распутин проработал в «Красноярском рабочем», после чего перешёл в «Красноярский комсомолец». Но уже в этих газетных выступлениях видны не только очевидные достоинства незаурядного публициста, но по умению понимать и передавать состояние людей в драматические минуты их жизни, по подбору деталей, характеризующих это состояние, — мы наблюдаем рождение талантливого писателя.

Было у матери четыре сына



60-е годы, в Доме писателей на ул. 5-й Армии, 36.
Слева направо: Альберт Гурулёв, Валентин Распутин,
Марк Сергеев, Вячеслав Шугаев

Когда я просматривал газетные подшивки прошлых лет, меня в очередной раз подстерегал сюрприз. Этот небольшой по объёму рассказ под неброским заголовком «Имена» и подписью «В. Распутин» встретился в газете «Восточно-Сибирская правда» более чем полувековой давности — достопамятного в истории нашей страны 1965 года. Достопамятного потому, что в тот год впервые после длительного перерыва широко и на высокой патриотической ноте отмечался день 9 Мая — День Победы в Великой Отечественной войне. Невозможно исключить, что под общее настро-

ние всенародного праздника попал и живший и работавший тогда в Красноярске сотрудник редакции краевой молодёжной газеты и начинающий писатель Валентин Распутин. Также невозможно теперь узнать: взят сюжет рассказа из реальной жизни или придуман?

А сюрпризом стало то, что о публикации «Имён» в «Восточке» ранее не было известно. Изданный в 2007 году департаментом культуры и архивов Иркутской области и государственной универсальной научной библиотекой имени Ивана Молчанова-Сибирского биографо-библиографический справочник «Валентин Григорьевич Распутин» указывает лишь на две возможности прочтения этого рассказа: газету «Красноярский комсомолец» за 14 ноября 1965 года и первый номер альманаха «Ангара» за 1967 год. Потом он никогда больше не печатался.

Но вот теперь мы знаем, что с трогательной, почти сказочной историей матери и её четырёх сыновей, трое из которых погибли под Москвой, Курском и Берлином, Валентин Распутин решил сразу же познакомить и читателей-иркутян. Она украсила номер «Восточно-Сибирской правды» за 25 ноября 1965 года.

Остаётся надеяться, что рассказ также понравится нынешнему поколению читателей.

Имена

Жила-была мать, и было у неё четыре сына, четыре славных молодца.

На этом сказка кончается.

Если хочешь — можно начать со сказки любую историю. Но потом сказка в этой истории, как детство в жизни человека, вдруг кончается, и начинается то, что было в действительности.

Извини, пожалуйста, сказка, прощай, детство, — в сорок первом началась война, и сказки вместе с детьми увезли на восток, а с востока трех материных сыновей вместе с другими сыновьями повезли на запад. Четвертый сын был еще маленький и для войны не годился. Он мог бы читать сказки, но сказки в ту пору были глухими и немymi, они не звучали и не откликались — видно, их оглушило войной, как тогда говорили, контузило, и они лежали на полках, как на больничных койках.

Вместо сказок четвертый сын слушал сводки. Запад, как правая рука у нашей страны, тяжело раненная рука, горел от боли. Эта боль вместе с дыханием передавалась в сердце, а сердце перекачивало её по всему телу. Мать и её четвертый сын были только двумя малюсенькими клетками, но и им тоже было больно, и они страдали, как страдало всё живое.

В 1941-м — летоисчисление в войну шло своим чередом — под Москвой погиб первый материн сын, будто отмерла клетка в больном месте. Его звали Василием — такое у него было имя, и оно ему шло.

— Под Москвой, под Москвой, — шептала мать, пытаясь соединить в своем собственном теле оборванные клетки, но они никак не соединялись.

Москву мать знала, и это её немного успокоило.

В 1943 году под Курском погиб второй материн сын.

— Да они что — с ума сошли! — закричала мать про погибших сыновей. — Рожала, рожала, а они раз, два — и нету.

Второго сына звали Петром, и он навсегда убыл из своего собственного имени, будто вышел из вагона № 12 и пропал, а поезд, не дождавшись его, ушел дальше. Казалось бы, ничего страшного: в вагоне № 12 поехали другие пассажиры — мало ли людей с именем Петр продолжало жить на свете, но у матери был один Петр, и она, потеряв его, потеряла полмира.

А война, как поезд без расписания, всё шла и шла. Были и у неё свои станции, которые объявляли в сводках, но когда она дойдет до конечной точки, знали плохо. Она и не торопилась доходить — война никогда не торопится.

В 1945 году под Берлином погиб третий материн сын. Ему оставалось сделать всего один шаг до мира, всего один шаг из тысячи, когда что-то бабахнуло и попало в него — на территорию мира он упал головой, так и не узнав, что это такое. Его звали Никитой, и имя его потом записали на гранитной плите, обращенной к солнцу, — маленькая записка, которую можно читать даже жителям других планет. После войны остался порох, и остались снаряды, но от материных сыновей, ушедших на войну, ничего не осталось, словно они пришились друг другу как раз впору — война и сыновья, и только друг на друга их хватило. Мать собрала их имена — эти стреляные гильзы калибра года рождения, которые брэнчали, задевая друг друга, будто стонали об утрате своей сути, — мать собрала их и оставила себе, чтобы мальчишки, случайно подобранные, не могли играть ими в войну.

Было у матери четыре сына, а остался один. После войны он вырос и в один и тот же год стал ровесником всех своих братьев, потому что они рождались и умирали через два года друг после друга, а он, родившись позже, продолжал жить. Его звали Андреем, и только одно это имя сохранило полный смысл и полное звучание, без пустотелости и эха.

Все его звали Андреем — все, кроме матери. Мать тоже хотела бы называть его так, как другие, но одно его имя у неё никак не получалось. Сначала ей на ум приходили имена её погибших сыновей, эти стреляные гильзы калибра года рождения, и она называла их, словно стреляла холостыми патронами, и только потом, когда оставалось одно имя, она называла и его — живое, счастливое имя своего четвертого сына.

— Василий — Петр — Никита — Андрей, — говорила она.

— Василий — Петр — Никита — Андрей...

Четвертый сын сердился:

— Почему ты не можешь называть меня нормально?

Мать собирала имена и где-то там, у себя в памяти, раскладывала их по отдельным ящичкам: тут Василий, погибший под Москвой, тут Петр, погибший под Курском, тут Никита, погибший под Берлином, и тут Андрей — три ящичка можно замкнуть на ключ, а четвертый надо держать открытым. Но когда приходило время взять из четвертого ящичка одно только имя, вдруг сами собой раскрывались ящички, замкнутые на ключ, и имена, как невольные слезы из глаз, вырывались наружу.

— Василий — Петр — Никита — Андрей, — говорила мать и, пугаясь, опускала глаза.

— Ты издеваешься надо мной, — злился её четвертый сын.

— Нет-нет, Василий — Петр — Никита — Андрей...

Потом мать умерла и взяла с собой имена всех своих погибших сыновей. Четвертый сын остался один. Все называли его только Андреем, его собственным именем, записанным в паспорте. А ему вдруг стало не по себе. Он вздрагивал, когда слышал одно свое имя, без защиты имен погибших братьев. Только теперь он понял, что у матери эти холостые выстрелы были выстрелами предупреждения всем и всяким врагам, что есть у нее еще один сын, живой и здоровый, что есть еще у матерей сыновья, живые и здоровые...

В. Распутин



СЕРГЕЙ РАСПУТИН

Замысел или умысел?



Сергей Распутин

Текст книги Андрея Григорьевича Румянцева «Валентин Распутин» в серии «ЖЗЛ» попал ко мне случайно. Ни автор, ни издательство не горели желанием знакомить с ним ни меня, ни моих близких родственников, хотя бы для того, чтобы попытаться избежать каких-то неточностей и ошибок. Февраль уже близился к концу и в «Молодой гвардии» готовились отдать текст в верстку — спешили успеть к годовщине смерти моего отца. Для меня до сих пор остается загадкой: как рукопись в таком сыром виде могла находиться буквально в двух шагах от печатного станка? Почему издательство смотрело сквозь пальцы на все ее недостатки? И если бы не наше незапланированное вмешательство, она была бы опубликована гораздо раньше и в еще более далеком от совершенства состоянии. Мы со своей стороны внесли миллион поправок, однако большая их часть была оставлена без внимания. Ну что ж, Андрей Григорьевич, как автор, имел

на то полное право, и надо отдать ему должное, что он всё-таки согласился кое-что убрать, а кое-что, наоборот, добавить.

Всё это время я надеялся, что найдётся в литературном сообществе профессионал, который оценит книгу по достоинству, но прошёл уже почти год с момента её выхода в свет, а никакого откровенного, без лишней вежливости, отзыва так и не появилось. И я решил дать свою оценку этой работе. Для краткости и удобства я буду называть А.Г. Румянцева автором, а моего отца В.Г. Распутина — писателем.

На мой взгляд, книга слабая, поверхностная и вызывает разочарование. Это не кропотливый труд-исследование творчества В.Г. Распутина, и не книга-размышление о его жизни. По сути, это лоскутное одеяло, сшитое из разных кусочков, или, говоря научным языком, компиляция. 65% всего текста, т. е. добрые две трети, занимают слова писателя — цитаты из его произведений, выступлений и писем, а также мысли и воспоминания о нём других людей. Это точные цифры, взятые мною не с потолка, а с помощью линейки.

Встречаются главы, и их немало, вообще практически целиком состоящие из цитат. Например, глава «Деревня не даст тебе пропасть» с неоправданно длинной цитатой из «Уроков французского», занимающей три страницы, в то время как слова автора скромно умещаются в девять (!) строчек. Или другая глава, «Навыки журналистские и семейные», где автор зачем-то приводит целиком рассказ «Мама куда-то ушла». Обратите также внимание на главу 10 о произведении «Прощание с Матёрой». В первой главе кое-где ещё попадаются среди цитат слова автора, но прочитайте вторую главу «Удержать в себе человека» длиной в 3,5 страницы: автор написал две строчки в начале и 16 строк в середине главы. Все остальное — слова писателя из «Прощания с Матёрой». И в следующей главе «Мы — не последние!» из

5,5 страниц пять — это цитаты из «Матёры». Или прочитайте главку «На фоне двух литератур»: вся (!) главка длиной в 4,5 страницы — беседа писателя с молодым литературоведом Ксенией Зиминной. А следующая главка, «Сеющие бурю», тоже почти вся состоит из беседы писателя с Виктором Кожемяко. И так далее.

У читателя, как мне кажется, должно возникать ощущение, что его обманули: хотел прочитать о Распутине, а читаешь Распутина.

А сколько главок цитатами заканчиваются! Автор даже не утруждает себя тем, чтобы завершить их своими словами, выразить какую-то свою мысль, подвести итог. Некоторые цитаты приводятся неуместно, а в словах автора порой отсутствует элементарная логика.

Возьмём для примера последний абзац в главке «Обомлел от вошедшей в меня красоты» о детстве писателя. Привожу его полностью:

«А великое множество историй, услышанных в вечерней полутёмной избе с вагагой таких же деревенских стригунков, расположившихся на теплом полу у вихрастого дружка! Тут запоминались даже не сами необыкновенные, фантастические происшествия, сочиненные бойким рассказчиком, а его таинственный тон, ужимки и придыхания, свистящий или задыхающийся шёпот, словно это его самого кикиморы душили или бросали оземь с высоты».

Он сочинен автором, но не имеет ничего общего ни по смыслу, ни по тональности с предыдущими цитатами писателя, из которых на 70% состоит эта главка и которые задают ей тон и определяют содержание. Очевидно, автор в спешке или по небрежности приклеил сюда этот абзац. По содержанию он больше подходит к следующей главке — «Где живет кикимора». Но и в ней он оказался бы лишним, потому что там абсолютно о том же самом, только другими словами, говорит сам писатель:

«В одной избе песня, а в другой, где собиралась ребятня, сказка да «ужасти», которые напрашивались сами собой под древнюю ворожбу каминного огня. Чего только не придумывалось, чего не рассказывалось то затаёнными, то гробовыми голосами, до чего только не доходило разыгравшееся воображение! Не будь этого живого сопровождения огня, то завывающего, то стонущего, то ухающего, да разве мог быть у историй, рассказанных не Петькой или Васькой, а их оборотнями, и непременно выдаваемых за «правдашние», такой жуткий накал, такая непереносимая страсть!»

В главке «Где живет кикимора» сразу обращает на себя внимание второе предложение: «В ранних проблесках памяти у Вали могли остаться только свалившиеся беды: частое недоедание, вялые игры с ровесниками, одетыми, как и он, в драные, латаные обноски». Нелогично. Простите, как можно назвать «свалившимися бедами» частое недоедание или вялые игры? Да и как может быть вялой детская игра?! А «драные, латаные обноски», в которые одеты дети, совсем не предполагают, что игра будет вялой. И наконец, почему писателю могли запомниться *только* беды? И глагол «могли» тоже настораживает. То есть могли запомниться, а могли и нет? Не лучше ли обратиться к творчеству Распутина вместо того, чтобы гадать на кофейной гуще?

На самом деле, совсем не «свалившиеся» невесть откуда беды остались в «ранних проблесках памяти» писателя. Помните, как он сам пишет в очерке «Откуда есть-пошли мои книги»: «Первые мои впечатления связаны с Ангарой»? А если бы автор нашел время и задал соответствующие вопросы близким писателя, он бы узнал, с каким энтузиазмом и теплом вспоминал Распутин о своем детстве: как он ходил на охоту с дедом, как бегал в тайгу за грибами и ягодами, как рыбачил со своим дядей. Светлые воспоминания о том времени нашли свое отражение в предисловии к сборнику рассказов «Видение» под названием «В тех глубинах по ходу жизни».

А вот как выглядел в рукописи мой рассказ о летних поездках с отцом в Аталанку (курсивом выделены слова, которые я — хоть убей — не произносил):

«Мне было пять лет... Это, конечно, мало, чтобы запомнить тот приезд. Но позже мы с отцом почти каждое лето ездили в деревню. *Дедушка был молчаливым. Папа в этом походил на него. Он уединялся, писал. Летом шестьдесят шестого, наверно, повесть «Деньги для Марши».* А дедушка с бабушкой занимались хозяйством. Для меня необычным событием, почти праздником, бывал выход на покос. Несколько километров мы шли по тайге. И не одни. Ведь вся деревня косила. Каждый на своей полосе разбивал табор. Варили на костре обед. Дед сделал для меня маленькую литовку. И я косил вместе со всеми. *Я долго не знал,*

что была старая Аталанка, а мы живем в новой. Новая казалась большой. Друзей у меня там было много. Бежали по посёлку, прятались в каких-то сараях. Заглядывали в лес — он темнел поблизости...».

Какие сараи? Какой лес? И как я мог в возрасте 5 лет догадываться, что отец уединялся в баньке, чтобы писать «Деньги для Марии»?! Я вообще не помню, чтобы отец уединялся и писал; он приезжал, чтобы побыть с родителями, помочь им по хозяйству, отдохнуть в родной деревне.

Непонятно, почему автор решил прибавить кое-что от себя, и должен признаться, что мне стоило немалого труда убедить его убрать лишние слова из текста. В конце концов мне пришлось переписать весь абзац целиком. То же самое произошло и с другим моим рассказом о выборе профессии, который был нужен автору для главы «Дети писателя: «Мы выбираем путь...». Помню, как в тексте рукописи всё было красным-красно от моих поправок с требованиями удалить не принадлежащие мне фразы.

К слову сказать, кроме этих двух случаев, автор не считал нужным обратиться ни ко мне, ни к другим близким родственникам писателя. Исключением можно считать его встречу с моей тётёй, младшей сестрой отца, Агнией Григорьевной. А ведь кто, как не мы, могли дать автору ценную информацию для книги. Но самое шокирующее заключается в том, что автору были совершенно неинтересны наши поправки. Он явно не ставил перед собой задачу докопаться до истины. Как я заметил, в целом ряде случаев он действовал следующим образом. Сначала он создавал в своём воображении некую благообразную картинку, к которой пытался затем притянуть факты. Если же тот или иной факт ей не соответствовал, автор или намеренно искажал его, или просто выбрасывал за ненадобностью, и сочинял что-нибудь от себя.

Приведу два примера. Первый — довольно забавный. В главке «Колодец земли» ещё в рукописи я наткнулся на следующие слова:

«А вокруг затихшего порта Байкал гористый берег украшают многочисленные пади — вклинившиеся в таёжные косогоры узкие низины с заповедными травами, ягодными полянками, богатыми грибницами. Одна из этих падей, Молчановская, и приютила домик Валентина Григорьевича. Судьба словно бы осветила этот байкальский уголок девичьей фамилией жены: поэзия жизни, природы и творчества получила единый адрес».

Я сделал поправку: «В Молчановской пади был дом Глеба Пакулова, а наш дом стоял на ул. Вокзальная; в нём когда-то жил путевой обходчик, прямо рядом с железной дорогой». Не думаю, что автор всерьёз полагал, что «домик Валентина Григорьевича приютила» именно Молчановская падь. Скорее всего, он просто когда-то слышал, что в Порту Байкал есть такая падь и ему позарез захотелось провести линию от неё к девичьей фамилии жены писателя. А уточнять, где именно находится домик писателя, было рискованно: вдруг окажется, что не там. Но автора моя поправка не смутила. Посмотрите, как изменился текст после моего, повторюсь, незапланированного вмешательства:

«А вокруг затихшего порта Байкал гористый берег украшают многочисленные пади — вклинившиеся в таёжные косогоры узкие низины с заповедными травами, ягодными полянками, богатыми грибницами. Одна из этих падей Молчановская. Не очень далеко от нее и стоял домик Валентина Григорьевича. Судьба словно бы осветила этот байкальский уголок девичьей фамилией жены: поэзия жизни, природы и творчества получила единый адрес».

Я опять пишу: «Не так уж и недалеко: километра четыре топтать от нашего дома». Но автор на мою ремарку уже никак не ответил. Мне кажется, что если бы даже выяснилось, что Молчановской пади нет и никогда не было в Порту Байкал, автор всё равно как-нибудь вывернулся, но не расстался бы со своей лирической находкой.

Давайте теперь разберём подробно второй пример. Это крошечная, всего-то на две странички, но откровенно сырая, непродуманная главка, где как нарочно собрались такие серьёзные недостатки, как отсутствие логики, притягивание фактов за уши и небрежность в использовании цитат.

Главка называется «В имени слышится: Русь...» и посвящена моей сестре, точнее её детским годам. Само это название уже режет мне слух. Никогда нам, Марусиным родным, не слышалось в её имени слово Русь. Я бы скорее поверил автору, если бы ему в имени Жанна д'Арк слышалось слово Франция. Но давайте посмотрим, что автор имел в виду.

Прочитаем внимательно первый абзац: «В мае 1971 года в семье Распутиных появилось пополнение: родилась дочка. Назвали её Машей, но с первых же дней все родственники ста-

ли звать её по старой русской (а точнее — деревенской) традиции Марусей. Валентин был счастлив. *Ещё с рождения сына Серёжи вошло в правило, что отец ежедневно гуляет с ребёнком, читает ему сказки, а когда малыша снарядили в школу, папиной обязанностью стало посещение родительских собраний*». Обратите внимание, как после первых трёх предложений, посвященных рождению дочери писателя, автор неожиданно перескакивает на сына (выделено курсивом), оставляя читателя в полном недоумении. Более того, автор ухитряется допустить в этом же предложении сразу две неточности. Скажу вам по секрету: а) не было такого правила в нашей семье, чтобы отец ежедневно гулял со мной или с моей сестрой; б) он довольно редко посещал родительские собрания в школе. И в этом нет ничего зазорного, но автору уж очень хочется немного приукрасить, и он с удивительной лёгкостью прибегает к преувеличению и вымыслу, стремясь выдать желаемое за действительное. И следующий мой абзац — ещё одно тому доказательство.

Продолжая старательно вырисовывать портрет писателя как примерного отца, автор приводит слова Марусиной школьной учительницы начальных классов Александры Ивановны Бушмагиной:

«Валентин Григорьевич был первым помощником во всех наших внеклассных начинаниях. То зайдёт в школу, то позвонит мне: «Какие у вас заботы, чем помочь?» Дарил классу книги. И не только свои, но и тех авторов, которых отличал, ценил. Ребята любили «классные часы», которые он проводил. Мы выбирали тему беседы, а Валентин Григорьевич готовился к разговору. И всегда детям было интересно с ним. Он был в нашей школе своим человеком».

У меня этот рассказ сразу вызвал подозрение. Во-первых, такая общительность совершенно не в характере отца, а во-вторых, детям в начальных классах вряд ли есть смысл дарить книги Распутина и «тех авторов, которых он отличал, ценил». Я не поленился и встретился с Александрой Ивановной, которая до сих пор работает в школе № 17. По её словам, Валентин Григорьевич пару раз приходил к ним на «классные часы», но не более того. Про «первого помощника во всех внеклассных начинаниях» даже после моих специальных наводящих вопросов не было сказано ни слова.

Сразу к рассказу Александры Ивановны безо всякого перехода автор приклеивает другую цитату, теперь уже из воспоминаний моей тётки (маминой младшей сестры) Евгении Ивановны о жизни нашей семьи на даче в Порту Байкал. Непонятно, что заставило автора пойти на такой неожиданный и совершенно нелогичный шаг. Возможно, ему эта главка на полторы страницы показалась слишком короткой, и, чтобы увеличить её, он решил, как говорится, «до кучи» добавить ещё пару абзацев. Мне кажется, что автор их не читал. Во всяком случае, речь в данном отрывке идёт совсем не о моей сестре и тем более не о том, каким внимательным, чутким и заботливым был Валентин Григорьевич по отношению к своим детям и их одноклассникам.

Этой цитатой и заканчивает автор главку «В имени слышится: Русь...», точнее резко обрывает на полуслове, так и не раскрыв читателю смысл её пафосного названия.

Позвольте мне остановиться ещё на одном символическом примере, показывающем, как автор в своей книге относится к фактам, насколько для него важна та или иная информация и чем он руководствуется при жизнеописании своего героя. Речь идёт о Б. Дмитриеве. Фотограф не раз упоминается в книге А.Г. Румянцева и даже делится своими воспоминаниями о писателе. Читая их, возникает ощущение, будто Б. Дмитриев был с писателем в дружеских отношениях. Да, действительно, был — до одного случая, после которого их общение полностью оборвалось. Подробно об этом написала в статье «Все беды — от наших заблуждений» В.А. Семёнова. Суть его в следующем.

Писатель получил премию Правительства РФ за книгу «Сибирь, Сибирь...» 2006 года издания. Автор фотоиллюстраций Б. Дмитриев награждён не был. Он направил протестное письмо в правительство, где предупредил, что если его права как соавтора книги не будут удовлетворены, он подаст в суд. Затем он позвонил писателю и сообщил ему эту новость. Как мне известно, отец сначала оторопел от такой наглости, однако принял решение отдать фотографу половину премии (500 000 руб.), несмотря на очевидную нелепость его претензий. «Шаг для Валентина Григорьевича настолько естественный, что никто не удивился», — пишет Валентина Андреевна. Я почти уверен, что Дмитриев, зная отца, на это и рассчитывал, когда звонил ему. Очевидно, он отдавал себе отчёт, что в случае суда шансов у него никаких. Отец

же, идя на такой «естественный» шаг, стремился как можно скорее закрыть тему и избавить себя от общения с человеком, который вызывал у него теперь только чувство брезгливости.

С другой стороны, предлагая фотографу половину премии, писатель, возможно, пытался дать ему последний шанс. Он как бы искушал его кругленькой суммой и ставил перед выбором: взять чужие деньги, на которые при любом раскладе у того не было никаких прав, и окончательно потерять лицо, или хотя бы попытаться остаться — конечно, с большим натягом — порядочным человеком, натянув на себя маску «борца за справедливость», ищущего «правду» в суде. Дмитриев деньги взял, не моргнув и глазом, и навсегда исчез из жизни писателя. Многие иркутские литераторы расценили тогда его поступок как вымогательство.

Но речь не о Дмитриеве. Речь о книге, которую мы обсуждаем. Прочитав рукопись, я предложил автору рассказать всю правду. Сказал «А», упомянув фотографа в своей книге, так скажи и «Б». Но автор предпочел этот злополучный инцидент замолчать, сделал вид, будто ничего не произошло. А зря. Мне кажется, что подобные истории из жизни героя в сто раз интереснее и ценнее, чем целые отрывки из его произведений, которыми так бесцеремонно злоупотребляет автор. Потому что не только работа и творчество, но и поведение человека в непростых ситуациях характеризует его как личность.

И ещё: есть что-то лицемерное в этих дружеских воспоминаниях фотографа о писателе без правдивого рассказа о том, как полмиллиона рублей, принадлежавшие писателю, чудесным образом оказались в кармане его «друга».

Всё вышесказанное наводит меня на мысль о том, что труд о замечательном человеке должен создавать настоящий исследователь, художник и философ, вдумчивый, ответственный перед читателем и требовательный к своему творчеству. Он, как учёный, должен проявлять уважение к фактам и спокойно, не торопясь, дотошно и кропотливо собирать их из самых разных источников, не забывая проверять на достоверность. Затем ему предстоит проанализировать и осмыслить всю информацию, переварить её, пропустив через себя, выдвинуть предположения, поделиться своими размышлениями. В серьёзном исследовании такого рода автор обычно старается избегать делать однозначные выводы. Он ненавязчиво вовлекает читателя в мыслительный процесс, даёт тому толчок для раздумий и возможность самому принять окончательное решение. В конечном счёте, перед ним стоит невероятно сложная задача: постичь внутренний мир своего героя, чтобы честно и достоверно поведать о нём современникам и потомкам.

Автор же книги «Валентин Распутин» выбирает иной путь, не требующий значительных творческих сил. Он решает по максимуму упростить себе работу и берёт за основу чужие тексты и чужие мысли. Он предпочитает предоставлять слово другим, а сам склонен оставаться в стороне. Даже описывая студенческую жизнь писателя, с которым он учился вместе в университете и даже прожил целый год в одной комнате в общежитии, автор охотнее цитирует красноярца Владимира Зыкова, а своими воспоминаниями делится крайне скупно.

Наверное, поэтому книга напоминает мне больше реферат студента филфака, чем серьёзное исследование. Ведь как бы студент делал реферат, скажем, об известном писателе? 1. Расписал бы по пунктам биографию. 2. Распечатал бы библиографический справочник. 3. Продумал бы части, расставляя биографические и библиографические данные в хронологическом порядке. 4. Изучил бы литературную критику творчества объекта исследования, посмотрел бы, какие спектакли и фильмы были поставлены по его произведениям, нашёл бы пару неопубликованных писем и несколько воспоминаний о нем известных личностей. 5. Собрал бы все это вместе, как конструктор, и — реферат готов. Даже больше, чем реферат, но до полноценной дипломной работы ещё далеко.

Упрацюю? В любом случае, такая аналогия напрашивается неслучайно.

И возникает вопрос. Не лучше ли, если вас, например, интересует родословная писателя, познакомиться с нею в оригинале? Сотрудники Иркутского областного архива ещё при жизни Валентина Григорьевича провели исследование и выпустили любопытнейшую по содержанию книжечку. А если вы захотите узнать, что сказал Распутин о Пушкине, Толстом, Леонове, Свиридове, Шукшине, Вампилове, может быть, стоит прочитать полностью, без сокращений, его статьи и очерки об этих выдающихся личностях в книге «В поисках берега»? А вместо главы 14 «Что в имени твоём, Сибирь?» просто взять само произведение «Сибирь, Сибирь...»? Вместо главы 16 «Смысл давнего прошлого» найти опубликованные

в ежемесячной газете «Литературный Иркутск» замечательные эссе «Из глубин в глубины» к 1000-летию Крещения Руси и «Ближний свет издалека» о Сергии Радонежском? Вместо главок «Жупелы: один, два, три...», «Зажги свечу — растает тьма» и «Жрецы «новой» культуры» купить книгу «Эти двадцать убийственных лет. Беседы с Кожемяко»?

А сколько потрачено бумаги на главы, посвящённые повестям «Деньги для Марии», «Последний срок», «Вверх и вниз по течению», «Живи и помни», «Прощание с Матёрой» (о «Матёре» я уже говорил выше), «Пожар»! И зачем? Неужели достаточно для книги из такой серьёзной и уважаемой серии, какой является (или уже не является?) «ЖЗЛ», проскакать галопом, как по европам, по основным произведениям писателя, надёргав оттуда бесчисленное количество цитат? Разве литературные критики не сказали своё слово об этих сочинениях? Или мы узнаем здесь что-то принципиально новое?

Не скрою: есть в книге места, которые вызвали у меня интерес, например, главки, посвящённые отношениям Астафьева и Распутина в 90-е годы, или интервью писателя журналисту «Литературной газеты» о том, как он создаёт свои повести и рассказы, или воспоминания о писателе современников, наших и зарубежных. Очень хорошо сказали о нем актёр Михаил Ульянов, прозаик Владимир Карпов, французский исследователь русской литературы Жорж Нива и другие. Любопытна история, упомянутая ещё в начале книги, как писатель ступил на творческую стезю случайно, оставшись без стипендии. Но и здесь центральное место занимают цитаты, а слова автора играют в основном лишь связующую роль. И стоит только собрать вместе и опубликовать все эти и другие, не упомянутые в книге, воспоминания, не говоря уж о полном собрании произведений писателя, включая его речи, статьи, письма и интервью, как ценность книги, и так не слишком высокая, упадёт ещё ниже.

Мне кажется, что немалая доля ответственности за качество этой работы лежит на издательстве. Ведь если бы в «МГ» не устраивали гонку, чтобы отдать книгу в печать к определённой финишной дате, а главный редактор поставил бы перед автором вопрос ребром, обозначив чёткие требования к тексту, и дал ему ещё хотя бы год, она, по крайней мере, имела какой-то шанс получиться более добротной. И тогда выиграли бы все: и автор, и издательство, и читатель, ради которого, по большому счёту, и пишутся книги. Что же касается информационного повода, если уж он так был необходим, — чем хуже 80-летие писателя годовщины его смерти? По-моему, даже лучше.

Но в том-то весь и секрет, что ни автор, ни издательство не были сильно заинтересованы в добротной работе. Насколько я знаю, главный редактор «МГ» отдавал себе отчёт в том, что это произведение, даже при многочисленных исправлениях, априори не может получиться сильным. Но для него, скорее всего, главную роль сыграла скорость. Дело в том, что А.Г. Румянцев начал писать книгу о Распутине ещё при жизни писателя, и к моменту его смерти уже имел, как я подозреваю, существенные наработки. Тем самым автор автоматически получил в издательстве преимущество перед другими литераторами, которые почти наверняка подошли бы к этой работе более ответственно и выполнили бы её более профессионально и талантливо.

К тому же есть одна характерная особенность у «ЖЗЛ». При приобретении книги из этой серии зачастую смотрят не на автора, а на название, то есть на имя замечательного человека, поэтому у «Молодой гвардии» всегда есть возможность издавать заведомо слабые вещи и не переживать о том, что они долго пролежат на полках в магазинах.

Остаётся лишь надеяться, что после знакомства с книгой «Валентин Распутин» благодаря многочисленным цитатам из произведений писателя у читателя возникнет желание ещё раз (а может быть и впервые) прикоснуться к его творчеству. А это самое главное.

АЛЕКСАНДР ДОНСКИХ

ПРОЗАИК, г. ИРКУТСК

Родина — духовная земля

Как мы, сибирцы, иркутцы (где-то обнаружил эти непривычно и свежо звучащие слова), относимся к Валентину Григорьевичу Распутину? Мы его любим. Лично я вижу в нём человека исконной русской души, способной распахиваться перед всем человечеством безо всяких практических соображений. Знаете, не хочется говорить о нём торопливо, скороговоркой, тем более как-нибудь хвастливо, а — хочется думать о нём.

Я когда-то написал очерковую заметку «Молитвы Валентина Распутина», в которой сравнил его творчество с молитвой, с молитвой за всех нас, за Россию. И теперь, после его ухода, в особенности тянет думать о нём молитвенно, высоко, в тишине, обращаясь к его строкам.

Для меня очень важно, что мы были с ним знакомы, хотя встречались лично от силы с десятков раз. А познакомились довольно давно, в памятный день моего приёма в Союз писателей, в Иркутске, в Доме литераторов на Степана Разина, 40. В зале набилось много народу, обсуждали кандидатов, горячо, забиякисто; добрались и до меня. Один наш беспоконный поэт первым вскочил и заявил, что я «своими толстыми романами стреляю, как из гаубиц, по воробьям», то есть занимаюсь трудоёмким, но пустым делом. Ну, думаю, забьют как мамонта. Едва разглядел из-за спин: неожиданно встает какой-то высокий человек в балахонном, обвислом пиджаке и начинает говорить обо мне. Я вытянул шею, чтобы разглядеть, и — обомлел: Валентин Распутин говорит! Я слышал, что он живёт в Москве, а он — вот он, как говорится, собственной персоной, за спинами спрятался, тихохонько сидит! И не о ком-нибудь говорит, а обо мне. Он, сам Валентин Распутин, о котором только и слышал я, не без придыхания в голосе: классик, классик. Хвалил меня за публикации в одном московском журнале. Говорил как-то бегло-обрывочно, «кусками теста для выпечки хлеба» (потом записал я в дневнике) и ослабленно-тихо, но взволнованно:

— Приехал один герой впервые в своей жизни в глухое таёжное село и таких там людей увидел, таких людей, что и сам захотел стать таким же и жить там...

Закончил так, вытянувшись ко мне через головы:

— А роман свой не надо называть «Домом»: есть уже такой роман в русской литературе — у Фёдора Абрамова. Не тягайся с классиком — своё ладь...

В общем, приняли меня в Союз будь здоров как. Тот беспоконный поэт, к слову, первым подошёл и поздравил. Поэт-то он, кстати, хороший, настоящий, только вот революционер неисправимый, завзятый охотник с плеча рубануть.

Я тогда с трудом пробился к Валентину Григорьевичу — возле него в расшаркиваниях и нашёптываниях тёрся и выгибался разнопёрый литературный люд. Поблагодарил его. Он пожал мою руку, ничего не ответил, но — подмигнул, с этакой, знаете, насмешливой заговорщической хитринкой: мол, не дрейфь, парень.

Потом мы с Валентином Григорьевичем несколько лет заседали в правлении нашего славного Иркутского регионального отделения Союза писателей, перезванивались, обменивались письмами, случайно сталкивались на улицах Иркутска, видались разок-другой в Москве.

Чему я научился у него? Вере в то, что Россия, и упавшая, и растерявшаяся, и растерявшая немало своих драгоценностей в последнее столетие, всё одно сияет. Сияет! Он и праздник такой с губернатором и владыкой учинил в Сибири — «Сияние России». Надо бы размахнуть его на всю Россию-матушку.

В позапрошлом году отмечалось тысячелетие преставления Великого равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси, и в этот же год ушёл от нас Валентин Распутин.

Какое-то, почувствовал я тогда, указующее, что ли, совпадение. Словно бы совпало для того, чтобы мы о чём-то важном для нас всех, но пока что призрачном, полусвещённом, призадумались.

Мне представляется, что две эти личности в русской истории сопоставимы друг с другом. Нет, не равнозначны, конечно же, но именно сопоставимы друг с другом по значимому и лично для себя, и для людей многих и многих деянию, совершённом и поведённому каждым и по-своему. Князь Владимир, радея о единстве и преуспевании молодого, ещё весьма и весьма шаткого государства своего, и силой, и уговором, и собственным примером стал собирать людей и скреплять их друг к дружке верой, именем Христовым. А сибирский писатель Валентин Распутин, через века, в наших сумбурных и смутных восьмидесятых и девяностых, и даже ещё в нулевых, собирал по крохам эту веру для людей в своих выступлениях, в своей публицистике, в прозе, в своих хождениях по мукам во властные дома, чтобы выпросить чего-нибудь для русской литературы, для духовного просвещения. Уверен, если бы не Валентин Распутин тогда — неведомо, куда бы пошатнулась и побрела Россия.

Коротенько давайте вспомним, что была это за эпоха, — разброд в мыслях, в делах, и личных, и государственных, какая-то поголовная безнадёга. Церковь ещё только-только ожила, выдающихся людей, проповедников, ораторов или людей пишущих из своей среды ещё не выдвинула, по крайней мере, таких, к каким прислушивалась бы вся страна. А к Валентину Распутину, несмотря на разброд, всё же прислушивались, слушали его. А о чём он неустанно и ярко, порой яростно говорил и писал? Позвольте, зачитаю:

Родина — это прежде всего духовная земля, в которой соединяются прошлое и будущее твоего народа, а уж потом «территория»... Нельзя представить Родину без Троице-Сергиевой лавры, Оптиной пустыни, Валаама, без поля Куликова и Бородинского поля, без многочисленных полей Великой Отечественной... Родина больше нас. Сильней нас. Добрей нас. Сегодня её судьба вручена нам — будем же её достойны... В грязном мире, который представляет из себя сегодня Россия, сохранить в чистоте и святости нашу веру чрезвычайно трудно. Нет такого монастыря, нет такого заповедника, где бы можно было отгородиться от «мира». Но у русского человека не остаётся больше другой опоры, возле которой он мог бы укрепиться духом и очиститься от скверны, кроме Православия. Всё остальное у него отняли или он промотал. Не дай Бог сдать это последнее!

Воистину, «не дай Бог сдать это последнее!» Скажите, кто ещё в современной России с такой мощью убедительности, страстности, да что там! — с непримиримостью протопоповой спасал от поругания Родину, будировал людей к вере, к идеалам предков? Виктор Астафьев? Нет, он бился с не меньшей страстностью и непримиримостью, но на иных мировоззренческих полях. Кто ещё из писателей? А может, кто-нибудь из политиков (смешно, конечно же!)? Не знаю.

Теперь — чуток полегче нам. Народ мало-помалу потянулся к Храму, облагодетельствовался, что ли, утишился душой. Люди стали различать в ещё смутном, но предрассветном воздухе дорогу к «духовной земле». И первым в новой России духовным поводырём нашим был Валентин Распутин.

С трепетом и волнением я вступил в год Валентина Распутина. И переключаясь с его словами, хочу сказать: будем же его достойны! И чтобы год его раздвинулся в пространстве и времени в десятилетия, в век, в века его.